

ISSN 0012-6756



Дружба народов

2/2019



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2018.
Подписано в печать 25.01.2019.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 1657. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид
НАГИМ
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. Под призрачный вальс. <i>Стихи</i>	3
Виктор ЧИГИР. Утоление жажды. <i>Роман</i>	7
Григорий СТАРИКОВСКИЙ. Тонкий воздух пунктирный. <i>Стихи</i>	70
Вика ЧЕМБАРЦЕВА. Когда зашумят кипарисы. <i>Повесть</i>	73
Инга КУЗНЕЦОВА. Встречаемся на голубятне. <i>Стихи</i>	100
Буллат ХАНОВ. Сумрачная. <i>Рассказ</i>	103
Виктория РАЙХЕР. Эстер, красный цвет. <i>Рассказ</i>	112
Сергей ЗАХАРОВ. Терапевт из Восточной Европы. <i>Рассказ</i>	120
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Наталия ЕЛИЗАРОВА. Куркино. <i>Стихотворение</i>	125
Дорис КАРЕВА. Септаккорд. <i>Стихи. С эстонского. Перевод Наталии Елизаровой</i> ...	126
Диана АМБАРЦУМЯН. Злосчастье феаков. Фрагмент романа.	
<i>С армянского. Перевод Соны Бабаджанян</i>	128
Заир АСИМ. Звонок от Нуржика. <i>Рассказ</i>	139

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Лотта ГЕСС. Линия антарктической конвергенции. Бука. <i>Рассказы</i>	141
--	-----

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Вадим МЕСЯЦ. «...я с детства привык к бремени славы»	160
--	-----

ПРОЗА.ДОС

Юрий ОКЛЯНСКИЙ. Зять владыки. <i>Семейный детектив. Продолжение</i>	162
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О хорошеньких и не очень	185
Александр МЕЛИХОВ. Любовь и кровь	192

НАЦИЯ И МИР

Николай АНАСТАСЬЕВ. О частной жизни в Америке. <i>Случайные заметки пристрастного наблюдателя. Окончание</i>	199
--	-----

КРИТИКА

Развоплощенное слово и неубиваемые стихи. <i>Литературные итоги 2018 года</i> Евгений АБДУЛЛАЕВ, Мария АНУФРИЕВА, Ольга БАЛЛА, Ольга БРЕЙНИНГЕР, Ольга БУГОСЛАВСКАЯ, Илья ДАНИШЕВСКИЙ, Елена ИВАНИЦКАЯ	226
Ксения ПОЗДНЯКОВА. Мастер Ревич	242

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Безвременье цикад	248
--	-----

БЛОГ-ПОСТ

Ольга БРЕЙНИНГЕР. Стереотипы про блогеров везде одинаковые	251
--	-----

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

Путь к родным истокам. <i>У нас в гостях — победители Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелёва</i>	254
---	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Юрий ПОДПОРЕНКО. Оживающее прошлое. <i>Художники Узбекистана</i>	267
--	-----

ЭХО

Нацеленность на Целое. <i>Рубрику ведет Лев Аннинский</i>	269
---	-----

Екатерина Полянская

Под призрачный вальс

* * *

Непрерывно, натужно, упорно
Сквозь рождение, страдание и смерть
Наших жизней тяжёлые зёрна
Прорастают в небесную твердь.

А навстречу — легко и неровно
Дышит бабочки трепетный блик,
И полёт её радостен, словно
В бесконечность распахнутый миг.

Гдов

Жизнь в городке замирает около трёх:
Заперты церковь, столовая, магазин,
Пусто на станции — ни поездов, ни дрезин,
Сухо в стручках пощёлкивает горох
У переезда, заброшенного так давно,
Что даже шпалы замшели, как будто пни.
В крепости козы уже не пасутся, но
Просто лежат в дремотно-густой тени.

Только в низине поблёскивает река,
И осыпается медленный пыльный зной
Между нездешним ужасом борщевика
И лопухов беспамятностью земной.
Только кузнечик, звоном наполнив слух,
К детству уводит от горечи и тревог,
Да над садами яблочный чистый дух
Напоминает, что где-то ещё есть Бог.

Доктор Боткин

— Вы, доктор, свободны и можете нынче уйти.
Здесь небезопасно — я добрый даю вам совет.
Солдаты озлоблены, знаете. Как ни крути,
А всякое может случиться...

Ну, что значит — нет?

Вам в этом семействе, простите, какая печаль?
Как будто вы не понимаете, в чём их вина...
Мальчишка, девицы... Поверьте, мне тоже их жаль.
И мальчик болеет, увы. Но ведь это — война!

На что вам они? Они к этому сами пришли.
Погибнуть зазря вместе с ними — да это же бред!
В конце концов, вы для них сделали всё, что могли,
Вам не в чем себя упрекнуть... Почему, доктор, — нет?

Не здесь, а в столице вы стольким сегодня нужны.
Но время идёт... Говорю вам: бегите же прочь!
Скажу откровенно: они тут все обречены.
Послушайте, доктор, кому вы хотите помочь?

Не делайте глупостей! Вы же ведь сами — отец!
Я не гарантирую... Я за вас, доктор, боюсь.
Там — жизнь и свобода. А здесь... Здесь один всем конец.
Вы разве не поняли?

— Понял.

— И что?

— Остаюсь.

* * *

На хрупкой открытке
Начала двадцатого века
У белой лошадки
Мохнатые ушки черны.

Лошадок таких
Никогда не бывало на свете.
И штемпель цензуры
Военной. И несколько строк:

*«Как хотел бы я
Прискакать к тебе
На этой лошадке
После войны».*

Война бесконечна,
Поскольку взорвавшимся штампом
Накрыт адресат,
И письму никогда не дойти.

Его отправитель
Бежит в штыковую атаку
В полях галицийских,
Среди мазовецких болот.

Лошадка такая,
Каких никогда не бывало,
Под призрачный вальс
На пустой карусели кружит.

* * *

Памяти Йоле Станишича

Книга,
сожжённая на спине у поэта,
расправляет страницы,
летит
над юностью, полной надежд,
над измученной молодостью,
изгнанничеством,
одиноким смертию.
Голый остров внизу
поглощается тьмою,
размывается светом,
исчезает уже навсегда.
Книга летит,
Она так похожа на голубя,
стремящегося навстречу крылатым,
прорывающегося к своим.
Я закрываю глаза,
и откуда-то сверху,
а может быть, — изнутри
звучит еле слышно
сербский старинный напев:
...тамо далеко..

Хроника одного вечера

Стих подпирал. Он должен был явиться,
Он был готов к рождению вполне.
Как всякой Божьей твари угнездиться
Для оной цели нужно было мне.

Домой нельзя, там оседлают сходу,
Но — не беда: полно кафе окрест...
Зашла в одно, а там полно народу.
И все едят. И нет свободных мест.

В другом — невыносимо, беспрестанно
Гремел динамик, слух терзая мой...
А третье было мне не по карману.
Я плюнула и побрела домой.

На кухне — звон и резкий визг соседки,
А в комнате — счастливый теле-сон.
И пометавшись, будто волк по клетке,
Я потихоньку выскользнула вон.

На набережной села на ступени,
Но, видно, неудачен был момент:
И страж порядка, полный подозрений,
Навис и попросил мой документ.

Ну, что ж — с собою паспорт, слава Богу.
Всмотрелся. Криминала не нашёл:
Сижу, пишу... Взглянул довольно строго,
Но — разрешил. И с важностью ушел.

И снова я распутываю нити,
Хватаю ускользящий кураж...
Вдруг чей-то голос: «Выпить не хотите?» —
И пальцы выпускают карандаш.

Оглядываюсь: пара пожилая,
Уже «под газом», но ещё — вполне,
Друг друга через слово посылая,
Усердно ищут истину в вине.

«У нас сегодня дата: двадцать восемь...
И всё живём! Я — дура, он — подлец...
Ну выпейте за нас! Мы очень просим!
Иначе — разругаемся вконец».

Я поняла, что чаша не минует.
Блаженны миротворцы!.. Сгинул стих.
И долго-долго исповедь дурную
Я слушала и утешала их.

Стемнело. Я уйти заторопилась,
Но различила сказанное вслед:
«И всё-таки, она бы утопилась.
Записку дописала б — и привет!

Мы — вовремя... Их много тут — с приветом...»
Вот это — приговор! И нечем крыть.
Ведь если я могу не быть поэтом,
То кем угодно я могу не быть.

Виктор Чигир

Утоление жажды

Роман

Блаженны [...] жаждущие [...], ибо они насытятся.

Матфей 5:6

Часть первая. 1796—1797 гг.

1

Дина Тмайнова была до того красивой, что замужние женщины — якобы в шутку — гнали ее от своих окон. Свататься за нее начали чуть ли не на двенадцатую зиму, но глава семьи, Леко Тмайнов, принимая и выслушивая очередных разодетых сватов, лишь качал в ответ крупной головой, ссылаясь сначала на юность дочери, а затем, когда она подросла и слово «юность» перестало быть оправданием, — на ее нежелание выходить за того или иного претендента. Долгое время Дина наивно полагала, что отец действительно считается с ее мнением и поэтому не спешила ни в кого влюбляться: надменно отмахивалась, когда какой-нибудь воздыхатель звал ее на тайное свидание; брезгливо морщила носик, если мать сообщала, что пожаловали очередные сваты; и совсем не принимала участия в ежевечерних девичьих шушуканьях, где с неизменным постоянством обсуждалось одно и то же — сила, удаль и внешность соседских парней. Отец же просто ждал наивыгоднейшей партии.

Фамилия Тмайновых была обширна, крепка, но — бедна. Четырнадцать работающих семей были разбросаны по аулам Мамисонского ущелья¹, но ни одной из них еще не удалось не то что разбогатеть, а хотя бы на время забыть, что значит забота о хлебе насущном. «Всю жизнь на шавеле», — говорили про такие семьи, впрочем, без всякого намерения оскорбить, так как ее величество нужда не выпускала из виду ни одного горца и частенько напоминала о себе даже самым зажиточным фамилиям. Леко Тмайнов не надеялся стать зажиточным за счет счастья дочери, он лишь хотел, чтобы

Виктор Чигир родился в 1988 году. По профессии — живописец. Участник XVII и XVIII Форумов молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь», «Дарьял» и др. Автор книги «Часы затмения» (2019). Живет во Владикавказе. «Дружба народов» публикует его первое крупное произведение.

¹ Ущелье на юге Северной Осетии.

нужда напоминала Тмайновым о себе как можно реже, по крайней мере, не чаще, чем другим фамилиям. И когда в его саклю явились сваты от самих Церебовых, Леко Тмайнов понял, что не зря, ох не зря он столько лет кряду отказывал достойнейшим, но — увы! — таким же, как и он, бедным людям, предлагавшим за его дочь в лучшем случае шесть коров, четыре из которых не несли, а две другие давали молоко только по праздникам, да и то через раз.

А рассчитывал Леко Тмайнов всего-то на десяток здоровых, не жадных на молоко коров. И он твердо знал, что Церебовы способны с легкостью предоставить ему такую плату. Неспроста же, думал он, по всему Мамисону ходит слух, будто Церебовы уже не поголовье считают, а стада. Конечно, рассуждал он дальше, слух этот могли пустить и сами Церебовы — побахвалиться захотелось, вот и пустили. Но слухи слухами, бахвальство бахвальством, а живут эти задаваки и впрямь небедно, получше многих. Так что десяток коров — это я еще по-божески...

Леко Тмайнов и не подозревал, насколько это по-божески.

С важным видом усадив гостей за стол, он сбегал до соседей, растолкал уснувшего на лавке у крыльца Кавдына Моураова и, крича, помогая себе жестами, объяснил тугому на ухо старичку, чего от него хотят. Кавдын не сразу, но понял — кивнул пару раз и деловито указал Леко на упавший посох: подай, мол.

Приведя старичка в саклю, Леко Тмайнов усадил его во главе стола, сел рядом, разлил по четырем рожкам араки собственного приготовления, три рожка передал гостям, четвертый оставил себе. Кавдын Моураов поднялся (за ним сейчас же встали остальные) и, держа рожок на уровне груди, затянул, точно песню, тост — длиннющий и невнятный. Изображая на лицах вежливое внимание, мужчины выслушали старичка, дождались, когда он опорожнит рожок, и по очереди добавили к тосту от себя. Пришлось говорить громко, почти кричать, чтобы старичок все расслышал. Затем — так же по очереди — выпили, одобрительно крякнули, смачно закусили влажной хрустящей зеленью. Леко Тмайнов подождал чего-то, не дождался и разлил по второму разу. Кавдын Моураов, уже малость охмелевший, снова затянул тост, после которого разговор чудесным образом начал потихоньку клеиться: поговорили о хозяйстве вообще и о видах на урожай в частности, посплетничали об общих знакомых, пожурили нынешнюю молодежь, которая, как водится, не та что давешняя, между делом выпили по третьему, и только тогда старший из сватов перешел к сути:

— Дочь твоя, Дина... Не пора ли ей завести собственную семью?

Леко Тмайнов покосился на задремавшего не к месту и не ко времени старичка и ответил:

— Пора, пожалуй.

Церебовский сват будто и не ждал другого ответа.

— Тогда называй, — говорит он, — свою цену, мы увеличим ее вдвое.

Леко Тмайнов заморгал.

— Да, да, ты не ослышался, — покивал сват с улыбкой.

Но Леко Тмайнов и сам знал, что не ослышался; в таком деле невозможно ослышаться. Вдвое! — думал он ошарашенно. Это ж целых двадцать голов получается! Где я столько размещу?.. Или, может, «дюжину» сказать? Не-ет, не удвоят они дюжины, будь они хоть трижды Церебовыми. Еще, не дай бог, передумают... Он суеверно отогнал последнюю трусливую мыслишку и сказал твердым, как ему показалось, голосом:

— Десять коров.

— Скромный ты, Леко, — благодушно отозвался старший сват. — Что такое десять коров? Да за твою Дину и дюжины не жалко! Удваиваем — двадцать четыре! Что скажешь, а?

— Скажу-у... — проямлил Леко Тмайнов и вдруг нахмурился. — Погодите-ка. Вы ж никого не назвали. За кого мне отдавать дочь?

— Как это — за кого? — очень натурально удивился сват. — За Заурбека Церебова!

Услышав имя жениха, мать Дины, Феруза, которая все это время тихонько прислуживала мужчинам, вытаращилась вдруг на мужа и изо всех сил замотала головой: не соглашайся, мол, Леко, ни за какие коврижки не соглашайся!

— Цыц, женщина, — негромко сказал Леко Тмайнов и оценивающе поглядел на сватов. — За Заурбека, говорите? — переспросил он.

Сваты молча кивнули. Тогда Леко Тмайнов запустил пятерню в бороду и задумался.

Заурбек Церебов... О нем ходили разные толки, один другого хуже. То он побьет кого-нибудь по пьяному делу, то его поколотят. То он в каком-то необъяснимом порыве щедрости начнет давать деньги в долг, то в столь же необъяснимом приступе жадности примется выбивать эти долги обратно. Ненадежный человек. Злой. Пьющий... Но — ничего не поделаешь! — богатый. За ним — весь род Церебовых, с ихними тучными стадами, тугими кошельками... с бахвальством этим обрыдлым, которое они почему-то называют высокомерием. Дине с ним будет сыто. Плохо, даже, может быть, очень плохо, но — сыто. Да и почему обязательно плохо? — спросил себя Леко Тмайнов, как бы оправдываясь. А вдруг поладят. Ей шестнадцать, ему чуть больше, — должны поладить! А ежели что не так, то Дина моя тоже не лыком шита, бойкая, даром что девчонка... Двадцать четыре коровы, подумал он восхищенно, а вслух сказал:

— Согласен.

— А? — проснувшись, громко переспросил старичок.

В тот же месяц — после небольшой сцены, устроенной Диной, ни в какую не желавшей выходить за Заурбека, — сыграли свадьбу. Дина Тмайнова стала Церебовой и переселилась из Тиба в Тли, в саклю, построенную специально для молодоженов.

Отец не ошибся — ей действительно было плохо. Заурбек дрых до полудня, плевать хотел на хозяйство и частенько пропадал где-то до темноты. Возвращался непременно пьяный, иногда побитый, но чаще — просто расхлюстанный и грязный. Дина не знала, что такое ласки трезвого мужчины. Первое время она, следуя наставлениям матери, разыгрывала из себя безотказную жену, души не чаявшую в своем благоверном, но Заурбек оказался не из тех, кто ценит семейный уют.

Высокомерный, хвастливый, наглый, он родился и вырос в полном достатке, многочисленные тетушки и дядюшки потакали любым его шалостям, он слишком рано усвоил все преимущества, которые дарует богатство, нажитое не им, но — в этом он был абсолютно убежден — для него. Старейшие из Церебовых, еще помнящие, как ломит спину после шестнадцатичасового рабочего дня, считали Заурбека неизбежным злом и именно они настояли на немедленной женитьбе этого праздного гуляки — глядишь, возьмется наконец за ум и перестанет позорить фамилию. Не перестал; женитьба против воли лишь обозлила молодого Заурбека. Теперь он кутил, бездельничал и устраивал скандалы явно напоказ, желая любыми средствами досадить родным, вынудившим его обзавестись женой, пусть даже и донельзя красивой.

Вскоре, однако, до него дошло, что это не так просто — досадить Церебовым, тем более если сами Церебовы не желали, чтобы им кто бы то ни было досаждал. Хваленое церебовское высокомерие, понял он, может распространяться и внутрь семьи, а это даже хуже, чем когда оно распространяется вовне. Ведь когда Церебов в упор не видит какого-нибудь захудалого Тмайнова — это одно, Тмайнов остается Тмайновым. А вот когда Церебов в упор не видит другого Церебова, то другой Церебов перестает быть Церебовым и приравнивается к Тмайнову, а это уже беда. Неудивительно, что после такого нехитрого умозаключения Заурбек стал срывать злобу на жене.

Первый раз он ударил ее без всякой видимой причины — и поразился не меньше Дины: как это, оказывается, просто и обыденно — поднять руку на женщину. После этого случая молодые супруги два дня не разговаривали и вообще избегали встречаться друг с другом глазами. Заурбек даже пить перестал, чем сильно удивил родню, да и не

ее одну — ни много ни мало весь Тли шептался и одобрительно прищелкивал языком: образумила, мол, Дина своего прожигу, вот что значит ЖЕНА. Но на третий день Заурбек снова где-то набрался и, вернувшись посреди ночи домой, ударил Дину опять — на сей раз уже ничему не поражаясь.

А чуть погода он вошел во вкус, развернулся и стал отыскивать различные поводы для экзекуций, а когда и если не находил — выдумывал их в меру своей жиденькой фантазии. Особенно дикие и нелепые поводы измышлялись им в разгар очередного запоя: «Т-тебя, — шипел он, придавливая Дину коленом к развороченной постели, — с-специально ко мне приставили, да? Ну, признайся: следишь ведь, доносишь... Смотри, вот про это не забудь донести! И про это не забудь донести! И про это!..» Дина была сплошь покрыта синяками, как барс — своими узорами. Лишь лицо ее Заурбек почему-то не трогал — то ли не желал портить такую красоту, то ли умышленно оттягивал момент «порчи», довольствуясь пока ее сладостным предвкушением... А может, просто опасался людских пересудов — ведь Дина никому ни словом не обмолвилась о своих неприятностях и по аулу ходила в наглухо закрытом шерстяном платье.

Она терпела. Несмотря на то что ее против воли сделали Церебовой, в жилах ее текла кровь Тмайновых, а Тмайновы умели терпеть. В терпении они черпали силу; сила эта накапливалась подобно тому, как накапливается снег на крутом горном склоне — медленно, понемножку, практически незаметно для неподготовленного глаза. И как накопление снега рано или поздно разрешается грандиозным и страшным в своей грандиозности сходом, так накопленная в результате нечеловеческого терпения сила должна была разрешиться нечеловеческой мощи отпором.

На третий месяц совместной жизни, или на семьдесят шестой день, если считать со дня первого, несмелого еще, как оказалось, удара; после восьмидесяти трех болезненнейших тумачков в живот, пятидесяти пяти подлейших толчков в спину, сорока двух оскорбительнейших пинков в различные места пониже спины и девяти аккуратнейших, тщательнейше выверенных пощечин — терпение Дины лопнуло. Когда поздним вечером на нее с нарочитой и привычной уже медлительностью замахнулась ненавистная волосатая лапа, Дина не стала втягивать голову в плечи и зажмуриваться, как делала это раньше. Вместо этого она неожиданно для себя самой цапнула со стола наполовину пустой кувшин араки и с каким-то рыдающим выдохомхватила этим кувшином по пьяной харе.

Кувшин лопнул точно так же, как секундой раньше лопнуло терпение. В кулаке у Дины осталась изогнутая, отшлифованная многими прикосновениями глиняная ручка. Некоторое время Дина ошалело смотрела на нее, потом перевела взгляд на мужа. Мокрый и совершенно трезвый муж, смешно и нелепо разбросав ноги, сидел на полу в луже остро пахнувшей араки и прижимал к уху ладонь.

— Ты что? — потерянно пробормотал он, сплевывая глиняный черепок, каким-то макарон попавший ему в рот. — Ты что? — требовательней повторил он, отнимая дрожащую руку от уха и глядя на ладонь. — Ты ж... ты ж мне кровь пустила, ведьма, потаскуха... шура ты тмайновская...

Он, видимо, намеревался побольнее уязвить Дину, но вызвал у нее лишь повод для гордости.

— Тмайновская, — произнесла Дина с улыбкой. — Именно тмайновская. И ежели ты, пес, еще раз посмеешь...

Она не успела ни договорить, ни толком испугаться. Издавши резкий горловой звук, Заурбек метнулся ей в ноги. Дина нерассуждающе выставила перед собой ручку от кувшина и вроде бы даже изловчилась ткнуть ею в основание мужниной шеи, но сейчас же забыла про это, так как пол вдруг вывернулся из-под ног и, точно тяжелой морщинистой ладонью, хлопнул промеж лопаток. Весь воздух вышибло из груди, и потемнело в глазах, несмотря на то что они были широко раскрыты. Дина попыталась

вдохнуть, но тут темнота перед глазами сгустилась и раскалилась, и в этой горячей и вязкой, как вар, жиже стали вспыхивать и потухать зеленоватые жалящие огоньки, от которых бросало в жар и вздрагивало все тело, и хотелось лишь одного — уползти, укрыться, забиться в какую-нибудь узкую мерзлую щель и там — заколоться в блаженстве... А потом огоньки вспыхнули особенно ярко, раз — справа и раз — слева от лица, Дина судорожно дернулась, затем вытянулась, обмякая, и вдруг услышала приглушенный шум: кто-то надсадно визжал в соседней комнате.

Ничего не соображая, Дина перевернулась со спины на бок, подышала, пережидая наплыв дурноты, перекатилась на живот, приподнялась, опираясь на локоть, но локоть заскользил, как по слякоти, и Дина плюхнулась щекой во что-то липкое и теплое. В соседней комнате всё визжали, это не давало покоя. Дина отлепила щеку от теплой мерзости, приподнялась, используя на этот раз обе руки, и тут увидела под собой красную лужу, а в луже — два человеческих уха с проколотыми для сережек мочками. «Уши чьи-то...» — отстраненно подумала Дина и вдруг напряглась в жутком предчувствии.

Сев на колени, она потянулась обеими руками к тем местам на голове, где по идее должны были быть ЕЁ уши, но ничего там не нащупала — лишь слипшиеся волосы да две дырочки, в которые при желании можно было всунуть по пальцу. Тогда она закричала изо всех сил и только через пару секунд с ужасом поняла, что совершенно не слышит своего голоса. А та, в соседней комнате, все визжала и визжала, будто не Дине, а ей отрезали уши.

Перед глазами вдруг возник Заурбек. Выглядел он донельзя довольным, даже радостным, но за три месяца совместной жизни Дина успела неплохо узнать этого пройдоху и видела, что Заурбек волнуется — глазки бегают, уголки ослабленного рта подрагивают. Дина посмотрела на его руки. Руки были перемазаны кровью, и в одной был зажат длинный кинжал — свадебный подарок Леко Тмайнова. Дина даже вспомнила, что говорил отец, когда вручал Заурбеку этот кинжал: «Держи, зятёк, — говорил он с нетрезвым добродушием, — в хозяйстве пригодится!..» Если бы Дина была в состоянии, она б рассмеялась над этой извращенной иронией судьбы. Но сейчас она могла лишь плакать. И она заплакала, стыдясь и презирая себя за эту слабость.

Но я тебе еще покажу, с удушающей ненавистью думала она, сквозь слезы глядя на улыбающегося Заурбека. Придет время, и это тебе аукнется, думала она, с трудом поднимаясь на ноги и выпрямляясь. Я еще сотру эту паскудную улыбочку с твоих губ, думала она, шагая прямо по кровавой луже в сторону двери. Ногой сотру! — думала она, пиная дверь и выходя на крыльцо. Вот этой самой ногой! Ты еще узнаешь, как улыбаюсь я... Все твое церебовское отродье узнает, как улыбаются Тмайновы...

Уже у калитки что-то едва ощутимо стукнуло ей в спину. Дина остановилась и, обернувшись, посмотрела себе под ноги. Там — абсолютно белые на черной земле — лежали два ее уха... Дворовая собака по прозвищу Дзыкка вынырнула вдруг из сырой темноты, виляя хвостом, приблизилась, понюхала эти два кусочка человеческой плоти и, повернувши морду набок, в два приема заглотнула оба.

До немоты сжав губы, чтобы звуком не выдать своих чувств, Дина подняла заплаканные глаза. Заурбек стоял на крыльце в прямоугольнике тусклого желтого света и, лениво жестикулируя кинжалом, что-то говорил. Надменно. Поучающе. Дина ни слова не слышала, да и не хотела слышать. Какая, к чертям, разница, что он там болбочет? Этим вечером человек по имени Заурбек Церебов потерял право называться человеком и стал кем-то или, вернее, чем-то, что существует только по причине какого-то недоразумения, какой-то вопиющей природной ошибки, которую следует как можно скорее исправить, чтобы зараза не распространилась по окрестности.

Он стал болезнью, а Дина — лекарством. Или одним из ингредиентов лекарства.

Придя к такому выводу, Дина как-то сразу успокоилась. Удушающая ненависть сменилась холодной расчетливой злобой, и Дина вдруг отчетливо осознала всю

шаткость своего положения: несмотря на то что она беспрепятственно покинула саклю, жизнь ее все равно висит на волоске. Стоит только намекнуть на свою готовность расквитаться — и участь ее решена. Болезнь, принявшая облик Заурбека Церебова, довершит начатое. Так что разумнее всего — притвориться слабой, сломленной, не способной ни на какое сопротивление. Пускай, подумала Дина, мысленно махнув рукой. Недолго осталось...

И уронивши лицо в ладони, она сгорбилась и захныкала, уверяя себя, что это не по-настоящему, что, конечно, она притворяется, что так надо. Сквозь щелки между пальцами она видела, как болезнь в облике человека кончила свои разглагольствования, извлекла из недр бешмета пухленький кисет и принялась зубами развязывать узелок на шнурочке. «Курить потянуло? Ну-ну...» — подумала Дина и, не убирая ладоней от лица, вдавилась боком в калитку. Выйдя на дорогу, она споткнулась якобы случайно, брякнулась на четвереньки, похныкала, увязая руками в невидимой грязи, потом поднялась и, продолжая хныкать, поковыляла прочь от сакли. А когда сакля полностью скрылась во тьме и единственный зритель этого представления остался в дураках, она тут же замолкла, сошла на обочину, где грязь была посуше, несколькими уверенными движениями оторвала от своего платья длинный лоскут и кое-как перевязала им голову.

Боль только сейчас давала знать о себе в полной мере. Болела внутренняя сторона левого бедра. Болели оба локтя. Какой-то подлой, исподтишочной болью болели ребра. Но самое страшное творилось, конечно, с головой — ее будто огнем охватило. Дина ощущала изнутри редкие горячие толчки в те места, где раньше у нее были уши, и от каждого такого толчка она вздрагивала, словно кто-то, подкравшись сзади, огромными твердыми пальцами стискивал ей бока. А если напрячься и перемочь эти стискивания, то можно было услышать тот самый приглушенный визг, только теперь он походил скорее на свист и доносился как бы отовсюду сразу — справа, слева, с неба, из-под земли. Изуродовали, с неожиданной жалостью к самой себе подумала Дина. На всю жизнь уродины сделали... Чувствуя, что вот-вот утратит и без того хлипкое самообладание, она зажала рот ладонью и некоторое время стояла так, давя и затаптывая в груди заунывный звериный вой. Потом отняла руку от лица и побежала.

Пока улочка вела под уклон, бежалось легко. Под ногами плотноядно чавкало, чмокало, хлюпало. Многочисленные соседские окошки с грехом пополам освещали путь, а если и не освещали, то хотя бы не позволяли налететь на что-нибудь во тьме. Изредка из-под какой-нибудь калитки взлаивала собака, но Дина ни разу не шархнулась, как сделала бы на ее месте любая другая девушка, и собаки, каким-то своим умом понимая, что их не боятся, тут же замолкали, точно услышав хозяйский окрик. Однако Дине и до этого не было дела — до собак у нее больше не могло быть никаких дел. Уже на окраине аула из предпоследнего двора донеслись голоса — спорили два старика, спорили, по-видимому, давно и уже успели порядком охрипнуть. Не желая быть замеченной, Дина приостановилась, свернула в заросли репейника и, царапая лодыжки, обошла спорщиков по длинной дуге. «Я те говорю, — внушал в темноте один надтреснутый голос, — ровно шестьдесят лет назад это случилось — сошел и полсакли у Гаевых снес!..» — «Да не у Гаевых, упрямый ты осел! — раздраженно возражал другой надтреснутый голос. — Шестьдесят лет назад Гаевых здесь и в помине не было. Были твои, мои да полтора Кучиева!..» Нашли о чем препираться, думала Дина, выбираясь из репейника. У вас тут под боком женщину мучают, а вам — полтора Кучиева!..

Когда она спустилась к большой дороге, темнота сделалась до того беспросветной, что Дине невольно захотелось обратно в аул — к людям, к свету... да хотя бы к тем старикам! Но она тут же представила себе, как, выплакавшись у стариков, вернется в саклю, навсегда ставшую ненавистной, и как посмотрит в лицо, навсегда переставшее быть человеческим... Нет уж, решительно подумала она. Пусть лучше меня медведь заест в этой темнотище. И нащупав ступнями сначала левую, затем — правую колею,

она взобралась на небольшое возвышение между ними и, стараясь держаться на гребне, побежала в восточном направлении.

До родного Тиба было около двух верст — всего ничего, но для Дины это оказалось сущей пыткой. Темнота буквально сводила с ума. Плотоядные звуки, издаваемые грязью, превратились в какое-то наваждение. Слыша их, Дина постепенно дурела, словно от жары, веки опускались, отяжелевшая голова болталась, как привязанная, и Дине уже чудилось, что она не бежит, а топчется на месте, и даже не топчется, а давит голыми ступнями странный пружинисто-упругий виноград — тепловатые брызги летят во все стороны, склизкие виноградные внутренности застревают между пальцами, липнут к лодыжкам, а кислые испарения получающейся чапры, поднимаясь к лицу, лезут в глотку, туманят сознание, и уже невозможно заставить себя остановиться, одуматься, вылезти из этой дьявольской бадьи на дорогу и бежать дальше... И она остервенело давила и давила этот виноград, напряженно вслушиваясь в плотоядные звуки под ногами, и чем дольше она вслушивалась в эти звуки, тем отчетливей различался в них знакомый с детства голос, который с нудноватым упорством повторял: «Я дойду... я дойду... я дойду...»

И она дошла. Плотная темнота слева от лица, как гигантская ширма, поползла вдруг навстречу, оголяя слой точно такой же темноты, но уже с вкраплениями желтоватых мерцающих огоньков. Один, три, четыре, шесть... с каждым шагом огоньков становилось все больше, некоторые появлялись на уровне глаз, другие — чуть выше, были и такие, что загорались высоко над головой. Вскоре это напоминало застывший рой светлячков. Не сводя с него широко раскрытых глаз, Дина невольно ускорила, и тогда рой, не меняя своей формы, запрыгал у нее перед лицом, отчего Дина, испугавшись, рванула изо всех сил. Рой, все так же прыгая, начал потихоньку увеличиваться в размерах, а потом впереди послышался шум воды, и тут в каком-то восторженном, почти животном иступлении до Дины дошло, что бежит она не на огоньки, а именно к воде.

Она не запомнила, как очутилась у речки. Когда она пришла в себя, то обнаружила, что сидит, поджавши ноги, на каменистом берегу, коленями — в ледяной воде, пальцы на руках сведены, горло перехвачено, а та неодолимая жажда, которая играючи подчинила все ее существо, почти сошла на нет, и стоит сделать еще хотя бы один глоток (десятый? двадцатый?) — и жажда отпустит окончательно. Осознав это, Дина собрала ладони лодочкой, зачерпнула воды, поднесла к занемевшим губам и судорожно всосала. Вместе с чудовищной ломотой в зубах пришло сладостное облегчение где-то внизу живота. Желая продлить это облегчение, она опять зачерпнула воды, но новая порция уже просто не полезла в глотку. Дина готова была разреваться с досады.

— Ну, всё, всё, — сказала она вслух, досадуя уже на саму досаду. — Подымайся давай и иди...

Она попыталась подняться, но колени не разгибались.

— Слабачка, — сказала Дина с отвращением. — Как ты только досюда доперлась... Ну-ка, вытяни из-под себя ногу...

Она вытянула из-под себя левую ногу.

— Теперь обопрись на руки...

Она погрузила руки в воду и уперлась в скользкие камни.

— Теперь задирай гузно... Выше, выше! Кому ты тут сдалась, безухая...

Кое-как встав на четвереньки, она оттолкнулась руками от речного дна, утвердилось на корточках, потом с усилием поднялась на ноги.

— Теперь — иди, — сказала она и, шатаясь, пошла вверх по течению.

Огни Тиба — желтые прямоугольники, разбросанные тут и там, — горели впереди и справа. Дина довольно быстро взобралась на самый верх аула, миновала родовую башню Кадзовых и толкнула калитку отчего дома. Старая собачка Буча, высунув

мордочку из конуры, сейчас же признала позднюю гостью и полезла ласкаться. Дина, не глядя, отпихнула ее ногой, широкими шагами, все убыстряясь, пересекла двор, взбежала на крыльцо, рванула дверь и, ступив через порог, закричала на всю саклю:

— Гляди, Леко! Вот сколько на самом деле стоит твой достаток!

2

Выкрикнув эти слова, она вдруг почувствовала, что ноги больше не держат ее.

— Двадцать четыре... — пробормотала она, как подрубленная опускаясь на земляной пол. — Двадцать четыре коровы и два уха... Что скажешь? А, Леко?..

С темноты она не видела, как Леко Тмайнов медленно, деревянным движением поднялся из-за стола. Не видела она и того, как из-за отцовского плеча выглянуло испуганное лицо матери. Оцепенев, как в дурном сне, престарелые родители смотрели и не узнавали дочь. На их пороге сидело мокрое, подслеповато шурящееся существо, сплошь заляпанное черной блестящей грязью; голова у существа была обвязана кровавым тряпьем, из-под тряпья выбивались свалявшиеся войлоком нечистые пряди; разорванный подол бесстыдно задрался, босые голые ноги были белы, как у утопленника, и сильно исцарапаны, точно этого утопленника долго волокли за руки куда-то в гору. «Да разве ЭТО может быть Диной?!» — возопил кто-то внутри Леко Тмайнова, и он торопливо, заговаривая сам себя, подумал: нет-нет, это не Дина, не Дина, не Дина! Он уже почти убедил себя в том, что это и вправду не Дина, как вдруг Феруза с каким-то карканьем оттолкнула его и, простерши перед собой руки ладонями кверху, бросилась к порогу.

— Доченька... — пролепетала она, падая на колени рядом с Диной. — Доченька...

— Мама... — отозвалась Дина ноюще. — Мама...

Женщины нерешительно потянулись друг к дружке, обнялись и зарыдали в голос.

У Леко Тмайнова задергалось под глазом. Он придавил это место пальцами. Каким-то образом дрожь передалась пальцам. Он стиснул пальцы в кулак, но и кулак вскоре задрожал. Некоторое время Леко Тмайнов с тупым интересом смотрел на кулак — огромный, мосластый, белый от напряжения. Не так давно эта колотушка запросто валила с ног молодых бычков, а теперь — вот, трясется как у старикашки... Леко Тмайнов разжал пальцы, каким-то покорным движением снял со стены трофейную казачью шашку и, не говоря ни слова, вышел из сакли.

Женщины даже не заметили его ухода. Они всё рыдали, всхлипывая и подвывая, безотчетно опасаясь разомкнуть объятия. Мать снова обрела дочь, которую, прикрывшись обычаем, забрали у нее торгаши-мужчины. А дочь снова обрела маму, любимую свою мамочку, от которой ее насильно отлучили, не позволив вдоволь насладиться этой опьяняющей любовью, когда на душе светло и покойно и все дурное обходит стороной...

Прошло какое-то время, и радость воссоединения схлынула. Утерши слезы, Феруза подняла дочку на ноги, придерживая за локоток, отвела к топчану и усадила. «Я тихонько...» — проговорила она и с величайшей осторожностью принялась разматывать окровавленную повязку. Увидев, что творится под повязкой, она снова заплакала. Успокоившаяся было Дина, как малый ребенок, зарыдала вслед за мамой.

— Чтoб вам пусто было! — простонала Феруза, швыряя на пол тяжелый от крови лоскут, а Дина, хныча, бормотала:

— Я ему: еще раз посмеешь... А он как набросится — повалил и топчет...

— У-у, с-скотина! — говорила Феруза, качая головой, а Дина бормотала:

— Псом обозвала разок... А что? Пес и есть... даже хуже...

— Зверь, зверь!

— Отцовским подарком, мама! Пригодился, называется, в хозяйстве...

Дина вдруг вскинула лицо к потолку и захохотала. Млея от ужаса, Феруза притянула дочку к груди, крепко стиснула, и в этот момент в комнату вбежал Серго, старший брат Дины.

Двадцатитрехлетний семьянин Серго Тмайнов жил по соседству и уже укладывался спать, когда услышал плач в родительской сакле. Он поспешил узнать, в чем дело. Увидевши, что сотворили с его красавицей-сестренкой, он сначала дернулся, точно ошпаренный, потом, как кляпом, заткнул рот кулаком и до боли закусил. Дикий крик застрял в глотке и зачах. Тогда Серго разжал челюсти и спросил очень спокойно:

— Церебовы?..

— А? — сказала Феруза, оборачиваясь на голос. — Это ты, Серго? Беда, сынок! Гляди, что с Диной...

— Церебовы?.. — повторил Серго все так же спокойно.

Дина, не замечая ни матери, ни брата, бормотала с придурковатым хихиканьем:

— Швырнул на землю... а их собака — ам!.. Как будто ей потроха кинули...

— Ну, всё, всё, доча, — ласково проговорила Феруза. — Мама здесь, мама рядом.

— Это Церебовы сделали или нет? — теряя выдержку, отрывисто спросил Серго, и только тогда Феруза ему ответила:

— Они, кто ж еще.

— И чувяки... — бормотала Дина. — Сама шила, сама носила, сама потеряла...

— А отец где? — спросил Серго, обводя комнату взглядом. — Папа, — позвал он. — Папа! — крикнул он, хотя уже все понял. Его опять точно ошпарило. — Куда вы отпустили старика, дуры?! — заорал он на женщин. — Его ж там на ремни порежут!..

Он выскочил на улицу и со всех ног кинулся к себе. На полпути резко остановился, досадливо цокнул и побежал в обратном направлении. Обежав отцовскую саклю, в которой снова были в два голоса, он перемахнул через плетень Моураовых и, как назло, угодил левым чувяком в какой-то горшок с водой. «В душу вашу, дышлом трахнутую...» — процедил он, стряхивая горшок с ноги, и напролом, топча горох и молодой лук, двинулся через огород. Вышибив коленом хлипкую калитку, он сейчас же поскользнулся, клацнув зубами, ткнулся локтем в свежую и оттого невыносимо вонючую коровью лепеху, сплюнул, вскочил и, перебежав через дорогу, забарабанил в окно своего двоюродного дяди, тоже Тмайнова.

— Болат! — закричал он. — Это я, Серго!

С той стороны растянутого на раме бычьего пузыря появилось хмурое, до глаз заросшее седой щетиной лицо Болата.

— Чего орешь? — лениво осведомился он. — Спать пора, а ты орешь.

— Отец... — тяжело дыша, выдавил Серго. — Пошел на Церебовых...

— Чего-о? — громко, как тугоухий, переспросил Болат. — Что ты несешь, мальчик? Какой отец? Чей отец? Леко, что ли?

Серго махнул рукой, словно отшвыривал его слова.

— Собирай всех, дядя... — сказал он. Он не просил, он требовал. — Всех, кто носит нашу фамилию... А я — попробую догнать. Его ж там на ремни...

На последнем слове голос дал маленького петуха. Серго дернул щекой и бросился вниз по улочке. Вдогонку услышал встревоженное:

— Что стряслось, ты можешь сказать?

— Дина! — не оборачиваясь, крикнул Серго.

Он ворвался к себе на скотный двор, как лиса в курятник. Две коровы с потомством и старенький битюг по прозвищу Буцефо пришли в необычайное волнение. Серго выбил из пазов доску, перегораживающую денник, ухватил Буцефо за длинную гриву и чуть не насилу вывел на улицу. Злой со сна Буцефо вздумал кусаться. Серго шлепнул его по влажным губам, хэкнув, вспрыгнул ему на спину и, зажав мощные бока коленями, дернул за гриву: пошел, мол. Буцефо, двенадцать лет проработавший с плугом, не понял, что от него требуется. «Н-но, твою мать!..» — взревел Серго, ударяя

коня пятками в бока, и только тогда Буцефо засеменил к заранее распахнутым воротам.

Проезжая мимо крыльца, Серго увидел, что там с горящей лучиной в руках стоит жена.

— А, Римма... — проговорил он торопливо. От бешеной беготни туда-сюда по аулу его уже трясло. — Там мама с Диной — поди помоги, ага?.. Я быстро: отца догоню и вернусь. А ты прямо сейчас и иди, хорошо?

— А-а... — начала было Римма, но Серго говорить ей не дал.

— Детей к Болату отведи, — сказал он, пригибаясь, чтобы не стукнуться лбом о воротную перекладину. — Пусть сегодня там поспят. И сама одна не оставайся, поняла?

Не дожидаясь ответа, он сильно ударил Буцефо по бокам. Битюг всхрапнул и, тяжело вставая на передние копыта, поскакал вниз к большой дороге.

Крепко уцепившись одной рукой за гриву и откинувшись для равновесия назад, Серго вдруг подумал: балбес я, балбес! Какого, спрашивается, ляда бегал я к Болату? Надо было Римме сказать — она б все передала. Только время потерял. Время... Отец, старый упрямец, ну куда ты один-то поперся? Не мог меня позвать?.. Ну ясно — совесть. Решил, что сам виноват. Дурак! Сам дурак, и сына таким же вырастил. Оружия — не взял, конь — мало того что тремя копытами в могиле, так еще и без седла, того и гляди — сбросит, сломаю шею к чертям...

На большой дороге битюг припустил, да так резво, что засвистело в ушах. Темнота вокруг стояла плотная, кромешная, и Серго полагался лишь на чутье старины Буцефо. Как-никак по этой дороге он с самого жеребьчества ходил: и ночью ходил, и днем ходил, и зимой, и летом. Выведет, подумал Серго уверенно. Ежели не хочет пойти на колбасу — должен вывести... Как тут Дина шла, вот что интересно. Может, ее того, привели? Ничего ведь не расспросил. Хотя толку от нее сейчас... Суки Церебовы, вечно им больше всех надо. Эх, отец, отец! Растревожишь гадюшник, сам поляжешь и гадюшник растревожишь. А надо бы собрать ребят, всех Тмайновых, пойти туда по-тихому и разом вычистить все начисто... И добро прикарманить.

Он не догнал отца. Остановивши вконец запыхавшегося коня у подъема в Тли, он внимательно обвел глазами рассыпанные в черноте огоньки. Тли был умиротворяюще тих. Одно из двух: либо отец сделал дело, либо дело сделало его. Либо никто в этом гадюшнике ничего еще не знает, либо знают все. Зарезали, значит, одного горе-мстителя, притаились и ждут следующего. Вот смеху будет, когда после старика к ним соплук безоружный явится. И почему я не взял кинжала? Неужели действительно надеялся догнать и развернуть?.. Серго вдруг явственно осознал, что еще немного рассуждений в том же духе — и он струсит. Черт бы подрал эту курицу, подумал он про Дину. С детства от нее одна головная боль... Он покусал губу и тронул коня.

Неторопливо забираясь все выше и глубже в аул, он искоса отмечал церебовские сакли, щедро разбросанные тут и там. Вот в этой, кажись, живет ихний шишка, полуслепой пердун лет под сто, неплохо живет и подыхать, как видно, не собирается — вона какие хоромы отгрохал, с каждым годом все выше. (На самом деле видно было лишь скопление горящих окон, но Серго как бы памятью лицезрел всю саклю целиком.) А вот здесь вроде башня ихняя должна стоять, в бойницах темно, то ли дрыхнут уже, то ли один скот в ней держат, богатины. А вот берлога того драчуна, который на сестриной свадьбе по пьянке расквасил Болату нос. Да, его. Десять сыновей у стервеца, а он все плодится, хвастал, что одиннадцатый на подходе. На племя их нам боги шлют, что ли?.. И тут он увидел отцовскую кобылку.

Он сразу понял, что кобылка именно отцовская, ни у кого больше в Мамисоне не было такой — серой в яблоках. Так же, как и Буцефо, без седла, она стояла у очередного, явно церебовского, двора и, поблескивая светлым взмыленным туловом, понуро выщипывала что-то под плетнем. Серго подъехал к ней вплотную и огляделся.

Тихо. То-то и оно. Он посмотрел во двор. Вроде здесь. Да, здесь, вон тот виноградник, Дина все жаловалась, что не приживается. Дверь на крыльце была приоткрыта, из проема выбивался ровный желтый свет. Идти — не идти? Слезать с коня не хотелось: как-никак в случае чего Буцефо был единственной надеждой на спасение. Серго снова помянул сестру нехорошим словом и, сделав над собой усилие, спрыгнул на землю.

И ничего не случилось. Никто не выскочил из темноты с арканом наготове, не повис на руках, не ударил громадной ступней в сгиб колена. Старательно подавляя в себе гнетущее чувство тревоги, Серго крадучись пересек двор и ступенька за ступенькой поднялся на крыльцо. Перед тем как войти, напоследок обернулся. Тихо. Дура Дина... Он взялся за край двери четырьмя пальцами, осторожно потянул и ступил через порог.

И опять, противу всяких ожиданий, ничего не произошло. Он беспрепятственно проследовал через сени в первую комнату и увидел отца. Отец живым-здоровым сидел на низеньком стуле и остановившимся взглядом смотрел себе под ноги. Под ногами у него валялись двое. Взрослый и мальчик лет тринадцати. Оба были неподвижны. Кровавая размазня жутким узором покрывала пол вокруг них, словно перед смертью эти двое пытались знаками и жестами описать то, что видят их потухающие глаза. Серго стряхнул с себя замешательство и позвал тихонько:

— Отец...

Тот не пошевелился.

— Отец, — повторил Серго громче и, не дождавшись ответа, зашипел: — Это я, Серго! Да очнись же ты!

Леко Тмайнов вздрогнул и повернул голову. Лицо у него было как бы разбито параличом.

— Сынок, — проговорил он одними губами, — гляди, что я наделал...

Серго невольно опустил глаза и сейчас же поднял обратно.

— Ну? Что?

— Мальчишку! — выдавил Леко Тмайнов с болью в голосе. — Мальчишку зря загубил!

Серго вознамерился было спросить, а кто это, собственно, такой, но отец пояснил и так:

— Племяш... Прислали к дядьке за табаком, а дядька уже... булькает. Вы кто? — спрашивает. И сам же отвечает: душегуб, говорит, вот кто вы... И вижу: удрать хочет... хочет да не может — ноги не идут. Зайчонок... — Леко Тмайнов страдальчески сморщился и замотал головой. — О-ох, лучше бы он удрал! Лучше бы его конь сбросил и к постели на всю жизнь приковал! Какой бес его сюда направил, какой бес?..

Следя за тем, чтобы, упаси бог, не наступить на кровавые разводы, Серго приблизился к отцу. Отец все казнился. Совсем расклеился старик, с жалостью подумал Серго и, положивши руку на отцовское плечо, сказал доверительно:

— Так им и надо. Сами виноваты.

Леко Тмайнов вскинул на него глаза, полные муки:

— Да как же ты не понимаешь, сынок? Это ж война, война! Теперь уж не замаять.

— А ты что, — опешил Серго, — собирался замаять? После того, что они... с Диной?!

Леко Тмайнов с чмокающим звуком открыл рот, но промолчал. Голова его тяжело упала на грудь, и глубокие морщины, прорезавшие шею и бритый затылок, разгладились, сделавшись просто белыми линиями на смуглой от загара коже.

— Всех вырежем, — мрачно сказал Серго, глядя на эти линии. — И добро прикарманам.

— Лопу-ух, — протянул Леко Тмайнов, но так тихо и невнятно, что Серго не сразу понял, про кого это он, а когда понял, отец уже снова смотрел на него. И в глазах его больше не было муки. — «Вырежем!» — повторил он ворчливо. — «Прикарманим!» Вырастил на свою голову... Может, ты еще и рад, что повод нашелся, а?

Пришло время Серго чмокать губами.

— Понятно, — сказал Леко Тмайнов уничижительно. — Давай бери мою шашку и пошли.

Серго заозирался.

— Да вон же, на столе, — показал Леко Тмайнов и попытался встать. — Зар-раза! — прохрипел он, падая обратно на стул. — Сначала помоги подняться...

— Ты ранен? — встревожился Серго.

— Нет, расстроен! Ведь у меня сын — дурень!.. Дай руку!

Серго помог отцу подняться. Старик пыхтел, кряхтел и кривился, вся левая сторона бешмета у него, оказывается, промокла от крови.

— Ты ранен, — сказал Серго уже утвердительно.

— А ты — дурень, — буркнул Леко Тмайнов. — Зачем безоружным приперся?

— Я...

— Шашку не забудь — я! — перебил Леко Тмайнов, отодвинул сына и немного изменившейся походкой направился к выходу. — Ну, что встал? — буркнул он, не оборачиваясь.

Забыв про кровь на полу, Серго послушно кинулся за шашкой и, конечно же, поскользнулся, немедленно узнав, что он чурбан колченогий. Отец снова был самым собой — склочным стариканом, любящим покомандовать и вечно недовольным качеством исполнения его команд. Серго не знал, радоваться этому или огорчаться.

Он нагнал отца уже у калитки — тот, кряхтя, взбирался на свою кобылку. Кобылка беспокойно переминалась, запах крови ее тревожил. Оказавшись верхом, Леко Тмайнов протянул к сыну руку и сказал:

— Давай сюда.

Серго передал ему шашку и подошел к Буцефо. Уже взявшись за гриву, он вдруг замер.

— Ну, чего еще? — недовольно осведомился отец.

Серго не ответил. Он стоял, уставившись перед собой невидящими глазами. Потом пробормотал: «Я сейчас...» и бросился обратно во двор. Отец зашипел что-то протестующее, но Серго прослушал. Остановившись посреди двора, он завертел головой. Чахлый свет из дверного проема освещал краешек стоптанного порога да два столба от навеса, обвитые молодым виноградом, — все остальное утопало в темноте.

— Куть-куть-куть, — позвал Серго как можно более ласково.

— Ты что, белены объелся? — донеслось отцовское шипение. — Ну-ка, живо на коня!

— Куть-куть-куть, — повторил Серго почти с отчаянием, и тут показалась та, кого он подзывал.

Она вынырнула из темноты слева и, с робким дружелюбием виляя хвостом, приблизилась к Серго. Нос и глаза у нее влажно поблескивали, на шее болтался веревочный ошейник с пустующей петлей. Серго дождался, когда она по звериной привычке опустит мордочку, чтобы понюхать носок его чувяка, после чего резко поднял этот чувяк и с силой обрушил на прилизанный хребет. Шавка взвизгнула, рванулась из-под чувяка, вывернувшись и поползла прочь на передних лапах — задние безжизненно волочились по земле. Серго поглядел на это со странной смесью гадливости и удовлетворения, потом шаркнул по траве подошвой (ему показалось, что на нее что-то налипло) и быстро вышел за калитку. Вспрыгнув на коня, он сказал отцу:

— Ну? Едем, что ли?

— Едем, — отозвался отец с запинкой. И, помолчав, добавил: — Да уж...

Они уже тронулись, когда впереди послышались шаги: кто-то приближался. Судя по размеру светлой, чуть различимой в темноте фигуры, — мужчина. С той стороны, откуда он шел, не очень далеко, но и не близко, доносились еще шаги и веселый говорок впережку с хихиканьем.

— Молчи, я говорю, — успел шепнуть сыну Леко Тмайнов, и в следующую секунду подхопивший заорал пьяным и оттого страшно жизнерадостным голосом:

— Мир вам, добрые люди! Кто это заглянул к моему брательнику посреди ночи? Сознавайтесь!

Не дожидаясь ответа, кричавший приблизился к кобылке Леко Тмайнова и задрал лицо, вглядываясь.

— Ба! — воскликнул он. — Да это никак Динин папаша! Дочку решил проведать, а?

— Решил вот, — отозвался Леко Тмайнов сдержанно.

— Ну, и как она — домой не того?

— Все — того.

— Что верно, то верно. Но это не повод обижать нашу скотинку. Да-да, я слышал! Зачем собаку до слез довели?

— Больно кусачая она у вас.

Жизнерадостный хохотнул.

— А у нас в Тли все собаки такие, — заявил он хвастливо. — Вот у Мурата... Мурат... — Он оглянулся через плечо и, никого там не обнаружив, закричал протяжно, как заблудившийся: — Му-у-ура-ат!

— А-а-а, — донеслось из темноты.

— Не акай — слепень залетит! Ходи сюда!

— Что такое?

— Ходи, ходи! Расскажешь людям, какой у тебя замечательный пес!

— Чего?

— Говорю, расскажешь, какой у тебя замечательный пес!

— Чего?

— Ты что там, издеваешься? — разозлился жизнерадостный. — Ходи сюда, говорю!

В темноте заржали в две глотки, потом Мурат прокричал басом: «Сам рассказывай!» И жизнерадостный, мигом остыв, принялся рассказывать:

— Зовут его Каштар. А-агромный, что твой теля. Жрет за троих, а когда не дают — отбирает. Взмахом хвоста однажды петуха насмерть убил. Волчицы им сеголеток пугают. А ежели Мурат скомандует: «Взять!» — так он вскакивает, вертит мордой и рычит: «К-кого?!..»

Жизнерадостный выгнулся дугой и раскатисто захохотал, предлагая Тмайновым присоединиться к нему.

Тмайновы хранили молчание.

— Да-а... — протянул тогда жизнерадостный. — А я вот иду сыну уши драть. Послал его, понимаешь, за табаком, а он — как в воду канул. Не видели его, случаем?

Леко Тмайнов издал такой звук, словно подавился, и возникшая пауза угрожающе затянулась.

— Он-н... в сакле, — подал голос Серго.

Жизнерадостный сейчас же повернул к нему лицо — неясное бледное пятно во тьме.

— В сакле? Что же он, паршивец, не выходит? С дядькой на пару запил? Зелен еще... Абе! — крикнул он в сторону церебовской сакли и на несколько секунд замолк, ожидая отклика. — Ох, он у меня попля-ашет, — проговорил он многообещающе. — Отцу, понимаешь, табака принести не может. И это сейчас, а что будет, когда я состарюсь?

Серго понимал, что их хотят разговорить. И еще он понимал, что жизнерадостный хоть и пьян, но отнюдь не дурак. Болтовня болтовней, а жизнерадостность его явно идет на убыль, еще немного — и останется от нее одно воспоминание. А уж когда он про сына узнает... У Серго вдруг пересохло в горле; ему ужасно, почти до иступления, до крика, захотелось ударить Буцефо по бокам. Он едва сдержался. Сердце отчаянно

бухало где-то внизу живота, похолодевший затылок свело, и черт знает, чем бы все закончилось, если бы жизнерадостный не воскликнул изумленно:

— Первый раз такое наблюдаю! Что это вы, мужики, — без седел? Почему — без седел?..

Попались, малодушно подумал Серго, и ему почудилось, что он со страху ляпнул это вслух. Но он не успел как следует испугаться. Отец вдруг резко и непонятно хэкнул, и Серго увидел, как жизнерадостный, всплеснув руками, валится во тьму, сливаясь с ней воедино. Кобылка под отцом взбрыкнула, рванулась и пропала. «Н-но!» — рывкнул Серго секундой позже. Волглая темнота ударилась о лицо и, обдирая уши, понеслась назад.

Страх сдуло почти сразу. Появилось возбуждение, задорное, бодрящее, все внутри у Серго плясало в каком-то дьявольском веселье: хотелось махать рукой, орать, выставив кадык, нечленораздельное и погонять, погонять проклятую клячу, йя, йя, давай, старина, давай, родимый, во весь опор, вспомни молодость, вот так, вот так, по ихним черепушкам, раздробим челюсти, в землю вобьем, с дерьмом смешаем... От бешеной тряски он прикусил изнутри щеку, и рот сразу наполнился кровью. Он сплюнул, хохотнул гортанно и снова ударил коня пятками.

И тут впереди во тьме что-то с коротким шмяком упало на землю. Отец! — понял он. Остановиться на такой скорости да на такой дороге — спуск, грязь — было невозможно, поэтому Серго отчаянно дернул за гриву, пытаясь повернуть конскую морду хоть немного, хоть на чуточку влево и тем выпутаться. Получилось. Жесткий клок гривы, застрявший под ногтем среднего пальца, переломил ноготь пополам, но отца Серго все-таки спас, не затоптал копытами.

Буцефо еще не остановился, а Серго уже спешился и, вытаращив бесполезные глаза, бежал назад, где в грязи с глухим оханьем возился отец. Черт, черт, черт! — ныло в голове и просилось на язык, а вокруг, точно в припадке падучей, дергались и прыгали желтые прямоугольники. И почему это жизнерадостный молчит? — мелькнуло где-то на самом краю сознания, потом ноги вдруг врезались в податливый отцовский бок, и Серго, мгновенно сжавшись в ожидании страшного удара, полетел в грязь.

Удар, впрочем, был несильный, скорее обидный — так оплошать! Еще этот старикан — кроет, сволочь, словно я его тут не спасаю, а добиваю из милости... Встав на карачки, Серго пополз на голос («Так тебя и не так, сопляк ногастый, безголовый!..»), нащупал сначала скользкую отцовскую ноговицу, потом, продолжая ощупывать, добрался до плеча. Плечо тоже было сплошь в грязи. Специально он, что ли, вымазался? Или это я — мои ладони? Он поднялся, расставил ноги пошире, склонился, обхватил отца под мышками («Да напрягай уже свои культяпки!..») и, увязая в жиже по щиколотки, с натугой выпрямился. Еле-еле устоял. Если б отец не помогал, вряд ли что получилось бы. Подставив плечо, он обнял старика одной рукой («С-с-с, выше, выше, скотина!..»), другой — сжал кисть, безвольно болтающуюся перед лицом, и кое-как двинулся. Старик валился, но шел. Выскальзывал, но шел. И матерился, конечно. Злоба всегда придавала ему сил. Леко без злобы — и не Леко вовсе. Вот и сейчас — бурчит над ухом всякие гадости, а ноги свои старые, молю траченные, переставляет. Переставляй, переставляй, папаня, и бурчать не забывай. Хоть и без тебя давно знаю, кто я и почему от своей родительницы произошел, но ты все равно говори — напоминай, растолковывай, авось надоест слушать и умнеть начну.

Они всё спускались, в четыре ноги меся грязь, а мимо только желтые огни проплывали — мирно проплывали, безо всякой падучей. Зараза, где же эта кляча? Неужели удрал мой Буцефо? Ни в жизнь не поверю. И почему это жизнерадостный молчит? Не должен он молчать. Ему, понимаешь, пяткой в морду заехали, а он...

И тут раздался крик.

Протяжный, исполненный непреодолимой жажды уничтожения, он вспорол аульную тишину, в мгновение ока разросся и, отталкиваемый отовсюду, спиралью

ушел ввысь, и запоздалое эхо, как отбившийся от табуна стригунок, принялось выкликать родителя.

— Нашел, — изрек отец с непонятным удовлетворением.

Чувствуя, как спина увеличивается в размерах, Серго спросил испуганно:

— Что нашел?

— Сына, дурень!

Когда до Серго, наконец, дошло, о каком сыне идет речь, спина его была уже во всю ширину аула — белая, гладкая, бесконечно уязвимая.

— Пошли, — глухо проговорил он, шагнул и неожиданно для себя завопил плачущим голосом: — Да шевели ты копытами, бога ради!..

Они с удвоенным усердием принялись месить грязь, вразной сипя, едва успевая подставлять ноги под падающие туловища. Позади опять было тихо, но уже как-то по-другому: теперь это было именно затишье. Жуть как хотелось обернуться и лицом встретить исход этого затишья, но неведомая сила, во сто крат мощнее всякого желания, гнала прочь, вниз, подальше отсюда.

— Шашку, жалко, выронил, — прохрипел отец в самое ухо. — Без нее точно не пробьемся.

Серго только харкнул гадливо. Он и сам понимал, что им не выбраться, что этим своим смехотворным забегом они лишь отсрочивают неизбежное. Чхать на шашку, без Буцефо им даже до большой дороги не дотянуть — обязательно догонят, окружают и забьют, как цуциков. А может, и не забьют — помучают для начала... Мать моя мамочка, подумал вдруг Серго с тихим, нарастающим отчаянием. Жить-то как хочется! Я ведь и не пожил-то толком! Мне ведь еще дышать и дышать, с женой любиться, детей на ноги подымать!.. Тут он похолодел от какого-то нехорошего предчувствия и, разом оборвав все эти нюни, внушающе сказал себе: и не думай, сволочь, пусть даже он сам попросит, прикажет тебе на правах старшего, не смей — ты слышишь? — не смей его бросать!..

А позади уже перекликались резкими каркающими голосами, ржали разбуженные лошади, хлопали двери и вроде даже заголосила и сейчас же смолкла какая-то баба.

— Ты вот что, сынок... — начал было отец увещевающим тоном, но Серго, готовый к этому, свирепо перебил его:

— Заткнись! Либо оба уйдем, либо оба ляжем, понял? — К горлу подкатило что-то горько-постыдное, и он закричал, срываясь на плач: — Понял?!

— Лопух, — с тоской сказал Леко Тмайнов и больше ничего не говорил.

Топот копыт за спиной становился все отчетливее — не менее пяти всадников, пронзительно гикая, нагоняли их. Оборачиваться больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. И все глубже погружаясь в это странное, полное блаженного безразличия состояние, Серго вдруг подумал — отрешенно, словно и не о себе даже: плевать, что не пожил, плевать, что недолюбил, и на детей плевать — сами как-нибудь на ноги встанут... но вам, гниды церебовские, я так просто не дам, я вас, сучьи вы потрохи, и живым искусаю, и мертвым кусать буду — гнилые ваши сердца буду кусать, пока не сдохнете, а там и поквитаемся по-настоящему...

— Всё, сынок, пора, — прохрипел отец. В голосе его появилось нечто отдаленно напоминающее родительскую ласку.

Мысленно усмехаясь этой ласке, Серго свернул на обочину, отпустил старика (тот сразу же осел, точно в яму провалился), затем выбежал обратно на дорогу и, зачерпнув рукой комок грязи из-под ног, встал лицом к преследователям. Ни зги не было видно. Лишь надвигающийся топот, гики, всхрапы, а по сторонам этой гнусной катавасии — неподвижные желтые прямоугольники.

— Ну, давайте, давайте... — со злоеющим весельем проговорил Серго, взвешивая на ладони холодный склизкий ком. Ему вдруг стало интересно, собьет он всадника или промажет. В детстве, помнится, он был первым стрелком среди тибской ребятни. —

Ну, давайте, давайте... — повторил он нетерпеливо, становясь к преследователям вполоборота и отводя руку для броска.

Он знал, что это конец. И он был горд, что встречает его именно так — с улыбкой и нетерпением. Да, думал он беспорядочно. Конечно. Сбить не собою, но — да. Все правильно... Вот уже дрожь сообщилась от земли ступням, вот уже гики и всхрапы сделались почти оглушающими, — Серго глубоко втянул ноздрями освежающую сырость, помедлил секунду и резко, на выдохе, едва не вывихивая себе плечо, швырнул распадающийся на лету ком навстречу надвигающейся смерти.

Он ясно услышал влажный шлепок и одновременно с этим — жалобный вскрик. Ничего приятнее он отродясь не слышал. Да-а! — ликующе подумал он, всем существом устремляясь напрямик на этот вскрик. Вот я каков! — думал он, сгибая руки в локтях и растопыривая пальцы. Оставалось последнее, простенькое: ухватить сукина сына за что-нибудь, сдернуть с лошади, навалиться и стиснуть пальцы на поганом горле... О как он этого желал! Женщины никто так не желает, как он желал вцепиться в поганое церебовское горло!

В следующую секунду что-то произошло. Что-то громкое, резкое и жутко болючее, похожее на хруст кости. Он смутно сознавал, что лошадиный корпус ударил его в плечо, но, слава богу, не подмял, не бросил под копыта, а лишь со страшной силой отшвырнул в сторону... И еще он сознавал, что, несмотря на это столкновение, он изловчился-таки цапнуть проклятого всадника за рукав и теперь, падая, тянет его за собой. Он даже успел обрадоваться.

Потом был удар о землю. Сдернутый с лошади шумно плюхнулся рядом и сразу же вознамерился куда-то уползти. Врешь — не уйдешь! Не выпуская из пальцев трофейного рукава, Серго грудью налез на поверженного и носом, губами, подбородком принялся шарить, отыскивая, где, в какой стороне этого темного отбивающегося царства находится горло. Вокруг грохотало и вспыхивало, но Серго, упоенный боевой горячкой, не обращал на это внимания. И когда щеку его царапнула жесткая, отнюдь не юношеская борода, под которой явственно ощущалось жадное биение жизни, он выпустил ненужный рукав и с каким-то облегченным полувыдохом-полустоном сомкнул пальцы там, где так желал. Темнота под ним захрипела, задергалась, принялась пихать его в грудь и царапать лицо. Врешь, падаль! — подумал Серго, мотая головой. Ни за что не отпущу!

Плотность шума вокруг достигла тем временем немислимого предела. Творилось что-то непонятное: грохали ружейные выстрелы, ржали лошади, лаяли собаки, орали люди на разные лады — испуганно, удивленно, разъяренно, подбадривающе, преодолевая боль, грязно матерясь и черт знает как еще. Серго ничего не понимал, да и не до этого было. В голове намертво засело, что всё, это конец, что другого случая уже не представится, и если не забрать с собой хотя бы одного сукина сына, жизнь, считай, отдана зазря. Он не хотел отдавать жизнь зазря и поэтому изо всех сил сдавливал крепкое мускулистое горло, а удушасмый, хрипя и брызгаясь, все тянулся обеими пятернями к его лицу, царапал ему щеки, рвал губы, хватался и дергал за нижнюю челюсть, а Серго, предельно задрал голову, и так и сак вертел подбородком, пытаясь уберечь хотя бы глаза...

Все прекратилось с новым ударом. Серго вдруг сбило с лежачего и, трепля, как баловник сестрину куклу, протащило по грязи несколько шагов. Ошеломленный от чудовищной слепящей боли, плохо соображая, что он делает, Серго приподнялся на локтях и, увязая в хлюпком месиве, пополз туда, где страдальчески кашлял недодушенный всадник. В том, что всадник до сих пор кашлял, было что-то неправильное, противоестественное что-то. С этим нужно было кончать. Немедленно. Прямо сейчас... Серго уже нашупал содрогающуюся спину, уже навалился на нее, безо всякого усилия подминая под себя, как вдруг несколько рук схватили его сзади за

шиворот и за плечи, рванули раз, другой, безжалостно, точно засохшую повязку от раны, отодрали от всадника и, не мешкая, потянули прочь.

Серго не сразу понял, что визжит, почти плачет. Его лишили добычи. Лишили возможности умереть как подобает. Теперь умертвят кого угодно — только не мужчину. Даже если бы он струсил, оставил бы отца на съедение этим тварям, — даже тогда было бы лучше: струсив, он мог хотя бы опомниться — не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра вернулся бы сюда с оружием и оправдался бы задним числом. А сейчас...

— Я-а-ар-рх-хи-и-и-и! — дико визжал он, изо всех сил суча ногами, выгибая спину и колотясь затылком о предплечья волочащих его людей. Ему больно задевали бока, перехватывали руки, которыми он цеплялся за скользкие чувяки, чапающие справа и слева, а кто-то непомерно огромный, нависнув над ним потной, невидимой в ночи тучей, орал что-то прямо ему в лицо, и сначала Серго не желал знать, чего именно домогается этот церебовский переросток, а потом в глотке что-то болезненно надорвалось, визг сменился сипом, и Серго услышал:

— ...Да приди же в себя, мальчик! Где твой отец, я спрашиваю? Где Леко? Я тебе сейчас зубы повыбиваю — прекращай вертеться!..

Это был Болат, всего лишь Болат. Дядька. Родимый. Прибег. Успел. Не оставил. По гроб жизни не забуду. От нахлынувшего облегчения Серго на несколько сладостных мгновений потерял сознание, а когда, вздрогнув, очнулся, от него уже ничего не требовалось. Вокруг все так же грохали выстрелы, орали люди, ржали лошади, лаяли собаки по всему аулу, его, Серго, все так же волокли по грязи, а дядя Болат, судя по голосу, отвернулся куда-то вправо и обрадованно, точно новоиспеченный папаша, ревел:

— Ну наконец-то! Жив, Леко? Тащите, тащите его к большой дороге! — и сразу же — Серго: — Молодец, мальчик! Уберег старика! Вот что значит тмайновская порода!.. Слышите, вы! — прокричал он, перекрывая все шумы. — Это не ваши сучьи выродки, кромсающие своих жен и выгоняющие их из дому! Это Тмайновы! И мы еще сюда наведемся!

Его слова произвели эффект. Стрельба, как по мановению, стихла, а плотность ора, напротив, приняла вдруг необычайный размах. Заорали все, разом, и Тмайновы, и Церебовы, всего — не меньше тридцати глоток:

— Ты у меня кр-ровью умоешься, голодранец! Это я к тебе наведуясь!

— Чтоб ты ослеп, коли наведешься без приглашения!

— Тото! Где Тото? Тото! Тото!..

— Пусть сгниет грудь того... кто... в меня...

— ...Решили Таму ухлопать? Я сам кого хочешь ухлопаю!

— Ножами р-режьте, конями р-рвите — не спрячетесь! Я вас, гнид, из-под земли!..

— Чей это конь такой хороший? Ты чей, а? Церебовский, говоришь? А вот и неправильно! Отныне Ирбека ты конь. Запомнил?

— Тото! Тото! Тото! Отзовись, Тото! Тото!..

— Ирбек, а Ирбек! Мне тоже коняшку захвати!

— Тмайновские выродки, голодранцы, жрущие собственное дерьмо, валите отсюда на хрен, пока вам ноги не выдернули!

— Ты чё такой громкий, а? Добавки захотел, овечий сожитель?

— Я тебя, ублюдка, только за это укукошу! Ты! Я узнал твой голос!

— А меня, меня узнал? Это я! Который к твоей жене наемни приходил! Она не рассказывала? Неблагодарная!

— Тото! Тото! Тото! Тото!..

— Да выпадут ваши оборванские усы и иссякнет ваше оборванское семя!

— Э-э, опять ругается... Колючки вырастут в твоём очаге за эти слова!

— Ну-ка, пусти... Женщиной, что меня породила, клянусь: ни один засранец из вашей зас... Да пусти, чтоб тебя!..

— Ты, который Дабе убил! Я до тебя доберусь, слышишь? Доберусь, зарежу и possu тебе на рожу!

— Не горюй, мы тебе другого братика заделаем!.. Или это была сестра?

— То-ото-о-о!..

Послушав это с полминуты, Серго не вытерпел. Грудную клетку прямо-таки разрывало от какого-то сумасшедшего злобного торжества. Он разинул рот и, задыхаясь, проорал в пространство:

— За каждую каплю тмайновской крови будете держать ответ!

Угроза его, никем не услышанная, потонула в общем реве. Немного расстроенный этим, Серго вознамерился было все повторить, слово в слово, громче и истовей, чтобы аж самого пробрало, но тут его снова стало затягивать в сладостное опустошающее забытие, которое — он знал — будет уже не таким кратким, как первое. Он сопротивлялся всего несколько секунд, и пока длилось это заведомо обреченное сопротивление, чей-то резкий иступленно-рыдающий голос, ясно выделявшийся из общего гама, ломился в угасающее сознание, однако, несмотря на всю свою иступленность, почему-то лишь убаюкивал Серго, как когда-то убаюкивала его мамина колыбельная. «Ползите, ползите в ту нору, твари, — убаюкивал голос, — туда, откуда вы вылезли, и ждите, когда к вам явлюсь я, Тотырбек Церебов, отец Абе, которого вы сегодня погубили!..» Которого мы сегодня погубили, умиротворенно повторил про себя Серго и перестал что-либо сознавать.

3

Когда Тотырбек Церебов увидел, что случилось с его первенцем, разум его помутился. Если бы от горя можно было умереть, он бы наверняка умер — рухнул бы между Абе и Заурбеком и был бы только счастлив разделить их судьбу. О, если бы все делалось по его, Тотырбека, хотенью! Всего, ну абсолютно всего можно было бы избежать! Достаточно было не посылать мальчика за табаком. Или не напиваться. Или просто сходить до брата самому, раз уж так занадобилось подымить перед сном. Недалеко ведь было, видит бог — недалеко. А там — в бараний рог и Леко, и сопляка того, на битюге. Пьянь, пьянь беспробудная, а не мужчина! Не уберег — ни сына, ни брата, никого...

Он смутно помнил, что было дальше, после того как он увидел и до конца поверил в то, что видит. Кажется, он закричал. Кажется, начал рвать на себе бороду. Кажется, на шум прибежал Мурат, встряхнул его как щенка и погнал за лошадью. Кажется, он ни в какую не хотел отходить от сына, а потом все же очутился каким-то образом дома, и жена мгновенно узнала обо всем — без слов, просто по его, Тотырбека, помертвевшей, в кровь истерзанной роже поняла: случилось непоправимое. Кажется, он дал ей пощечину, чтобы заткнулась. Кажется, он готов был убить ее, если она издаст еще хотя бы один звук. Кажется, она поняла это и, покорно замолкнув, бросилась вон из сакли — искать свое дитя, надо полагать. Кажется, он дрожащими руками заряжал потом ружье, и сухой черный порошок сыпался куда угодно, только не в канал ствола. Кажется, он ахнул проклятое ружье о стену и побежал на скотный двор так. Кажется, Мурат, уже будучи верхом, преградил дорогу его лошади и принялся внушать ему что-то насчет десяти человек. Кажется, он отобрал у Мурата ружье и поскакал один... нет, не один — Мурат его, конечно, не оставил, одно слово — Церебов...

И только когда комок грязи, точно мокрой тряпкой, хлестко, до искр, шлепнул по лицу, Тотырбек пришел в себя. Как от кошмара пробудился. Но было поздно: ловкач, метнувший грязь, уже сдернул его с лошади. Как этот урод ухитрился

проделать такое в темноте да на полном скаку — пес знает. Так или иначе, Тотырбек, выронив ружье, рухнул в грязь, а ловкач, сопя, как шакал, обнюхивающий мертвечину и прикидывающий, где половчее куснуть, сейчас же налез на него, гнусными суетливыми телодвижениями отыскал горло и принялся душить.

Да-а, явь была пострашнее любого кошмара. Тотырбек понял, что его вот-вот не станет. Но не этого он испугался. Абе. Бедный мальчик так и останется неотмщенным. Ведь не Мурат, не какой-нибудь «троюродный брат дядькиного шурина», а он, Тотырбек Церебов, обязан отплатить за причиненное зло. Это его долг. Как мужчины. Как отца. Как мужа женщины, у которой убили сына... Он принялся отчаянно сопротивляться, но куда там — явь оказалась той еще стервой. Плевать ей было на убиенных детей, на гнев отцов, на слезы матерей... Стерва и есть...

И словно отвечая на это обвинение, возмущенная явь вмешалась. Ловкача вдруг — как крошки со стола — смахнуло с Тотырбека. Ш-шик — и нету! Кажется, это была лошадь. А может, и человек. Нет, все же лошадь — перепугалась, бедняжка, пальбы. Погоди — пальба? Какая еще пальба? Тотырбек никак не мог вдохнуть — глотка словно горячим песком засорилась, — но невзирая на это он все же сумел разобраться — какая пальба. Ага. Схлестнулись, стало быть. Молодцы. Ей-богу, молодцы родственнички! Дайте мне откашляться, откашляться мне только дайте, я вам покажу, как этих уродов давить надо...

Тут настырный ловкач, которому явно не хватило перепуганной лошади, снова налез на него, но и на этот раз все обошлось. Не успел ловкач навалиться как следует, его сейчас же насилу отодрали и потащили куда-то, а он обиженно — ну прям как малый ребенок, у которого старшие братья отняли лакомство, — завизжал, требуя справедливости. Кол тебе, а не справедливость, злорадно подумал Тотырбек, жалея, что не может прокричать этого во всю глотку. Теперь моя очередь. Теперь я тебя обнимать стану... Зараза, куда они его? Э, доброхоты! Тащите назад, он мне здесь нужен... Проклятье, они его что, вместе с воздухом уволокли?

Кругом осатанело галдели, гоняя уродливое эхо по всему аулу. Черт бы свихнулся, разбираясь, где в этом крошечном многоголосье свои, а где — чужие. Но вот Тотырбек уловил знакомый, вечно простуженный бас, который встревоженно, ни на секунду не умолкая, выкликал какого-то Тото: «Отзовись, Тото! Тото! Тото!..» Тото — это я, сказал себе Тотырбек. Это меня зовут — Мурат зовет, помочь хочет... Он пополз на зов. Вдыхать получалось через раз и только наполовину и с огромным трудом. На выдохе из груди вырывался раскаленный не то сип, не то клекот. Глотка, поди, давно обуглилась. Нет, не доползу я до Мурата, изнутри сгорю. Да и на кой он мне? Абе. Вот о ком думать надо. Убийцы — вон, чуть ли не в лицо смеются, а я... Он обессиленно перевернулся на спину и, погрузивши затылок в грязь, оголил горло. Ну, давай, давай, работай, чертово хайло!

И хайло заработало. Первый, по-настоящему глубокий вдох был похож на глоток кипятка. На какую-то долю секунды Тотырбек, забыв о сыне, пожелал умереть — до того было больно. Но все быстро прошло, боль съезжилась, поутихла, сделалась вполне терпимой — он вытянул ноги и задышал, глубоко и старательно, как будто только что вынырнул на поверхность ледяного озера.

— Тото, Тото, Тото!.. — надрывался Мурат совсем рядом.

Тотырбек не отзывался, хотя уже был в состоянии это сделать. Сына потерял, брата — тоже, с горечью думал он, вылавливая из общего гомона дерзкие выкрики Тмайновых, которые так и кичились, что вот они, такие разудалые, застали Церебовых врасплох в их же собственном ауле. Почему так случилось? — спрашивал он себя. Неужели из-за меня?.. Ну да. Ведь это я с Леко шутики шутил, когда у того на чувяках еще не остыла кровь моего мальчика. Теперь валяюсь вот в грязи, жалкий недобиток, а хмель из головы — смех и грех! — так и не выветрился... И вдруг он почувствовал такой уничижающий позор, такую обиду и досаду, что ему снова стало трудно дышать. Он

ненавидел себя, ненавидел всей душой. Но еще больше он ненавидел Тмайновых. Все они, от мала до велика, подлежали истреблению. Задохнуться можно было от осознания этой простой, в сущности, мысли. И он бы обязательно задохнулся, если бы срочно не облек губительный излишек ненависти в слова; он закричал:

— Ползите, ползите в ту нору, твари, туда, откуда вы вылезли, и ждите, когда к вам явлюсь я, Тотырбек Церебов, отец Абе, которого вы сегодня погубили!

Выдавив из себя последнее слово, он с мучительным облегчением закашлялся, а тут и Мурат прибежал — нащупал его в темноте, схватил под мышки и, пыхтя, поволок куда-то. Тотырбек не сопротивлялся. Крик словно от чего-то освободил его. В голове было ясно и просторно, как после продолжительной болезни. Теперь он точно знал, что будет дальше, и знание это переполняло его каким-то старческим спокойствием. Давно бы так, подумал он и, подняв лицо, сказал Мурату:

— Тпр-р.

Вокруг стоял гомон, но Мурат услышал и подчинился.

— Присядь, — сказал Тотырбек.

Мурат послушно присел, придвинулся к нему вплотную и утешающе забубнил:

— Досталось тебе, Тото, как никому досталось. Но ты не того, не раскисай. Мы еще отыграемся, мы так еще отыграемся...

— Замолкни, — спокойно велел Тотырбек, и Мурат, несмотря на явную грубость (а возможно, и благодаря ей), снова подчинился. — Собирай мужиков, — сказал Тотырбек. — Никаких кунаков — одни Церебовы. Не меньше шести, не старше сорока. Жду вас...

— По темноте собрался справедливость наводить? — проворчал Мурат. Тотырбек дал ему договорить, помедлил и договорил сам:

— Жду вас здесь — верхом и при оружии. Ежели молодежь набиваться станет, шли к черту. И вообще — меньше пыли. Сейчас Старик всех созовет — разбираться будет, из-за чего сыр-бор. Так вот, мы к нему не идем.

— То есть как? — удивился Мурат. — Ты что, в одиночку решил Тмайновых перебить?

— Ежели ты не со мной, то — да, в одиночку.

— Ох, Тото, Тото... — начал Мурат с тоскливым осуждением, но Тотырбек спокойно прервал его:

— Не надо. Не сейчас. Просто скажи: со мной ты или нет?

— С тобой, с тобой, конечно!.. Но-о...

— Что — но?

— Старик, — сказал Мурат с нажимом. — Мы и так дел наворотили. Нет чтобы сразу всех на уши поставить, скопом навалиться... Они ведь Дабе — того. И Хэтага. И парня — как его? — ну сынка маменькиного...

— И Абе, — терпеливо напомнил Тотырбек. — А ты, голубчик мой, собираешься разговоры разговаривать, выяснять, из-за чего тмайновская чернь вдруг взбесилась.

— А и в самом деле, — пробормотал Мурат, — чего это они?..

— Да какая разница?! — закричал Тотырбек. — Абе убили! Помнишь еще такого? Это тот мальчуган, который дергал тебя за усы, когда был маленьким. Который два года кланчил у тебя ружье, а когда наконец получил, уронил его в реку. А потом пришел к тебе и сам протянул розгу. Который за таба... — Тут он осекся, но сразу взял себя в руки. — Который за табаком пошел, — докончил он беспощадно. — Не хотел, спать уже собирался, а — пошел: папа попросил. Ты, дядюшка, тоже, между прочим, должен был употребить тот табак — забыл? Самый дорогой табак в Мамисоне! — провозгласил он, презирая себя за это комедиантство. — Да что там Мамисон — в мире! Жизнь ребенка за полкисета, а? Ты как, в трубку бы забил или натёр и — в ноздрю?

— Ни слова больше, — выдал Мурат страшным голосом. — Ты — отец, да... но лучше молчи.

— Во-от, — удовлетворенно протянул Тотырбек. — По-онял наконец. Плевать на темноту и на все остальное, а значит, быстро-быстро собирай ребят и веди их сюда. — Он помедлил. — Ну!

Мурат тяжело вздохнул, как бы говоря: «Так и быть, Тото, сделаем по-твоему», потом поднялся и убежал куда-то вправо.

Галдеж между тем заметно поредел. Орали теперь по большей части Церебовы; Тмайновы спешно, но организованно отходили к большой дороге — огрызаться огрызались, но уже без прежнего воодушевления. Тотырбек слушал так, вполуха, и, в общем и целом, спокойно, хотя давалось ему это ой как нелегко: убийца Абе как-никак был среди отступающих. «Ничего», — проговорил он вслух и вдруг обнаружил, что смотрит только одним глазом. Он ощупал лицо. Правая глазница, оказывается, была залеплена толстым слоем грязи. «Чтоб у тебя р-руки отсохли!» — с сердцем пожелал он ловкачу и принялся аккуратно выковыривать грязь из глазницы. Когда выковырилась основная масса, он отшвырнул ее в сторону, плюнул на кулак, вытер его о грудь, снова плюнул и начал тереть слипшиеся веки костяшкой указательного пальца. Глаз сильно слезился, но вроде был целехонек — Тотырбек уже различал им расплывчатые пятна желтоватого света и черные силуэты, время от времени эти пятна заслоняющие. Тут вернулся Мурат и, загнанно сопя, сообщил:

— Все готово, Тото.

Тотырбек перестал мучить глаз и повернул лицо на голос. Рядом с Муратом никого вроде не было. Да и сам Мурат приперся на своих двоих. А должен был — на лошади!

— Что — готово? — буркнул он недовольно. — Люди, кони — где все это?

— У кучиевской сакли — где! — ответил Мурат тоже недовольно. — Или ты решил всем и каждому объяснять, куда намылился?

— Н-нет, не решил... — проговорил Тотырбек, неохотно остывая. — У кучиевской сакли, говоришь? Это ты правильно. Нам как раз в ту сторону.

— Знаю.

— Знаешь? Откуда?

— Да уж догадался! — Мурат ржанул, помолчал и спросил невесело: — Ты уверен?

Тотырбек не ответил. С кряхтеньем поднявшись на ноги, он покрутил головой, ориентируясь, где чего. Потом буркнул: «Пошли», и скорым шагом двинулся в сторону кучиевского двора.

Тмайновы к этому времени замолкли совсем — то ли засели, ошетинившись ружьями, у большой дороги, то ли — что вероятнее — убрались восвояси. Кричать Церебовым стало решительно не на кого, однако они все равно кричали. Весь Тли был на ногах. Тут и там, чадя, горели факелы. Огненные отсветы плясали на раскисшей грязи, выхватывали из темноты перекошенные лица, подрагивающие лошадиные бока, покосившиеся плетни со свежими проломами. Из одного такого пролома — Тотырбек похолодел — выползло на свет что-то черное, блестящее, похожее на гигантскую черепаху, с которой содрали панцирь. Убитых и тяжелораненых (а их оказалось не так уж и мало) несли под родные крыши. В желтых окнах выли женщины. Высыпавшие на улицу вооруженные соседи-мужчины допытывались у участников перестрелки, с кем это они тут воевали. Никто не верил, что нападавшими были Тмайновы («Тмайновы? Из Тиба? Да быть того не может!..»), а те, кто все-таки верил, сейчас же отзывались в том смысле, что таких подлючих подлецов надобно немедленно поставить на место, а то погляди, до чего оборзели! Подобных горлопанов затыкали на корню: жизни всех Тмайновых отныне принадлежали Церебовым, и они ни с кем не собирались делиться правом распоряжаться этими жизнями.

Тотырбек миновал группу яростно спорящих родичей (кажется, поминалось его имя) и свернул в проулочек, ведущий к кучиевской сакле. Там, на отшибе, под тускло светящим окошком, его ждал небольшой конный отряд. Тотырбек посчитал — шесть

человек. Вместе с ним и Муратом — восемь. В самый раз. Он запрыгнул на свободную лошадь, которую придерживал для него мрачный здоровяк Заза Церебов, принял от того же Зазы кинжал, сунул под ремень и тронул лошадь. Отряд цугом потянулся за ним, не спрашивая куда.

Задами, вдоль поросшего осокой ручейка, спустились к выезду на большую дорогу, и Мурат в качестве передовщика выслал вперед Зазу. Тот вскоре возвратился, доложив, что засады вроде бы нет. «Хотя-а-а...» — добавил он с сомнением и на этом замолк. Возникла пауза; Тотырбек не видел, но чувствовал, что все взгляды устремлены в его сторону. Никому не улыбалось по глупости нарваться на тмайновские пули. Но и малодушничать никто не хотел, тем более вот так — вслепую: а вдруг там действительно никого.

— Едем, — сказал Тотырбек, обрывая общие сомнения, и первым пустил лошадь вскачь.

Все как один последовали его примеру — и не просчитались: засада и в самом деле оказалась воображаемой. Отряд по-хозяйски выехал на большую дорогу и, не сбавляя скорости, поскакал на запад.

В трех верстах западнее расположился Клиат — тихий аульчик в десять дворов. В самом центре аульчика, в скромной уютной сакле жил Габо Тмайнов, дальний родственник того самого Леко и старинный друг Тотырбека. Восемнадцать лет назад Тото и Габо, два самоуверенных обалдуя, ходили в Грузию — за баранами. Угнать, разумеется, ни животинки не угнали, но ума-разума поднабрались, а вернувшись в родной Мамисон, с удивлением обнаружили, что злые языки, предугадав исход этой авантюры, заранее окрестили их «стриженными»: пошли, мол, за шерстью, а вернулись стриженные. Прозвище оказалось до того метким, что сразу же прижилось. Однако весело было только окружающим, особенно детишкам, которым, как известно, только дай повод кого-нибудь подразнить. Три паршивейших года ушло у друзей на то, чтобы люди заново приучились обращаться к ним по именам. Сколько было сворочено скул, сломано носов и помято ребер — вспомнить страшно! Но своего юноши добились — «стриженными» их больше никто не величал... Разве что когда один бывший стриженный навещался в гости к другому бывшему стриженному и случалась основательная попойка, — разве что тогда можно было услышать что-нибудь вроде: «Дряхлеешь, Стриженный! На закуску стал налегать!»

И вот сейчас, первым въехав в Клиат, Тотырбек поднимался по единственной улочке к сакле своего друга. Ни одной связной мысли не было у него в голове — какие-то блеклые обрывки без начала, конца и сколько-нибудь внятного смысла вспыхивали в отеком мозгу, напоминая тихий горячечный бред. Он, наверное, и в самом деле бредил, потому что спина и ладони были как намыленные, его мутило, и нестерпимо щипало под веками, словно перся он по июньскому полуденному зною.

Но в то же время он ясно понимал, что делает. И все ближе подъезжая к цели, он чувствовал, как понимание это набухает в нем, словно квашня, поставленная в тепло. И в какой-то момент горячая муть, обволакивающая сознание, отодвинулась вдруг в сторонку, стала ерундовой помехой, а потом и вовсе забылась, как забывается имя однажды виденного неинтересного человека. Тогда Тотырбек поспешно, с затаенной опаской и где-то даже с интересом прислушался к себе: не передумал ли? Нет, не передумал. Давешнее спокойствие и в бреду не покинуло его, скорее наоборот — стало только тверже. Все он делал правильно: ни люди, ни боги, ни совесть не останавливали его, а значит, все шло именно так, как и должно было идти.

Церебовы спешили у нужной сакли, привязали лошадей к плетню и, запалив факелы (Мурат позаботился и о факелах), вошли во двор. Валявшаяся под крыльцом псина разбрегалась было спросонья, но, учуяв среди чужаков Тотырбека, с облегчением замолкла. Тотырбек остановился посередине двора, дождался, когда остальные охватят крыльцо подковой, и закричал:

— Га-або!

Гулкое эхо разнеслось по аулу. Стоявшие по бокам Тотырбека Мурат и Заза с одинаковым скользящим звуком потянули из ножен кинжалы. Остальные тоже обнажили кто шашки, кто кинжалы, а двое крайних слева, близнецы Дзахар и Хызир, быстро, но без торопливости привели ружья в боевую готовность: сняли с поясов роскошные, отделанные серебром натруски, ссыпали порции затравочного пороха на полки и одновременно, как отражения друг друга, взвели курки — ч-чик!

— Только своих по запарке не того... — вполголоса предупредил близнецов Мурат, чем вызвал у Зазы глуповатый смешок.

— Габо Тмайнов! — во всю глотку заорал Тотырбек и — вот незадача! — закашлялся, согнувшись в три погибели.

Он кашлял и кашлял, не в силах остановиться, и постепенно стервенел оттого, что так глупо получилось. А когда проклятый кашель наконец отпустил и Тотырбек смог выпрямиться, Габо Тмайнов уже стоял в шаге от него и часто моргал заплывшими со сна веками. Он был в одних трусах и чекмене, накинутом на голые плечи. Из дверей позади него рвался на улицу сын, шестнадцатилетний Сослан. Кто-то тянул парня за запястье, пытаясь затащить его обратно в саклю. Сослан яростно сопротивлялся, упираясь в косяк свободной рукой. Потом ему, видимо, надоело пытеть, он пнул непускавшего, раздался сдавленный девичий ах, и освободившийся парень, лихорадочно затягивая шнурок на спадающих штанах, сбежал с крыльца и встал подле отца — долговязый, как отец, жилистый, как отец, с необыкновенно гладкой чистой кожей, какая была у Абе. Тотырбек опустил глаза — оба Тмайнова стояли перед ним босые.

— Что стряслось, Тото? — встревоженно спросил Габо.

— Абе убили.

— О господи, кто?!

— Леко Тмайнов.

Последовало молчание. Появившееся было на лице Габо изумленно-гневное выражение (он явно был готов собственноручно покарать убийцу) сменилось сначала непониманием, затем испугом, затем глаза его словно затуманились. Он обвел этими затуманенными глазами людей, пожаловавших к нему посреди ночи, снова посмотрел на Тотырбека и проговорил ровным голосом:

— Дом, хозяйство — забирай, но — отпусти.

— Леко Тмайнов убил Абе, — сказал Тотырбек как бы напоминая.

— Хотя бы семью отпусти, — в ровном голосе Габо появились просящие нотки.

— Леко Тмайнов убил Абе, — настойчиво повторил Тотырбек.

Габо раскрыл рот, чтобы произнести очередную неосуществимую просьбу, но Тотырбек, опережая его, выкрикнул, словно вдавливал прописную истину непонятливому, туповатому от природы ребенку: «Леко! Тмайнов! Убил! Моего! Абе!», — после чего выхватил из-за пояса кинжал и ударил бывшего друга в живот.

Раня ладонь, Габо Тмайнов перехватил лезвие. Это было неожиданно, и в первую секунду Тотырбек растерялся, но тут же опомнился и, остервенев пуще прежнего, рванул кинжал на себя. Любому другому такой рывок запросто обрезал бы все сухожилия, а Габо — удержал. Он и раньше отличался завидной силой — сейчас же она у него наверняка утроилась. В некотором смятении Тотырбек пнул его в голень, потом снова рванул к себе кинжал, на сей раз пытаясь не вырвать его из кулака, а именно поранить сам кулак, чтобы этот чертов Стриженный взвыл, наконец, от боли. И Стриженный действительно взвыл. Выставив перед собой локоть, Габо с воем кинулся на Тотырбека, мощным ударом в грудь сбил его с ног, рухнул сверху и, нависнув, принялся орать ему в лицо попеременно то умоляющим, то угрожающим тоном:

— Хотя бы детей, слышишь? Хотя бы их! Мы ж друзья! Человек ты или кто?!..

Тотырбек все слышал, но ничего не понимал — до того мерзопакостным оказалось у Габо дыхание. Неужели у него и раньше так смердело изо рта? —

пронеслась в голове гадливая мыслишка, потом послышался топот множества ног, и в следующую секунду Тотырбек увидел, как беззвездную черноту за плечом у Габо заслонили вдруг бородатые хари, освещенные зловещими багровыми отсветами. Он не сразу признал в этих харях родные лица, а когда признал, Церебовы уже вовсю кололи Габо. Габо выл стремительно хиреющим голосом, из пасти его прямо на лицо Тотырбеку лилась кровь, а тело делалось все тяжелее. Тогда Тотырбек, до предела отвернувшись, чтобы не попало в рот, заорал: «Хватит! Я сам! Сам!», — затем нащупал в траве рукоятку кинжала, стряхнул с клинка скрюченные пальцы и вонзил его в бок издыхающему. То, что миг назад было Габо Тмайновым, заткнулось и обмякло.

Сразу стало тихо. Только факелы шипели да скулила где-то на грани слышимости перепуганная псина. Задыхаясь под неживой тяжестью, Тотырбек попытался выкарабкаться — безуспешно. Тогда он показал руками: помогите, мол. Мурат и Заза, стоящие ближе всех, кинулись помогать: схватили протянутые руки, потянули, извлекли его из-под мертвеца и поставили на ноги. Тотырбека шатало. Нижняя половина лица была измазана кровью; от мысли, что кровь чужая, к горлу подкатило. Он поискал глазами бочку с дождевой водой. Он смутно помнил, что она должна где-то стоять, кажется, у сарая. Ага, правильно. Разглядев бочку, он немедленно двинулся к ней, по пути споткнувшись о тело Сослана, лежащее почему-то в пяти шагах от отца, — убежал он, что ли?..

По счастью, весь вчерашний день ливня лил дождь, поэтому бочка стояла полной. Тотырбек с ходу налетел на нее и, следя, чтобы в воду попало как можно меньше дряни, промыл лицо, высморкался и тщательно прополоскал рот. Потом перегнулся через край бочки и, погрузив вытянутые трубочкой губы в освежающую прохладу, принялся хлебать огромными жадными глотками, от громкости которых закладывало уши. Он очень желал и никак не мог напиться, никогда с ним такого не бывало. Отчаявшись, он окунулся в воду по плечи и попытался пить так. Черта с два! Вода сразу забилась в ноздри, и он стал захлебываться — вынырнул, страдальчески кашляя и ощущая неприятное бульканье в ушах, а откашлявшись, заорал, словно понял, что водой, сколько ее, паскудину, не пей, тут не поможешь:

— Дыса! Выводи своих щенят! И сама выходи!

Дыса, жена Габо Тмайнова, вздрогнула, услышав эти слова. Когда муж, а вслед за ним и старший сын выбежали во двор, она на что-то надеялась. Когда снаружи донеслись возня и вопли, она продолжала на что-то надеяться. И даже когда затем наступила жуткая недвусмысленная тишина, надежда еще теплилась в ней... И вот ее назвали по имени. И про детей не забыли. Сидя на краешке кровати, она крепче прижала к себе шестилетнего Ацу и тринадцатилетнюю Езету — дети тихонько хныкали, уткнувшись мокрыми личиками ей в грудь.

— Дыса! — донесся с улицы все тот же голос. — Не вынуждай осквернять очаг, возле которого я ел!

Дыса Тмайнова посмотрела на очаг. Мощная цепь спускалась от отверстия в потолке к полу, где было квадратное углубление для разведения огня. Стена возле этого углубления выгибалась, образуя нишу. И углубление для костра, и ниша были аккуратно обложены скальным плитняком. Два крючка у конца цепи были свободны, лишь на третьем, самом большем, в палец толщиной, висел черный от въевшейся копоти казанок, накрытый куском лаваша. Вкусный запах остывшей лывжи и свежепеченого, размякшего над лывжой хлеба как ни в чем не бывало разносился по комнате. Было в этом что-то дико неправильное, но Дыса, глядя на свой очаг, думала о другом.

В подвижных оранжевых отсветах, падающих из окон, очаг, как всегда, казался образцом прочности, внушавшим невытравляемое чувство уюта и уверенность в завтрашнем дне. Все, за что брался Габо, получалось таким, по-другому он просто не умел ничего делать. За это его, наверное, и уважали тем особым горским уважением,

которое при ближайшем рассмотрении оказывалось самой обыкновенной завистью, иногда — белой, благородной, но чаще — черной, злобной. И вот нет больше Габо, а зависть к нему осталась, ибо стоит еще его сакля, тлеют угли в его очаге и дышат еще его дети... двое последних детей, которые получились у него такими же, как всё, за что он брался. Ох, Габо, Габо! — простонала Дыса про себя. Что мне делать, как быть?.. Ей вдруг вспомнилась жуткая, якобы подлинная история, которую поведала ей когда-то покойная ныне свекровь: там, в этой истории, мать умертвила дочерей, дабы над ними не надругались убийцы мужа... «Не-ет, никогда!» — ужасаясь собственным мыслям, отдернула себя Дыса, а потом повторила — тверже, чтобы точно не осталось никаких сомнений: «Нет. Никогда».

Тут натянутые на рамах бычьих пузыри с хрястом лопнули — в комнату полетели камни. Дети пронзительно завизжали. Дыса, соскользнув с постели, прикрыла их своим телом, но тщетно. Езета вдруг дернулась и заплакала — это ей в кровь поранило стопу. Среди звона бьющейся посуды и грохота камней, с искрами отскакивающих от стен, плач Езеты почти не был слышен, но маленький Аца услышал и, разумеется, заплакал вслед за сестрой. Так они и плакали, вцепившись в мамину сорочку, а мама не решалась спрятать их под кровать, так как большая часть камней, вдоволь наскакавшись по комнате, оказывалась именно там.

Потом все прекратилось. Камни перестали залетать в окна, дети постепенно замолкли, и в наступившей хрупкой тишине снова раздался голос:

— Выходи, сука, иначе крышу подпалю!

Эх, Тото, Тото, что же ты творишь?

— Мама, мне страшно, — пролепетал Аца, отнимая от маминой груди бледное личико с неправдоподобно большими заплаканными глазами.

— Чш-ш-ш, — ласково прошептала Дыса. — Ну, что ты, маленький? Все хорошо. Мы с Езетой тебя в обиду не дадим. Правда ведь, Езета?

Бесшумно всхлипывающая Езета закивала так истово, что со щек ее посыпались слезы.

— Вот видишь, — шепнула Дыса. — А ты боялся. Нет, ничего с моим Ацамазом не случится, он ведь такой храбрый, такой послушный. Ты ведь послушный? Ты должен быть послушным. Будешь?..

С этими словами она протянула руку к раненой стопе дочери, обмакнула в кровь два пальца и принялась мазать этой кровью по-отцовски широкий лобик мальчика...

К сакле тем временем набежали соседи Габо Тмайнова — десяток вооруженных кто чем мужчин с глазами навыкат и примерно столько же тщедушных безбородых юнцов, то и дело опасливо озирающихся по сторонам. Разглядев, КОГО они собираются приструнять, набежавшие моментально приструнились сами. Церебовых здесь знали, и никому не хотелось путаться у них под ногами, тем более когда такое дело... Лишь какой-то старикан в простенькой чабанской папахе приблизился к калитке, вытянув морщинистую шею, заглянул во двор и проговорил с тоскливым осуждением:

— Что ж вы так круто, а? И Габо, и паренька вон убили. Ай-яй-яй!.. Теперь что, за женщин взялись? Из сакли выковыриваете?

— Не лезь не в свое дело, — буркнул Тотырбек через плечо.

Старикан боком, по-крабьи, проковылял вдоль плетня, остановился напротив Тотырбека и продолжил, обращаясь уже непосредственно к нему:

— Нехорошо, ох, нехорошо поступаешь, сынок. Это ведь женщины — мать да дочь. Что они тебе могут сделать?

— Породить новых ублюдков, — сказал Тотырбек. Зря сказал. Получалось, что он оправдывается.

— Каких ещ-щ!.. — Старикан аж задохнулся от возмущения. — Каких еще, прости господи, ублюдков?! Да эти бабы, коли живы останутся...

— Всё, всё, — морщась, оборвал Тотырбек. — Сразу видно — Боциев: сядет

на уши — не стащишь. И без тебя знаю, кто в сакле. Только не делай мне удивленное лицо! Мальчонку решил выгородить? Молодец. Очистил совесть. Теперь поворачивай оглобли и дуй домой. — Он обвел глазами остальных набежавших. — И вы — тоже.

— Ну, что встали? — рывкающим басом поддержал его Мурат. — Валите отсюда, пока целы!

Соседи, неуверенно переглядываясь, попятились в темноту. Лишь старикан остался на месте. Тотырбек искоса поглядел на него, сплюнул и взял у Дзахара — или Хызира?... — ружье. Он собирался сбить со старикана папаху, но тут дверь на крыльце со скрипом раскрылась, и Тотырбек вынужденно обернулся.

Из сакли, прихрамывая, вышла Езета — босая, встрепанная, в одной ночной сорочке, пола которой уже была в крови. Эту девчушку Тотырбек прочил в жены своему Абе, многожды заводил с Габо полуофициальные разговоры на этот счет, но, как и все Тмайновы, Габо медлил. Выжидал... И выждал — на свою голову. А мог бы, между прочим, спасти хотя бы ее. Выдал бы вон за тех же Боциевых, скажем, — глядишь, и спряталась бы от церебовского гнева...

Сразу за Езетой показалась Дыса, прямая и скорбная. На руках она несла безжизненное тельце сына — личико Ацы было разбито в кровь, свесившаяся ручка с полураскрытым кулачком болталась в такт маминым шагам. Дыса остановилась на краю верхней ступеньки, искала глазами Тотырбека, нашла и, вперившись, ненавидяще процедила:

— Смотри, подлец, смотри!

Она приподняла и немного вытянула перед собой мальчонку, и на секунду Тотырбеку показалось, что сейчас мертвое тельце швырнут ему под ноги. Но нет. Дыса лишь показала, что наделал наугад брошенный камень, потом бережно положила сына около резных перил, выпрямилась и, взявши всхлипывающую дочку за руку, стала спускаться с крыльца.

Было очень тихо, даже псина больше не скулила. Когда последняя ступенька осталась позади, губы у Езеты запрыгали, и она попятилась было обратно на крыльцо. Дыса насилу притянула ее к себе и зашептала что-то на ухо. Закусив губу, Езета отчаянно, с каким-то щенячьим повизгиванием замотала головой, но мама все шептала ей на ухо, и в конце концов Езета судорожно перевела дух и перестала вырываться. Тогда Дыса снова отыскала глазами Тотырбека и проговорила все так же ненавидяще:

— Ну, что, Тото? Вот она я. Вот моя дочь... Да только очаг ты все равно осквернил. Сколько тостов произнес над ним, сколько заверений в преданности! Нет, не простят тебя другие очаги — подавишься когда-нибудь вкусной куриной косточкой...

Говоря это, она стала медленно продвигаться вдоль стены, прочь от крыльца; хромающая Езета, как на незримом поводке, шла за ней по пятам. Церебовы раздробленной группкой зеркально повторяли это перемещение.

— ...А когда подавишься, — говорила Дыса, — когда потемнеет в бесстыжих твоих глазах... когда почувешь этот запах, который чувствую сейчас я, — вспомни тогда эту ночь. Вспомни меня, моих детей и мужа — и знай: это наше проклятье настигло тебя. — Она бросила быстрый взгляд поверх церебовских плеч, пытаясь, очевидно, разглядеть тела Габо или Сослана, и вдруг потеряла выдержку. — Подлец ты, подлец! — простонала она. — Как такого земля носит? Да я б самолично тебя отравила, если б знала, какой ты!..

Тотырбеку, наконец, надоело. Перестав слушать и слышать, он, набычившись, устремился наперерез говорившей. Остальные двинулись за ним. Они настигли мать и дочь на углу сакли и после короткой, но яростной борьбы умертвили обеих. Каждый старался внести свою лепту в общее дело, и поэтому, когда все было кончено, Церебовы, сбившись в плотную кучу, дышали как загнанные. Ощущая чудовищную духоту, Тотырбек с боем выбрался из этой кучи и задрал голову, подставляя лицо сырой

ночной прохладе. Ощущение духоты не проходило. Лицо горело — эта сука, перед тем как ее повалили, исцарапала ему все щеки. Вот же сволочная фамилия! А ежели они все так тяжело дышат?.. Что ж, подумал Тотырбек, криво улыбаясь. Переживу как-нибудь...

Взгляд его случайно упал на бочку у сарая, и он снова захотел пить. Он направился напрямик к бочке, но, проходя мимо крыльца, вдруг замедлил шаг, а затем и вовсе замер. Что-то было не так. Он хмуро заозирался. Сердобольный старикан у плетня, обхватив голову руками, качался из стороны в сторону. Родичи трепались на углу. Мертвый Сослан, разбросав руки, валялся поодаль. Не менее мертвый Габо тоже был на месте. Та-ак... И вдруг Тотырбек понял.

— Мальчонка! — завопил он, уставившись на пустое крыльцо. — Эта сука нас обдурила!

Родичи на секунду притихли, повернув к нему непонимающие лица, потом заматались по двору. Поднялся переполох. Мурат, грязно матерясь, скрылся за углом. Заза устремился следом. Близнецы, выхватив у кого-то факелы, выбежали за калитку и начали носиться туда-сюда по улочке, разбрызгивая оранжевые огоньки.

Бормоча: «Раззявы слепые!», Тотырбек метнулся к крыльцу, упал на колени и заглянул под лестницу. Псина трусливо тявкнула из темноты. Он схватил ее за загривок и вышвырнул из укрытия. Потом принялся лихорадочно шарить под лестницей, перелопачивая ладонью теплую умятую солому, хотя уже знал, что мальчонки там нет. Аца — умный малый, а мать его, которая все это и придумала, была еще умнее. Нет, ему сейчас одна дорога — прочь... Тотырбек бросился к старикану, сграбастал его за грудки и заорал:

— Куда он побежал?

— Их-то за что?.. — ошеломленно бормотал старикан. — Они ж и оружия никакого не вынесли...

— Отвечай, чтоб тебя! — заревел Тотырбек. Он едва слышал себя из-за мощных толчков крови в ушах. — Уничтожу! Вместе с Тмайновыми в землю уйдешь — говори!

Но старикан лопотал что-то насчет бедных женщин и оружия, которого они не вынесли, и ничего больше знать не хотел. Черт его разберет, подумал Тотырбек, унимаясь. Может, тоже проглядел... Он брезгливо отпихнул старикана и побежал в саклю. Надо было на всякий случай проверить там, а затем хорошенько потрясти всех соседей в околотке.

Маленький Аца к тому времени был на полпути к большой дороге. Мама велела ни на секундочку не останавливаться, вот он и не останавливался, хотя так и тянуло забраться вглубь соседского огорода и снова притвориться мертвым. Он готов был притворяться хоть тысячу лет, но поклялся маме сделать все так, как она велела, а мужчины слово держат.

Было очень страшно, так страшно, что он дважды обмочился. Первый раз — когда, лежа на крыльце, услышал, как мама с сестрой отходят от него все дальше и дальше; второй раз — уже на улице, когда позади раздались крики и до него дошло, что его хватились.

Мама объяснила, что это такая игра, наподобие прятков, что играют в нее взрослые по своим, взрослым правилам. Но он догадывался, что никакая это не игра. Он только никак не мог представить маму мертвой. Наверняка она тоже, как и он, притворилась, а когда все бросились на его поиски, быстренько поднялась и под шумок улизнула, прихватив раненую Езету с собой. Езета, конечно, притвориться не сумела, вот ей и досталось маленько.

Он думал так до тех пор, пока его не стали выкликать по имени. Тогда он запретил себе думать о маме, о Езете и вообще обо всем, что творилось у него за спиной. Он

понял, что его мысли слишком громки, что их слышат злые люди и извлекают из этого пользу, — иначе как они могли прознать его имя?

На дядю Тото он не думал. Тот крикун, называвший маму «сукой», был просто на него похож. Это он специально притворился дядей Тото, подделал его голос, дабы выманить из сакли сначала папу с братом, а затем и маму с сестрой.

Мама велела сойти с большой дороги в долину и идти пастбищами вдоль реки. Так он и сделал. Еще она велела ни в коем случае не плакать, даже если очень захочется или, скажем, ему вдруг почудится, что он заблудился. И он действительно ни разу не всхлипнул, хотя бесчисленное количество раз терял направление, а плакать «просто так», как девчонке какой-нибудь, хотелось постоянно.

Иногда слева, наверху, где была большая дорога, показывались всадники с горящими факелами в руках. Тогда он садился на корточки и, замерев, ждал, когда они проедут. Почему-то если он следил за всадниками глазами, они проезжали медленно-медленно и часто вертели головами. И наоборот — если он закрывал глаза и задерживал дыхание, всадники проносились стрелой, а потом долго не появлялись.

Река все время шумела справа. Он старался не отдаляться и не приближаться к этому шуму, ибо если отдалиться от него, то можно было заплутаться в кочковатой темноте, а если приблизиться — запросто замерзнуть. Он и без того дрожал и шмыгал носом, вдобавок на реке, по слухам, водились гадюки.

Один раз трое всадников, вместо того чтобы, как всегда, проехать мимо, остановились на обочине, прямо напротив него, постояли немного и вдруг один за другим стали спускаться в долину. Аца понял, что это он — опять, дурачина, подумал слишком громко! Он плюхнулся на живот и, обдирая коленки, пополз задом, забился в какие-то пахучие кусты и долго лежал там, посасывая большой палец. Всадники, то разбредаясь, то снова съезжаясь, сновали вокруг с ярко горящими факелами, обшаривали многочисленные рощицы, вглядывались в глубь буераков, плевались и переругивались, а потом пошел мелкий дождик, — они съехали в последний раз и убрались обратно на дорогу.

Аца больше не вынимал пальца изо рта. Мало того, что это само по себе успокаивало, вдобавок на преследователей действовало похлеще любых других уловок. Один всадник дважды проезжал мимо его укрытия — так близко, что по освещенной оранжевым светом руке пробегали тени от листьев, — но даже ухом не повел, хотя его проклятушая лошадь так и фыркала: вот он, мол, беглец, чего не хватаешь?

Чего-чего? Палец — вот чего!

С пальцем во рту он брел под дождем.

С пальцем во рту дождался его окончания.

С пальцем во рту увидел, как бледнеет небо над горами впереди.

К этому моменту он совсем выбился из сил и, разглядев в предутреннем свете одинокую перекоsobоченную саклю у реки, сейчас же, не думая, свернул туда. Мама предупреждала и на этот счет, но уж очень он устал, промок, продрог, ужасно хотелось погреться и чтобы хоть кто-нибудь его пожалел. Немножечко. Самую малость.

Он постучался в щелястую дверь и на недовольный вопрос «Кого там опять принесло?» постучал еще раз, настойчивей. Ему открыла седая, точно старуха, женщина, кутающаяся в белесый, тоже как бы седой шерстяной платок. Увидев голенького, в одних подштанниках, Ацу, она дважды моргнула и молча посторонилась. Аца вошел и едва не застонал от наслаждения, когда спертая, как в хлеву, теплота коснулась кожи. Женщина провела его к очагу, усадила на циновку и накинула ему на плечи свой платок. Грубая шерсть сильно кололась, но Аца не замечал этого. Он вообще ничего не замечал — мелко дрожа, посасывал палец и безучастно следил, как женщина, присев на корточки, дует на тлеющие угольки в очаге и подбрасывает хворостинки просыпающемуся огоньку.

— Ну, — сказала она, когда костерок занялся. — Рассказывай, каким ветром принесло тебя к бедной вдове.

Аца не отозвался. Чтобы говорить, надо было вытащить палец изо рта, а этого он не хотел.

— Молчишь, — сказала вдова с неуловимым осуждением. — Что ж, помолчи, погрейся... А я пока схожу козочку подою, с ней побеседую. Любишь козье молоко? Правильно, я тоже.

Она вышла, и у Ацы тут же стали тяжелеть веки. Какая хорошая женщина, сонно подумал он, укладываясь боком на циновку. Добрая, заботливая, впустила сразу. Сейчас еще молочка принесет... Нет, мама, тут ты ошиблась. Бояться нужно только всадников, а остальные — как не помогут?

И вдруг он вспомнил, что проворчала вдова, когда он только постучался. «Кого там ОПЯТЬ принесло?» Опять? Получается, к ней что, еще кто-то приходил? Мама с Езетой? Или, может, еще какой-нибудь мальчик — она ведь совсем не удивилась, увидев меня...

Он сел. Сна не было ни в одном глазу. Трещали хворостинки в очаге. Очаг был крохотный, жалкий, не то что дома. И дымок от огня был жалкий — он, клубясь, поднимался к серому от пыльной паутины потолку и исчезал в круглом отверстии. Ацу вдруг охватила смутная тревога — даже палец во рту не помогал. Он медленно подтянул под себя ноги и поднялся — шерстяной платок, гадко царапая, съехал с плеч и упал на циновку. Ощущение тревоги усиливалось. А когда он разглядел на полке у стола глубокий тазик для дойки — точь-в-точь такой же, как у мамы, — все тут же стало яснее ясного.

Вдова вовсе не к козочке пошла! Куда она будет доить — в подол, что ли?!

Он кинулся к двери — стукнулся и отпрянул. Заперт! Ах ты, предательница! Разглядев в полутьме единственное окошко, бросился к нему и попытался дотянуться. Куда там! Езета — она б дотянулась... Он побежал к столу, выхватил из-под него трехногий стульчик и вернулся к окошку. Со стульчика кое-как влез животом на подоконье, но тут его ждала очередная помеха. Бычий пузырь. Сначала он толкался в него лбом — пузырь лишь туго прогибался, как кожа на барабане. Тогда он высвободил из-под живота руку и попытался процарапать пузырь ногтями — с тем же успехом. Пришлось слезать на пол и бежать к полке за чем-нибудь острым. Ножа он, как ни искал, не обнаружил, зато нашел медный половничек. Снова взобравшись на подоконье, он продырявил пузырь в нескольких местах рукояткой, потом боднул его. Пузырь разорвался неожиданно легко, и Аца чуть не вывалился из окна лицом вперед. Падать, впрочем, пришлось все равно — но уже по собственной воле.

Очутившись на улице, он немедленно бросился бежать — и вовремя. Не успел он скрыться за ближайшими зарослями облепихи, как у сакли показались три всадника — вроде те же самые, но уже без факелов. Аца увидел, как они, спешившись, задевая друг друга локтями, несутся к двери, потом отвернулся и, сунув палец в рот, побежал сам.

Утро было в самом разгаре, когда он добрался до Тиба.

Мама говорила, что если у него это получится, то, считай, игру он выиграл. В Тибе его никто не тронет, а если тронет, дядя Болат такому мигом шею намылит. Аца не помнил никакого дядю Болата, но был уверен, что дядя Болат помнит его. А если даже и не помнит — не беда. Родни у папы — завались, кто-нибудь да вспомнит.

Чуть ли не ползком взобравшись по каменистому откосу на большую дорогу, он наткнулся на завал. Въезд в Тиб перегораживали свежесрубленные вековые сосны. По-над гребнем завала виднелись головы в папах, черные зрачки ружей, не шевелясь, смотрели на дорогу.

С трудом переставляя гудящие ноги, Аца приблизился к завалу и стал ждать. О таком мама ни словом не обмолвилась, а значит, ничего другого не оставалось.

Он ждал, угрюмо посасывая палец, и вскоре сверху прыгнул какой-то здоровенный бородатый дядька в темно-красном чекмене, оттянутом на ребрах камышовыми газырями.

— Ты чей? — спросил дядька ласково и в то же время настороженно.

Аца поднял на него глаза и собрался было ответить, что мамин, чей же еще? — но даже пальца изо рта высунуть не сумел.

...Немного позже, когда его вымыли, накормили и, обработав тыщу царапин по всему телу, повели к постели, — он мельком увидел себя в зеркале. Узкая седая прядь спускалась от макушки к уху, как будто в черных волосах запуталось белое голубиное перышко. Это все платок, понял Аца, сворачиваясь калачиком под двумя одеялами. Вдова заразила платок, платок — меня, теперь от меня и остальные поседеют.

4

Когда самая трудная часть подъема осталась позади, Дина обернулась. С этой высоты Тиб был как на ладони, его можно было заслонить двумя пальцами. Создавалось ощущение, что когда-то давно огромную грудку неотесанных камней смыл с горы чудовищный сель, донес до устья лощины да и ахнул о скалу слева с такой щедрой силой, что камни, отскочив, сами собой сложились в сакли. И только потом сюда пришли люди, подивились диковинному беспорядку, в котором расположились жилища неведомых строителей, махнули рукой и стали в этих жилищах жить. Шло время, постепенно сакли обзавелись пристройками, огородами, сараями, скотными дворами, а некоторые — кому повезло с хозяевами — даже башнями. Но диковинный беспорядок никуда не делся, наоборот — стал еще навязчивей. Как будто камни, из которых были сложены сакли, никак не могли забыть тот давний день, стремительный спуск с горы и щедрую силу, с какой их шарахнуло о скалу и разбросало по лощине вдоль обоих берегов узкой речушки. Речушка текла по дну оврага, черные склоны которого представляли собой затвердевшую смесь острого щебня, гальки и грязи. Весной, во время таяния снегов, сели, бывало, низвергались с горы, но ни в какое, конечно, сравнение не шли с тем первым селом, породившим аул.

Дина пригляделась к завалу, который устроили мужчины у въезда. Уже несколько дней там круглосуточно дежурили, но Церебовы все не показывались. Хотя зачем им это? Они и без того здорово гульнули в Клиате. Бедный мальчик вон речь потерял, седобой обзавелся — так они, мерзавцы, гульнули... Дина проследила взглядом за речушкой. Серебряная ленточка, извиваясь и рябась, рвалась к выходу из лощины, подныривала сначала под завал, затем — под мост на большой дороге и бежала дальше, вниз, наискосок через долину, пока наконец не впадала в Мамисондон, главную реку ущелья. Рев Мамисондона досюда, конечно, не долетал, но было видно, какая страшная борьба происходит в тех местах, где мощное течение встречается с гигантскими валунами. Правым своим боком река льнула к подножию горы, которая почти вертикально вздымалась черт-те куда, заслоняя собой полнеба. Гора эта тянулась с востока на запад, и краев ее видно не было; густые хвойные леса, как шерстью, покрывали ее склон, лишь кое-где ярко желтели расширяющиеся книзу проплешины — следы многочисленных обвалов. Если приглядеться, в центре каждой такой проплешины можно было заметить сероватые ниточки ручейков. То были извечные виновники обвалов. Раз в несколько лет они сбрасывали с горы так много породы, что на реке случался затор, и она растекалась по долине, затапливая жилища, губя хозяйство и прогоняя людей на северную сторону ущелья — в лощины, где жили более удачливые в этом плане соседи.

Дина отвернулась и продолжила подъем. Склон был вдоль и поперек проторен зигзагообразными, в ладонь шириной, тропками — скотина постаралась. Если б не Церебовы, сейчас бы здесь паслась всякая живность, раздавалось бы безмятежное

мычание, меканье, хрумканье, а мальчишки-чабаны, прикрыв прыщавые лица широкополыми войлочными шляпами, дремали бы в прохладной тени шалашей и время от времени, не просыпаясь, шикали бы на разбредавшихся собак. Но из разумной предосторожности Тмайновы и остальные тибчане угнали свою скотину на восточные склоны, подальше от Тли и их обитателей. Непонятно было, что делать дальше: ведь наверняка и Церебовы — из той же предосторожности — водили скот куда угодно, только не в сторону Тиба. Пастбища между аулами пустовали, подножный корм пропадал, старики с тоской качали бородами.

Вскоре подъем стал совсем пологим, и можно было больше не петлять коровьими тропками, а идти напрямую. Дина двинулась к березовой рощице, вдали за которой уже можно было разглядеть столбик дыма, косо уходящий в небо и растворяющийся в низком облаке с фиолетово-серым исподом. Что же ты, дура, делаешь? — спросила она себя, когда дырявая тень рощицы накрыла ее. Ведь ничего хуже нет. Таким и детишек не пугают — грешно. Дажедохлый муженек твой святым покажется, ежели не остановишься... В который раз ее передернуло от воспоминания о Заурбеке (сразу заныли отсутствующие уши), но она уже уцепилась за последнюю мысль насчет «остановиться», и поэтому до своеобразного скрежетания зубами дело не дошло. А что? — подумала она неуверенно. Вот остановлюсь сейчас. Плюну, да и потопаю обратно. И к воронам все! Это ж действительно хуже некуда... Или все же есть куда? Она осторожно, не давая воли воображению, прикинула. Да, подумала она с горечью. Есть куда. Еще как есть. Точнее — будет. Случится. Обязательно произойдет, когда я его увижу, дотронусь, вдохну запах... Мама говорила, что запах — это всё, на всю жизнь и даже дольше... Нет, надо идти. Иди, черт тебя дери!

Она ускорила шаги. Спутанная трава под ногами разрывалась с сочным хрустом. О лицо стучались тяжелые зеленые мухи. Холодный ветер задувал под подол, шевелил над головой листву, отчего она идиллически шепелявила. Дина с нарочитым вниманием присматривалась к каждой березке, к каждому кустику душицы, мимо которых проходила, и упорно не желала прислушиваться к своим ощущениям, а тем более — облекать эти ощущения в мысли. Но мысли все равно появлялись — тяжелые, муторные, размягчающие волю. Тогда она принялась считать шаги — сначала вслух, отрывисто, почти как русские солдаты на марше, затем, поняв, что уловка действует, — про себя. Она восемь раз досчитала до ста и еще раз до тридцати двух, прежде чем подошла к жилищу Носатой Нино.

Назвать это просевшее строение «саклей» язык не поворачивался. Скорее — хижина, какие сооружают бедняки-переселенцы: возведут четыре стены из самана, обмажут изнутри смесью глины с конским пометом, накроют все это безобразие не менее безобразной камышовой крышей — и живут. Только у бедняков эти хижины всегда до поры, а Носатая Нино жила тут, на горе, задолго до рождения Дины. Мама божилась, что и во времена ее детства Носатая Нино обитала в этой самой хижине, более того — уже тогда была старой. Что ж, может быть и так. Кто знает этих знахарок...

Дина протиснулась в приотворенную калитку, давно и намертво вросшую в землю, и по утоптанной дорожке направилась к низенькой двери с огромной щелью понизу. Слева от дорожки тянулись ровненькие грядки помидоров и лука, а справа, в тени под раскидистой грушей, паслась привязанная к торчащему из земли колышку черная овца. Шерсть ее была так длинна, что свалилась в плотные, пыльные, очень противные на вид колтуны. Над овцой, вцепившись когтями в ветку, восседал кочет с выбитым глазом. Дина все еще считала шаги и только поэтому не испугалась, как пугалась каждый раз, когда ей в детстве рассказывали про этого кочета. Серго, помнится, до слез ее доводил: ненавидит, мол, этот кочет двуглазых девочек и ежели где встретит — всё, пока не выколет глазик — не отцепишь, ха-ха-ха!

Дина поднялась на единственную ступеньку крыльца и, взявшись за пеньковый шнур, служивший на двери ручкой, потянула к себе. Дверь — обтянутый шкурами

каркас — со скрипом открылась, и Дину обдало волной влажного, необыкновенно вкусного запаха.

— Заходи, не впускай мне сквозняка! — закричал из глубины хижины хриплый голос.

Дина поспешно шагнула в душную полутьму и прикрыла дверь. Из щели внизу сразу засвистело.

— Ну, что застыла? — раздался голос. — Проходи.

На ватных ногах Дина пересекла сени и попала в небольшую горницу с закругленными углами. В правом дальнем углу горел очаг, над ним булькала в казанке густая мамалыга. С видимым усилием помешивая варево длинной деревянной ложкой, у очага сидела Носатая Нино. Она была именно такой, как рассказывали: длинный мясистый нос с горбинкой, маленький рот, похожий на отверстие в копилке, глаза-бусинки. Черное платье пестрело разномастными заплатками. Из-под черной же косынки торчали плоские мочки ушей. Кисти рук были по-мужски широкие, мосластые, с выпуклыми венами. Она сидела босиком, и огромные стопы тоже были сплошь в венах — мощных, в мизинец толщиной. Дина не взялась бы назвать ее возраст. Носатая Нино была стара, очень стара, но ни о какой дряхлости не могло быть и речи. Как будто время надолго задержало ее в зрелости. Даже глазки ее не выцвели — светло-зеленоватые, они смотрели с хитрым подзуживающим выражением, какое можно наблюдать у распутной дурочки.

— Насмотрелась? — ернически осведомилась знахарка. — Тогда садись вон к окну, дай теперь я на тебя погляжу.

Дина послушно уселась на лавку. Рамы на окне не было, и на лицо веяло прохладой. Носатая Нино, помешивая мамалыгу, пялилась с неопределенной улыбкой. Дина терпеливо ждала.

— Ага, — сказала Носатая Нино через какое-то время. Потом достала ложкой немного мамалыги, подула, попробовала, приподняв глазки, и протянула с преувеличенным наслаждением: — М-м-м-м-м!..

Дина почувствовала себя обманутой.

— Что — ага? — спросила она.

— Чего?

— Ты сказала «ага». Что — ага?

— Ну как... — Носатая Нино двумя пальцами тронула мочку уха. — Сочувствую. Для такой красавицы это, наверное... трагедия.

Дине сразу захотелось проверить повязку — не съехала ли? а может, опять кровь проступила?.. Но она сдержалась и проговорила, стараясь, чтобы получилось по возможности легкомысленно:

— Всегда было интересно, откуда ты все знаешь. Одна ведь живешь, никто из наших к тебе не ходит.

— Так уж не ходит! — весело возразила Носатая Нино. — А знахаркой я, стало быть, сама себя обозвала?.. Что касается «откуда» — так ведь надо всеми живу! Эхо вверх стремится, тут я его хочу — не хочу, а слышу. Вот и за тебя услышала.

— И что же ты услышала?

Носатая Нино отмахнулась от вопроса и спросила сама:

— Ты ко мне тайком пришла?

— А что? — поинтересовалась Дина.

— Стало быть, тайком, — истолковала ее ответ Носатая Нино. — Впрочем, когда было по-другому? Что-то не припомню. Наврут семье, что, мол, на охоту, по косую, а сами — к Нино: помоги, мол, Нино, суставы совсем ни к черту стали... Или абреки. Притащат продырявленного товарища — лечи! А он уже отходит. Ну, что делать? Лечу, как могу. И хоть бы один опосля проведаль, полюбопытствовал бы, как оно у меня тут... Хотя это я уже наговариваю. Нет-нет, а проведывают. Старая я стала, вот что, —

призналась она со вздохом. — К людям хочется, к теплу. А вы привыкли, что Нино одна живет...

— Так спускайся, — сказала Дина.

— Ага! А меня — поганой метлой? Не, обойдусь. Всю жизнь гордячкой пробыла, поздно привычки менять... Да и не так уж мне плохо, коли разобраться. Одиноко? Да. Скушно? Нисколько! Порой настолько нескушно, что хочется, наоборот, — покоя, тишины. Впрочем, и этого тут вдоволь... Теперь вот, — она заулыбалась, — дочь самого Леко пожаловала. Он-то уже вряд ли покажется.

Дина с сомнением прищурилась.

— Хочешь сказать, к тебе отец приходил? — спросила она. — Мой отец?

— А что такого? — простодушно удивилась Носатая Нино.

— Нет, ничего. — Дина отвела глаза.

— Да говори, не стесняйся!

— Ничего, — повторила Дина.

Носатая Нино фыркнула с шутливым пренебрежением.

— Не верит! — Она наклонилась и заглянула под лавку, на которой сидела Дина. — Слышь, подруга? Не верит!

Дина тоже заглянула под лавку. Подругой оказалась спящая собака — белая, лохматая и, судя по размерам живота, беременная. У Дины поджались пальцы в чувяках.

— Порода у тебя, девочка, и впрямь здоровее некуда, — продолжала между тем Носатая Нино. — Никакие хвори не берут, кроме самой что ни на есть главной, которая и не хворь вовсе. Но и на здоровых существуют... м-м... — Она защелкала пальцами, подбирая слова. — Э-эх! — сказала она расстроенно. — Голова совсем дырявой сделалась!.. Давай-ка я лучше на примере. Возьмем черепах. Они живут о-очень долго, несколько человеческих жизней. И все это время растут. Но умирают вовсе не от старости. А от чего? — спросишь ты. От слепоты, отвечу я. И тяжести панциря. Совершенно здоровые, но слепые и неповоротливые, они становятся не в состоянии добывать себе пропитание. Понимаешь? Эта штука, которая и не хворь вовсе...

— Смерть, — вставила Дина.

— Да. Так вот, она очень... мудра, что ли. Но не по-человечески, а как бы... м-м... — Носатая Нино снова пощелкала пальцами. — Ну, ты поняла.

— Да, — сказала Дина. — Кажется.

— Кажется ей... — проворчала Носатая Нино и вдруг выпалила: — Эту мудрость не отличишь от равнодушия! Не отличишь от жестокости или сочувствия! Вот такая это мудрость. И в этом ее величие. Но опять же: что не велико по сравнению с человеком?

Видно было, что знахарке просто хочется поболтать, поделиться мыслями. Но Дина не собиралась играть роль новой подруги — хватит и этой, под лавкой.

— Зачем отец к тебе приходил? — спросила она.

Носатая Нино пожала одним плечом.

— Так я ж говорю: с глазами у него беда — слепнуть стал.

— Отец — слепнуть? — не поверила Дина.

— Ну да. Я ему голубятины посоветовала побольше трескать, а тут ты... то есть с тобой... В общем, неудивительно, что Церебов его поранил.

— Он был моложе отца, — буркнула Дина.

— Моложе-то моложе, — сказала Носатая Нино. — Но куда этой молодости до старика Тмайнова! В свое время папаша твой такое вытворял — Батрадзу¹ не снилось.

¹ Персонаж Нартовского эпоса, почти неуязвимый герой-воин.

— Ты ему поможешь? — спросила Дина.

— Кому? Батрадзу? — Носатая Нино хихикнула, но видя, что Дине не до шуток, вздохнула и проговорила поясняяще: — Такое не лечится. По крайней мере, сейчас. Я, конечно, могу притупить боль, и вообще... Но ведь прогонит. Я его, старого ворчуна, получше многих знаю... Кстати, как он — держится еще?

— Бредит, — сказала Дина угрюмо. — Требуется, чтоб мы вернули калым. А как его вернуть, ежели промеж всей родни поделили?

— Да, дела... — сочувственно проговорила Носатая Нино, сумев при этом сохранить на лице ерническое выражение. — А как брат?

— Не лучше. То есть лучше, конечно, но ненамного... Ребра у него сломаны. И правая рука не слушается.

— Это вывих, — сказала Носатая Нино со знанием дела.

— Нет, — возразила Дина. — Ключица.

— Что — ключица?

— Треснула. Вот здесь.

— С чего взяла?

— Каха сказал.

— Каха, Каха... — задумчиво проговорила Носатая Нино. — А! Это который костоправ бездетный? Ардасенов, кажись?

— Умгу.

— Ну раз Ка-аха сказал... — произнесла Носатая Нино таким чрезмерно-уважительным тоном, что сразу становилось ясно, какого мнения она о бездетном костоправе. — Впрочем, — добавила она тут же, — ключица — не хребет, срастется. Главное, шкуру на повязку надо от молодого барашка — дабы как жена в объятиях сжала. И — покой, покой, покой. А еще толченую скорлупу пускай лопают. Ложками.

— Да, — сказала Дина. — Каха так и советовал.

— Ну и молодец, — сказала Носатая Нино. Она помолчала, потом спросила как бы в сторону: — А мальчик из Клиата что?

Дина оторопело воззрилась на нее:

— Как?! И про него знаешь?

— А что тут знать? — усмехнулась Носатая Нино.

— Просто мы его прячем ото всех... — пробормотала Дина. — Даже соседи не знают...

— Ну, я — не соседи, — отмахнулась Носатая Нино. — Так что мальчик?

— Молчит, — сказала Дина. — Палец постоянно сосет — как теля матку, ей-богу! А попытаешься вытащить — ревет. Что еще? Спит беспокойно. Не ест почти. Людей боится — особенно мужчин, когда они толпой соберутся...

— Про седобу — правда? — жадно спросила Носатая Нино.

— Правда. Вот тут белая прядка. В жизни такого не видала.

— Ну-у... Ты еще много чего не видала.

Дина горько усмехнулась.

— Того, что повидала, вот докуда хватило. — Она постукала себя ребром ладони по горлу.

— Да, да, — кивая, сказала Носатая Нино. — Однако согласись: мальчик повидал поболее тебя. Как, кстати, его имя?

— Аца.

— Аца, — повторила Носатая Нино. — Так вот, привели бы вы Ацу ко мне. Леко я уже ничем не помогу. Брат твой и без меня поправится — раз уж за него сам Каха взялся! А вот мальчик... Он ведь не заговорит, коли не помочь.

— Женщины думают, заговорит, — возразила Дина. — Как забудет ту ночь, так и...

— Ты-то сама забудешь ту ночь? — быстро прервала ее Носатая Нино.

Дина потупилась.

— То-то, — сказала знахарка. — С чего тогда взяла, что он забудет? Нет, не забывать такое надо. Такое надо заменять.

— Чем?

— Это уж отдельный разговор, — мягко отмахнулась Носатая Нино. — Сейчас ты мне вот что пообещай. Как придешь — расскажешь о моем предложении своим. Они сначала, конечно, пальцами у виска крутить станут. Но ты не отступай, объясни все, как я тебе... Или погоди. — Она нахмурилась. — Ты ведь тайком пришла? Тьфу, невезенье! Ничего ты не скажешь. Побоишься расспросов: зачем, мол, к этой ведьме поперлась? Я ж для вас навряд пугалища... Ну да ладно. Придется самой спуститься...

— Прогонят тебя, — тихо сказала Дина.

— Да. Наверняка, — согласилась Носатая Нино. — Но попытаться стоит. Речь все-таки не обо мне.

На этом знахарка неожиданно замолкла и, отвернувшись от Дины, принялась с деланной озабоченностью мешать мамалыгу. Дина поняла, что расспросы кончились. Теперь надо было говорить самой. У нее вдруг сжалось горло.

— Я... — начала она и запнулась.

Носатая Нино как ни в чем не бывало помешивала свое варево. Это было жестоко. Ведьма проклятая, подумала Дина и, чувствуя на лице отвратительную кривую улыбку, процедила:

— Ты ведь знаешь, для чего я пришла.

— Догадываюсь, — отозвалась знахарка.

— Ну а ежели догадываешься, зачем мучаешь?

— О таком, — назидательно сказала Носатая Нино, — нужно просить. Вслух.

— Вслух ей... — буркнула Дина. Глухая злоба охватила ее. — Думаешь, я не понимаю? — закричала она. — Думаешь, я просто испуганная дуручка? Да! Заячья кровь! Но есть вещи пострашнее! А вдруг я его полюблю — об этом подумала? Ты хоть понимаешь, каково мне? Нет, ни черта ты не понимаешь! Сидишь тут, мешаешь свою жрачку, и плевать на всех!.. Ацу она, видите ли, захотела... вылечить решила... речь вернуть...

Видя, с каким беззаботным видом слушает ее знахарка, Дина постепенно скисла — последние слова получились у нее еле слышными.

— Выговоришься? — любезно осведомилась Носатая Нино.

— Знаешь, — сказала Дина уже совершенно спокойно, — меня тобой в детстве пугали.

— Вот как?

— Да. Мама всегда так грозила: «Не будешь слушаться — отведу к Носатой Нино и подарю ей!»

— Жалко, что она не исполнила обещания, — сказала Носатая Нино. — Мне одной тяжко.

— А среди детворы, — добавила Дина, — самым смелым считался тот, кто ближе остальных подойдет к твоей хижине.

— И ты, наверное, оказывалась самой трусливой, — предположила Носатая Нино.

— Не помню, — сказала Дина. — Может быть. — Она помолчала, опустив глаза. — Я ведь и в самом деле боюсь, — призналась она, понизив голос, хотя в комнате, кроме них да собаки, никого не было. — Ежели я его полюблю, это... это...

— Договаривай, — попросила Носатая Нино.

— Это будет предательством, — закончила Дина и уткнула лицо в ладони. — Господи, — прошептала она. — Почему я? Ведь есть хуже, намного хуже...

— Какая неделя? — спросила Носатая Нино.

Дина отняла руки от лица. Знахарка была непривычно серьезна.

— Восьмая... — выговорила Дина беззвучно и, сглотнув, повторила потверже: — Восьмая.

— И никто из твоих... — Носатая Нино не закончила фразу, но Дина поняла и так.

— Нет, что ты! — сказала она с живостью. — Никто не знает!

— И не ЗНАЛ?

Вопрос повис. Дина сжала челюсти с такой силой, что хрустнуло в висках. Потом медленно, не сводя со знахарки глаз, покачала головой.

— Хорошо, — сказала Носатая Нино. — Подойди.

Дина подчинилась. Рядом с очагом было жарко, как в преисподней.

— Покажи ладонь, — потребовала Носатая Нино.

Дина протянула руку ладонью вверх.

— Не эту. Правую, — поправила Носатая Нино.

Дина поменяла руку. Не переставая мешать мамалыгу, знахарка покосилась на протянутую ладонь и деловито сказала:

— В общем, так. Поди в мой огород, выкопай молодую луковицу. Осторожно копай, корней не повреди. Да смотри — выбери такую, чтоб помещалась в кулаке. Это самое главное. Большой палец должен свободно доставать до ногтя среднего. Вот так. Поняла? Ступай.

Дина зачем-то кивнула во второй раз и направилась к выходу. Ничего ей было не понятно. К чему луковица? Ей что, пережарки захотелось? Или, может, для пирогов начинка?.. Ведьма старая, совсем сбрендил тут на горе. Самой лень в земле копаться — меня запрягла. Сейчас принесу, что требует, — она и прогонит: нечего, мол, с таким делом сюда соваться... Хорошо, ежели так...

Она вышла на крыльцо и уже собралась прикрыть дверь, как вдруг из хижины выскользнула собака — проходя, она задела боком Динину ногу. У Дины снова поджались пальцы в чужаках. Оставив дверь неприкрытой, она быстрым шагом двинулась в сторону огорода. Собака увязалась следом — на вздутом животе ее, сквозь редкую шерстку, проступала розоватая, почти человеческая кожа, крохотные соски совсем не выпирали. Тяжеловато придется кутятам, мельком подумала Дина, но сейчас же, опомнившись, одернула себя: к черту, к черту! Луковицу хотите? Будет вам луковица!

Она опустилась на корточки около ближайшей грядки, выбрала пучок трубчатых листочков помельче и позеленее и принялась за дело. Некоторое время она сосредоточенно, не обращая внимания на шнырявшую рядом собаку, ковыряла руками рыхлую суглинистую землю, отгребала крошки, а когда в образовавшейся ямке показалась луковица — маленькая, рыжая, сплюснутая с боков, — взяла ее в правый кулак и проверила, достает ли большой палец до ногтя среднего. Палец доставал. Тогда Дина стала аккуратно копать дальше, освобождая корни. Корни были густые, белесоватые, самые тонкие отростки рвались, если Дина пыталась отделить от них комки земли, но основная часть осталась целехонькой.

Наконец луковица была извлечена. Дина брезгливо повертела ее в пальцах, затем поднялась, шикнула на собаку, чтобы не путалась под ногами, и вернулась в хижину.

— О! — сказала Носатая Нино, когда Дина молча протянула ей луковицу. — Хорошую выбрала. Корни, зелень... Гляди, и землю не стряхнула. Это ты правильно — дома стряхнешь, потом тщательно вымоешь. — Она помолчала. — Сунешь туда...

— Куда? — не поняла Дина, но сразу насторожилась.

— Туда, — Носатая Нино показала. — Сейчас там у тебя тепло, влажно, корни быстро прорастут. Особых неудобств это не доставит. Держи до новолуния. Луковица сгниет, а тот, кого ты так боишься полюбить, будет оплетен корнями. Тогда потянешь за зелень — она, ежели не поняла, должна торчать наружу. Потянешь сильно, но осторожно...

Дина вдруг разревелась.

— Ну, ну, девочка, — утешающе сказала Носатая Нино. — Всякое бывает.

— Ты и вправду ведьма, — выдавила Дина сквозь слезы.

— Я?! — возмутилась Носатая Нино. — Да сдались вы мне с вашими напастьями!

— Нет, — упрямо проговорила Дина. — Ведьма и есть. Не зря тебя все боя-а-атся... — Она завывала в голос.

Некоторое время Носатая Нино смотрела, как Дина, сморщившись, силится загнать слезы обратно, потом сказала:

— Ну и слава богу. Так оно даже лучше. Иди домой, жди срока. Воспитаешь хорошим человеком — будет хорошим человеком. Воспитаешь плохим — будет плохим. И никаких «боюсь полюбить»...

— Дай! — резко сказала Дина.

— А-а-а, — с чрезвычайно довольным видом протянула Носатая Нино. — Стало быть, все-таки «дай»?.. Что ж, бери. Но тогда, сделай милость, не ворчи.

Дина выхватила луковицу и выбежала вон. Перед глазами все расплывалось от слез. Дорожка, по которой она неслась, калитка, в которую протискивалась, кусты шиповника, одинокие деревца, небо — все было скользким, текучим, и все смердело тошной сыростью, как будто кругом простиралась непролазная гнилая топь. Дина, конечно, предчувствовала, что ничего хорошего у Носатой Нино ее не ждет. Но чтобы все оказалось настолько мерзким, стыдным... Дважды она порывалась зашвырнуть проклятую луковицу куда подальше, но в последний момент что-то удерживало ее. Страх полюбить? Возможно. Но не только. Было еще что-то, и вскоре она поняла — что. Отвращение. Мерзче, стыднее луковицы было все-таки дитя. Она представляла его личико, и личико это походило на рожу Заурбека Церебова; как бы защищаясь, она представляла розовенькие младенческие ручки, и ручки сейчас же зарастали черным, жестким, как у отца, волосом, а потом со скрипом сжимались волосатые кулаки, и Дина принималась рыдать громче прежнего. Нет, нет, все будет сделано. Сделано во что бы то ни стало. И ни одна собака не узнает.

Добежавши до березовой рощицы, она мягко, почти беззвучно повалилась в густую траву, зарылась в нее лицом и заревела так, как никогда еще не ревела. Следовало выдавить из себя все слезы без остатка, чтобы дома никто ничего не заподозрил. Особенно мама. У мамы на это дело нюх, она и так о чем-то догадывается, просто в силу врожденной своей застенчивости медлит с расспросами. Ничего, ничего, мамуль, подумала Дина с тихой нежностью. Скоро не о чем тебе будет расспрашивать. Дай мне только выплакаться, раз и навсегда выплакаться, и можешь забыть про свое беспокойство...

И тут на нее набросились. Один, прижимая к земле, резко и больно уперся коленом ей между лопаток, другой обхватил ноги повыше лодыжек, еще кто-то ударил и наступил на правую руку, которой она царапала колено того, кто расселся у нее на спине. Выворачивая шею, Дина попыталась посмотреть, что это за мерзавцы такие, но в ту же секунду на лицо опустилась огромная горячая ладонь, так что и головой стало не пошевелить. Скорее из-за невозможности видеть, чем от испуга, Дина истошно, обдирая нёбо, завопила, и ей сейчас же загнали кляп в рот. Она ошарашенно замычала, забилась и задергалась, насколько это вообще было возможно в ее положении, и тогда тот, кто сидел у нее на спине, отпустил ей такую затрещину, что искры из глаз посыпались, и она сразу обмякла. Мир, мгновение назад — жесткий, душный, наполненный суетливым пыхтеньем, сделался вдруг мягким, тихим и тягучим, похожим на каплю живицы, поглотившую комара. Вот и всё, в каком-то оцепелом безразличии подумала Дина, потом ее перевернули на спину, и она увидела лица нападавших.

Это были Церебовы. Четыре... нет, пятеро мерзавцев, гнусно улыбаясь, нависали над ней. Вид у них был очень довольный, прямо-таки ликующий; особенно ликовал тот, кто вязал ей руки, — не переставая улыбаться, он шептал ей что-то неслышное за гулом в голове и без конца подмигивал, как сводник. А ведь я его знаю, вяло подумала Дина. Это ж... это... Мурат! Да, да. А вон тот, с исцарапанной мордой, — Тото. Ишь,

как таращится... Тут откуда-то издалека до сознания донесся полуудивленный вопрос: «Что это у тебя?» — и Дина сейчас же ощутила луковицу, судорожно сжатую в левом кулаке. Смешно: ей успели заткнуть кляпом рот, огреть по затылку, перевернуть и связать — а луковицу она так и не выпустила.

— Ну-ка, дай, — ласково, будто уговаривая маленькую, потребовал Мурат, но Дина не разжала пальцев. — Давай, давай, — сказал Мурат нетерпеливей, а потом вдруг, как тяткой, корябая Дине ладонь, втиснул пальцы под луковицу и потянул с такой силой, что луковица моментально оказалась у него. — Смотрите-ка, — поднимая ее над плечом, сказал он сообщникам.

— Что это? — хмуро спросил Тото. — Лук?

— Ну, — сказал Мурат.

— На кой он ей?

— Я знаю?

— Дай сюда, — скомандовал вдруг резкий гундосый голос, и в каком-то обессиливающем томлении Дина узнала Авдана Церебова. Этот гад был умен как дьявол, его не то что чужие — свои трепетали, и возможно, именно поэтому Старик прочил его себе в преемники.

Некоторое время Авдан, приблизивши луковицу к лицу, с гадливостью рассматривал ее, потом скосил глаза на Дину и нехорошо усмехнулся уголком безгубого рта. Дине показалось, что он все знает. Станный детский испуг охватил ее. Нет, она не боялась смерти (где-то она ее даже желала), но вот луковица... Это ведь должно было остаться тайной — только она, Дина, да знахарка. А вон оно как получается...

— Делай — три, — коротко и непонятно скомандовал Авдан, и мир перед глазами у Дины тотчас померк.

Она не сразу поняла, что это ей на голову натянули мешок. Сквозь домотканую холстину, смердевшую какой-то кислотой, проникали точки тусклого света, но лучше бы их вовсе не было, а то волей-неволей приходилось выпучивать глаза и лихорадочно гадать, что делается там, с той стороны холстины, почему эти проклятые точки так мерцают, кто и зачем заслоняет собою свет. С ума можно было сойти...

— Воум вуум! — выдавила Дина, тщетно пытаясь выругаться.

Уничтожительно гыгыкая, двое схватили ее повыше локтей и рывком вздернули на ноги. Ноги подгибались, как не свои, а еще неприятно, прямо как в ту ночь, болели ребра и издевательски-медленно пропитывалась кровью повязка на голове. Бараны, подумала Дина с горечью и отвращением. Бабу, и ту без крови сцапать не могут... Тут Авдан снова что-то прогундосил — из-под мешка было не разобрать, — и два весельчака, все еще держащие Дину, потянули ее вперед. Пришлось переставлять ноги.

Куда это меня? — думала Дина, ловя ноздрями жалкие крохи воздуха, проникавшие внутрь мешка. Меня убивать надо, а они тащат, думала она, дергаясь всякий раз, когда точки света перед лицом меркли особенно резко, — ей все казалось, что весельчаки намереваются с размаху стукнуть ее о ствол дерева. Или еще веселее: подвести к краю обрыва и отпустить — иди, мол, свободна... Нет, трусиха, тут, кажись, другое. Для чего-то ты понадобилась живой. Вон как подготовились: кляп, веревка; ты и пикнуть не успела... Делай — три... Значит, кляп — это было «раз», а веревка на руки — «два»... Эх, Тмайновы, Тмайновы, с укором сказала она мужчинам, дежурящим у завала. Вы, конечно, молодцы и все такое, но что ж вы так, а? Получается, Церебовы захотят — придут к нам с севера, вдосталь постреляют и преспокойно уберутся восвояси? Нет, нет, не может дядя Болат быть настолько недалёковидным. Наверняка кругом наши сторожевые... Хотя мне-то что с этого? Мне и увидеть их не дано, не то что на помощь кликнуть. Дура. Сходила, называется, до знахарки. Избавила родню от позора... А ведь никто не знает, куда я поперлась. И догадуются, наверное, не скоро. Ежели вообще догадуются...

Тут весельчаки остановились, и Дина услышала лошадиное фырканье. Ага, подумала она. Сейчас меня через седло — и в чуждальную сторону. Прямо как невесту бедняка.

Так и случилось. Сначала правый весельчак отпустил ее и, судя по звукам, вскочил на одну лошадь и подвел другую. Его товарищ тем временем возился с Дининым поясом, кажется, привязывал к нему конец какой-то веревки. Потом, ставши позади Дины, он взял ее обеими руками за талию и с хаканьем подбросил. Дина шумно и крайне неудобно плюхнулась животом и грудью на седло, начала было сползать, но ее тут же в четыре руки потянули обратно, поправили, затем накрепко, как какой-нибудь тюк, приторочили к задней луке.

— Руки тоже, — сказал тот, кто был верхом.

— Не учи ворону каркать, — отозвался его поделщик и, обойдя лошадь, стал привязывать Динины руки к подпружной пряжке. Когда дело было сделано, он задумчиво проговорил: — Не задохнется — в мешке да с кляпом?

— Вряд ли, — сказал верховой.

— Может, хотя бы мешок снять?

— Обойдется.

— Ну, раз так — гони. А ежели что...

— Знаю — не дурак.

— Эт как посмотреть.

— У-у, х-холера! — благодушно ругнулся верховой и тронул лошадь. Лошадь, которая везла Дину, очевидно, потянутая за поводья, двинулась следом.

Сначала ехали тихим шагом под уклон. Потом, когда дорога постепенно выравнилась, побежали рысцей. К этому моменту повязка на голове пропиталась кровью настолько, что с нее начало капать. Мешок, делаясь все тяжелее, понемногу сползал, с него, наверное, тоже капало, но верховой, видимо, ничего не замечал — понукал лошадей и то и дело шумно харкался в сторону.

Через какое-то время Дина поймала себя на том, что теряет сознание. Умираю, подумала она, но не испугалась, ибо это было лишь чуточку неудобно, а в общем и целом — очень даже ничего, приятно. Как будто засыпаешь, до смерти усталая, после долгого рабочего дня.

Еще через какое-то время до нее дошло, что сознание хоть и теряется, а потеряться окончательно почему-то не может: что-то мешает. Дина попыталась призадуматься, что это за помеха такая, но ничего не вышло — оказывается, думать в таком состоянии было лень и вообще незачем. Все равно ничего не изменить. А ежели даже и можно, то — не мной... Дядя Болат... сторожевые...

Она бесконечно долго тщила представить себе этих мифических сторожевых. Почему-то казалось, что если вообразить их во всех подробностях — от черных каракулевых папах до бордовых чувяк из сыромятной кожи, — они обязательно появятся, живые, злые и родные, выскочат из-за ближайшего холма (который тоже необходимо вообразить), в два счета нагонят и освободят... А разделаться с Церебовым позволят Дине. Ой как я с ним разделаюсь! Никто ни с кем так не разделялся, как разделаюсь с ним я...

И все-таки она потеряла сознание. В какой-то момент этого затянувшегося бреда появилось странное, волнующее, не совсем приятное ощущение: как будто откуда-то снизу, от земли, на макушку льется неслышный, ласково-теплый водопад, и сила, напор его все увеличивается, плотнеет, становится колким, так что голова запрокидывается до предела, а тело начинает сносить куда-то вверх и вправо... Это длилось считанные секунды, потом напор сделался до того мощен, что лопнули связывающие Дину веревки, ее, как пушинку, оторвало от седла и сейчас же ударило спиной и затылком о гулкий мрак, в котором не стало ничего — ни чувств, ни мыслей, ни желаний.

5

Очнулась она уже в постели. Под плотным одеялом, тщательно подоткнутым с трех сторон, было нестерпимо жарко. Распухший язык не умещался во рту, глаза слезились, и болюче, до звона под черепашкой, сдавливала голову свежая повязка. То, что повязка свежая, было ясно по запаху — так могла пахнуть только чистая, недавно стиранный материя. Одного не пойму — зачем так затягивать? Руки ваши крюки... Дина рассеянно потянулась к повязке, намереваясь ослабить ее хоть немножко, и тут с удивлением обнаружила, что руки у нее привязаны к кровати, каждая — отдельной веревкой. Дотянуться можно было только до груди — потом веревки натягивались, и неощутимые доселе петли на запястьях причиняли боль.

— Это для твоего же блага, деточка, — раздался откуда-то справа размеренный, не лишенный приятности мужской голос.

Вздрыгнув, Дина повернула голову и лихорадочно заморгала, сиюсь разглядеть говорившего сквозь едкие слезы.

— Ты бредила, — продолжал Старик все так же размеренно. — Жаловалась, что чешется, пыталась сорвать повязку. Я боялся, ты навредишь себе, и решил не рисковать.

Дина наконец разглядела Старика. Сухой, белобородый, с необычайно прямой осанкой, он восседал поодаль у окна на роскошном стуле, высокая резная спинка которого выглядывала из-за худощавых плеч, похожая на гигантские рога какого-то невиданного оленя. Синий шелковый бешмет, обшитый галуном, как всегда, сидел на Старике идеально; белые ухоженные руки покоились на мягких подлокотниках; стройные, на зависть любой девушке, икры обтягивали черные сафьяновые ноговицы, украшенные поверху ярко-красным орнаментом.

— Вы... — хрипло проговорила Дина и замолкла. Она вдруг поняла, что ей нечего сказать. И так все ясно.

— Да, я, — сердечно улыбаясь, отозвался Старик. — Вот — решил поселить тебя у себя. Это, кстати, любимая моя комната, ты в ней еще не бывала. Окно — с кровати не видно — глядит на юг. Красотища! Особенно в солнечную погоду...

Говоря это, Старик, не моргая, смотрел на Дину. Взгляд у него был ясный, умно-неподвижный, от этого взгляда было как-то неудобно отрываться. Но Дина все же оторвалась на секундочку — глянула, якобы мимоходом, в окно. Вроде далеко за полдень. Вопрос — насколько далеко и какой он по счету, этот «за полдень»?..

— Вижу, ты еще очень слаба, — говорил между тем Старик. — Но у меня к тебе разговор, серьезный взрослый разговор. Откладывать его я больше не могу, уж прости. Но сначала давай тебя развяжем... Авдан, — позвал он негромко.

Слева, где, оказывается, был дверной проем, возник Авдан Церебов — стремительно и совершенно бесшумно приблизился, откинул одеяло и в два счета обрезал веревки страховидным, особенно в его руке, кинжалом.

— Вот, — сказал Старик Дине. — Теперь, ежели хочешь, можешь сесть. Нет? Ну тогда лежи, лежи... Авдан, дружок, сделай доброе дело: поди встань в дверях, а то наша Диночка отвлекается.

— Не нравлюсь я ей, — прогундосил Авдан с шутливой обидой в голосе. — И никогда не нравился.

— Женское сердце, — сказал Старик наставительно. — Тут есть повод призадуматься.

— Поразмышлю на досуге, — безразлично отозвался Авдан и попятился к дверям.

Скосив глаза, Дина оцепенело смотрела, как он облокотился плечом о косяк и, извлеки из кармана бешмета большое желтое яблоко, принялся срезать с него кожуру и ронять ее на пол. Луковица, гудело в голове. Куда он ее девал? Почему тогда усмехнулся?..

— Первый вопрос, — произнес Старик, но видя, что Дина, как замороженная, плянется на Авдана, возвысил голос: — Гляди на меня, деточка! На него внимания не обращай, он — так, для виду. Повторяю: разговор серьезный, соберись.

Дина быстро повернула голову, вперилась в Старика и, стараясь вложить в слова как можно больше презрения, которого на самом деле, увы, не чувствовала, выпалила:

— Ничего я говорить не буду, вот еще!.. И не называй меня «деточкой», никакая я тебе не деточка!

Далее она намеревалась плюнуть в Старика, и будь что будет, но тут Авдан весело, будто стал свидетелем какой-то детской блажи, хмыкнул, а Старик проговорил слегка озадаченно:

— Вот как? Что ж... — Он пожевал серыми, как у мерина, губами. — Не хочешь быть деточкой — не будешь. Но говорить все равно придется! Твои родичи убили моих родичей, и я хочу знать, — голос его посуровел, — кто в этом повинен.

— Кто, кто — вы! — рявкнула Дина.

— Так, — сказал Старик очень заинтересованно. — Мы. В чем же, по-твоему, мы виноваты?

— Заурбек... — произносить это имя было противно. — Это все он, его вина, его одного!

— Так, — повторил Старик. — Очень хорошо. Заурбек. Стало быть, это он тебя порезал?

— Он.

— В тот момент вы были одни?

— Что?

— В сакле, помимо вас, кто-нибудь был? Где находились твои отец и брат?

— Дома — где!

— Дома — это в Тибе?

— Да. Сколько я была без сознания?

— Об этом — позже. Сначала расскажи, что произошло между тобой и мужем.

Почему он это сделал?

— Потому что был подонком.

— Так. Дальше.

— Он... он...

Старик понимающе вздохнул.

— Знаю, — проговорил он, — Заурбек был далеко не наилучший супруг. Пьющие люди сами по себе неприятны, — что тогда говорить о пьющем муже!.. Даже больше скажу: я знаю, что он не раз и не два подымал на тебя руку. Видит бог, я пытался вправить ему мозги. Я грозил, вразумлял, уговаривал даже — и каждый раз мне казалось, что мои слова, наконец, дошли до него. Но он был просто хорошим лицедеем. Ему нравилось облапошивать людей, так он самоутверждался. Видно, правильно говорят: в семье не без урода. — Он помедлил, затем спросил с подкупающим сочувствием: — Так что все-таки произошло в ту ночь?

Что-то, а говорить про ту ночь Дине не хотелось. Но уж слишком подкупающим был голос Старика. И, преодолевая себя, Дина выдавила:

— Он... мы...

— Вы поссорились? — помог Старик.

— Да. Он... избил меня и... порезал. Я побежала за помощью...

— И он так просто тебя отпустил? — не скрывая сомнения, быстро перебил Старик.

Дина угрюмо шевельнула плечом. Честно говоря, она и сама не до конца понимала, зачем Заурбек ее тогда отпустил. Неужто и впрямь последние мозги пропил? Или до того уверенно чувствовал себя: Церебов, мол, — не хвост собачий...

— Ну, хорошо, — сказал Старик после недолгой паузы. — А сын Тото? Абе что?

— Это потом случилось, — пробормотала Дина, отводя глаза. — Без меня. Отец не хотел...

— Ага, — сказал Старик. — Стало быть, это Леко рук дело?

— Он не хотел, — повторила Дина настойчиво.

— Ну прям божий одуванчик, — подал голос Авдан.

— Тсс! — сказал ему Старик, потом ласково — Дине: — Продолжай, пожалуйста.

Но Дина уже поняла, что сболтнула нечто такое, чего сбалтывать никак не следовало, и прикусила язык... Хотя что они могут ему сделать? Он — вон где! Это мне уже не жить, а до папы — пусть только попробуют дотянуться. Руки короткие.

— Ну, чего молчишь? — ласково осведомился Старик. — Не хотел, говоришь? — сказал он, так и не дождавшись ответа. — Что ж, охотно верю. Может быть, и не хотел. Может, мальчишка просто под горячую руку подвернулся: бывает... Мои вон — тоже не сахар. Слыхала, небось, что в Клиате приключилось?

— Слыхала. Весь Мамисон об этом гудит.

— Вот, — сказал Старик. — Это я не уследил, моя вина. И я, в отличие от твоего отца, вину эту признаю. Слава богу, хотя бы мальчик убёг. Он ведь у вас, да?

Вопрос был задан как бы между прочим. Но Дина была настороже; ох и хитре-ец, подумала она, а вслух сказала:

— Ничего ты больше не узнаешь, только время тратишь.

Старик выгнул белую бровь:

— Вот как?

— Для взрослого разговора нужно было взрослого мужика красть, — издевательски, с удовольствием прислушиваясь к себе, сказала Дина. Раззадоренная собственной наглостью, она вздумала добавить еще что-то, но тут Авдан снова весело хмыкнул, чем сразу сбил ее с панталыку. — Не хмыкай, ты! — прикрикнула она, однако это уже не прозвучало.

Наступило молчание. Старик безотрывно и задумчиво глядел на Дину и даже не думал, сволочь, моргать. Дина, насупившись, отвечала на его взгляд и моргала без остановки, ничего не могла с собой сделать. Потом Авдан прогундосил с деланным одобрением:

— А девочка ничего, боевитая.

— Хорошая девочка, — согласился Старик со вздохом. — Жаль только, плохому мужу досталась.

Он неожиданно легко для своих лет поднялся и, выставив белую бороду, неспешно двинулся к двери — высокий, худощавый, невыносимо осанистый.

Что, всё? — потерянно подумала Дина и сама же ответила: да, всё. Еще секунда ушла у нее на то, чтобы до конца осознать, что подразумевается под этим словом, — «всё». И как только она это осознала, ледяной пот прошиб ее, и, млея, как в кошмаре, она вытаращилась на Старика, еле удержавшись от малодушно-отчаянного окрика: «Подождите!..»

Она пережила самое долгое мгновение в своей жизни. Но устояла. Сохранила лицо. Обтянутая в синий шелк спина неторопливо удалялась. Сейчас, думала Дина уже совершенно спокойно. Сейчас он отдаст команду... нет, просто кивнет — и этот живодер меня прикончит. Прямо в постели и прикончит. В любимой его комнате, с окном, глядящим на юг... Только б не закричать...

А Старик с издевательской, душу выматывающей медлительностью дошагал, наконец, до двери, остановился, ожидая, пока Авдан посторонится, уступая дорогу, сделал еще шаг, снова замер, постоял так немного, повернув голову к своему преемнику и озабоченно наблюдая, как тот уплетает избавленное от кожуры яблоко, вздохнул и только после этого соизволил обернуться. Ну! — торопила Дина, во все глаза глядя на него. Ну!

— Что ж... — произнес Старик. Авдан перестал хрумкать, а Дина — дышать. — Раз

такое дело... — снова пауза, которую нестерпимо хочется заполнить пронзительным визгом, — поручаю нашу гостью тебе, Авдан.

Дина не удержалась — вздрогнула, и оба Церебова это заметили. Старик впервые за все время разговора моргнул совсем по-человечески, а Авдан растянул безгубую свою пасть в знакомой нехорошей улыбочке. Всё, обреченно подумала Дина, краешком сознания отмечая, что у нее отнимаются ноги. Секунда — и она перестала ощущать свое тело вовсе: не было больше ни ног, ни рук, ни туловища, повязка не сдавливала голову, да и сама голова куда-то пропала, ослабли все запахи, затихли все звуки... И лишь зрение, необычайно обострившееся, продолжало исправно служить ей. Дина смотрела и смотрела на Церебовых, не в силах прекратить, болезненно-необоримое желание увидеть, запечатлеть все до конца заполнило все то, что когда-то называлось здравым рассудком. Она состояла из этого желания. Она была этим желанием. И ничего другого в мире больше не существовало. Увидеть. Запечатлеть. Сбереечь в памяти... Ну же!

Старик отвернулся, шагнул за порог и сгинул. Остался лишь Авдан — жуткий прищур, нехорошая улыбка довольного жизнью живодера. И кинжал. Дина смотрела. Авдан медлил. Он явно сознавал свою власть и наслаждался ею, смакуя каждое мгновение. «Ну же», — едва не выдав себя звуком, взмолилась Дина, и Авдан, помедлив еще чуточку, сделал, наконец, то, что требовал от него Старик, — они ведь наверняка обо всем договорились!

— Заре-ема, — ласково протянул он, не отводя взгляда от Дины.

Дина ничего не понимала.

— Заре-е-ема, — повторил Авдан громче и протяжней.

В глубине сакли слышались торопливые шажки, и вскоре на пороге кто-то появился. Дина не видела, кто именно, — может быть, Зарема, а может, и не Зарема вовсе. Да и неважно это! Кинжал. Он все еще был у Авдана в руке. И в любой момент этот живодер мог пустить его в ход. Что же он тянет? Зарему какую-то позвал. К чему Зарема в таком-то деле?.. И словно вдогонку этим мыслям взгляд сам собой перевелся с Авдана на вошедшую Зарему, и Дина вдруг с запоздалой и несколько потерянной радостью осознала, что сегодня она не умрет.

Она еще не до конца поняла, почему так думает, а Зарема уже двинулась вперед, к ней навстречу, заслонила собою Авдана и, приблизившись, опустила на край кровати какой-то поднос. Дина недоверчиво покосилась — на подносе стояла миска горячей лывжи, пара кукурузных чуреков и ложка. Чего это они? — мелькнуло в голове. Покормить вздумали? Зачем? Меня ж того — убивать надо. Она подняла непонимающий взгляд на Зарему, но та уже отвернулась и стремительным шагом направилась к двери. Дина оторопело глядела ей в спину, пока Зарема не вышла из комнаты. Все произошло так быстро, что Дина даже не запомнила лица этой женщины — лишь бордовое платье да неправдоподобно черную, явно крашенную басмой косу, болтавшуюся меж лопаток.

— Ну, что вылупилась? — весело осведомился Авдан. — Лопай!

Он бросил недоеденное яблоко на пол, в кучу перекрученной кожиры, и тоже вышел, очень собой довольный.

Дина все не понимала. Точнее — понимала, но как-то однобоко: она никак не могла уразуметь причины случившегося. Да, у нее вывели все, чего хотели. Да, обошлись без пыток. Но, выведав все, почему-то не убили, наоборот — решили покормить. Причем решили явно до того, как все вывели. Зачем?.. В животе заурчало. Страдальчески выгнув брови, Дина опять покосилась на поднос. Над миской с лывжой клубился густой ароматный парок. Может, отравлена? — предположила Дина в тайной надежде отогнать таким образом голод. Голод, однако, не отгонялся. Зараза, вот тебе и «без пыток»! А это тогда что — мамкины щекотки? Сколько же я провалялась, раз так слюнки текут?

Она уже знала, что не пересилит свое естество, поэтому не стала дальше кочевряжиться. Рывком села, схватила миску обеими руками и, обжигаясь, принялась хлебать мутную лывжу громкими суматошными глотками. Слава богу, никто этого срама не видел. Через какое-то время, заполненное сладострастным мычанием и протяжными всасывающими звуками, супа в миске не осталось. На донышке, увязнув в белесоватом осадке, сиротливо лежал разваренный кусок баранины — не очень-то большой, но и не маленький. Интересно, подумала Дина, утирая рукавом запотевшие лоб и щеки. Раньше эти богачи не особо меня баловали. Что же, черт возьми, поменялось? Гадая об этом, она взяла мясо пальцами и сунула в рот — баранина прямо таяла на языке, и Дина, прищурившись, наслаждалась этим, точно старуха, потерявшая в запрошлом году последние зубы.

И все-таки, в то же время думала она. Что они замыслили? Шантаж? Обмен? Но у нас нет никого из Церебовых. Или есть? Да нет, нету, я бы знала... А может, решили держать меня на черный день — на тот случай, ежели мои и в самом деле пленником обзаведутся? Правда, такого тупого пленника, как ты, курица, днем с огнем не сыщешь. Среди Церебовых — уж точно. Зря, что ли, они богаче всякого в Мамисоне? Не от глупости же, правда?.. Хотя, ежели судить по Заурбеку... Тут Дина невольно заулыбалась. Ежели судить по Заурбеку, Церебовым конец. Им и так конец, но ежели судить по ненаглядному моему муженьку, конец их не за горами.

Не в силах убраться с губ неуместной улыбочки, Дина выпростала ноги из-под скомканного одеяла и опустила их на пол. Ни носков, ни чуваков возле кровати не наблюдалось, ногам сразу стало зябко. Ничего, подумала Дина. И без чуваков люди живут... Она потянулась к чуреку на подносе, отломил кусочек и не глядя помакала и повозила им в белесоватом осадке на дне миски. Затем так же не глядя сунула чурек в рот. Он оказался даже вкуснее разваренной баранины. Ну до чего же мастачка эта Зарема стряпать! Кто она такая, интересно? Лица, жалко, не разглядела. На свадьбе, помню, сидела недалеко справа какая-то Зарема — все хохотала, как умалишенная, а когда начались танцы, напрочь отказалась выходить с кем бы то ни было — стеснялась, что ли? Ежели это та самая Зарема, то черт знает, кому и кем она доводится. Да и какая разница! Церебова — она Церебова и есть, и судьба у них одна на всех.

И все-таки непонятно. Почему я до сих пор дышу? Ежели и вправду обмен, то меня можно держать и в погребе — так и шума поменьше, и вообще. А то ведь могу и удрать ненароком. Или еще лучше: выкрадут меня свои, окно вон какое широкое... Приманка? А что, может, и приманка. Разнесут весть, что Дина, мол, у Старика томится — Тмайновы поспешат на выручку и, конечно же, угодят в засаду. Всех мужчин перебьют — останется женщин и детей по аулам выловить... Проклятье, и надо было мне попасться! Сидела бы дома, ждала срока. И плевать, что бы там ни судачили. Подумаешь — ублюдок. Кому — ублюдок, а кому — обыкновенный ребеночек из плоти и крови. Церебовы, небось, души за него отдали, если бы только...

И тут она все поняла. И ужаснувшись, вздрогнула, как от резкого толчка.

— Господи... — выдохнула она, поднимаясь на ноги. Глиняная миска соскользнула с колена и разбилась об пол. — Нет, нет, этого не может быть... — Обжигающая, точно кипяток, волна ошпарила лицо, очертания комнаты размылись и затемнились, стало душно, тошно, тесно. — Только не это, не это, не это... — придушенно залепетала Дина, ни в какую не желая поверить в то, до чего сама же и додумалась. В последнем здравом усилии она попыталась переубедить себя или хотя бы придумать что-нибудь менее ужасное, но за стеной уже слышалась приближающаяся топотня, и тогда Дина схватила с пола первый попавшийся черепок и, плачуще вскрикивая на каждом взмахе, принялась раз за разом колоть себя в живот.

Посмотреть у знахарки Болат Тмайнов додумался лишь спустя час бесплодных поисков. За этот час отряд наткнулся на еще одну сторожевую заставу, застигнутую

врасплох. Видно было, что перед тем как убить сторожевых, Церебовы их пытали, впрочем, не особо увлекаясь: у тридцатилетнего Тугана были вырваны три ногтя на правой руке, а у его младшего братца, балбеса Бибо, и того не наблюдалось — разбитая губа да неглубокий порез под глазом. Очевидно, его заставили смотреть на пытку, пока он не обдристался и не ответил на все вопросы.

Болат уже догадывался, что и Дина каким-то образом угодила в этот гибельный коловорот и, скорее всего, ее уже нет в живых, — он догадывался об этом и вроде даже смирился... То есть не смирился, конечно, а как бы мимолетно, тут же себя обрывая, допускал, что, возможно, случилось худшее и вся эта беготня вокруг аула так же бессмысленна, как махание кулаками после драки. Позволяя себе подобные мысли, он, как ни странно, заранее подготавливался. И поэтому, когда отряд добрался, наконец, до цели, он, Болат, оказался чуть ли не единственным, кто не оторопел, увидев, что творится во дворе у знахарки.

Во дворе у знахарки царил разгром. Калитка была сорвана с петель и закинута зачем-то на крышу. Часть огорода перетоптана, другая — искромсана шашками. В тени под грушевым деревом лежала, поджавши ноги, черная овца — на вид вроде как спящая, но какое животное станет дремать в луже собственной крови? Чуть дальше, у сарая, виднелось растрепанное тельце кочета, задравшего к небу скрюченные лапки. Судя по замысловатому черному следу на траве, его поймали где-то у крыльца, прижав к земле, обезглавили, затем пустили побегать, пока не надоест. Дверь хижины была распахнута, из черного проема, словно из пасти издыхающего уаига¹, доносился заунывный скулеж, с первых же секунд начавший портить кровь.

— Какого черта? — беспокойно пробормотал Аким, остановивший свою лошадь рядом с лошадьёю Болат. — Кто-нибудь что-нибудь понимает? — суетливо завертев кубовидной башкой, обратился он ко всем.

Никто ему не ответил.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он тогда напрямую у Болат.

Болат, как и все, ничего не понимал. Он только чувствовал, что все вокруг так или иначе связано с тем коловоротом, в который угодила его племянница. Но втолковывать это разволновавшемуся Акиму не было ни времени, ни желания.

— Спешиваемся, — сказал он кратко и первым спрыгнул на землю.

Далее никаких распоряжений отдавать не пришлось. Стрелки, слаженно рассредоточившись, заняли позиции у плетня. Остальные, обнажая на ходу шашки, один за другим вошли во двор и со всею осторожностью двинулись к хижине. Скулеж из дверного проема тут же усилился, и Болат с досадой почувствовал, что у него вспотели ладони. Не останавливаясь, он переложил шашку из правой руки в левую и освободившейся ладонью быстро провел по бедру, стирая предательскую влагу. Затем снова переложил шашку. Стало не в пример спокойнее. Он покосился на Акима, шедшего рядом. Странное дело, этот легковозбудимый, обидчивый здоровяк взял себя в руки, хотя, видит бог, не должен был этого делать до тех пор, пока не убедится, что никакой опасности нет. Вот он-то и войдет, неожиданно для себя решил Болат. А что? Ежели ничего страшного, то ничего страшного. А ежели все же засада, наш Акимка такого там натворит с перепугу — эти суки из окон посыплются...

— Пс-с! — шепнул он Акиму и, когда тот повернул к нему поглупевшее от напряжения лицо, указал на дверной проем.

Аким коротко кивнул и, обгоняя остальных, выдвинулся вперед.

— И ты, — одними губами велел Болат Хазби.

Хазби, второй силач в отряде, тоже кивнул и в два огромных шага нагнал Акима. На крыльцо они поднялись вместе. Перед тем как войти, остановились на мгновение и переглянулись, как бы на всякий случай проверяя друг друга на вшивость. Потом, вставши боком, одновременно протиснулись в дверной проем.

¹ В Нартовском эпосе — злой циклоп.

Как только темнота поглотила их, скулеж перешел в надрывные прерывистые подвывания пополам с хрипом. Стало совершенно непонятно, кто издает эти звуки — животное или человек... Болат поймал недоуменный взгляд Казбека и уже собрался было указать ему на проем: следуй, мол, за мной, — но тут в глубине хижины, заглушая подвывания, раздался громоподобный рев:

— К разэтакой вас матери, шакальи охвостья, кто ж так поступает, а?!

Кричал Аким... Позабыв об осторожности, все кинулись ему на выручку и сейчас же замерли.

Аким сам выскочил наружу.

Квадратная морда его шла серыми пятнами, выпученные глаза метались, ни на чем не останавливаясь. «Кто ж так...» — проговорил он с неожиданной растерянностью в голосе, после чего согнулся в пояснице, и его вырвало.

Скрипнув зубами, Болат оттолкнул этого впечатлительного болвана и вбежал в хижину. На пороге горницы пришлось оттолкнуть и Хазби — тот стоял истуканом, загораживая проход широченной спиной. Да что это с ними? Первый год замужем, что ли?.. И сделавши единственный нетерпеливый шаг, Болат застыл, сам обратившись в истукана.

В горнице, как над помойной ямой, роились мухи. Разглядеть что-либо сквозь это жужжащее мельтешение было непросто, но Болат разглядел. У очага, распростершись на полу, лежала Носатая Нино. Ей вспороли живот и извлекли кишки, а в освободившееся место накидали суглинка. Этого, видимо, оказалось недостаточно, и убийцы посадили там, в животе у несчастной, луковицу — зеленые жизнелюбивые листочки торчали из земли, указывая остриями в потолок.

— Она-то им чем насолила? — спросил Хазби в пустоту, и тут справа послышалось то самое прерывистое подвывание.

Болат повернул голову — под лавкой, забившись в самую темень, кто-то шевелился. Убедившись, что это всего лишь издыхающая собака, Болат развернулся и на негнувшихся ногах побрел к выходу. Он надеялся, что на свежем воздухе ему полегчает.

После случая с черепком жизнь Дины превратилась в кошмар. Церебовы, наверное, опасались, что она не успокоится, пока не убьет вынашиваемого ребенка, поэтому в тот же день приняли меры. Из комнаты была вынесена вся мебель, затем стены завесили роскошными коврами в два, а местами в три слоя. Похожая участь постигла и пол — он полностью исчез под пестрыми, необыкновенно мягкими пуховиками, так что передвигаться по комнате стало крайне затруднительно.

Впрочем, к передвижениям, а равно и к повторным попыткам навредить ребенку Дина сразу охладела. Что-то с ней произошло, когда ее, вопящую от дикой боли, сбили с ног и вырвали из сведенных пальцев окровавленный черепок. Словно вместе с этим черепком вырвали из нее какой-то стержень. Она стала квелой, неповоротливой, безучастной ко всему, что делалось вокруг.

Две недели заживали безобразные раны на животе, и все это время Дина видела неподдельную тревогу в глазах каждого Церебова, приходившего посмотреть на нее. Она понимала: они боятся за ребенка, боятся потерять то последнее, что осталось от их дорогого Заурбека. Но понимание это нисколько ее не трогало. Ни одной презрительной мысли не появилось у нее на этот счет, ни одного едкого замечания не сорвалось с губ. Она только все больше и больше убеждалась, что до того, как у нее отобрали черепок, в ней действительно был какой-то стержень, которого больше нет и, главное, никогда уже не будет.

Вскользь горюя об этом, она днями напролет лежала под окном, свернувшись калачиком в уютном кубле, которое она соорудила из козьей бурки, двух одеял и многочисленных мутак, накиданных в комнату вместо подушек, лежала, уставившись

в одну точку на потолке или на стене, а если вдруг занадобится, с отсутствующим видом поднималась на четвереньки и, застревая руками и коленями в щелях между пуховиками, перемещалась к двери, где рядом со стулом надсмотрщика стоял ночной горшок. Справлять нужду на глазах у мужчины оказалось на удивление просто — всякий стыд пропал на третий, кажется, раз. Да и надсмотрщики, сменявшие друг друга каждые четыре часа, не обращали на нее никакого внимания.

По ночам, прежде чем запереть одну в комнате, ее связывали. Сначала было, конечно, не заснуть, но через какое-то время веревки стали чем-то само собой разумеющимся: Дина просто перестала их замечать и, наверное, вряд ли уснула бы, если б в одну ночь Церебовым вдруг вздумалось ее не связывать.

Кормили часто и сытно. Но — с ложки и под присмотром. Как правило, кормила Зарема, а когда Зареми почему-либо не оказывалось на месте, ее подменяла другая корова, не менее молчаливая. Если Дина вдруг отказывалась раскрывать рот навстречу очередной ложке, на помощь тут же призывался надсмотрщик — на пару с молчаливой коровой ему ничего не стоило заставить Дину доест все до конца.

Иногда — редко — ее выводили на прогулку. Случалось это поздними вечерами, когда темнота уже опускалась на землю, а все жители аула сидели по саклям, греясь у жарких очагов и обсуждая какую-нибудь житейскую дребедень навроде прохуdivшейся крыши сарая. Вдыхая свежий морозный воздух, Дина невольно оживала, но сейчас же с внутренним содроганием вспоминала о стержне, который из нее вынули, и все возвращалось на круги своя: квелость и безучастность ко всему наваливались на плечи податливой пустотой — и вот Дине уже нестерпимо хотелось обратно, в свой мягкий тихий каземат, где знакомо пахнет влажной затхлостью и можно в любой момент забраться в уютное кубло, отвернуться от мира к стене и в очередной раз вскользь погоревать о стержне, которого больше нет и, главное, никогда уже не будет.

Старик в комнате больше не показывался. Но Дина многожды слышала его размеренный, не лишенный приятности голос: то он отчитывал во дворе шумливую ребятню, то поучал на кухне женщин, почтительно-смирных при нем и донельзя склочных в его отсутствие... а то просто проходил мимо по коридору, и через запертую дверь было слышно, как скрипят под ним рассохшиеся половицы.

Дина быстро уловила закономерность: если Старик проходил мимо ее двери больше трех раз на дню, значит, скоро будет очередная сходка. И действительно: чем дальше, тем чаще созывал Старик родню и держал военный совет. Проводились эти советы в комнате, расположенной прямо над Диной, так что до Дины даже долетали отдельные, особо громкие высказывания. Обсуждались по большей части Тмайновы: что-то там они постоянно вытворяли, отчего у бедных Церебовых усиливался в одном месте зуд, и единственная возможность избавиться от него состояла в том, чтобы как следует наораться и натопаться на этих сборищах. Убеждая себя, что все именно так и обстоит, Дина обеспечивала себе крепчайший сон, после которого на душе становилось покойно, легко и пусто. Прямо как в голове.

И все это время внутри у нее росла новая жизнь.

Как бы со стороны Дина отмечала, что груди у нее распухают, бедра оплывают, потребность в еде делается до одури навязчивой, а желание посидеть на горшке — все более стихийным. И конечно, живот — он все больше и больше выдавался вперед и отвисал, точно бурдюк, наполняемый кумысом.

Но это, как оказалось, были цветочки, ягодки пошли чуть позже. Началось с того, что в одно тихое прохладное утро ее вырвало — просто так, без всякой на то причины. После гадское ощущение тошноты ни на секунду не отпускало. Какое-то время Дина пыталась преодолеть его или хотя бы переболеть им, но быстро поняла тщетность всех усилий и, смирившись, как-то незаметно для самой себя свыклась с тошнотой точно так же, как ранее свыклась с веревками по ночам.

Затишье, однако, было недолгим. Не успела Дина опомниться, как появилась

новая напасть — боль в пояснице. С безмятежным ничегонеделанием можно было распрощаться. Боль не позволяла ни лежать, ни сидеть, ни ходить. Спасал от нее только сон. И Дина раз за разом ныряла в него, как в воду, и изо всех сил напрягая воображение, до последнего держалась в белесоватой глубине, среди тихоголосых неповоротливых призраков, пока сон не выталкивал ее обратно в мир, точно пузыrinkу, исторгнутую подводным чудищем.

Дважды она грохалась в обморок — один раз дождливым полднем, сразу после сытного обеда, и еще раз — неделей позднее, на прогулке. Очнувшись после второго раза у себя в каземате, Дина вдруг обнаружила, что ее переодели в просторный алый халат, а Зарема, присев рядом, аккуратно обрезает ей ногти на руке тонким изогнутым ножичком. Ногти, оказывается, росли теперь вдвое быстрее, и Церебовы, наверное, решили, что Дине может взбрести в голову воспользоваться ими как когтями.

Примерно в это же время еда стала какой-то не такой. То ли померла у Церебовых прежняя стряпуха и они позвали какую-то неумеху со стороны, то ли что-то случилось с самой Диной. Мясо теперь было не мясо, творог — не творог, хлеб — не хлеб. И постоянно хотелось чего-нибудь соленого. Впрочем, те, кто отвечал за Динину кормежку, видно, были женщины рожавшие и прекрасно понимали, чего Дине хочется, а чего — пока нет. Поэтому соленого — а чуть позже и сладкого — всегда было вдоволь.

На двадцатой, кажется, неделе ребенок впервые пошевелился — толкнулся разок крошечной ножкой и затих. Это было странное и неожиданно приятное ощущение. На некоторое время оно затмило собой всё, все неудобства: исчезла тошнота, утихла боль в пояснице, забылся навязчивый голод — и Дина вдруг с изумлением осознала, что, оцепенев в страшном волнении, ждет и никак не дожидается повторения: ей страстно хотелось, чтобы ребенок толкнулся еще разочек.

Но толкнулся он только через пару дней. Истомленная ожиданием, Дина была так несказанно и необъяснимо счастлива, что не смогла этого скрыть. Наверное, поэтому надсмотрщик, хмуро пьялившийся на нее с самого рассвета, позвал вдруг Зарему и, когда та явилась, шепнул ей что-то на ухо. Молча кивнув в ответ, Зарема удалилась; а ближе к полудню в комнату вошла какая-то разжиревшая улыбчивая бабища с неприятным черным пушком над верхней выдающейся губой. Дина вроде знала ее: это была фамильная церебовская повитуха, Таира, кажется.

— Что, началось? — бодро осведомилась толстуха грудным голосом и похозяйски махнула надсмотрщику рукой: отвернись, мол.

Странно, но надсмотрщик подчинился — взялся обеими руками за сиденье стула, на котором сидел, и развернулся вместе с ним лицом к стене. Повитуха тем временем, шумно кряхтя, снимала чуваки. Оставшись в войлочных носках, она пересекла комнату и опустилась на колени рядом с Диной.

— Расстегивай, — велела она, подразумевая, видимо, халат.

Дина расстегнула халат, и повитуха без дальних разговоров принялась за осмотр. Она долго и тщательно щупала Динин живот мягкими теплыми пальцами. Глаза у нее при этом были пустые, обращенные внутрь. И еще она без остановки бормотала чего-то, какую-то невнятицу; Дина неумышленно вслушивалась, пока наконец не разобрала: «Не удавить бы нам его, не удавить бы...»

— А? — толком не поняв себя, встрепенулась Дина, на что толстуха терпеливо пояснила:

— Главное, говорю, чтоб пуповиной не удавили.

Пощупав живот еще немного, она ободряюще похлопала по нему пухлой ладонью и, с кряхтеньем поднявшись, двинулась к выходу. Там она повозилась некоторое время с чуваками, затем, глянув на Дину, прогудела: «Ну, бывай, мамаша!» — и вышла. Дина таращилась на пустой дверной проем до тех пор, пока

оголенному животу не стало зябко. Тогда она застегнула халат, отвернулась к стене и, укрывшись одеялом, закрыла глаза. Ей приснилась петля из пуповины.

Визиты повитухи стали еженедельными. Можно сказать, что Дина к ним сразу привыкла. Виной тому была, конечно, Таира — от нее, как от всякой природной болтушки, исходили какие-то подначивающие токи: постоянно хотелось вернуть хотя бы словечко в ее бесконечные туры. И когда Дина, не удерживаясь, вворачивала, Таира охотно делилась своими мыслями и переживаниями. Так, например, Дина узнала, что ребенок слишком крупен для нее и роды, скорее всего, будут тяжелыми. Еще Таиру настораживало, что шевеления, поначалу такие регулярные, со временем стали редкими и какими-то неуверенными. «Стесняется он, что ли?..» — задумчиво бурчала повитуха под нос. А однажды, прощупывая Динин живот, она вдруг обрадованно воскликнула:

— Во-он оно как!

Дина не удержалась — спросила:

— Что — как?

— Наконец понятно, как он из тебя полезет!

— И как? — заранее холодея, поинтересовалась Дина.

— Ножками, милая, ножками! — ответила повитуха и расхохоталась.

С того разговора сон у Дины нарушился. За ночь она просыпалась черт знает сколько раз; вместо прежних каких-никаких, а сновидений пошли совсем уж невразумительные обрывки, крошечные и бесполезные, как лужа. К утру она вся была в этой луже, точно оплеванная.

Так все и шло. Очередной муторный день уступал место не менее муторной ночи, чтобы та в свой черед уступила место следующему дню, не отличимому от предыдущего. Терпеть это не было никаких сил, и, как бы защищаясь, Дина насильственно погрузила себя в какое-то помрачение, которое сама же и выдумала. Несмотря на невзаврадашную природу, помрачение оказалось целебным: муторные дни и не менее муторные ночи постепенно смазались, превратившись в одно бесконечно долгое, тягучее, лишенное всякого смысла времяпрепровождение. Редкие события, вешками вклинивавшиеся в этот тягостный поток, нисколько Дину не беспокоили, и это было прекрасно.

И так продолжалось бы и впредь, если бы в одну ночь ее не разбудила какая-то новая незнакомая боль в животе. Дина не сразу поняла, из-за чего, собственно, проснулась: боль была слабая, терпимая, грех было придирается. Поэтому Дина махнула на нее рукой и заставила себя спать дальше.

Утром, однако, обнаружилось, что боль никуда не делась, даже, кажется, напротив, слегка усилилась — у нее как бы появились свои притоки и оттоки. Дина маялась весь день, пережидая притоки и переводя дух с оттоками.

Вечером, через час после заката, притоки участились и усилились настолько, что это стало заметно даже надсмотрщику. Он кликнул Зарему. Та пришла, всплеснула руками и побежала за Таирой. Поняв, что таиться больше нет смысла, Дина освобожденно застонала и только тогда с испугом заметила, что из нее что-то вытекает, какая-то прозрачная жидкость, и кубло под ней и вокруг нее уже насквозь мокрое. Она застонала громче, в голос. В комнату сейчас же набилось народу — сбежались, сволочи, как зеваки на зрелище. Дина ненавидяще смотрела, как суетятся вокруг нее женщины разных возрастов и как хмурятся позади этих женщин преувеличенно спокойные мужчины... даже два сопляка затесались было в общую толкучку, но их немедленно обнаружили и вытурили к чертям.

Потом явилась Таира — усиленно работая локтями, протолкалась к Дине, заглянула ей под подол и громко сказала:

— Ага!

Услышав это, четверо мужчин подняли Дину на руки и, поочередно рвякая: «Дорогу! Дорогу!», понесли к выходу. Повитуха семенила рядом и отдавала через плечо

какие-то распоряжения. Ей раздраженно отвечали: «Уже, уже, уже!» В дверях произошла заминка, раздались матюги, вместе с которыми накатил очередной приток боли, и какой боли! Задрал голову, Дина заорала, стала отчаянно вырываться, но мужчины держали крепко. Разогнав, наконец, мешающих, они вынесли Дину в коридор и, миновав вереницу дверей, внесли в просторную светлую комнату, где аккуратно уложили на кровать, застеленную свежим бельем.

Дина мимолетом подумала, что и сюда сейчас сбегутся все кому не лень, но Таира быстро выпроводила мужчин, впуслав вместо них Зарему и какую-то чрезвычайно бойкую на вид старушку. Руки Заремы оттягивал глубокий таз с кипятком, так что лица ее было почти не видно за густым паром, поднимавшимся к потолку, а через плечо бойкой старушки перекинута было белоснежное полотенце с замысловатой вышивкой по краю... Таира уже закрывала дверь, когда в проем вслед за старушкой протиснулся Авдан Церебов — красный, донельзя упуханный, словно за ним гнались, но при этом, как всегда, необъяснимо довольный и опасный.

— Иди, я постою, — гундосо сказал он Таире, и в этот момент у Дины случилась очередная схватка.

Забыв про Авдана, повитуха кинулась к вопящей Дине и приказала тужиться что есть мочи. Дина послушно тужилась, снова и снова, но внутри ничего не двигалось. Через минуту, когда все утихло, Дина обессиленно откинулась на мокрую подушку. Глаза выедал пот, а воздух над кроватью был настолько густ и вонюч, что его приходилось глотать, преодолевая гадливость, как тухлый кисель. Повитуха что-то делала, поднырнув Дине под подол, но Дина не придавала этому значения; с детским ужасом ожидая возвращения схваток, она молила себя не кричать, не позориться больше перед этими скотами.

И конечно же, ничего у нее не получилось. С каждым новыми схватками она кричала все громче, пока наконец не сорвала голос. Потом больше скулила — просила попеременно то Таиру, то Зарему, то бойкую старушку все прекратить или хотя бы приостановить до лучших времен, а они знай себе талдычили: «Тужься, девочка, тужься, ну, еще немножко...» — «Заче-ем? — вымученно ныла Дина в ответ. — Разве не понятно: не хочет он вылезать! Не место ему здесь!..»

Она не знала, сколько все длилось. Видела лишь — вымотались все, не только она. Помалкивающий до сих пор Авдан прогундосил вдруг с неприязнью:

— Окаянные бабы, на что вас такими создали?

Таира зыркнула на него, но ничего не сказала, только щеки у нее вспыхнули. Злобно сдвув каплю пота с кончика носа, она, кряхтя, влезла на кровать позади Дины, прижалась грудью к Дининой спине и сцепила руки у нее на животе.

— Ты чего? — тревожно пробормотала Дина, предчувствуя неладное.

— Молчи, все хорошо, — сказала повитуха очень спокойно и замерла, уткнувшись лбом в Динин затылок.

Дыхание у нее было жаркое, но ровное. Дина все не понимала, что затеяла эта толстуха, а когда, наконец, поняла, было уже поздно.

Как только начались схватки, Таира принялась с невероятной силой давить на Динин живот. Дина и представить не могла, что в женщине, пусть даже такой крупной, как Таира, может быть столько силищи. Боль обожгла и ослепила, казалось, ей не будет конца. Дина вопила, корчась в кромешной темноте, задевая локтями что-то шершавое, и тут, вмиг упразднив все, раздался оглушительный хруст — это ребра, сломавшись, сами собой втянулись внутрь. Вопль оборвался; Дина застыла с разинутым ртом; боль, на горсть мгновений задержавшись в некой высшей точке, пошла было на убыль, затем моментально исчезла. Тело обмякло, ставши пустой оболочкой — мухой, высосанной пауком. От непреодолимой усталости хотелось сдохнуть. И так обязательно случилось бы, если б темнота перед глазами вдруг не рассеялась и Дина не увидела ребенка.

Бойкая старушка держала его на руках. Он был какой-то синий и лоснился, будто

его смазали жиром. На головке — черный слипшийся волос, на пухленьких ручках и ножках — смешно поджатые пальчики. Кто же это?.. По-гусиному вытянув шею, Дина разглядела крошечный уд. Мальчик. Она родила мальчика.

— Почему он не кричит? — обеспокоенно осведомился Авдан, приблизившись к кровати.

Ребенок и вправду не издавал ни звука и вроде даже не шевелился. Дина напряглась было, но сейчас же расслабилась: мальчик закашлял. Это было очень трогательно, Дина едва не разревелась от умиления, но вовремя сдержалась. А чуть погода вместо нее разреvelся мальчик.

В коридоре, словно поддерживая новорожденного, раздались радостные возгласы.

— Куда уж без этого, — проворчала Таира, слезая с кровати.

— Мы не мы, ежели в комнату к роженице не полезем, — подхалимисто отозвалась бойкая старушка.

И как бы подтверждая ее слова, дверь тут же приоткрылась и в проем просунулся какой-то сияющий от счастья бородач.

— Ну? — закричал он просяще. — Не тяните душу!

— Джигит, — буркнул Авдан через плечо.

— Джиги-ит! — ликующе возопил бородач и пропал.

Возгласы в коридоре стали оглушающими; судя по залихватскому топоту, кто-то принялся танцевать.

Таира между тем возилась с пуповиной: натуго перетянула ее шнурком, который передала Зарема, дождалась, когда пуповина перестанет биться, после чего обрезала ее ножницами, протянутыми той же Заремой.

Мальчик стал сам по себе. Дина почувствовала нечто вроде утраты. Ощущение усилилось, когда старушка бережно передала мальчика Таире и та унесла его в дальний угол, где был стол, а на столе — таз, который давеча притащила Зарема. Дина не видела, что именно повитуха делает с ребенком, судя по плескотне, она его купала, при этом нежно, нараспев приговаривая:

— Я тебя, малютка, только принимала, я тебя, красивый, только омывала, а заступником у тебя — сам Покровитель Мужей. Для него я тебя правила, для него я тебя ладила, дабы стал ты его любимчиком, дабы навещал он тебя всегда в добром расположении, а уходя — оставлял в веселии.

На этом повитуха неожиданно замолкла, а когда развернулась, мальчик у нее на руках был с головой укутан в серый ношенный бешмет, который Дина сразу узнала. Это был бешмет Заурбека, в нем он ходил той ночью. Церебовы, видимо, давали понять младенцу, кто он есть. Гниды, гниды, подумала Дина, с мукой глядя на этот заходящийся в крике сверток. Хотя бы успокойте дитя, он же горлышко поранит... Ей захотелось протянуть руки, чтобы взять и самой унять, убаюкать мальчика, но тут она заметила, что Зарема и бойкая старушка, одинаково потупившись, пятятся зачем-то к выходу. Она перевела недоуменный взгляд на Авдана. Как раз в этот момент Авдан украдкой показывал Таире на дверь: и ты, мол, тоже проваливай. Дина горько усмехнулась; она очень ясно понимала, что все это значит.

Друг за дружкой женщины вышли в коридор, полный ликующего народа. Дверь за ними плотно закрылась, и Дина осталась наедине с Авданом. Радостные крики за стенкой не мешали ни ей, ни ему. Не сразу, конечно, но Дина посмотрела Авдану в глаза. В глазах у него читалось холодное безразличие. Ничего нельзя было сделать. Конец песенки. Остервенев от безвыходности, Дина разжала слипшиеся губы и в полминуты забросала этого подонка проклятиями, как забрасывают мертвеца землей. Авдан коротко кивнул каким-то своим мыслям и двинулся на нее...

Люди в коридоре, приветствующие нового члена семьи, услышали короткий вскрик, но ни на секунду не прервали веселья.

6

Вражда длилась больше года. Тмайновы потеряли девятнадцать мужчин и семь женщин, Церебовы — пятнадцать мужчин и девять женщин. Детских потерь не считали, хотя их тоже было немало. Как, впрочем, и потерь стариков.

Кровники не совершали преднамеренных набегов, не выковыривали друг друга из саклей, как в самом начале проделал это Тотырбек Церебов, и вообще избегали любых затяжных стычек, могущих закончиться большим количеством жертв... Но они охотно подстерегали друг друга на пустынных дорогах и отдаленных пахотах, близ целебных источников и в лесах на звериных лежках; они, как изгнанные из стаи перьярки, обшаривали пастбище за пастбищем, пока не обнаруживали искомое — чабанов, принадлежащих к ненавистой фамилии, после чего немедленно их кончали, а бесхозный скот угоняли на свои пастбища; они обманом, через третьих лиц, выманивали неосторожных с общих празднеств и либо убивали тут же, на месте, либо силком волокли к себе и изуверски расправлялись с несчастными там, толпой, на глазах у сдержанно-довольных женщин и бездумно ликующих подростков, а потом бросали обезображенные тела в Мамисондон, и безразличная река, уродуя трупы еще больше, несла их вниз по течению, чтобы прибить к берегу у самого выхода из ущелья, недалеко от Цми, где имелась спокойная заводь, полная всеядной форели.

Те, кто не находил в себе сил защитить семью, чохом продавали сакли, хозяйство и, прихватив скарб, бежали в аулы, где жила мало-мальски обширная родня и имелись сторожевые заставы. Аулы, в которых жило больше одной семьи, находящейся в состоянии вражды, давно обзавелись заставами.

Жителям Мамисонского ущелья такое положение дел очень не нравилось. Сначала думали, что враждующие стороны, испугавшись дальнейшего развития событий, созовут посреднический суд, где и помирятся к вящему облегчению всех и каждого. Потом, когда стало ясно, что ни о каком суде и речи быть не может, люди привычно запаслись терпением — подобные межфамильные усобицы затухали, как правило, сами собой в течение месяца-другого. Но с Тмайновыми и Церебовыми такого почему-то не получилось. Убийство у них следовало за убийством, и с каждым новым убийством вражда делалась все непримиримее, пока наконец не переросла в некую войнушку, вялотекущую, но стойкую, как запашок в отхожем месте.

В убытке, таким образом, оказывались все, не только кровники. Войнушка мешала нормальной работе, торговле да и просто жить. Детей больше не отпускали со двора. До родни, в соседние аулы, приходилось ездить, как по чужбине, вооруженными до зубов, а добравшись до места, потеть и переживать уже там: как, мол, дома — стоит ли еще сакля или одно пепелище осталось? За скотом следили днями и ночами, так как его могли запросто угнать вкуче с угоняемым; иди потом доказывай, что вон те девять коровок случайно в это стадо затесались. Загулявших кобелей и сук больше не ждали, а заводили новых — и сразу же начинали натаскивать на чужаков. К источникам девушки ходили теперь исключительно стайками и обязательно под присмотром всем знакомой и уважаемой тетки, которая в случае чего могла бы поручиться за каждую подопечную: нет, мол, среди них ни Церебовых, ни Тмайновых, чего привязались?

В конце концов такое житье вусмерть всех допекло, и люди решили устроить собственный суд, чтобы насильно помирить безумцев. И когда семь старшин-посредников пришли с этим требованием сначала к Тмайновым, а затем к Церебовым, и те и другие, поартачившись совсем недолго, согласились явиться в назначенное место и если не пойти на мировую, то, по крайней мере, послушать, что скажет противная сторона.

Собраться порешили в Кадисаре. Это был среднего размера аул, располагавшийся далеко на западе Мамисонского ущелья, близ одноименного перевала, за которым начиналась грузинская земля. Выбрали Кадисар главным образом потому, что в нем

не жило ни одного Тмайнова и ни одного Церебова и вздорная ихняя войнушка досюда еще не докатилась.

Видимо, опасаясь какой-нибудь подлости, кровники явились большим числом — не менее шестидесяти воинов с одной стороны и примерно столько же с другой. Устроители суда предвидели это и заранее приняли меры. Во-первых, каждый из семи старшин-посредников привел с собой по тридцать мужчин в полной боевой готовности; таким образом, случись, не дай бог, резня, кровников усмирили бы без особого труда. Во-вторых, в сам Кадисар, в центре которого должен был состояться суд, пустили только старших представителей враждующих фамилий, остальная же братия встала двумя лагерями за чертой аула. Ну и наконец, перед тем, как, собственно, звать в Кадисар, с кровников взяли слово, что, мол, ничего такого они на суде не выкинут, даже если их к этому будут всячески подстрекать.

И подстрекание действительно имело место. Не успели тмайновские и церебовские верховоды — крепкие еще мужчины лет пятидесяти — подняться в Кадисар, как два враждующих лагеря, располагавшиеся в полусотне шагов друг от друга, принялись перекидываться презрительно-насмешливыми замечаниями, соблюдая, впрочем, некое подобие меры. Устроители суда предвидели и такое, поэтому, как только случился этот обмен любезностями, в пустое пространство между лагерями втиснулась сотня готовых к бою примирителей. Перебранка сейчас же затронула и их, но примирители не растерялись — беззлобно и со знанием дела парировали все колкости и подковырки, пока кровники, по-ребячьи увлекшись, не забыли о существовании друг друга. Возникшее было напряжение незаметно спало, и постепенно все взгляды обратились в сторону Кадисара, где своим ходом шли переговоры.

— Люди — странные существа, — говорил Ираклий Гаев, один из старшин-посредников, взявший слово первым. — Все у нас с ног на голову, все не по-людски. Тайны природы, которые мы разгадали, силы земли, которые подчинили, дары богов, которыми мы одарены, — все без исключения используем мы во вред...

Длиннобородый, лысый, как колено, с набухшими сизыми мешками под глазами, он стоял, опираясь на посох, посередине выжженного солнцем пятачка и с видимым усилием переводил взгляд с церебовских верховодов на тмайновских и обратно. Те, расположившись в двух противоположных краях пятачка, казалось, не слышали его — не убирая рук с эфесов, они настороженно зыркали по сторонам, ожидая какого-нибудь подвоха. Но подвоха ждали только от них. Примирители, широкой подковой охватившие пятачок, следили за каждым их движением. Там же, среди примирителей, в первых рядах, можно было увидеть шестерых старшин-посредников.

— ...А ведь не нужно быть семи пядей во лбу, дабы понять, к чему это приводит, — нравоучительно продолжал Ираклий Гаев. — Зачем обязательно пробовать море на вкус — неужто и так не ясно, что оно соленое? Посмотрите на змей — опаснейшие из созданий! Но и они никогда не жалят друг друга. Потому как стоит двум гадам сцепиться — умрут оба. Стоит сцепиться всем — умрут все, ибо нужен один-единственный укус, а его можно сделать и будучи смертельно раненым...

— Гаев, уважаемый, — прогундосил вдруг Авдан Церебов, вынуждая старшину замолчать. — Все знают, говорить ты искусник. Но давай-ка без этого вот... Море, змеи... Тут все-таки не кумушки собрались.

— За языком-то следи, — предупреждающе сказал кто-то из примирителей.

Авдан покосился в ту сторону, откуда донеслось замечание, и переспросил с вялым удивлением:

— Чего?

— За языком, гово...

— Кто это вякает? — перебил Авдан. — Не вижу.

Раздвигая товарищей плечом, от примирителей отделился кряжистый хмурый юноша с едва наметившейся бородкой. Это был Тедо Гаев, внук Ираклия.

— Я, — сказал он с вызовом.

— А-а, — протянул Авдан. — И?

— И то. Следи за языком.

— А иначе? Зацелуешь насмерть?

Кто-то из Церебовых фыркнул в бороду, Тмайновы многозначительно запереглядывались, а среди примирителей поднялся возмущенный гул. Пунцовая унижения, гаевский юноша набрал в грудь воздуха, чтобы достойно огрызнуться, но Авдан и тут его уел.

— За языком надлежит следить тебе, малец, — бросил он пренебрежительно. — Поставили стоять, вот и стой. Нечего вякать, когда взрослые дяди разговаривают.

— Довольно! — прикрикнул Ираклий Гаев, поднявши белую сухую ладонь. Несмотря на то что голос его был по-стариковски слаб, возникшее шевеление вокруг пятачка тут же унялось. — Тедо, Церебов прав: знай свое место. Когда мне понадобится твое заступничество, я сам тебе скажу... А ты, — обратился он к Авдану, — не задирай моего внука. Видишь же: молодой, горячий. Или тебе мало одной вражды? Решил вдобавок с Гаевыми поцапаться?

Авдан ничего на это не ответил — заухмылялся только.

— Вот и я так думаю, — сказал Ираклий Гаев. — Вы и без того наворотили дел. Сторонятся вас все — и близкие соседи и дальние. Только и слышно: убийцы, убийцы, убийцы. Где это видано, чтоб о Церебовых так отзывались? Неужто это те самые Церебовы, на которых некогда все равнялись? Завидки людей брали, когда видели церебовские поголовья; когда сидели на церебовских застольях; когда приглядывались к церебовским девушкам. А сейчас?.. Нет, Авдан, так не пойдет. Так совсем не пойдет. Еще немного — весь Мамисон против себя ополчите. Что тогда станете делать? Молчи, не отечай! Я не к гордости твоей взываю, а к благоразумию.

Убедившись, что Авдан не собирается его прерывать, Ираклий Гаев повернулся к Тмайновым.

— А вы? Да, в семье у вас случилось несчастье. Да, изувечили вам девушку. Да, первая кровь не на вас... Но неужто вы и впрямь намеревались доводить до такого вот? — Он приподнял посох и широко повел им из стороны в сторону. — Когда нет людям ни сна, ни покоя. Когда в аулах вместо радостных песен и плясок — стон по мертвым. Я не верю, я не хочу верить, что вы добивались именно этого! Потому как Тмайновы для меня — это перво-наперво добрые соседи. Мой дед вековал с вами век. Мой отец вековал с вами еще век. Я с вами рос и остарился вот. Я возделывал с вами одну землю, сидел с вами за одним столом и воздавал хвалу одному богу. Не может быть, чтобы кровь у нас оказалась разного цвета! Не может быть, чтобы совершая то, что вы совершаете...

Тут его оборвал Болат Тмайнов.

— Мы тебя слышали, Ираклий, — нетерпеливо сказал он. — Что ты предлагаешь?

— Что предлагаю? Изволь: вы должны замириться.

Болат мотнул головой как бы в недоумении.

— Уточни, пожалуйста: мы, Тмайновы, должны просить о мире Церебовых. Так?

— Нет, — ответил Ираклий Гаев. — Вы, Тмайновы, и вы, — он глянул в противоположную сторону, — Церебовы, должны замириться. Никому ни о чем просить не надо — ни вам, ни им. Это, ежели угодно, требование.

— Требование... — повторил Болат.

— Да, — подтвердил Ираклий Гаев, не замечая или не желая замечать издевки в голосе Болат. — Это нужно прекратить, пока все не зашло чересчур далеко.

— Чересчур далеко... — снова повторил за старшиной Болат.

— Именно! — сказал Ираклий Гаев со слабым нажимом, но Болат уже не слушал его.

— То есть ты, — сказал он, возвысив голос, — требуешь от меня замирения. Пока все не зашло чересчур далеко. Требуешь! От человека, любимой племяннице которого отрезали уши и погнали из дома как какую-то... как... — Нужное слово все не шло на язык, и Болат скрежетнул зубами. — Ты никогда меня не поймешь, — проговорил он негромко. — Вы, — он обвел недобрыми глазами примирителей, — никогда меня не поймете.

— Ошибаешься! — с чувством возразил Ираклий Гаев. — Я тебя очень хорошо понимаю! Я вас всех понимаю — и Тмайновых, и Церебовых...

— Ой ли! — перебивая, воскликнул Авдан. — Так-таки понимаешь?

Ираклий Гаев не без труда повернулся к Церебовым. Авдан продолжал:

— Понимаешь, каково это — узнать, что к тебе в аул — ночью — явились два душегуба и лишили жизни двенадцатилетнего мальчика? Ни за что ни про что. А потом еще устроили стрельбу. Ты и в самом деле меня понимаешь, уважаемый Гаев? Тогда растолкуй, что я должен говорить отцу мальчика, Тотырбеку. Извиняй, мол, Тото, здесь такое дело, все нас понимают, все сочувствуют, но решено махнуть на Абе рукой. И ты, мол, тоже махни. Так, что ли?

— Твой Тото уже вдоволь нахлебался крови, — пробурчал Болат, впервые за все время разговора обратившись напрямую к Авдану. — Не забыл, случаем, что он натворил в Клиате?

Взгляды кровников столкнулись.

— Не забыл, — прогундосил Авдан в полной, как перед грозой, тишине. — А ты не забыл, что твои устроили недалеко от Саудура?

— Такое забудешь! — широко улыбнувшись, отозвался Болат. — А ты — помнишь наших охотников?

— Каких еще охотников?

— Тех, что вы подстерегли у Дзедо.

— А, на перевале? Как же, как же. Об одном жалею: что меня там не было.

— А уж как я жалею, что меня-а-а там не было...

— Ничего, в другой раз повезет. Но в сторону Дзедо, слышал, вы больше ни ногой?

— Почему это? Серна там обильная...

— Странно, а мне вот говорили, что с тех пор вас там не видали.

— Плохо смотрели, значит.

— Хм. А может, это вы хорошо прятались?

— Зачем сразу «прятались»? От кого?

— Да все от того же.

— Смешной ты человек, ей-богу, — было б от кого!..

Они беседовали с преувеличенным миролюбием, вопреки тем словам, что произносили. Всякому было видно, как сильно они презирают друг друга, как нестерпимо хочется им отбросить все эти пустопорожние разглагольствования, притворные улыбочки, позорное бездействие — и молча, без предупреждения, рвануться, обнажая шашки, навстречу друг другу, сшибиться посередине пятакка, и будь что будет. Но, связанные словом, они продолжали стоять на месте.

— Ты мне вот что скажи, несмешной ты человек, — улыбаясь, говорил Авдан. — Брат твой, Леко, взаправду помер или вы просто слух такой пустили?

— Все-то тебе знать надо, — возвращая улыбку, отвечал Болат.

— Слышал, он порывался отдать нам обратно калым за дочку, а вы, сквалыги, ему не позволяли.

— Так а зачем вам калым? У вас и без того скота через край: сколько не угоняй — все не убавляется.

— Что да, то да. Но я о другом. Правда, что он пополз ночью в хлев и вырезал там всю скотину, а затем там же, среди скотины, и помер?

— Выдумщик из тебя — как из говна пуля.

— Враки, стало быть?

— Стало быть, враки.

— Ну так поведай, как дело было.

— Вот еще!

— Да ладно, не ломайся, тут все свои... А я тебе расскажу, что с Диной случилось.

— Думаешь, не знаю?

— Брось! До сих пор ведь ищите. Вот скажешь про Леко — авось найдете.

Тут притворно-любезная улыбка на губах Болата сделалась какой-то насильственной. Он перехватил взгляд Ираклия Гаева и выдавил предпоследним голосом:

— И вот с ними ты собрался меня замирать? — На этом выдержка изменила ему окончательно, и он заорал: — Ты вообще в своем уме?! Мир — с этими?! Да пока я жив, пока дышит хоть один Тмайнов, этому не бывать! — Он повернулся к примирителям. — Поймите это и примите! Не бы-вать!

— А-а-а! — разом взревели за его спиной родичи и сейчас же смолкли и замерли, готовые отражать нападение.

Но нападения не случилось. Церебовы остались на местах. Лишь Авдан, с волчьей ухмылкой глядя на Болата, захопал ему, как даровитому лицедею.

— Вот это уже разговор! — удовлетворенно прогундосил он. — За этим, говоря начистоту, я сюда и ехал. А то мне все уши прожужжали: Тмайновы, дескать, уже не те. Не-ет, есть еще порох. Это хорошо. Не люблю, когда идут на попятную. Все надо доводить до конца.

— До какого еще конца?! — упрекающе закричал Ираклий Гаев. — Слепцы! Бестолочи! Вы ж не только себя приговариваете; вы приговариваете своих детей и внуков! О них подумайте!

— Я только о них и думаю, — немедленно возразил Авдан. — Потому что ежели о них не думать, о них подумает Болат Тмайнов. Верно я говорю, Болат?

— Вернее некуда, — отозвался тот мрачно.

— Слыхал? А посему сообщаю: зря ты, уважаемый Гаев, собрал нас здесь. Ничего не изменить. Пойми это и прими, тут Болат дело сказал.

Некоторое время Ираклий Гаев глядел на Церебовых, будто видел впервые. Потом повернулся к Тмайновым. Потом опять к Церебовым. Кровники отличались решительно всем. Церебовы — долговязые, кадыкастые, нарочито осанистые, с вытянутыми, как бы сплюсненными с боков, лицами, кожа светлая, почти девичья, губы тонкие, бескровные, бороды ухожены, седина на щеках блестит благородно, точно беспримесное серебро. Блестит серебром и оружие — пистолеты, шашки, кинжалы, даже на газыри серебра не пожалели. И конечно же, одежда — серые, с золотой вышивкой чекмени, черные шелковые бешметы, смушковые папахи — все на вид новое, ни разу не надеванное, аж кричит о чистоте и достатке. Тмайновы же, напротив, были сплошь коренастые, широколобые, сутуловатые, с упрямой посадкой головы, лица сильно обветрены, носы шелушатся, из ноздрей торчат пучки жестких волос, в углах ртов — глубокие складки. И седина в клочковатых выгоревших бородах совсем не походит на серебро. Не видно серебра и на оружии. И одежда самая что ни на есть простая — линялая и грубая, прям как хозяйева, то ли бордовая с черным, то ли пес разбери какая...

Но что-то у них было общее — у Церебовых, привыкших к достатку, и Тмайновых, не знавших достатка никогда. Какая-то неуловимая черточка связывала их крепче родственных уз. И Ираклий Гаев все никак не мог понять, что это за черточка. Да и времени не оставалось... Он обменялся быстрыми взглядами с шестью старшинами, внимательно следившими за ним, потом снова оглядел кровников и сказал:

— Либо вы замиритесь, либо мы принудим вас это сделать.

Авдан поднял брови.

— Как, интересно, ты собрался нас принуждать?

— Как получится.

— Нет уж, давай без экивоков. Гляди. Для того чтобы заставить меня забыть о Тмайновых, тебе нужно самому их перебить...

— Пфе! — донеслось со стороны Тмайновых.

— ...Причем подчистую, — не обративши на это внимания, продолжал Авдан. — Но ежели ты попытаешься их перебить, я сделаю все, чтобы помешать тебе. А ежели

ты попытаешься перебить, скажем, мою фамилию, Тмайновы, я уверен, тоже не станут сидеть сложа руки. Верно я говорю, Болат?

— Верно, гнусавая ты сволочь. Твоя шкура принадлежит мне одному.

— Слыхал? — Авдан ликующе воззрился на старшину. — Так что пойми и прими.

Иного выхода, увы, нет.

— Есть, — убежденно сказал Ираклий Гаев. — Все можно устроить полюбовно.

— Полю... как?

— Полюбовно. С помощью откупа.

Авдан выжидающе притих, а старейшина взялся пояснять:

— Мы сосчитаем убитых. И с твоей стороны, и со стороны Тмайновых. Найдем виновных, и они выплатят пострадавшим семьям...

На этом он вынужден был оборвать, так как кровники, не сговариваясь, принялись вдруг хохотать. Они ржали как умалишенные, которым показали палец, выгибали спины, хватались за бока и изо всех сил топали по окаменелой глине, точно отбивая невиданный доселе симд¹, и клубы серой пыли, стелясь по земле, все расширялись, пока вся поверхность пятачка не скрылась из виду.

— Па-лю-бовно! — истошно кричали с одной стороны.

— О-о-откупом! — стонали с другой.

— Виновных, грит, найдем! — едва не плача, ревели черт пойми откуда.

Понемногу веселье сошло на нет. Ираклий Гаев, стоя по колено в пыли, укоризненно качал лысой головой, примирители обескураженно хмурились, а раскрасневшиеся кровники, отдуваясь, утирали слезы, поправляли съехавшие набок папахи и повторяли на разные лады: «Не, слыхали? Сосчитать предлагает...»

Когда и эти голоса умолкли, Болат сказал:

— Ежели у тебя все, Ираклий, мы пошли.

— Да, — согласно кивнул Авдан. — Мы тоже.

Кровники, не сближаясь и не отдаляясь, двинулись прочь с пятачка. Подкова примирителей вынужденно раскололась в двух местах, пропуская их.

— Стойте! — просяще крикнул в спины Ираклий Гаев, но никто его не послушал. — Слепцы, — горестно пробормотал он под нос. — Бестолочи. — Не удержавшись, он с досадой стукнул по земле посохом, едва не угодив себе по пальцу, и без того больному. — Бестолочи, — повторил он и поднял глаза.

Оказывается, его обступили. Шестеро старшин-посредников стояли перед ним. За ними, возвышаясь на целую голову, а то и выше, переминались все остальные.

— Зря мы это затеяли, — проговорил Ираклий Гаев, обращаясь к старцам. — Только усугубили. Теперь они и головешки друг у друга из костров не возьмут: побрезгуют. Скажут, огонь горит совсем не так.

— Да-а, — надтреснуто протянул Годас Ардасенов. — Сели мы в лужу.

— Перемудрили, — согласился Ахсар Кадзов.

— Но ты тоже хорош! — скандальным голосом сказал Ираклию Сека Кайтуков. Ираклий Гаев покосился на него.

— А что я?

— То! Зачем, спрашивается, позволил им языком промежду собой чесать? Это ж все равно что в погребке их запереть и пойти до соседа. Надо было самому говорить без передыху, а они — чтоб слушали!

— Раз такой мудрый, чего сам слово не взял?

— Я б взял, — заверил Сека Кайтуков. — Да вот условились иначе: ты — высказываешься, мы ежели что — пособляем. Но ты так высказался, что и пособлять не пришлось.

— Да все он правильно говорил, — вступился за Ираклия Маирбек Боциев. — Не в нем дело, а в кровниках.

¹ Один из наиболее древних танцев осетин.

— Верно, — поддержал Урузмаг Рамонов. — Не видел, что ли, как они друг на друга пилились?

Сека Кайтуков отмахнулся от обоих.

— Надо было сделать так, чтобы пилились они на Ираклия, и только на него!

— Каким это образом? — насмешливо поинтересовался молчавший до сих пор Дзибо Байсангуров. — По очереди в Кадисар звать, что ли? Они и приперлись-то сюда друг на друга поглядеть.

— Ладно, — сказал Ираклий Гаев, подняв ладонь. — Сделанного не воротить. Сейчас как быть?

Старцы притихли. Помалкивали и воины за их плечами. И тут раздался голос Тедо:

— Надо их воротить и не отпускать, пока не замирятся.

Ираклий Гаев поискал глазами не по годам языкастого внука.

— А, вот ты где, — сказал он, найдя. — Кто там рядом поздоровее... Гия! Ну-ка, отвесь этому умнику замакушину.

Великан Гия Гаев тотчас исполнил просьбу — махнул снизу вверх лапищей, и юноша, дернувшись, вынужден был сделать шаг вперед, чтобы устоять на ногах; папаха его забавно сбилась на брови.

— Поговори мне еще, — сказал Ираклий Гаев, сурово глядя на покрасневшего до ключиц внука. — Второй раз за утро отличился. Зачем только отец тебя взял? Где он сам, кстати?

— Внизу, — поправляя папаху, глухо пробормотал Тедо.

— А?

— Внизу, говорю.

— Внизу... А ты чего здесь забыл? Ну нет, я этого так не оставляю. Сначала чуть вражды мне с Церебовыми не устроил, теперь советы старшим раздаешь. Молоко на губах не обсохло, а уже советует!

— Видно, в кого пошел, — по обыкновению насмешливо заметил Дзибо Байсангуров.

Ираклий Гаев с неудовольствием посмотрел на него.

— Тебе всё шуточки, да?

— Ну почему же? Мальчишка-то дело говорит: воротить бы их.

— А ежели упрутся? — ядовито поинтересовался Ираклий Гаев. — Один случайный выстрел — неважно, с чьей стороны, — и мы утопим землю в крови.

— Твоя правда, — согласился Дзибо Байсангуров. — Но что-то ведь делать надо.

Надо, подумал Ираклий Гаев. И немедленно. Он прикрыл на секунду глаза.

— Так, — сказал он распорядительно. — Гия, спеши вниз и передай: и тех, и других необходимо проводить. Прямо до аулов. А лучше — до крылечек. И чтобы по пути они ни в коем разе не попадались друг другу на глаза. Я ведь правильно понял: одни добирались сюда по большой дороге, другие — по северной тропе?

— Почти, — просипел Гия. — Тмайновы — те, что из Тиба и Сатата — обогнули Тли по северу и близ Лисыри спустились на дорогу. Дальше ехали, дыша Церебовым в затылок. А те, как назло, будто никуда и не спешили, всё лошадей придерживали. — Он сплюнул. — Попотеть там пришлось. Думали, не доедут.

— Неважно, — сказал Ираклий Гаев. — Важно то, что они пообещали не обнажать оружия здесь, в Кадисаре. Про обратную дорогу речи не шло. Поэтому не подпускайте их друг к другу. Даже на расстояние двух полетов пули. Не хватало еще, чтоб решающая ихняя драчка оказалась на нашей совести.

— Вот смеху будет, — сказал Дзибо Байсангуров.

Церебовы, растянувшись по дороге, ехали мимо продолговатого, грядой, холма, покрытого частым травостоем. Впереди, позади и даже среди них ехали примирители. Никто не интересовался, чего это им вздумалось сопровождать Церебовых, все было ясно и так. А потому ружейные чехлы позади седел пустовали: заряженные ружья либо

держали чуть на отлете, стволами вниз, либо везли, положив перед собой на высокую луку, где они покачивались в такт лошадиному шагу.

Уже битый час солнце висело точнехонько в зените и перемещаться, как видно, не спешило. Тени куда-то подевались. Злобный яркий свет заливал все вокруг. От духоты не было спасения. И не было спасения от пыли, поднимаемой копытами. Все обливались потом, шурились и дышали через рот. Лошадей то и дело приходилось хлестать по ушам, чтобы шли ровно. От раскаленных валунов, торчащих из дерна тут и там на обочине, волнами накатывал жар; некоторые, проезжая, заслоняли лицо рукой, до того было горячо. Долину справа от дороги искажало марево: все там, внизу, дрожало и переливалось, но если хорошенько присмотреться, можно было различить приземистые сакли у осинової рощицы и овечью отару, мирно пасущуюся поодаль. Верхушка холма слева от дороги тоже расплывалась от зноя, и там, на склоне у самого гребня, тоже паслись овцы вперемешку с коровами, а два молоденьких чабана, усевшись на корточки, безотрывно глядели сверху вниз на вереницу всадников — верно, пересчитывали их по чабанской привычке.

— И эти пьются, — с ненавистью процедил Тотырбек, шурясь на чабанов. — Подняться бы туда... выколупать эти любопытные глазенки.

— Ага, — живо подхватил едущий рядом Мурат. — Затем — в тряпочку и голодранцам на порог.

Тотырбек покосился на него.

— Думаешь, я свихнулся, да?

— Самую малость.

— Я всерьез спрашиваю.

— О таком, брат, не шуткуют, — ухмыльнувшись, заметил Мурат.

Как обычно, Тотырбеку захотелось дать ему по зубам. И как обычно, он перетерпел это желание.

— То есть голодранцы, по-твоему, вообще без соглядатаев обходятся? — осведомился он.

Все еще ухмыляясь, Мурат промямлил:

— Ну, не так чтобы совсем без.

— А как?

— Поаккуратней, что ли. У них, конечно... — Тут гнедой конь под Муратом замедлился и, издавши короткий стон, вознамерился было бочить. — Ну что ты будешь... — проворчал Мурат и стегнул животное поводьями. — Прямо ходи, шлею те под хвост! — И когда конь образумился, снова повернулся к Тотырбеку: — У голодранцев, говорю, баран на баране, конечно, но все же. Что ни говори, а у Болат, скажем, котелок того, варит. И неплохо, между прочим! Как они обвели нас у Саудура...

— Вона что вспомнил, — проговорил Тотырбек. — И как — считаешь, без соглядатаев там вышло? Их же в три раза больше оказалось. В три!

Мурат поморщился.

— Рассказней-то не слушай. Гигот тот еще брехун. И вообще, у страха глаза велики.

— Может быть, — не стал спорить Тотырбек. — Но повторения той стыдобыщи я не хочу.

— Я тоже, — отозвался Мурат. — Однако наблюдать, как у тебя крыша подтекает...

— Ничего у меня не подтекает.

— Плюнь ты на этих чабанчиков, вот что я хочу сказать.

— Плюнь... — пробурчал Тотырбек. — Никакой слюны не хватит всех переплевать.

Мурат соорудил обиженную гримасу.

— А я тебе на что? Гляди. Ха-а-арктыфу! И так круглые сутки.

Тотырбек утомленно отмахнулся — такого лишь могила исправит — и посмотрел через плечо. Сразу за ним на молодой кобылке соловой масти ехал Авдан — мрачный,

сощуренный, с широкими темными пятнами пота, расплывшимися из-под мышек чекменя. За все время пути он вроде бы не проронил ни слова. Тотырбек придержал лошадь и, поравнявшись с ним, спросил:

— Чего ты?

— Так... — ответил Авдан уклончиво.

— Все ведь ровно прошло.

— Ровно-то ровно. — Авдан утер собравшуюся на бровях влагу тылом руки. — Да вот какого, спрашивается, черта за нами увязались эти вот? — Он показал глазами на ближайшую тройку примирителей. Те ехали обочиной чуть впереди и делали вид, что не замечают ни жары, ни Церебовых. — Ведь слово Гаеву дал: не трону я сегодня твоих ненаглядных Тмайновых. И завтра, так и быть, не трону. Пусть, говорю, поживут голодранцы, дух переведут. Нет, решил по-своему сделать... За кого они вообще нас держат?

— Боятся, видимо, — сказал Тотырбек. — Опасаются.

— Им-то чего? — проворчал Авдан. — Мне они задаром не нужны.

— Да я не за них. Я за нас и голодранцев.

Авдан непонимающе нахмурился.

— При чем тут вообще голодранцы?

— Ну как... В кои-то веки повстречались такущим числом. И не абы кто, а самый цвет — воины, при оружии, верхом.

— А, вот ты о чем, — сказал Авдан без всякого выражения.

— Умгу. Как тут разминешься?

— Как-как? Да вот как-то так. Как-нибудь. Через «не могу». — Авдан, кривясь, сглотнул. — Сучья жара, — выругался он вполголоса. — Внутри пустыня, поди. — Он плотно сжал губы и задвигал языком, собирая слюну. Затем опять сглотнул. — Пойми, Тото, — сказал он, откривлявшись. — Слово есть слово, и с нас его взяли. Не помнишь разве, что твердил нам в детстве Старик? «Невысказанному слову ты хозяин...»

— «...высказал — уже его раб», — закончил Тотырбек.

— Во-во, — прогундосил Авдан. — Точнее и не скажешь. Так что разминуться с голодранцами, конечно, сложно... где-то даже позорно... но — необходимо. Это самое толковое, что мы можем сделать... Почему так смотришь? — спросил он вдруг.

Тотырбек спохватился и мотнул головой: забудь, мол, ерунда.

— Чего уж, — сказал Авдан добродушно. — Говори давай.

Тотырбек помешкал немного да и решился. И в самом деле — чего уж.

— Вот слушаю тебя, — сказал он, — а сам думаю: совсем как Старик разговаривать стал наш Авдан. Ну прям один в один.

— Разве? — удивился Авдан. — Что-то не замечал.

— Кроме шуток, точь-в-точь он.

— Да не, — сказал Авдан. — Я ведь гнусавлю безбожно. Еще с малолетства.

— Так я не о голосе, — возразил Тотырбек. — Я о... — Он запнулся. — А пес его знает, о чем я! О рассудительности, что ли. Вот так же Старик все нам и разжевывает. Усядется на свой «олений» стул и, пока не разжует, не успокоится. И так гладко всегда получается — пикнуть поперек совестно.

— Что ж, может, и так, — произнес Авдан, внимательно его выслушав. — Но, ей-богу, не нарочно. Само выходит.

— Еще б не само! Он ведь тебе как отец: воспитал, на ноги поставил.

— Не только меня, — подняв палец, напомнил Авдан. — Зарему еще. Как родители у нас угорели, так сразу и взял. Ни с кем не посоветовался. На женушку рукой махнул. На сестер-нахлебниц рукой махнул. На всяких-прочих... Хотя с отцом моим, говорят, на ножах был. На дух не переносили друг друга.

— Вроде как бабы не поделили, — сказал Тотырбек.

— Да. Матери моей. Трое ее добивались — Старик, мой отец и кто-то из Кучиевых. Кучиеву Старик с отцом морду начистили. Потом долго промежду собой отношения

выясняли. В конце концов мать выбрала отца, а Старик остался с носом... И все равно взял нас. Вот какой это человек.

— Не каждый так поступит, — произнес Тотырбек с уважением.

— Еще бы! Я, скажем, так не смогу.

— Я, наверное, тоже, — подумав, признался Тотырбек.

— Здрасти! А Заура кто растит?

Тотырбек несогласно цокнул.

— Это другое. Заур — память о брате.

— Знаю, — мигом посерьезнев, буркнул Авдан.

— Он так на него похож — вылитый папаша!

— Да знаю я, — повторил Авдан почти с досадой.

Тотырбеку хотелось рассказать, как тяжело ему было еще совсем недавно, как глодала его чудовищная тоска, как боялся он оставаться наедине с почерневшей от горя женой в пустой, без Абе, сакле... и как малыш этот, донельзя шумный, невинный, трогательно-крохотный, еще беззлобный, пугающийся своих ручек, изменил все в одночасье. Но он также испытывал огромную неловкость и поэтому сказал только:

— Ладно, забыли.

Некоторое время ехали молча, преля от жары и с тупым равнодушием наблюдая за Муратом, — тот, чертыхаясь, стегал коня, снова вздумавшего бочить. Потом Авдан сказал:

— А за Леко, видать, правдивые слухи.

— Думаешь? — тут же отозвался Тотырбек, желая задушить неловкость, все еще сидящую в груди. — Как по мне, это даже для голодранцев диковато. Поползти ночью в хлев... — Он с сомнением покачал головой.

— Я тоже сначала так решил, — прогундосил Авдан. — А сегодня услышал, как Болат отнекивается, и понял: правда. По-другому и быть не может.

— Жалко, коли так, — сказал Тотырбек. — Мне хотелось самому его прикончить.

— У тебя есть еще Серго, — напомнил Авдан.

— У нас, — поправил Тотырбек. — И не только Серго — орава целая. На всех хватит.

— Ишь какой щедрый!

— И что самое замечательное, — прибавил Тотырбек, — после того, что случилось в Кадисаре, никакая уважающая себя фамилия не даст им ни одной, даже самой наираспоследней невесты.

— Э, нет, — прогундосил Авдан. — Тут палка о двух концах. Нам ведь тоже после Кадисара ни одной невесты не светит.

— Мы — Церебовы! — возразил Тотырбек. — И я не за это.

— А за что?

— Ну как... — Тотырбек принялся отгибать пальцы. — Молодые голодранцы останутся без невест и женихов — так? Пожилые голодранцы со временем перестанут плодиться — так? За стариков вообще молчу. Не будут же они друг с другом сношаться, дабы род продолжить!

— А-а-а, — протянул Авдан понимающе. — Обождать советуешь. Чтoб сами перемерли.

— Можно и обождать, — сказал Тотырбек. — А можно и пособить малость.

Авдан заинтересованно воззрился на него.

— Как это? — спросил он и сейчас же догадался сам. — А, понял. Предлагаешь вырезать им всех баб. — Он ухмыльнулся. — Ловко... Однако ты не учел, что и они мог...

Он вдруг замолк на полуслове. Глаза его выкатились.

— Твою-то мать, — помертвевшим голосом пробормотал он и, резко согнав кобылку на обочину, дал ей шенкеля.

Тотырбек, ничего не понимая, но чувствуя, что произошло нечто непоправимо и невообразимо страшное, тоже свернул на обочину и пустил лошадь вслед за Авданом. Из глаз немедленно брызнули слезы. Родичи, мимо которых он несся,

кричали вдогонку: «Эй!.. Что такое?.. Куда вы?..» Тотырбек не мог ответить: он и сам не знал, куда и зачем мчится. Тройка примирителей, прозевав Авдана, вздумала было остановить хотя бы Тотырбека, и, поняв это, Тотырбек отчаянно заорал, подняв над головой ружье, готовый проломить нос первому, кто попытается его задержать. И в решающий момент примирители — ражие дядьки с перекошенными от напряжения мордами — очевидно, дрогнули, потому что клячи их забеспокоились, стали осаживать, а Тотырбек с хрястом, обдирая колени, вдавился в податливый узкий просвет, так и шибаящий потом и страхом, и, через мгновение выдавившись с обратной стороны, снова увидел лоснящийся круп Авдановой кобылки — та выбилась далеко вперед. Провалиться тебе! — подумал Тотырбек про Авдана.

К этому времени тревога среди Церебовых передалась и вперед, и назад. Над дорогой висел гам. Многоглавое змееподобное чудище, наполовину скрытое облаком пыли, суматошливо топталось, взбрыкивало, хрипело, бормотало, ржало, вскрикивало, свистело, материлось — и все спрашивало и спрашивало само себя, в чем дело. И тут, перекрывая все это, раздался властный голос: «Э, головные! Что стали? За Авданом — бего-о-ом!..» И змееподобное чудище, мигом подобравшись, понукая себя криками «Живо! Живо!», устремилось куда было сказано.

Тотырбек с Авданом этого не видели. Идя ноздря в ноздю, они были уже на полпути к передовому отряду примирителей. Оттуда послышались окрики: «Куда?! Осади!» Несколько ружей уставились на скачущих черными немигающими зрачками. Но выстрелов не последовало. Примирители каким-то образом догадались, что дело не в них. Расступившись, они пропустили сначала Авдана с Тотырбеком, затем — и всю остальную братию.

Сразу за Церебовыми, невидимый в пыли, неся хвостовой отряд примирителей. Слившись с передовыми, они, гикая, устремились дальше. По дороге к ним присоединялись те, кому в момент переполоха не повезло находиться в гуще Церебовых, — помогая себе нагайками и матерщиной, Церебовы постепенно вытеснили всех посторонних на обочину.

Никто не понимал, какая муха их укусила. У вытесненных спрашивали на скаку: «Вы им что-то сделали?» — «Какой!» — огрызались те. — «А что тогда?» — «Поди угадай! Гундосый ни с того ни с сего сорвался. Остальные — за ним». — «И всё?» — «И всё!» — «И куда он?» — «Кто?» — «Гундосый — кто!» — «Интересно — догони и спроси!..» Но догнать и спросить Авдана желающих не находилось. Оставалось нестись следом и гадать.

Все разъяснилось, когда достигли Тли.

Церебовские жилища догорали, ни одно не уцелело. Дымные рукава, стелясь по-над лощиной, уползали вверх по склону. Из последних сил лаяли охрипшие псы за соседскими плетнями. Сами соседи, чумазы, как черти в преисподней, растянувшись в несколько цепочек, доставляли ведра с водой к сакле Старика, хотя спасать там было уже нечего. В крайнем дворе, ковыляя туда-сюда вдоль стены, причитала в голос какая-то простоволосая карга. В окошке над ней, за бычьим пузырем, виднелась бледная девичья мордочка, и, замечая ее, карга махала дрожащей рукой: уйди, мол, не смотри. Но девочка, отпрянув всего на секунду, показывалась вновь. Она таращилась на сожженную заставу, где, полускрытые маревом, беспорядочно лежали сторожевые — все как один босые, полуголые, безоружные, с головами, облепленными мухами. Нужно было приглядеться, чтобы понять, что несчастным отрезали уши. Не было ушей и у церебовских женщин, лежащих у крылечек и прямо на улицах. Не было их и у стариков. Не было и у детей. Куда ни посмотри, всюду — безухие неподвижные тела. И всюду — кровь. Местами ее было так много, что в воздухе чувствовался железный привкус.

И ощутивши этот привкус на губах, Церебовы завывали.

Они металась по аулу, ища любимых; катались в пыли, найдя их; просили мертвых ожить; вымаливали у них прощение; рвали на себе бороды, давясь, ели землю; мазали кровью лица; столбенели; грозили небу кулаком; разбивали лбы о стену; с

криком «Проснись!» хлестали себя по щекам; трясли за грудки очевидцев; резали вены; стегали нагайками пустоту перед собой; с кинжалами наголо уходили, шатаясь, в Тиб; упирали в сердце стволы пистолетов; спускали курки; дрались; падали без чувств; вставали; снова падали; и выли, выли, выли...

Уже некоторое время над аулом висела темная курдючная туча. Сделалось невыносимо душно и сумеречно, и в этом душном сумраке нет-нет да погромыхивал гром. К скорчившемуся подле жены Тотырбеку подковыляла вдруг та самая простоволосая карга. На руках она держала запеленатого младенца, ревавшего что есть моченьки. Тотырбек мгновенно узнал и рев, от которого столько раз пробуждался среди ночи, и пеленку, в которую еще утром бедная Тома обернула Заура. Вскочив, он рванулся к карге, отобрал приемыша и стал баюкать, не испытывая ни радости, ни облегчения оттого, что хоть одному Церебову удалось пережить эту бойню.

Карга между тем хнычуще тараторила:

— Как налетели, Тома прибежала ко мне. Мать Майрам¹ мне судья — не могла я взять! Он горланил, а они обшаривали все кругом. А ведь у меня внученька — как ей, глухонемой крохе, доказать, что не ваших она кровей? Как пить дать, закололи б заодно с остальными. Вон Инала как страшно побили! А он всего-то не пускал к себе...

— Где ты его нашла? — спросил Тотырбек.

— У Мурата, у Мурата я нашла! В конуру она его заложила. Собаку-то, Каштара вашего, сразу прибили. Вот Тома и сунула в евонную конуру. А ко входу тушу придвинула — загородила, дабы не услышали.

Тотырбек судорожно выдохнул; он только сейчас заметил, что к пеленке пристала грязная солома.

— Пускай у тебя побудет, — выдавил он, отдавая младенца обратно карге.

— У меня?! — Карга икнула. — Х-х-хорошо... Хорошо, Тото. У меня так у меня... Но ты-то куда? — несмело спросила она, видя, что Тотырбек нагнулся за ружьем, валявшимся на земле. — У дитятки, поди, никого, окромя тебя, и не осталось.

Закинув ружье за спину, Тотырбек молча обошел каргу и двинулся к распахнутой калитке.

— Тото! — испуганно окликнула карга.

Не останавливаясь, он глянул через плечо:

— Смотри! Не убережешь — внуку в реке утоплю.

Карга опять икнула и прошипела ему в затылок какое-то проклятье.

Запретив себе глядеть по сторонам, Тотырбек спустился к заставе, сел на лошадь и тронулся. Никто его не остановил.

Он ехал по пустой дороге, положив ружье на луку, и старался не думать. Перед глазами стояла жена, такая, какой он оставил ее нынче утром, — хлопотливая, с закатанными рукавами, пахнувшая сывороткой и молодым сыром. Живая. Он вез этот образ Тмайновым. Он не знал зачем. Но он догадывался, что они не будут против.

И тут курдючная туча в небе разродилась: выпал град. Лошадь жалобно заржала, стала шарахаться то вправо, то влево. Тотырбек неуклюже спрыгнул с нее, торопливо расседлал и, присев там, где стоял, накрыл седлом голову и плечи. Град усилился. Лошадь, уже не ржа, а дико визжа, усккала прочь. Тотырбек остался совсем один посреди разбушевавшейся стихии, заслонившей мир вокруг сплошной белой завесой. Пропал в завесе и образ жены. Тотырбек сидел, сгорбившийся, оглохший, засыпаемый обжигающе-холодными градинами, и переждал. И когда спустя четверть часа град сменился обыкновенным дождем, он отбросил измятое седло, задрал голову и, открывши рот, стал ловить на язык безвкусные освежающие капли.

¹ Т. е. Богородица; для осетин в первую очередь — покровительница женской плодovitости.

Григорий Стариковский

Тонкий воздух пунктирный

* * *

клио ходит с толстой книгой
и велит, — вскопаешь память
и культурами засеешь,
чтоб всходило и гудело

злачным гулом... помню звенья
дней и кривизну взросленья,
но не помню, как темнело
и светало по утрам.

я скормил все фотоснимки
мусорным зелёным бакам,
засекретил лица близких,
не оставил ничего.

как цыган цыплёнку, крикну, —
цыц, зарёванная муза,
нафталиновая клио,
ты одна на поле снимка,

где ни улицы не видно,
ни домов, не прерываешь
комариный зуд распада,
песню злачною свою.

Григорий Стариковский — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1971 г. в Москве. В США с 1992 г. Окончил Колумбийский университет. Докторская степень по классической филологии. Много переводит с английского, французского, немецкого. Перевел «Пифийские оды» Пиндара (2009). Автор сборника стихов «На углу» (М., 2005). Живет в пригороде Нью-Йорка.

* * *

так голоса плывут,
как тишина в ведре,
и серый день скользит
по ободу его.

по образу его
над бельевого доской,
здесь тоже всюду жизнь,
и рукава чадят.

здесь тоже мятый воск
пустых воротников,

а пена — это песнь,
и баратынский — бог,

и нет других богов,
которые себя
вместили бы в себе
и выстояли над

зрачком слепой воды,
как этот талый снег,
выслаиваясь вслух
и вечера вдаль.

* * *

что прирастает дрожью дождевой,
ожёг асфальта или вроде ваты
за гаражами воздух неживой,
между ладоней сжатый?

кто крысится на здание суда,
и в облаке находит смесь уродства
и правоты, и между «нет» и «да»
теряет сходство,

и наполняет певчее ведро
чернильным льдом, и землю рвёт лопатой,
стоит теперь истошно и светло,
и говорит себе — не падай.

* * *

фигурные арочки стульев,
ореховый стол и буфет,
и полупрозрачные улы
фужеров, и хлебницы склеп.

все эти подставочки, плошки,
и чайник с охрипшим свистком,
на свадьбу немецкие чашки
с развинченным пастушком,

и скатерть, расшитая пенной
сиреневой веткой куста,
куда это всё исчезает,
в какие уходит места?

* * *

она торгует рыбьим кормом
и красит чёлку в рыжий цвет,
лицо проточное, в котором
изюминки как будто нет.

на ней сиреневая юбка
и магазина логотип,
ещё вполне себе голубка,
и даже сдобная на вид,

она покусывает ногти
и смотрит в зеркальце своё,

как будто нет её на свете,
а есть другое существо —

пустая чашка, стынъ в гортани,
одна из пепельных вещей;
зелёные глаза туманит
не о своём, а вообще,

и улыбается некстати,
и притворяется живой,
когда уносит покупатель
свеченье рыбки золотой.

* * *

солнце выгорит дочиста,
но припомнится запах,
тонкий воздух пунктирный,
простреленный птицей случайной.

доски снегом облеплены, но
нарушилось важное что-то;
бриз, его толстогубый порыв
отдаёт хрусталём или хрустом.

замечательно всё, что не мы,
а другое, делимое взглядом
на белёсую пеночку льда
и скупое свечение проталин.

* * *

— где, дорога, остались твои колеи?
— на цветочном газоне, извивом змеи.
— голова, где твоя бескозырка гниёт?
— под водою, дырявая, воду жуёт.

— где весна, от которой чесались глаза?
— где вчерашняя бродит гроза.
— а холодное небо куда истекло?
— здесь без неба как будто светло.

— где теперь обретаётся сломанный дом?
— я не знаю, как помнить о нём.
— а больная душа, что в том доме жила?
— уплыла, далеко уплыла.

Вика Чембарцева

Когда зашумят кипарисы

Повесть

1

«Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше, только утро замаячит у ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как весёлый барабаник с барабаном вдоль по улице идёт»: жестяная трапедия динамика на столбе за окном орала в отогревающийся смоляной воздух позывные «Пионерской зорьки». Кто-то, вздохнув, натягивал одеяло на голову, кто-то ворочался и ворчал, кто-то, лениво зевая, уже слепо чиркал ногой тапок из-под койки. Просыпалось Асино первое крымское утро.

Зина привезла ее ночью. По пути с вокзала до санаторного поселка Ася уснула и поэтому не видела ни окружающих скал, ни обещанного серпантина дорог. До этого было почти двое суток утомительного болтания в душном, вонючем вагоне: в узорных подстаканниках — горячий чай, напоминающий пропахший паклей неразбавленный сахарный сироп; залапанное пыльное окно, упорно не открывающееся никакими усилиями проводницы; пунктирными всполохами проскальзывающие мимо ночные станции; и сердобольная Майя — соседка по купе, которой поручили присматривать за Асей в дороге. Майя «вывозила на юг за здоровьем» своих мальчиков: двух одиннадцатилетних близнецов, как она выражалась — от третьего помета. *От предыдущих пометов* — поняла из разговоров Ася — у Майи были взрослая дочь, заканчивающая биологический факультет в Ленинграде, и сын, служивший в армии где-то на границе в Таджикистане.

— Эй, доходяги чахоточные! Вставайте, а то не успеете заметить, каким был день, в который вам посчастливится сдохнуть! Или не сдохнуть. Или не посчастливится.

Дверной проем занимала коренастая фигура педагога-воспитателя. Широкогрудая, с колоннообразными крутыми икрами, втиснутыми в гляцевый капрон чулок. Ее белую блузку, похоже, только пуговицы и сдерживали: иначе ткань, наверное, лопнула, разлетелась бы на лоскуты, не сопротивляясь распирающему натиску тела. А вот голос ее оказался на удивление — при такой монолитной фигуре — тонким и звенящим, будто его вырезали и наклеили, как плохую аппликацию, не к месту и не в тон.

Вика Чембарцева — поэт, прозаик, переводчик, постоянный автор «Дружбы народов». Член Ассоциации русских писателей Молдовы (2009). Награждена медалью «Григор Нарекаци» Министерства культуры Армении (2014). Одна из авторов проекта «Буквы на камнях» (М., 2013). Живет в Кишинёве.

— Подъем! Чтоб через пять минут с довольными рожами стояли на зарядке!

Дверь захлопнулась.

— Степагнида, сука!

Палата оживала. Девочки вставали. Визгливо возмущались панцирные сетки кроватей; чавкали по полу босые ступни; глухо взбивались подушки, выбрасывая в воздух мерцающую в свете утра пыль; истерично ревели краны в умывальнике; на кафельный пол раскатисто падала чья-то эмалированная кружка, за ней сыпались ругательства; и в щель приоткрытой фрамуги вливалось звучание моря и ветра, треплющего гибкие кипарисовые кроны. Пахло солнцем, югом и сырой мятной чистотой «Поморина»¹.

2

За три дня до отъезда, рано утром, торопящаяся на работу мать сообщила сонной еще Асе:

— В школу можешь сегодня не идти. Да и завтра тоже. В пятницу уезжаешь в Крым, в санаторий. Я достала тебе путевку. Чего это мне стоило, говорить не буду. Пока поучишься там месяца два.

— Мам, а я что — больная?

— Да причем тут больная?! — возмутилась с удивлением мать. — Знаешь, как туда тяжело попасть? Туда только по огромному благу *шишки* своих детей пропихивают. И еще интернатских, которые на гособеспечении, привозят со всего Союза. Санаторий в Крыму, в бархатный сезон! — в такт словам трясла она рукою над Асиной головой. — Боже, ты хоть понимаешь, что это такое, бестолковый ты ребенок?! Господи, да вас там кормить будут по совминовскому меню. Два раза в день на пляж. Процедуры и вся школьная программа. Считай, курорт без отрыва от учебы.

— Но я не хочу, мам! Я тут учиться хочу, дома.

— Хочу, не хочу. Аська, я сказала — едешь, значит едешь! Все, разговор окончен! Я на работу опаздываю. Сегодня буду поздно, поешь там в холодильнике что-нибудь и спать ложись вовремя, не позднее девяти, — чмокнула ее в макушку мать.

Слышно было, как в прихожей шелкнула *собачкой* дверь. Дом загудел, лязгнули створки лифта, какое-то время монотонно тянулся трос, мелкими конвульсиями сотрясая пространство, потом внизу гулко клацнуло, и все затихло.

Ася вылезла из тепла постели, опираясь на руки, чуть подтянулась у высокого подоконника — мать внизу торопливо перебежала тротуар. На противоположной стороне улицы она села в ожидавшую ее темно-синюю машину, мелко махнув рукой маячившей в окне дочери.

Девочка поплелась на кухню. Поставила на плиту красный в белый горох чайник, достала из холодильника прикрытые тарелкой бутерброды с балыком.

Мать работала в Горпродторге, и с едой дома проблем никогда не было. Ася стеснялась звать в гости одноклассниц: они жадными глазами смотрели на забитую книгами и посудой югославскую *стенку*, на звенящую тремя ярусами чешского хрусталя люстру, на деликатесы из недр огромного финского холодильника. А Асе было гадко до жалости оттого, что некоторые из девчонок начинали лебезить и фальшиво предлагать дружбу за все эти прелести дефицитной жизни.

В общем-то школу бросать и уезжать черт-те куда ей было даже немного интересно. Настоящих подруг, по которым бы она скучала, ни во дворе, ни в классе у Аси не было. И никогда еще она не видела моря!

¹ Болгарская зубная паста.

Она мечтала уехать куда-то далеко-далеко. А еще о том, что когда-нибудь, когда у нее накопится достаточно денег — из тех, что мать дает на школьные обеды, — она купит билет и тайком от всех поедет на поезде к отцу. Мать часто с раздражением в голосе повторяла: «Этот паразит живет в своем Николаеве-Нидвораеве, и кроме морской рыбалки да своих дурацких малеванных картинок нет у него ни кола, ни двора. Нафиг ему никто не сдался. Тем более дочка родная, которую корми, расти да обеспечивай».

Ася никогда отца не видела, но почему-то была уверена, что он очень обрадуется, когда она к нему приедет. Она даже мысленно видела эту встречу, и время от времени представляла, как это произойдет. Ася непременно будет в красивом синем с белыми цветами платье бежать по берегу моря навстречу отцу. Ветер будет раздувать подол платья, а из волос распустится красная лента и полетит алой змейкой, далеко-далеко оседая на волны. Папа поймает ее в объятья, поцелует и закружит сильно и высоко. Они будут смеяться и дурачиться, будут счастливы и рады друг другу. И больше никогда не расстанутся... Но об этом пока еще никто не знает.

Она скovyрнула вилкой балык с бутерброда и надкусила пахнущий рыбой хлеб с маслом.

3

День тянулся вяло и скучно. Шел тихий, похожий на уставшего старика, дождь. На карнизе топтались говорливые голуби, жались серым взъерошенным покрывалом друг к дружке, дробно выклеивали какой-то свой мотив по жести подоконника.

В обед раздался звонок в дверь. Пришла одолжить соль соседка из квартиры напротив — Аделаида Аркадьевна.

Когда Ася была еще совсем маленькой и часто болела, Идочка Аркадьна забирала ее к себе и до маминого позднего прихода с работы лечила и развлекала *ребенка*, как только могла. Это именно Идочка научила Асю складывать буквы, узнавать и сличать цифры на карточках и пластмассовых бочонках лото, замечать и восторгаться по весне ежедневными переменами в расцветающей за окном яблоне. Идочка читала Асе сказки про «Пимперлэ»¹ и «Девочку, наступившую на хлеб»². Ася любила эти сказки, хотя все время плакала. Но почему-то эти слезы приносили ей некоторое облегчение. После них становилось спокойнее, а Идочка долго гладила ее по волосам, повторяя: «Ну все, дружок, будет. Жизнь прекрасна, когда ее есть с чем сравнивать...» Ася успокаивалась и иногда так и засыпала у Идочки, слыша сквозь сон, как приходит мама, чтобы забрать ее домой, но Идочка говорит ей, что *«Асенька вполне может остаться у меня, Леночка, вы не заботьтесь, ступайте отдыхать»*. И мама уходит, прикрыв дверь и оставив комнату в глубокой вязкой тишине.

Самым любимым в Асиных детских болезнях было таинственное священнодействие: Идочка затягивала плотной тяжелой шторой огромное окно, зажимала между двумя дверями белую простыню и в темноте комнаты включала проектор. Потом она скрипучим валиком передвигала упрямо закручивающуюся упругую пленку, и лунный кружок света на простыне заполнялся ржаво-коричневыми, а иногда и цветными картинками. Проектор быстро нагревался, и темнота пахла плавящимся полиэтиленом. Ася смотрела диафильм, а Идочка, по ролям меняя голос, читала буквы внизу кадра. В «Горпрессе» Идочка специально для Аси покупала диафильмы. Особенно маленькой Асе нравился фильм о Димпитаури — человечке из барабана. И само имя — Дим-пи-та-у-ри! — оно так вертко и мягко укладывалось на язык, что Асе поскорее хотелось не только научиться читать сказку самой, но и когда-

¹ Герой одной из сказок Николая Вагнера.

² Сказка Г.Х.Андерсена.

нибудь выучить грузинский язык, в котором есть такие чудесные шевелящиеся имена и такие извивающиеся ловкими змейками буквы.

— А я в пятницу уезжаю в Крым, Идочка Аркадьна!

— Как это, деточка?

— Да. В санаторий.

— А как же школа?

— Там и школа будет.

— Хм... Ну, надеюсь, тебе понравится. В конце концов, бархатного сезона в Крыму, деточка, никто не отменял! Так ведь?! — Ида Аркадьевна выразительно посмотрела на девочку. — Будешь внимать солнечным лучам, отдыхать и набираться сил перед долгой нашей зимой. Потом приедешь и расскажешь мне, как там кипарисы поживают. А ты знаешь, Асенька, что если проговорить в дупло кипариса свое желание, то оно непременно сбудется?

— Правда?

— Конечно! Уверю тебя! Когда я была маленькой, мы ездили на лето к маминой тетушке. Она жила в Алуште, на самой окраине городка. Там было так чудно, так замечательно покойно, как, наверное, бывает только в детстве! У меня было красивое платьице. Такое, знаешь, морское — дивного лазоревого цвета, с белыми полосками, отложным воротничком и широким лаковым пояском на талии. Я бежала вниз, к морю, и ветер трепал матроску, и казалось, что я на палубе, самый лучший капитан из капитанов. Да... Детство, мама, братья, отец и вольная воля незнания о том, что будет с нами потом. Вернуть бы то время... — Идочка помолчала и, спохватившись, добавила уже другим тоном: — Так вот, кипарисы, детка, была там аллея, на спуске к морю. И каждый раз, пробегая через нее, я непременно что-то загадывала. И непременно все это сбывалось потом. Я загадывала одно желание и нашептывала его в дупло. Когда поднимается ветер, кроны кипарисов шумят и склоняются друг к другу. Они, как телеграф, от дерева к дереву передают загаданное тобой. Это должно повториться семьсот семьдесят семь раз, прежде чем исполниться. Так учила нас тетушка Фира. Так верили мы в это детьми, и так все это сбывалось. Потому, Асенька, если хочешь, чтобы осуществились твои мечты заветные, дружочек, ищи дупло где-нибудь в кипарисовой роще — чтобы быстрее свершилось загаданное. Кипарис — райское дерево, волшебное, вечное, соединяющее прошлое с будущим.

— Это правда? — Ася задумчиво теребила кончик воротничка. — А я не видела кипарисы. Никогда! Как же мне их узнать?

— А! Вот пойдем ко мне чай пить, я тебе покажу в энциклопедии, как они выглядят! Напекла сегодня твоих любимых сахарных розочек, пойдем, угощу. А потом я тебе в дорогу свеженьких напеку, да, милый?

— Ага.

4

Вечером Ася долго беспокойно ворочалась, думая о предстоящей поездке: сама, на поезде, почти два дня, так далеко. А как там будет? Какое оно, море? Представляла, как они — а, кстати, кто же ее встретит? — будут ехать по извилистой дороге среди серых скал. «Идочка сказала сегодня, что в Крыму дороги похожи на новогодний серпантин — неожиданный и закрученный. Что там говорила Идочка об этих деревьях, которые исполняют желание? Кипарисы. Найдет ли она кипарисовую рощу? Они, эти кипарисы, не похожи на те деревья, которые растут у нас здесь. И какое же выбрать желание, чтобы загадать его первым?» — Так, в долгом суетном потоке мельтешащих мыслей Ася незаметно уснула.

Проснулась она от негромкого шебуршания за стеной. Мать. Было слышно, как

в большой комнате раздвигается диван. На кухне открыли кран, и струя воды гулко ударялась о железное брюхо раковины. Потом вдруг раздался хлопок и звон осколков. Видимо что-то разбилось. Суетливые легкие шаги матери в прихожей, и обращенное к кому-то:

— Черт-те что! Смотри не поранься! Никуда не двигайся, я сейчас все вымету. Где же этот дурацкий веник? Еще и лампочка в кладовке перегорела. Елки-моталки!

Потом был глухой шелест собираемого веником стекла. Сдавленный смех матери, переходящий в громкий сбивчивый шепот, и чей-то чужой, убаюкивающий мужской голос. Голос, голос, голос...

...Асе слышался прибой, словно она приложила ухо к огромной кремовой ракушке, стоявшей у них на серванте. И ракушка начинала расти и заслонять собою Асино ухо, и будто бы охватывать, затягивать и вбирать в себя всю Асю целиком, до самого дна. И вот уже она бегала в лабиринте ракушечной внутренности и никак не могла найти выход. И кто-то что-то тихо и отдаленно кричал сквозь гомон волн и нарастающий шум — то ли галдели чайки, то ли плакали женщины...

Она снова проснулась, когда за стеной заворочалось и заскрипело. Тихонько охнула и застонала мать. Ася испугалась: «Вдруг маме стало там плохо?!» Она шлепнула босыми ногами о пол и, уже на ходу окончательно просыпаясь, распахнула дверь в комнату матери.

На ковре, в синей подсвеченной луной темноте, она увидела два раскачивающихся тела. Они были словно серебристые водоросли на дне аквариума. Сначала она даже не поняла, что это два человека, настолько близко друг к другу они сидели, настолько единым целым казались. Потом она поняла, что одна из двоих — ее голая мать, а второй — какой-то мужчина. От неожиданности вторжения они замерли, и мать резким злым шепотом произнесла:

— Марш спать, сейчас же!

Ошарашенная, Ася попятилась и больно ушиблась о косяк. Резко развернувшись и с шумом хлопнув дверью своей комнаты, она плюхнулась в кровать, укрывшись прямо с головой.

«Неужели и мама *тоже*! Тоже и именно так же, как об *этом* рассказывали мальчишки со двора, мерзко ухмыляясь и сплевывая длинной струйкой сквозь зубы? Нет, этого не может быть! Только не мама! Но она же видела сейчас сама своими глазами! И раз они сидели с этим дядькой голые на полу и обнимались, значит, они именно *это* и делали! Какой ужас! Как противно! Да нет же, это все вранье... то, что мальчишки говорят! Никто ничего никуда не засовывает! И Идочка объясняла, что дети берутся, когда мужчина просто рядом спит с женщиной, а потом в ней прорастает его семя, точно так же, как прорастают весной на даче семена незабудок... Но тогда что же они могли другого делать голыми и почему так раскачивались? Или все-таки Идочка все наврала и правы мальчишки? О боже! Значит и учительница в школе тоже *этим* занимается, и продавщица из овощного на углу, и баб Аня с первого этажа тоже?! И даже сама Идочка — ведь у нее где-то далеко живет ее сын, с которым они не виделись *сто лет*? И значит, папа тоже это делал, когда они решили, что я должна родиться? Нет! Не может быть! Тогда мама снова хочет родить какого-нибудь ребенка! А что же будет тогда со мной?!» — думала Ася.

Может быть, мама уже ее не любит, потому и решила завести нового ребенка?! И что же теперь, если родится ребенок, у Аси будет новый папа? Получается, что все те мужчины, что иногда приходили к матери и тихо уходили утром, тоже оставались, чтобы ночью голыми прижиматься к ней и так же качаться! А уходили, потому что у них не получалось завести никакого ребенка, и потому после, через какие-то месяцы, приходили другие и снова все то же самое делали, но просто что-то не получалось с

ребенком?! «Но неужели же обязательно все-таки быть голыми?! С отвратительными чужими дядьками! Какая же гадость! Какая же мерзкая гадость!» Ася никогда-никогда не будет этого делать! «Никогда! Уж лучше не заводить себе никаких детей, раз иначе нельзя! Но ведь если это на самом деле настоящая-пренастоящая правда, то тогда бы и меня на свете не было бы! А где бы я тогда была? И разве меня могло не быть? И как это вообще — не быть?»

Ей было нестерпимо жалко себя, и маму, и всех на свете людей, которым приходится совершать такие стыдные вещи. Она лежала и тихонько плакала. А слезы стекали по щекам и собирались в маленькие лужицы в ушных раковинах. И это было прохладно и щекотно, и от этого плакать и жалеть себя хотелось еще больше. И снова шумело и плескалось море, и Ася плавно качалась на его волнистых боках, то уходя с головой под воду, то высоко поднимаясь к небу...

Утром она проснулась оттого, что хлопнула входная дверь и по ступеням подъезда слышались удаляющиеся шаги. Тут же в комнату осторожно вошла пахнущая свежестью и духами мать. Она наклонилась и легонько поцеловала Асю в макушку. Моментаً вспомнив все, что произошло ночью, Ася притворилась спящей. Мать, чуть постояв, тихонько вышла. Снова хлопнула дверь, и повернулся в замке ключ. Ася вскочила и, подойдя к окну, спряталась за занавеской. Внизу через дорогу перебежала мать. Ее снова ждала вчерашняя темно-синяя машина, в которую она — не оборачиваясь сегодня на окна дома — поспешно села.

5

Все последующие дни до отъезда Ася старательно избегала матери. Наконец вечером в пятницу плотно упакованный небольшой лаковый чемодан был прислонен к стене, а две огромные сумки с вещами матери по-крокодилы распластались посреди прихожей. Ася, одетая в дорожный брючный костюмчик, сидела на банкетке у двери.

На улице снова шел дождь. Мать торопливо закрывала окна и просила Идочку поливать цветы и забирать почту из ящика. Оказалось, мать тоже уезжает в долгосрочную — как она сказала — командировку. Только летит самолетом, и рейс на два часа позже, чем Асин поезд, но выходить нужно сразу и вместе, чтобы, проводив Асю, не опоздать в аэропорт.

— С поезда тебя встретит Зина. Она работала вместе со мной, а потом уехала в Крым к родственникам. Там у них два дома, — обращалась она уже к провожавшей их Идочке. — И в сезон они денег имеют не меньше, чем тут она имела леваков на дефиците. Каждый ищет кусок повыгодней. Зина знает тебя, — снова говорила она с Асей. — Я оттелеграфировала ей номер вагона и время прибытия поезда. Она отвезет и устроит тебя в санаторий, там уже все оговорено. Ну, все, присядем на дорожку! Иди сюда, дочура, — похлопала она по своим коленям, приглашая девочку.

Ася вяло пересела к матери.

— Ну, храни вас Бог в пути, — беззвучно заплакав, прошептала Идочка.

У подъезда — теперь уже не на противоположной стороне улицы — их ждала знакомая темно-синяя машина. С водительского места вышел высокий усатый мужчина с красным и каким-то плоским щербатым лицом. Он посмотрел на Асю и, весело подмигнув, сказал ей:

— Привет курортникам!

— Вадим! — мать смутилась и, захлопнув за Асей дверцу, села на переднее сидение. Ася заметила, как мать легонько ткнула этого Вадима в бок, давая понять, чтобы тот молчал. Это был он, тот самый вчерашний дядька из ночной маминой комнаты. Теперь Ася знала это наверняка. По дороге Вадим то и дело поглядывал в зеркальце

на Асю. А она, съездившись, каждый раз сползала по сидению ниже, чтобы не отражаться и не встречаться с ним взглядом. Ей не хотелось смотреть на человека, дотрагивавшегося своим голым телом до ее матери, а его взгляд казался ей похожим на липкое прикосновение скользкой лягушки.

К поезду Асин чемодан мать понесла сама. Дойдя до нужного вагона, она коротко переговорила с проводницей, что-то незаметно сунув той в сжатом кулаке. Потом мать поднялась с Асей в купе, устроила там вещи и, глянув на часы, сказала, что у них есть еще несколько минут и лучше бы им нормально попрощаться на воздухе.

Они снова вышли на перрон. Дождь кончился. Небо очистилось и открылось. Вдоль путей дул сквозной ветер, приподнимая и растрепывая длинные волосы матери. Сегодня она не собрала их по обыкновению в пучок и от этого казалась моложе и счастливее. Волосы плавно приподнимались и оседали, заслоняя лицо. Позвякивали тяжелые, похожие на осколки луны, латунные серьги. Мать отводила пряди пальцами, заводила их за уши, но ветер снова трепал их. Асе казалось, что в этот момент мать какая-то необыкновенно красивая. Красивая и родная. Но все-таки неизмеримо далекая и чужая. И Ася понимала, как ужасно любит ее сейчас. Именно ужасно — горько и невыносимо. Что-то изменилось в эти три дня. Что-то безвозвратно ушло от них и, чувствовала Ася, уже больше никогда не вернется обратно.

Мать молчала, заискивающе вглядывалась в лицо дочери и поспешно отводила глаза, когда та, вперив ответный немигающий взгляд, словно бы считывала всю подноготную, выворачивая наизнанку и не давая шанса оправдаться. Она попыталась взять дочь за руки, но девочка, как бы невзначай, отвела их и глубоко засунула в карманы. Ася хотела бы кинуться к матери на шею, обнять и рассказать, как она ее любит, и что не нужно ее никуда отправлять, и не надо никаких других детей, и этого краснорозега Вадима, и что они могли бы жить и дальше вместе и только вместе, и им было бы так хорошо вдвоем, и больше никого на свете было бы не нужно! Но что-то мешало. И было невозможно проговорить все это вслух. И вместо этого Ася молчала и хотела уже только одного — побыстрее уехать.

— Я напишу тебе. И ты пиши, доча, хорошо? У меня адрес есть, а мой будет на конвертах, ты увидишь. Будь умничкой и слушайся в дороге проводницу, ладно? Зина встретит. Все будет хорошо!

Ася кивнула.

— Я постараюсь разобраться со своими делами и... — мать запнулась и посмотрела поверх Асиной головы вдоль перрона. — Ну, решить, как тебя забрать.

— А я загадаю в кипарис желание.

— Что? — она наклонилась к дочери, подбирая рукой волосы.

— Ничего. Не переживай, мам. Я буду послушной.

6

После зарядки, проходившей на широкой террасе перед спальным корпусом, детей строем, с нескладной речевкой, отправили в столовую. К девочкам из утренней Асиной палаты прибавились мальчики. Их было почти вдвое меньше девчонок, и оказалось, они живут в том же корпусе, но только в левом крыле. Воспитателем их отделения была та же самая Степанида Карповна, которую Ася уже видела. Степанида, строя ребят по парам, подвела к Асе толстого мальчика и насильно всунула его мокрую горячую ладонь в Асину руку.

— Будешь с Лёвчиком в паре ходить. Понятно? А то он у нас не больно нарасхват-то. Его, жирнягу, не со всеми поставишь — занимает два места в строю. Как раз вдвоем с такой кошкой дреной, как ты, и уместится. Га! Хороша парочка: Абрашка с Сарочкой! — хохотнула Степанида, и, уже обращаясь к остальным ребятам, скомандовала: — Ну, бремя здоровой нации, в столовую на завтрак шаом арш!

Ели шумно. Кормили сытно. На столиках, накрытых на четверых, стояло по порции густой манной каши, четыре смуглых кирпичика омлета, алюминиевый чайник с чаем и каждому по три ломтя хлеба с маслом, густо присыпанных глянцевыми горошинами черной икры. Икру Ася не любила, поэтому, поковырявшись в каше и раскромсав омлет, к бутербродам даже не прикоснулась.

Закончив есть, она в общем потоке позавтракавших ребят понесла свои тарелки к окошку с отходами и грязной посудой. Перед ней в очереди стояла высокая плотная девочка с короткой — *под мальчика* — стрижкой. Девочка обернулась. И, испытующе свысока глядя на Асю, медленно демонстративно перевернула свою тарелку с остатками манной каши. Каша склизким, оставляющим за собой белые ошметки блином смазала по Асиной юбке и, чавкнув, шлепнулась на туфли. Девочка громко засмеялась, ее смех подхватили несколько стоявших в очереди девчонок. Ася растерянно смотрела на них, не понимая еще до конца, что произошло.

— Пташки, вы что там опять переполох в курятнике устроили? Ну-ка марш всем на улицу строиться на учебу, — прогремел над головами голос Степаниды.

Смех оборвался, и девочки, стоявшие вокруг Аси, поторопились к окошку с грязными тарелками. Ася смотрела на свою испачканную одежду и испытывала одновременно брезгливость от омерзительного вида каши и унижение от несправедливости. Кто-то толкнул ее сзади в плечо и больно ущипнул за локоть:

— Только попробуй пожаловаться, получишь, мало не покажется! — пнули ногой под коленки.

Ася едва не упала. Уже водянисто поплыл переполненный обидой взгляд. И она изо всех сил старалась не проронить напивавшие слезы. Однако они уже предательски текли по щекам. Кто-то протянул ей платок. Она подняла глаза — мальчик из ее пары в строю. Лёвчик, кажется.

— Это интернашки. Они всегда так с *домашними*. На, оботри обувь и вещи. В спальный корпус переодеться все равно уже не пустят, — его толстые пальцы втиснули платок в ее руку.

— С-с-спасибо, — она стала быстро отряхивать платье и протирать туфли.

— Меня Лев зовут. Ты ночью приехала?

— Да.

— В каком классе учишься?

— В четвертом.

— Из четвертого всего пять человек. Тут все вместе занимаются. Ты, если хочешь, садись со мной рядом, я тебе могу подсказывать. Ну, если, конечно, захочешь, а то со мной как-то не очень... сидеть хотят.

— Ладно. Я платок тебе могу постирать и потом отдать.

— Да не надо. Выбрось его. У меня много есть.

— Так! Кто за тринадцатым столом сидел и бутерброды с икрой не съел? — к ним приближался сухой жилистый старик в военной форме, увешанной орденами.

— Ой, это, наверное, я. Я икру ненавижу, — пробормотала Ася.

— Все, тебе капец! — Лёва осуждающе замотал головой. — Кашеич тебя из столовки теперь не выпустит. Придется доедать!

— Новенькая! Ты что ж это, не доедаешь? Государство на вас ишачит, кровь свою и пот проливает, чтоб детство у вас было счастливое и сытое. А вы, дармоеды чертовы, пренебрегаете! — он схватил Асю за худые плечики и потащил к ее столу: — Жри все до последней крошки!

— Можно я не буду? Я не люблю икру. Меня от нее тошнит.

— Я тебе не буду! Зажрались, сволочи малолетние! Жри, сказал. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. И рот мне перед выходом покажешь. А ну назад, марш! — уже кричал он кому-то в другой конец столовского зала. — Отставить нести полную тарелку в помой! Садись и жри, пока донышко не покажется, — насильно усаживал он новую жертву за стол.

Ася давилась, но ела. Сквозь слезы и рвотные позывы она упорно впихивала в себя гадостную соленую хлебно-рыбью кашницу. Откусывала от бутерброда и скорее запивала холодным чаем, сглатывала, стараясь не жевать. Последнюю порцию она все же не проглотила, а давая в себе отвращение, спрятала за щекой.

Кашеич стоял на выходе из столовой. В дверном проеме на улице маячила фигура Лёвы. Ребята строились парами. Ася была последней, остававшейся в столовой. Проверив языком надежность сокрытия икры, она встала из-за стола и уверенно пошла к выходу. Строй ребят в этот момент с речевкой двинулся вниз по аллее.

— Рот показать! — рявкнул у двери Кашеич.

Ася быстро чуть приоткрыла рот, глубоко дыша носом. Кашеич глянул, и, не заметив ничего подозрительного, выпустил девочку на улицу. Она, уже еле сдерживая дурноту, забежала за угол столовой.

Долгими упругими волнами ее выворачивало наизнанку. Потом она отплевывалась, наполняя рот слюной, чтобы смыть весь этот мерзкий вкус, стянувший нёбо липкой рыбьей слизью. Обессиленная, размазывая по щекам слезы, она опустилась на приступочку под водосточной трубой.

У лужицы блевотины присело несколько воробьев. Они подлетали в середину и ловко выклевывали оттуда кусочки пищи. Асю снова стошнило.

По узкой дорожке аллеи, оторвавшись от замыкающих строй ребят, торопливо возвращался Лёва. Он явно шел за ней. Ася двинулась ему навстречу. Нельзя было, чтобы он увидел, что с нею приключилось. Ей вполне хватало уже испытанного дважды за это утро позора и унижения. Третьего было бы через край.

— Ну, ты чего тут так долго? Ругаться будут. Я специально, как будто в тубзик отпросился, чтобы за тобой пойти. А то ты не найдешь ведь. Сегодня уроки на поляне в павильоне идут. Пока тепло, в класс не заводят. Ну, пошли? — он протянул ей руку, но Ася быстро спрятала ладошки в карманы платья.

— Пойдем.

Кажется, никто особо и не заметил их опоздания. Ученики занимались, каждый со своим заданием. Длиннорукая худая учительница подходила к ним, заглядывала в тетради, дугой нависая над вытянутым вдоль павильона общим столом. Она изредка что-то черкала в тетрадках и делала тихие замечания. Лёва уселся в дальнем конце стола. Вокруг Аси сидели незнакомые девочки. Они смотрели сквозь нее, намеренно не замечая и *игнорируя*. «Ну и хорошо, — думала Ася, — не придется ни с кем из них заводить дружбу».

7

За учебой последовал обед, и на этот раз Ася без труда со всем справилась: было вкусно. После столовой Степанида отмаршировала их строем в спальный корпус. Начался мертвый час. Совершившая подлую выходку высокая девочка оказалась Асиной соседкой — их кровати стояли сдвинутыми вплотную.

— Ну что, сдыхлик, попалась? Капец прокрался незаметно, — она засмеялась и повела взглядом по палате. — Девки, устроим новенькой душегубку?

— Кончай, Альбинка, счас Степагнида придет и всем даст оторваться, — ответил кто-то.

По коридору слышались тяжелые четкие шаги.

— Атас! Степагнида! Всем по койкам!

Девочки скоро и шумно укладывались в кровати. Когда звук шагов угас у двери, в палате стояла настоящая гробовая тишина. Точно — мертвый час! Степанида заглянула и, убедившись, что все на местах, пробубнила себе под нос:

— Порядок. Можно и самой вздремнуть малеха.

Дверь хлопнула. Удаляющееся шарканье оборвалось звуком протянутого по полу стула. Девочки заворочались, заскрипели кроватями, зашептались, но никто не осмелился встать. Видимо, авторитет Степаниды был незыблем.

— На посту села, — прошипела над Асиным ухом Альбина. — Ну ничо, я тебе все равно жизнь малиной устрою. Слышь, глиста? Не притворяйся, что спишь.

Она приподняла одеяло и больно ущипнула Асю. Ася оттолкнула руки девочки:

— Оставь меня в покое. Чего тебе надо?

— Кто-то тут еще вякать будет?! Рот закрыла, коза! — злобно зашептала в ухо Альбина, со всей силы стукнув Асю под одеялом в грудь.

Приподнявшись и нависнув всем телом, Альбина попыталась сдавить Асино горло, больно скручивая ворот сорочки. Вцепилась неловкими пальцами в волосы, изо всей силы дернув их на себя.

Сердце скакнуло вниз, встрепенулось юрким поплавком и перепуганно заколотилось где-то в висках. Ася попыталась отбиться, но силы были неравные, да и ее положение было не из лучших. И тогда, надеясь на последний шанс, собравшись, одним рывком — словно гуттаперчевая кукла — Ася оказалась поверх обидчицы, намертво зажала ее тисками тощих коленок и, не разбирая мест, отчаянно замолотила кулаками.

— Гадина, гадина, гадина, — захлебываясь, повторяла она, перейдя с шепота на крик и не замечая его.

Альбина, изловчившись, перевернулась на бок, попытавшись скинуть с себя Асю. Но та, не выпуская ее, продолжала лягаться, пытаясь ухватиться за короткие Альбинкины волосы. Шевелящимся клубком из тел и одеял-простыней, с то и дело выбрасывающимися цепкими руками, пронзительными вскриками и колотящими друг дружку ногами, Ася с Альбиной свалились на пол.

Девочки повыскакивали из кроватей и окружили дерущихся.

— Бей новенькую! Спасай Альбинку!

Их разняли. Стянув с Альбины упирающуюся Асю, отшвырнули ее в угол палаты, встав над ней плотным полукругом. Ася подтянула колени и вжалась в них головой, пытаясь защититься, но ей расцепили руки, разведя их в стороны, опрокинули на спину и, придавив лицо подушкой — чтобы не слышно было крика, — по очереди стали бить кто кулаком, кто ногой. Она еще пыталась брыкаться, выдирать руки, но тело ее, туго растянув, словно крест, с силой намертво прижимали к полу. И били, били, били...

...В голове шумело море. Волны накатывали и накатывали красным душным одеялом. А она летела куда-то вниз и вглубь, раскинув руки широко, как крылья. И было хорошо. Вращалось по спирали солнце. И где-то над самым ухом звенели сверчки. Кружились и падали в ладони звезды. Она удивлялась, но, растопырив пальцы, подставляла под этот звездопад руки. И две луны в антрацитовом небе качались, как мамины сережки на ветру перрона. И гулко уходил вдаль бесконечный поезд, пунктиром пересекая заснеженные поля. И пушистое птичье перышко, щекотно лаская щеку, то плавно оседало, то взмывало вверх, увлекая ее за собой. Оно летело то ли вдоль берега, то ли вдоль рельсов, убегающих к горизонту стальными ремнями. И Асе никак не удавалось поймать его в ладонь. Она боялась упасть меж вагонами, которые на ходу становились высокими волнами, старавшимися накрыть и поглотить Асю. Но она знала, что это очень-очень важно — поймать перышко. И спасаясь от волн-вагонов, Ася безуспешно продолжала то лететь, то бежать за ним, с силой позвериному отталкиваясь ногами и руками от земли. Горизонт переворачивал небо и землю, смешивая цвета и звуки, словно в калейдоскопе. Ася не поспевала взглядом за качающимся краем земли и снова, и снова следовала за птичьим перышком, пытаясь ухватиться за него из последних сил...

8

Камешек ударился о стекло. Она приподнялась на локтях. Ветер расплескивал по небу гранатовый закат. Причудливым горбуном из теней, шевелился мокрый после дождя куст сирени. Из него вдруг смешно вывалился Лёвка. Он прилепился носом к окну и радостно заулыбался, различив в палате Асю.

— Выходи, — слышалось сдавленное Лёвкино мычание. — Давай, — махнул он ей рукой.

Она кивнула, сейчас, мол, выйду и поднесла палец к губам: «Тихо!»

На ночь здесь не оставалось никого из врачей. Они дежурили в основном корпусе, но изредка заходили проверить ребят в изоляторе. Маленький, на три комнатки, домик изолятора был расположен в тупичке тропинки, ответвившейся от центральной дорожки, соединяющей корпуса с морем.

Лёвчик ждал ее на скамейке, заранее обтерев рукавом куртки вечернюю росу на сиденье.

— Привет!

— Привет!

— Ну, как сегодня?

— Нормально. Почти не болит уже. Только голова немножко кружится и тошнит еще. А синяки уже почти прошли.

— Ясно. Ну, тогда порядок. Я тебе яблоко принес. Хочешь?

— Да нет, — Ася слабо улыбнулась. — Спасибо, я не голодная. И у меня была сегодня Зина, она пирог с яблоками принесла.

— А я всегда голодный. Я тогда сам съем, ладно?

— Ешь, ешь, обжора.

— И ничего не обжора! У меня диабет, понимаешь? Я если не буду есть, когда голодный, то могу умереть, — Лёвчик с брызжущим хрустом надкусил яблоко.

— Честно?

— Честное пионерское! Вот потрогай — я же не толстый, я надутый такой, как шар. Это все от инсулина.

— Инсулина?

— Ну да. Мне уколы такие делают все время. Я без них тоже могу умереть в любую секунду. Таая ух эо боэнь, — вздохнул сквозь полный рот Лёвчик.

— А я ничем не болею, — с сожалением заключила Ася.

— Ну да, скажешь тоже, не болеешь. Небольных в изолятор не положат. Ты ж сознание потеряла, когда тебя Алька с девчонками избивали и душили. Считай, чуть не умерла. Если бы Степанида шум не услышала и в палату к вам не прибежала, кто знает, что бы сейчас с тобой было. Да и с Алькой тоже... Ты знаешь, Альбинку обратно в интернат отправили, типа там срочно документы какие-то на нее пришли по удочерению, будут в семью забирать. Но я думаю, что это все неправда, а просто ее подальше услали. Тем более что нам всем настрого приказали молчать о том вашем случае. Пригрозили, что иначе капец всем!

— Знаю. Ко мне сразу после случившегося приходила Степанида, попросила ничего Зине не говорить и маме не писать: «Чтобы не нервировать»... Боятся скандала. А я и не собиралась... Ты меня перебил, я тебе не об этом хотела: Лев, я вообще, в принципе, не болею. Тут же все с какими-то болезнями, а я просто так. Это мама достала путевку в санаторий. Договорилась, дала, кому нужно *на лапу* и отправила меня сюда. А на самом деле... кажется, я ей мешаю. Хотя она в этом и не признается.

Она замолчала, глядя куда-то в сторону. Потом неожиданно сильно замотала под скамейкой ногами, совсем по-детски. Обернулась к Лёвчику и нарочито безразлично спросила:

— Лев, у тебя есть какая-нибудь мечта? Ну, или тайна какая-то?

— Есть.

— Скажи, какая.

— Ты не расскажешь никому?

Ася отрицательно покачала головой.

— Вообще-то я хотел бы стать моряком и служить на подводной лодке. Но мне это нельзя. И, наверное, это никогда не получится. И еще... еще я бы хотел, — он замолчал и требовательно посмотрел на Асю. — А чего ты сама ничего не рассказываешь?! Главное, спрашивает, а сама ничего не рассказывает! Давай тоже колись!

— Ну, я же первая спросила.

— А я второй.

— А первое слово дороже второго!

— Первое в огне горит, второе правду говорит. Давай, рассказывай.

— Ну... А ты точно никому не скажешь?

— А ты про мои никому не скажешь?

— Могила!

— Тогда давай так — ты говоришь свою часть секрета, потом я свою, потом опять ты, потом снова я. Идет?

— Ладно.

— Только, чур, я свою часть уже сказал. Теперь твоя очередь.

— Ну, я тебе могу сказать как бы не сам секрет, а то, как сделать, чтобы он сбылся. И для этого сначала нужно найти специальное дерево — кипарис.

— Ха! Да тут кипарисов навалом, — Лёвчик широко повел рукой.

— Да, но мне нужна кипарисовая роща. Иначе ничего не получится.

— А знаешь что, — он взял ее за руку, и она снова почувствовала, какие влажные и горячие у него ладони, но теперь это почему-то не раздражало ее. — Пойдем-ка, я тебе лучше кое-что покажу.

Они пошли по узкой, едва заметно берущей вверх аллее. По обе стороны, словно посаженные тут чьей-то заботливой рукой, из невысокой травы в четкой симметрии прорастали скульптуры пионеров-героев. Витя Коробко, Зина Портнова, Валя Котик, Лёня Голиков, Надя Богданова... Серые мальчики и девочки, лишенные индивидуальности и похожие друг на друга, как строй оловянных солдатиков. Некоторое различие все же наблюдалось: под гипотетическим ветром на пионерках развевались каменные юбочки, а пионеры стояли, облаченные в широкие форменные брюки. Фантазии скульптора хватило еще на три разнообразные позы, повторяющиеся от мальчика к девочке, и на чередование атрибуты в застывших руках: у кого горн, у кого барабан, у кого барабанные палочки. Эти каменные безликие истуканы не вызывали ни интереса, ни желания повторить их подвиг. И Ася, и Лева знали и помнили историю каждого из этих ребят, но эти мертволикие скульптуры не имели ничего общего с теми настоящими героями — живыми и реальными в своих самоотверженных смелых подвигах.

Дойдя до конца пионерской аллейки, Лёва с Асей свернули направо и, протиснувшись меж кустистой изгородью, пошли в направлении санаторского забора. Здесь, игнорируя переваливший за середину сентябрь, настырно цвела сирень.

— А у нас сирень только летом цветет, — констатировала попутно Ася.

— А у нас вообще нет сирени. Но я читал в энциклопедии, что в теплых краях сирень может и осенью зацвести. И иногда каштаны даже цветут осенью, во второй раз. Вот я сам такое видел.

— Ничего себе!

— Честно!.. Ты мертвяков боишься? — он невольно перешел на шепот.

— Кого? Каких еще мертвяков?!

— Ну, там, черепа всякие, кости.

— А, это... Не-а.

— Тогда ладно. А то там, куда мы идем, как раз всякое такое. Девчонки иногда трусихи.

— Я, если хочешь знать, у нас в городе лазила через забор на старое кладбище. Оно закрытое. И вокруг высокие стены. Там уже давно никого не хоронят. И мы с мальчишками со двора туда за сиренью как раз и лазали. Один раз. Там знаешь, сколько костей и черепов! Мне вообще ни капельки не страшно было.

— Ну, в принципе, я в тебе не сомневаюсь. Это я просто... так сказал. Если честно, я не смог бы так, как ты — против Альбинки и ее коды, сам. Я бы струсил. И, наверное, убежал бы от них. Честно.

Ася промолчала.

Они дошли до забора, отделяющего территорию санатория от дороги. Лёвчик пошел вдоль, что-то высматривая.

— Ага, вот. Тут есть лаз. Только смотри не порви одежду, а то я все время зацепляюсь. Правда, ты такая худая, что, наверное, и без этой дыры в заборе, сквозь прутья бы пролезла. А может, ты и сквозь стены ходить умеешь? — и он засмеялся.

Ася легко проскользнула на другую сторону забора. И стала ждать. Грузно протискиваясь меж прутьями, Лёвчик переваливался то на один, то на другой бок. «Как будто морковку из земли тянут», — подумала Ася. Наконец он выдвинулся наружу. Снова взял Асю за руку. Оглядываясь по сторонам, они быстро перебежали пустынное в этот час шоссе.

Солнце на горизонте оседало огромной оранжевой полусферой, и казалось, что это огненная арка тоннеля, ведущего на обратную сторону неба. За обочиной начинался крутой спуск, покрытый шалью из тонкой вязи кедровых иголок с крупными узорами опавших шишек. Воздух после жаркого дня и скорых коротких дождей пах смолой, прелой мертвой землей и жуками-солдатиками. Спуск был настолько крутым, что по нему пришлось сбегать, опасаясь — как бы не упасть, споткнувшись о свои же заплетающиеся ноги, и не исцарапаться о камни и иголки. В глубине, на дне лощины, Ася заметила слюдянистый проблеск.

— Там ручей течет, — перехватил ее взгляд Лёвчик.

Они спускались, и за ними, шурша, осыпалась песчаная насыпь. Солнце почти совсем скрылось, замкнув выход на ту сторону неба облаками. Но даже тут, в глубине лощины, было все еще достаточно светло.

Ася опустила на корточки и забултыхала в воде руками. Умыла лицо, шутливо плеснула на Лёву. Он, казалось, не заметил ее выходки — был поглощен предстоящим, и сосредоточенно вглядывался в дальний склон лощины.

Они пошли вдоль ручья. По краям, убегая вверх по крутому склону, росли невысокие кустарники с продолговатыми красными ягодами.

— Съедобные?

— Не знаю, похоже на кизил, но я бы не стал рисковать и есть их.

— Хм... Может, это вообще волчья ягода? — Ася остановилась, разглядывая куст.

— Нет, волчьи ягоды темно-синие или черные. Вот, пришли. Смотри, — и он гордым жестом зажиточного хозяина пригласил Асю посмотреть на свои владения.

Ручей здесь делал поворот, и вдоль его русла были беспорядочно разбросаны большие и малые продолговатые черепа. Некоторые из них были с клыками в мощных челюстях. Другие угрожающе зияли пустыми глазницами. Тут и там белели крупные и мелкие кости. Асе стало немного жутко. И она почти пожалела, что вот так бездумно согласилась идти за Лёвчиком неизвестно куда и зачем. Скрывая свое волнение и сдерживая дыхание, Ася посмотрела на крутой подъем, по которому они так стремительно пронеслись вниз, и подумала, что наверх-то с Лёвчиковой неповоротливостью им будет не так легко и скоро подняться. К тому же, еще немного,

и начнет темнеть. А что если ее хватятся в изоляторе? Если Степанида узнает, им точно влетит.

— Если хочешь, можем подождать, пока окончательно стемнеет, и тогда увидим, как кости светятся. Ты знаешь, что в костях есть фосфор? Они поэтому и в темноте светиться могут. Я один раз сам видел. Ну, когда чуть-чуть до темноты тут побыл. Останемся?

— Что-то не хочется...

— Забоялась?

— Вовсе нет. Просто у меня как-то голова начинает болеть.

— Ой! Тебе, наверное, нельзя так долго гулять, — проговорил он поспешно. — Пока что еще до отбоя времени целый вагон, и нас никто искать не начнет. Но если тебе плохо, то идем. Хотел тебе еще кое-что показать, но ты устала, поэтому лучше в следующий раз.

— А это тоже про кости и черепа? — понимая, что он расстроен тем, что она не оценила его стараний, спросила Ася.

— Нет! — он усмехнулся. — Это очень хорошее. И очень красивое.

— А идти далеко?

— Н-е-е-а. Вот видишь, там ручей завернул? Там другой санаторий. Нам нужно будет только заборчик перелезть. А обратно я тебя поведу другой дорогой. Так короче и быстрее. Ну что, согласна?

— Хм... тогда пойдем.

Путь в соседний санаторий оказался совсем близким. Ася даже не ожидала, что они так быстро очутятся на месте. Они перемахнули через довольно низкий заборчик, вынырнули из кустов магнолии и оказались у небольшого окруженного лаврами мраморного бассейна. Узкая, усыпанная песком дорожка огибала его. В центре, широко раскрыв каменные лепестки, возвышалась огромная белая ваза в форме цветка. Его стебель, обвитый замысловатыми мраморными листьями, уходил под воду.

— Иди сюда, — Лёвчик потащил Асю за руку ближе к бортику. — Видишь?

Ася ахнула от неожиданности. Под толщей искрящейся от зажегшихся фонарей воды степенно проплывали огромные золотисто-огненные рыбыны. Вуали их хвостов раскрывались и собирались, колышимые непрерывным движением водного потока. Черные линзы стеклянных глаз в лучах света затягивались белесой пленкой, и казалось, что рыбы моргают. Вздрагивали пластины жабр. Плавники, подобно крыльям неведомых птиц, трепетали и взмахивали, иногда всплескивая на поверхности. Вода кипела и, шумно отфыркиваясь, пестрила, разноцветилась и шевелилась, окропляя мелкими брызгами край бассейна.

— Вот эт-т-то да! — потрясенная Ася наклонилась над водой.

— А я что говорил?! — шумно втянул воздух носом Лёвчик, растягивая рот в самодовольной улыбке.

— А-б-а-л-д-е-е-еть! — выдохнула Ася, следуя за рыбами погруженными в воду руками.

— Если захочешь, сможем сюда хоть каждый день приходить.

— Клево!

Засыпала Ася уставшая и счастливая. Ее переполняла какая-то необъяснимая радость. Лёвчик был ее настоящим другом. Она признавалась себе, что он смешной и нелепый, у него совершенно дурацкий вид, широченные короткие штаны на подтяжках, которые мысленно Ася называла панталонами, всегда неприятно влажные горячие руки, маленькие глазки и похожие на вареник с вишней ярко-красные губы. Он тяжело дышит — как насос. Он волнуется и начинает заикаться, когда нервничает. Из-за этого слова словно шерстинки налипают на его высохший язык, становясь глухими, взъерошенными и шершавыми. Но почему-то ей совершенно не хочется его

дразнить. На самом деле она уже почти не замечает всех этих его особенностей. В общем-то для мальчишки он размазня и слабак, конечно, но Асю поразило, как легко он сегодня ей признался в том, что струсил бы и не стал драться с Альбиной и девочками. Она бы не смогла признаться в таком. Ей не хотелось, чтобы ее считали бесхарактерной трусихой. А он смог и не устыдился. С другой стороны, он же сказал, что ходил ночью смотреть, как фосфорятся скелеты и черепа на дне лощины. И Ася была уверена, что он не врет. Значит, все же он не трус. Он каждый день приходит к ней. А она уже почти две недели лежит одна в этом изоляторе после драки с интернатскими девочками. Несколько раз к ней приходила перепуганная Зина. И Асе приходилось ее успокаивать, уверяя, что с ней все в порядке, просто она упала в темноте, а маме действительно не нужно ничего говорить, потому что это может ее расстроить...

Лёвчик, по сути, единственный Асин друг здесь. «Да и вообще, — призналась она себе, — единственный, если не считать Идочку». А то, что они так быстро подружились... Ася чувствовала, что это по-настоящему. «Надо будет рассказать ему о кипарисах и даже про Николаев, в который я поеду к папе».

9

После изолятора Ася снова перешла в общую палату. Альбину *выслали*, и лишившиеся лидера девочки больше не задевали Асю, но и общаться не стремились, побаиваясь.

Срочно уехала в Краснодар Зина, ухаживать за заболевшей свекровью. Накануне отъезда она плакала и все время извинялась перед Асей, прощаясь у ворот санатория; просила писать, втискивая в Асину руку клочок бумажки с краснодарским адресом. Ася пообещала писать.

Дни тянулись медленно и однообразно: столовая, учеба, мертвый час, прогулка, отбой, потом новое утро и все сначала.

А дружба с Лёвчиком росла и крепла. С ним было интересно и спокойно. Он часами рассказывал ей о невероятных вещах, прочитанных в книгах. И Ася, заинтересованная его рассказами, теперь регулярно ходила в санаторскую библиотеку. А потом они делились впечатлениями, обсуждали, спорили. Пожалуй, этого больше всего Асе и не хватало дома. Мама была постоянно занята, подруг у Аси не было, а Идочка больше склонна была накормить Асю чем-то вкусненьким и посетовать на то, что мама так часто отлучается в командировки. И хотя Идочка все-таки оставалась единственным человеком, с которым Ася проводила больше всего времени, с ней невозможно было так о многом увлеченно болтать.

Занятия окончились, начались каникулы. Несмотря на конец октября, днем было все еще тепло, и солнце утюжило небо с восхода до заката, расправляя за день складки облаков.

Письмо от матери принесла ей девочка-сопалатница. Лида Котелевская. Интернашка — из детдомовских, приехавших откуда-то из-под Киева.

Ася вышла из палаты, завернула за угол коридора, оканчивающегося широким окном на задний двор. Вскрабавшись на высокий подоконник, она разорвала конверт и, развернув письмо, несколько раз пригладила, распрямляя.

«Асенька, дочура, здравствуй!

Как твои дела? Как твои успехи в занятиях? Дружишь ли с кем-то? Хорошо ли кушаешь? Не болеешь ли?

Ты должна остаться в санатории до лета. Это так нужно. Я обо всем договорилась с директрисой, и они тебя оставляют. Так будет для тебя лучше сейчас.

Я устроилась на другую работу. И теперь почти что все время нахожусь в разъездах. Практически не бываю дома. Даже цветы отдала Идочке, а то их поливать некому в мое отсутствие. Очень устаю. Весной я постараюсь приехать и забрать тебя — обещаю. И может быть, мы даже переедем в новую квартиру, там будет больше комнат, огромная веранда и лестница на второй этаж. Представляешь — там два этажа! И потолок в верхних комнатах скошен, как в заграничных домах — потому что сверху там крыша — помнишь, мы такое видели в журнале, который приносила Идочка? Кстати, тебе от нее привет.

Что бы тебе хотелось в подарок на Новый год? Напиши.

Слушайся воспитателей и хорошо учись! Кушай хорошо! Не скучай! Будь умницей!

Пиши.

Я целую тебя!

Твоя мама».

Накатившая пустота медленно сползала от горла куда-то в середину живота. Глаза были сухими. Почему-то даже не плакалось. Было просто обидно и горько. От лживых, стыдливо прячущихся друг за дружку слов из письма. Она так любила и так ненавидела мать в этот момент! И понимала, что так теперь будет всегда, что мать устраивает свою новую жизнь, но не может вот так вот просто во всем признаться Асе, и что в этой новой жизни Ася для матери где-то далеко-далеко, может быть даже дальше этого санатория — мешающая и ненужная. И больше всего раздражали эти дурацкие обещания подарков и нового дома. Зачем это все, если нет чего-то главного? Чего-то, что Ася не могла понять, но очень хорошо чувствовала. Она подумала о том, как сильно ей хотелось, чтобы мать приехала прямо сейчас, обняла ее, прижала к себе и весело сказала, что они уезжают, что они теперь всегда будут только вместе — никаких командировок, никаких Вадимов, никаких дел. Вот так просто — вместе и навсегда. Но одновременно она понимала — если бы мать приехала, Ася ни за что не смогла бы признаться ей в своей любви и привязанности к ней. И было жаль себя и мать за то, что уже никогда не случится... Наверное, папа понял бы ее. Наверное, он был бы рад, если бы Ася к нему приехала. Наверное, он тоже по ней скучает и ждет ее. Ведь не может же быть так, что человек живет вдали от своего ребенка и не вспоминает о нем, не хочет видеть его и знать, какая она — его дочь.

Деревья за окном шумели, словно камешки, ворочающиеся на дне быстрой речки. Ветер трепал их макушки, пригибал и приглаживал вихры ветвей.

Что-то мягко ткнулось в Асино плечо. Дымчато-голубая санаторская кошка Фирузка тихо урчала, перебирая коготками по гладкому подоконнику рядом с девочкой. Ася протянула руку, и кошка стала настойчиво бодаться, приспосабливаясь к ласке. Ася рассеяно погладила пушистую шерстку, потрепала Фирузку за загривок, и та, перевернувшись на спину, доверчиво подставила свой беззащитно-теплый живот.

Осень оседала окрыленной листвой, пятипало налипала кленовыми ладонями на стекла. Задумчивый дождь робко трогал дорожку сада на задворках: то запинался, переставая, то снова семенил мелкими шажками. И небо — широкое и свежее — вливалось золотистым цветом в этот последний октябрьский день.

Лёвчик появился так же тихо, как незадолго до этого кошка.

— Скучаешь?

— Нет.

— Фирузка, Фирузушка, Фирузенция.

Мальчик тискал и почесывал кошку меж ушей, и та еще громче урчала, закатывая свои голубые глаза.

— А ты чего здесь?

— Да... так.

— Плачешь, что ли?

— С чего ты взял?!

— Просто показалось.

— Крестись, когда кажется.

— Чего ты?

Помолчали.

— А знаешь, почему сторож дядька Рамиль эту кошку Фирузкой назвал?

— Почему?

— Ну, он же татарин. А на татарском фируза — это бирюза, камни такие голубенькие. Вот и Фирузка.

— Да, глаза у нее точно, как драгоценные камушки. Откуда ты все всегда знаешь? И про татар этих?

— Ну, я же читаю много. Мне интересно жить. И столько всего интересного вокруг! Знаешь, у тебя никогда такого не бывает, что ты вдруг боишься, что что-то не успеешь? Или наоборот, что-то делаешь, но делаешь неправильно, а потом в голове думаешь: «ну ничего, в другой раз все сделаю, как нужно». А потом бах — ловишь себя на том, что какой же это другой раз, откуда он вдруг возьмется?! И тогда думаешь: «нет, надо все успеть сделать сразу и сразу правильно, вдруг исправить уже никогда не сможешь». Не бывает у тебя такого?

— Не знаю... Мне кажется, что время так медленно идет. Иногда даже страшно. Особенно, когда я маму вечером жду. А она никак не приходит. Я смотрю на часы, а время тянется так медленно-медленно, и минуты стоят на месте. Я стою и смотрю в окно, когда она придет. И загадываю — вот придет сейчас этот автобус, и мама из него выйдет. Точно! Но автобус приходит, а она не выходит из него. И снова я стою и жду. И мне очень страшно становится оттого, что я боюсь, что мама умерла или с ней что-то по дороге случилось. И даже иногда — только ты не рассказывай никому — я говорю молитву. Меня Идочка научила, а ее — одна соседка, у которой во время войны два брата с этой молитвой остались живые и невредимые.

— Я знаю, такое бывает. Научишь меня этой молитве?

— Честное пионерское, никому не скажешь?

— Честное пионерское!

— Слушай: «Я иду посереде, а Иисус Христос попереду, что будет с Иисусом Христом, то будет и со мной, поименованным Львом».

— Хм... Посереде... то будет и со мной. Любопытная молитва.

Они снова замолчали, прислушиваясь к чему-то, что беззвучно говорило в эту минуту внутри каждого из них.

— И что мама?

— Что мама? — отряхиваясь от мыслей, спросила Ася.

— Ну, приходит после этого?

— Приходит.

— А ты что, правда в Бога веришь?

— Я верю, что он помогает.

— А я верю в то, что есть душа. У каждого живого. Может, и у неживого тоже. Но душа всегда живая. Слышишь, как у Фирузки душа стучит? — он положил Асину руку на кошачье брюшко, между передними лапками.

— Это сердце.

— А разве душа не сердце?

— Наверное.

— Вот ты, когда что-то думаешь о себе, ты откуда, тебе кажется, об этом думаешь? В смысле, в каком месте в своем теле ты — это ты?

— Откуда-то отсюда, наверное, — и Ася приложила руку к груди чуть выше солнечного сплетения.

— Так я и знал, совпадает... Вот это и есть твоя душа. Там твое сердце. Значит, это одно и то же. Но только пока человек живет. Потому что сердце умирает. А душа вечная. Я вот в это верю. Потому все время тороплюсь, читаю, читаю, читаю. Мне иногда кажется, что душа может не успеть за моим сердцем. Оно остановится, и душа останется незаполненной. Каждый человек обречен на это — успеть заполнить свою душу.

— Как это — обречен?

— Ну, обязан и никуда не денется.

— Кому обязан?

— Ну... не знаю. Может, себе, а может, всему человечеству.

— Откуда ты так много про душу знаешь?

— Меня бабушка учила. А у нее отец — мой прадед — священником был. Только я об этом как-то не очень рассказываю, все-таки пионерам в бога верить нельзя. Но вот эту молитву я не знал, которую ты рассказала — «попереду»... Слова какие-то странные, смешные.

— Ну, может я не совсем точно помню, там как-то на украинском она говорится, но это так, как я всегда повторяю, и мне помогает.

— Понятно... Бабуля знахарка, она даже боль умеет заговаривать. Только я об этом тоже, это, ну... не очень. Засмеют, что всяким бабским сказкам верю. Но ты ж мне друг. И ведь это все правда, я — честно — не вру. А бабушка меня, знаешь, многим молитвам научила. «Отче наш», «Богородица Дева» и еще разным. Ну и вообще приметам там всяким, поверьям. Вот, например, если зуб у тебя болит, то нужно чеснок в тряпочке к руке привязать. Вот тут, на запястье, где пульс. Умеешь пульс находить? А если, скажем, гроза и сильный ливень, то нужно на пороге два ножа сложить крест-накрест. И тогда ливень проходит. Seriously, я сто раз такое проделывал. Получаешься, как заклинатель дождей, — хохотнул Лёвчик. — И главное, что все получается! А еще есть всякие там наговоры, чтобы желания исполнились. Я тоже парочку знаю. Хочешь, я и тебе...

— И я тоже знаю, — обрадовавшись, перебила его Ася.

Она уже готова была, наконец, рассказать о кипарисах и, может, о своей мечте о папе, но в глубине коридора тонким своим голосом визгливо кричала Стапанида: «На ужи-и-ин стройсь». И Ася подумала, что видимо еще не время, не теперь.

— Пойдем?

— Ага, погнались! — и они сбежали по лестнице к выходу из корпуса, прихватив с подоконника недоумевающую — куда ее уносят? — Фирузку.

10

Вечером после отбоя к Асе подошла та самая Лида, которая днем принесла письмо от матери.

— Можно, я кровать к тебе придвину?

— Ну, вообще-то я не люблю, когда кто-то рядом, — после изолятора Асина кровать стояла особняком от всей остальной палаты, в угловом закутке, образующем что-то наподобие маленькой комнатки, в которой еще одна койка могла уместиться, разве что если ее вплотную приставить к Асиной.

— Я знаю. Но можно мне? Мне... как-то страшно сегодня. А я только тебе верю. Ты смелая. Пожалуйста.

— Ладно. Если хочешь, ладно.

Лида неожиданно легко втащила свою койку в Асин закут. Только лицо ее

покрылось пунцовыми пятнами с испариной и отчетливо блестело в фонарном свете, падающем с улицы.

В палате было тихо. Девочек, у которых были родители, забрали по домам, когда стало холодать и сезон можно было считать закрытым. В санатории оставались Ася, интернатские дети и пара-тройка выздоравливающих, для которых и поздний осенний воздух Крыма был все же лучше любого другого.

Ася лежала в тишине, прислушиваясь к своему дыханию и близким тяжелым вдохам Лиды. Она припоминала, что в последние дни Лида ненавязчиво, но все время была где-то рядом. И, как казалось Асе, хотела о чем-то заговорить с ней, да видимо не решалась. Все эти дни Лида была какая-то молчаливая, расстроенная. Бледная худая девочка, светящаяся нездоровым румянцем щек, Лида и так была замкнута и неразговорчива, но в последнее время над ней словно зависала тишина. Несколько раз Ася видела, как Лида тайком плачет там, в тупичке коридора, где сегодня они разговаривали с Лёвчиком. И Асе вдруг так захотелось ее пожалеть, чем-то помочь, успокоить.

— Ты спишь? — Ася приподнялась на локте, пытаясь различить в темноте очертания девочки.

— Нет, — шепотом протянула та.

Они помолчали, слушая тоненькие посвистывания сквозняка меж оконных рам.

— Душно, — прошептала Лида, откидывая в сторону одеяло, — д-у-у-ушно, — повторила она, словно пробуя слово на вкус.

— Мне нормально.

— Бабка Анисья рассказывала мне, что вокруг нас всегда чьи-то неупокоенные души. Кого-то из мертвых. — Лида сказала об этом так, будто разговор этот они начали давно, словно кто-то зашел, помешал им, и вот теперь они снова вернулись к тому, о чем говорили раньше. — Она верит, что душно становится, когда души эти заперты в комнате и нет им выхода на волю. Много стиснутых душ. Вот они и задыхаются в тесноте, и людей мучают. А еще, всегда есть шум, который живой человек не слышит, но его слышат души. И так много этого шума вокруг, что они глохнут от него в закрытой комнате. Поэтому, когда душно, нужно всегда открывать окно, чтобы они освободились. Тогда они не будут мучить нас, а мы их... Давай фрамугу откроем сильнее?

— Давай, — Ася внимательно слушала девочку, хотя этот разговор, да и вообще вся ситуация с переселением Лиды, нервировали и казались ей немного странными.

Лида выскользнула из кровати, потянулась и почти беззвучно толкнула раму форточки в ночное небо. Ася лежала, снизу вверх глядя сквозь окно на глянцевый квадрат ночи. Ей показалось, что из палаты в раскрытую створку тянулись, извиваясь и тая, прозрачные тени. Душные души?

Лида вернулась в кровать, скрипнула панцирем сетки, устраиваясь. Ася закрыла глаза, ее клонили в сон движения теней и слабые всхлипы ветра в ветвистых кронах.

— Знаешь, мою маму отец застрелил, — снова неожиданно нарушив долгую паузу, сказала Лида.

От внезапности фразы, от нелепости ее смысла выдернутая из полудремы Ася не знала, нужно ли на это жуткое начало что-то ответить или подождать, что Лида сейчас признается в том, что просто пошутила. С надеждой, Ася выбрала второе. Но чуть помолчав, Лида продолжала:

— Мы жили в нескольких километрах от Киева. Прямо между Киевом и Борисполем, небольшой поселок. Мама на почте работала. Отец — шофером в автоколонне. Когда Васёк родился, батя пить стал сильно. Васёк — это мой младший братик. Ему сейчас восемь, уже во второй класс ходит. Нас в разные интернаты отдали,

когда мама умерла. Он умненький и старательный, Васёк. Учится на одни пятерки. Мама была бы рада, если бы знала.

Ася продолжала молчать, даже дышать старалась тише, чтобы не мешать.

— Это тоже осенью было... Четыре года назад. Мама с почты вернулась, скотину с выпаса встретила, закрыла и по хозяйству во дворе занималась. Тут батя пришел. Я его сразу как увидела, почувствовала, что сегодня скандалить будет. А мама сделала вид, что не замечает ничего, продолжала делами заниматься, в огород пошла. А он злой. В хату зашел, вышел, курить сел за сараем. Я ему воду принесла, а он меня как прижмет со всей силы, как обнимет, а потом оттолкнул. «Васянка где?» — спрашивает. Я говорю: «Васянка у Соломатихи, телевизор его забрали смотреть, “Спокойной ночи малыши”». «Ясно, — говорит. — Ты в дом иди, мне с матерью поговорить нужно». А я вижу, что он уже совсем дурной сделался, — Лида замолчала.

Ася слышала, как девочка тихо всхлипывает, видела, как в темноте палаты мелко вздрагивает ее хрупкая фигурка под одеялом.

— Он с лавки тогда встал и в сарай зашел. А я хотела к маме бежать, но не успела: батя уже из сарая вышел с ружьем и быстро на огороды пошел. Я за изгородью спряталась: сама все вижу, но меня никому не видать. Мама как раз поднялась с грядки — что-то собирала она там, не вспомню уже, — увидела, что отец с ружьем на нее идет. Она стала ему что-то кричать, он — на нее. Она побежала. Как заяц побежала — из стороны в сторону. А он за ней. И ружье на плечо вскинул. Мама на помощь звала. А я сидела и шевельнуться не могла, как каменная. Даже кричать не могла. Так испугалась, что думала, сердце выскочит. И понимаю, что нужно звать кого-то на помощь и кричать. А ничего не могу. Окаменелая и онемелая. Мама до края огорода добежала и стала через изгородь к соседям перелезать, и папка тогда прицелился и выстрелил...

Ася протянула в темноте руку и, нащупав такие мягкие, тонкие волосы Лиды, стала гладить ее, успокаивая. Было страшно и жалко. И страшно жалко. И Ася тяготилась своим молчанием, но не могла ничем больше ответить, как продолжать с усилием гладить волосы девочки, словно втирая в подушку, затирая и растирая в пыль ее горе.

— 3-з-знаешь, — продолжила Лида, чуть заикаясь, — мама так медленно падала, как в кино иногда показывают. И так было это непонятно, жутко и... как будто красиво. А потом он еще раз стрельнул, когда она уже на земле лежала... А у нее еще косынка за плетень зацепилась. Она, когда бежала, развязала ее и на шею накинула, а косынка съехала, и когда она падала, ветром косынку унесло, и она за изгородь зацепилась.

Лида надолго замолчала, словно свыкаясь теперь с этим гнетущим молчанием в темноте.

— Так странно, — вновь неожиданно продолжила она. — Я ничего не помню, как ее забирали, как увозили, как хоронили потом. Только как она медленно падала от выстрела и как эта косынка на плетне все вилась на ветру. Как будто рукой махала нам с Васянкой. Наверно, прощалась мама так с нами.

Ася беззвучно плакала. От жалости к Лиде, к ее маме и Васянке, к их отцу. И от жалости к самой себе Ася тоже плакала. Она плакала от своей ужасной мысли, что, наверное, она бы хотела, чтобы ее мать вот так умерла. Красиво и неожиданно. Тогда бы она могла ее жалеть и плакать о ней, и самое главное — искренне любить ее, вспоминать обо всем том хорошем, что было между ними раньше. Скорбеть, вытравливая мысли о том, как отчаянно жалко себя и обидно за то, что мать ее бросила и больше не любит. И от этой нехорошей мысли Асе было совестно и страшно, и хотелось спрятаться с головой и от себя, и от этого ужасного необъяснимого предательства.

Лида продолжила:

— Потом папку в тюрьму забрали. А нас с Васянкой в интернаты. А там у меня порок сердца нашли. У меня сердце знаешь, какое? Без перегородки. Я потому не могу бегать, плавать и долго ходить — задыхаться начинаю. У меня кровь в сердце смешивается, вместо того чтобы по отдельности течь. Там какой-то перегородки нет, сказали врачи. А оперировать пока почему-то нельзя. Наверное, на следующий год уже можно будет...

— И у меня тоже порок сердца, — поспешно сообщила Ася, сглатывая удушливый слезный ком. — И я даже могу умереть от этого.

Она не могла объяснить себе, зачем соврала Лиде. Просто в тот момент эта ложь была единственной возможностью хоть как-то успокоить девочку. Хотелось отдать в жертву себя, уравнивая положение. А может, это была просто инстинктивная защита. Раз уж ее, Асина, мать жива — и тут уж ничего с этим фактом не поделаешь, — может, хоть так заслужить чью-то жалость к себе.

— Я когда-нибудь уеду в Николаев. К папе. Он меня очень любит, только мама нам видется с ним не разрешает. А я все равно к нему уеду.

— Он у тебя тоже в тюрьме?

— Нет, что ты! Просто он не живет с нами.

— А-а!.. А мы с Васянкой тоже были у батьки. Нас соседка на свиданку с ним возила. Я на него не сержусь... за маму. Я ведь его тоже люблю. Он знаешь, как плачет все время! Он говорит, что очень виноват перед нами и мамой, и все время нас так крепко обнимает и все плачет, плачет и еще крестит нас и говорит, что Бог все видит и потому его простит когда-нибудь. И письма он мне пишет. Каждую неделю. Он не виноватый. У него эффект был.

— Какой еще эффект?

— Ну, так на суде сказали, что у него стадия эффекта была, когда он стрелял в маму. Вроде как он чокнутый тогда сделался... Но я все равно его люблю. И ждать из тюрьмы буду. Закончу школу, пойду на фабрику работать, буду о Васянке заботиться. Батя вернется из тюрьмы и поймет, какие у него хорошие дети выросли. И тогда заживем вместе, как раньше. Только без мамы... Ведь он же наш родненький! У нас же с Васянкой больше и нет на свете никого родного! Никого-никого! — Лида снова беззвучно заплакала, затряслась.

И Ася опять принялась старательно гладить Лидины волосы.

— Не плачь, все будет хорошо! А моя мама, наоборот, меня не любит, — разговор давался Асе с трудом, но говорила она быстро, скороговоркой, и сама не верила, что способна вслух с кем-то делиться этим. — Она от меня все время куда-то уезжает. Или если не уезжает, то все равно ее дома не бывает. А сейчас она хочет жениться. И еще нового ребенка хочет. Я ей мешаю — я же уже есть! Вот и сюда она меня отправила. Но я на нее тоже не обижаюсь. Мне ее только жалко. Этот дядька, за которого она замуж хочет выйти, — он дурак и урод. У него лицо красное, как у свиньи. И руки у него воняют рыбой. Он смеется все время, шутит и на меня смотрит, как будто я его дочка. А я с ними жить не буду. Вот сбегу из санатория и в Николаев уеду, к папе.

— Ого! Как же ты отсюда сбежишь?! Тут вон, охрана какая: и Кощеич, и Степагнида, и Рамилька-сторож.

— Посмотрим... Только поклянись, что никому не скажешь, — перепуганная порывом своей неожиданной откровенности, громко зашептала Ася. — Об этом еще только Лёвчик знает. Он мой лучший друг, а теперь... и ты.

— Никому. Хочешь, побратаемся, ну, то есть посестримся, и тогда твоя тайна будет моя, а моя — твоя. И никому-никому не расскажем об этом. По гроб жизни!

— Но это же кровью нужно делать, а у нас нет даже никакой иголки, чтобы палец проколоть.

— Да...

Они помолчали. Ветряная болтанка фонаря за окном наполняла комнатку перемежающимися полосами света и скользящей меж ними гибкой тягучей тьмой.

— Я знаю, — вдруг обрадовано зашептала Лида. — Мы посестримся слюнями. Это ведь тоже будет считаться. Вот, — она что-то протянула Асе в темноте.

Ася пригляделась и в плавающем бледном сумраке комнаты, скорее на ощупь, чем зрительно, различила в своей руке грецкий орех.

— Вот. Теперь я плюну на него, а ты слизни. А потом наоборот. Это немножко как бы не очень... но если мы это сделаем, то станем настоящими сестрами и сможем друг для друга все-пре-все.

Ася застыла, так усиленно вслушиваясь в наступившую тишину, что в ушах загудело от перенапряжения. Она не могла сразу решиться. В ней поднималось отвращение, но оно боролось с упорным желанием нарушить некий внутренний запрет. Что-то слишком предосудительное было в этом предложении и слишком вторгающееся в личное. Пугающее даже. Однако ей и в голову не приходило, что можно отказаться и ничего такого не делать. Она подумала о Лёвчике. Им не потребовалось никаких клятв и братаний, чтобы скрепить свою дружбу. Она считала его самым настоящим другом, хотя он и был мальчишкой. Он рассказывал ей разные интересные вещи, все время опекал ее и помогал, и ей вовсе не хотелось больше никаких друзей или подруг. Почему же она так борется с собой, так хочет сейчас согласиться на это глупое Лидино предложение? Может, для того, чтобы не показаться слабой трусихой? Чтобы доказать, что она может все, она сильная и справится даже с таким? Доказать кому? А может — себе?.. Асе было это странно, ведь еще сегодня утром она почти ничего не знала о Лиде, кроме того, что та слаба и болезненна и поэтому никогда не ходит на зарядку и бег в парке. Это было необъяснимо, но Ася чувствовала, что все-таки сделает это.

Она посмотрела на еле различимую пену слюны на орехе. Выдохнув, Ася крепко зажмурилась и решительно поднесла орех к губам, едва дотронувшись до влаги на нем. Минуту спустя, то же самое сделала Лида.

Разговаривать больше не хотелось. Между ними пролегло ощущение неловкости, и молчание сейчас было единственным выходом.

Наутро они встали как ни в чем не бывало. Заправили кровати, словно не замечая присутствия друг друга и, опасаясь встретиться взглядами, растворившись в строю ребят, пошли на завтрак. К обеду кровать Лиды снова стояла в общей палате, и больше Ася не обмолвилась со своей новообретенной сестрой ни единым словом.

Сначала Асю все это удивляло. С другой стороны, ей и самой не хотелось вспоминать ни разговор той странной ночи, ни их нелепую клятву, ни ее нелепый поступок. Было противно самой себя. А к Лиде она испытывала и жалость, и брезгливую неприязнь, смешанные с чувством превосходства.

Она ничего не рассказала Лёве, но стала с ним немного холодна и намеренно невнимательна. Это бесконечно мучило его. Асе казалось, что она его предала, виновата перед ним и недостойна теперь его дружбы. И в свою очередь ужасно мучилась от такого своего отношения к Лёвчику. Но каждый раз, когда он пытался развеселить Асю и как бы ненароком вызвать на ответное общение, она замолкала и торопливо уходила по каким-то якобы делам.

11

Спустя неделю Лида умерла во сне. Умерла рано утром. Пока в палатах было еще сумеречно и душно, а рассеивающийся за окном туман едва пропускал рассветную алость.

После полдника гроб, обитый кумачовой тканью, — точно такой же, как скатерть в Ленинской комнате, — поставили перед корпусом на принесенные из столовки табуреты. Подъехал маленький автобус, водитель распахнул двери и отошел в сторонку ждать.

Молчали собравшиеся у входа ребята и воспитатели. Кто-то тихонько всхлипывал. Ася смотрела на бледный лоб Лиды, на ее полупрозрачные и почти светящиеся длинные пальцы, сложенные лодочкой на груди, на нелепо торчащие из-под белой накидки носки черных туфель. И все это ей казалось каким-то нереальным, словно все это происходит в театре, и вот сейчас сцена завертится и все декорации поменяются. Смерть не пугала ее. Она не была ни страшной, ни отталкивающей. Она была безразлично-обыденной. Ася смотрела на лица стоящих рядом: кто-то шептался; высокая девочка из другой палаты шумно чихнула и, испуганно зажав рукой нос, стала поспешно искать платок; Степанида толкала ребят в спины, чтобы те ровнее стояли; за беспечно скачущим по дорожке воробьем настороженно следила Фирузка; высоко в небе плыло облако, похожее на собаку; шофер докурив сигарету и искал, куда бы выбросить окурки. Все было обычно. Только Лиды в этом обычном мире уже не было. Вернее, она была, но была уже не собой, не Лидой, а чем-то чужим и ненастоящим. И было Асе непонятно и странно: как такое возможно! Ведь вот же умер человек, еще ребенок, и это должно быть страшным горем и страшной несправедливостью, и все вокруг должны это понимать: ведь она уже никогда не вернется, не встанет и не скажет ни одного слова. Ася вспоминала, какими мягкими были Лидины волосы, когда той ночью она их гладила. И вспоминала, какой холодной была ее слюна на орехе. Холодной и тоже как будто бы мертвой. И Ася плакала. Плакала одними глазами. И еще, наверное, чем-то, что глядело наружу на весь этот неправильный мир откуда-то из солнечного ее сплетения. Может быть, душою?..

Она поискала глазами Лёвчика. Оказалось, что он все время был тут, рядом, за Асиной спиной. Встретив ее беспомощный взгляд, он крепко сжал ее руку. И Ася, сплетаясь пальцами, вжимала свою ладонь в мягкую теплую влагу его руки.

— Попрощайтесь с Лидочкой, ребятки, — сказала Степанида, — пора.

Водитель стал что-то поправлять внутри автобуса. Ребята окружили гроб. Порывы ветра трогали Лидины волосы и на время успокаивались, уложив соломенную прядку на неподвижное лицо девочки. Надрывно в голос заплакала одна из поварих. Казалось, она очень торопится и делает это потому, что боится не успеть до того, как автобус закроется и навсегда увезет Лиду.

Ася неотрывно смотрела на прядь, скользящую по лицу Лиды. Смотрела и словно проваливалась в воронку, образующуюся в пространстве вокруг нее. Волосы казались живыми. Они касались Лидино лица и, наверное, щекотали его, но само лицо было невыносимо неподвижным. И Асю это удивляло, и она никак не могла уложить в своем сознании это противоречие. И было невозможно понять, что ни лицо, ни тело, ни тонкие прозрачные руки, ни голос Лиды, все еще отдававшийся эхом в Асиной голове: «...а еще, всегда есть шум, который живой человек не слышит, но его слышат души...», уже не представляют собой Лиду. И странным было то, что вопреки всему *мертвому*, волосы продолжают *жить* и двигаться.

Водитель и Кашеич приподняли гроб. Стоявшая в изголовье табуретка упала, и Кашеич споткнулся об нее, чуть накренив свой угол гроба.

— Ах, ты ж!

Голова Лиды дернулась и застыла слегка повернутой в сторону. Запричитала, тихо всхлипывая, плакавшая до этого повариха. Ася заметила, что она украдкой перекрестилась. Гроб внесли в автобус, прикрыли крышкой. Шумно лязгнули створки дверей, и автобус, задрожав, медленно тронулся вверх по дороге к воротам.

Стали расходиться. Довольно облизывалась Фирузка: воробья поблизости не было — то ли съела его, то ли упустила. Звуки вдруг стали различимы и внезапно плотно заполнили собой пространство. Хлопали двери столовки и главного корпуса. Гомон и возня слышались из приоткрытых окон кухни. Скрип кранов и протест умывальников сдавленно доносились из помывочной. А со стороны моря, видимо, из соседнего санатория, обрывками проливалась музыка.

— Пойдем, погуляем? — Лёвчик потянул Асю за пуговицу на курточке.

— Пойдем, — сказала она, рукавом размазав по лицу остатки слез.

Они спускались к морю. Ася то и дело спотыкалась о выщербленные куски бетонных плит, которыми была выложена дорожка. Шум музыки то поглощался приближающимся плеском волн, то выныривал из него.

По берегу, выклеывая из гальки невидимую добычу, бродили чайки. Появление Аси с Лёвчиком их ничуть не смущало, и они продолжали сварливо перекрикиваться, тыкаться клювами в камни и, разбросав крылья, чуть приподниматься в подобию не то скачка, не то низкого полета.

Лёвчик снял куртку и расстелил ее на бетонном парапете, тянувшемся вдоль пляжа и отделявшем его от санаторского парка.

— Садись.

Ася села и, пожившись, втянула шею глубже в ворот. Лёвчик сел рядом, совсем близко. Ася сквозь одежду чувствовала его тепло.

Помолчали. Лёвчик размахнулся и кинул в море камушек, поднятый с парапета. Он пролетел блинчиком, трижды смазав по волнам, прежде чем окончательно скрыться в них.

— Тебе страшно?

— А тебе?

— Немного.

— И мне тоже.

— У нее, кажется, сердце больное было?

— Да. Порок. Какой-то перегородки не было, и кровь смешивалась.

— Да, есть такое заболевание, я читал в энциклопедии. Такое сердце у лягушек — без перегородки. Но у них система кровообращения другая, и им это ничем не грозит.

— У тебя когда-то кто-то уже умирал?

— Бабушка.

— А у меня еще никто... А у нее, знаешь, отец маму застрелил из ружья. По-настоящему. Насмерть. Он в тюрьме сейчас сидит. И теперь ее брат остался совсем один. Он во втором классе, в интернате, но только в другом, не в том, в котором Лида была.

— Ну и ну. Во дела! Ты откуда про это узнала?

— Она сама мне сказала. Только это была тайна. По гроб жизни.

Ася всхлипнула.

— Лёвчик, Лёвчик, родненький, почему так, а, почему? — она неожиданно развернулась к нему всем телом и уткнулась в его плечо, пряча в нем мокрые глаза, упираясь кулаками в его теплую грудь.

Он прыгнул с парапета, поймал ее колотящиеся руки и, не отдавая себе отчета в том, что делает, обнял ее и стал быстро неловко целовать в мокрые щеки, глаза, губы. Ася отстранилась, сквозь слезы глядя на покрасневшего мальчика, и изо всех сил обняла его.

— Не делай так больше. Не надо. Никогда.

— Прости. Ты очень-очень хорошая и красивая. Я тебя... люблю.

— Ты мой единственный друг, — прошептала Ася куда-то за его спину, не отрываясь от плеча. — Только больше никогда не целуй меня, ладно?

— Прости. Больше не буду.

Они сидели так, обнявшись и согревая друг друга одним на двоих молчаливым пониманием. Ветер стирал слезы с их лиц, и тень событий сегодняшнего дня высыхала вместе с ними.

Начинало смеркаться. Горизонт был похож на плоскую радугу: у самой земли он разливался алым, затем, поднимаясь к небу все выше и выше, постепенно переходил от оранжевого через весь спектр к густо-фиолетовому, в котором уже теплилась первая звезда.

— Пойдем?

— Ага.

Лёвчик помог ей прыгнуть с парапета, отряхнул и надел куртку, и они двинулись вверх, к корпусам санатория.

— Ты помнишь, я тебе говорила про кипарисы?

— Да, ты что-то говорила, но так и не рассказала до конца. Что-то там про кипарисовую рошу.

— Если роша, то все быстрее сбудется. В кипарисовой роше нужно найти кипарис с дуплом. В это дупло нашептывать загаданное желание. Когда поднимается ветер, кроны кипарисов гнутся и шумят — передают, как по телеграфу, от дерева к дереву загаданное. Оно должно повториться семьсот семьдесят семь раз и тогда исполнится. Ида мне говорила, что кипарис — райское дерево, соединяющее прошлое с будущим. Я ей верю.

— А почему семьсот семьдесят семь?

— Не знаю. Так она сказала.

— Понятно. Ты уже загадывала?

— Нет, но обязательно загадаю.

— Ася. Я хотел тебе кое-что сказать...

— Я загадаю, — не слушая Лёвчика, упрямо повторила Ася. — Знаешь, что?

— Ну?

— Я загадаю, чтобы к папе приехать. Он в Николаеве живет. И так наше прошлое станет нашим будущим. Я сбегу отсюда и уеду к нему. Вот увидишь!

— Как ты уедешь? У тебя и денег на билеты нет.

— У меня есть. Я их прячу. Зина мне приносила, когда мы на экскурсию ездили, а я их не тратила. Ты никому не расскажешь, — утвердительно с силой произнесла она, — мы же друзья.

— Я-то никому не скажу, но думаю, что это глупое желание. Ты можешь потеряться.

— Лёвчик, понимаешь, не могу я так больше! Я не болею, и санаторий мне ни к чему. Мама за все время написала мне три письма... Я не нужна ей. Понимаешь?! А в интернат я не хочу.

— Но... может быть, все еще как-то изменится? Может, ты подождешь? Она же обещала за тобой приехать.

— Ничего ты не понимаешь! Она замуж выйдет или уже вышла! И этот дебильный Вадим станет моим отцом, — сорвалась на крик Ася.

Она смотрела на Лёву полными слез умоляющими глазами.

— Я не хочу, не хочу! От него воняет рыбой, и он такой омерзительный! Гадкий гад! Я не люблю его и никогда не полюблю, как своего родного папу! Понимаешь ты это или нет?!

— Успокойся, — Лёвчик остановился и снова попытался обнять девочку.

Ася отстранила его руки, движением головы давая понять: «Не нужно!» Он кивнул в согласии. Какое-то время они шли в молчании.

— Но как же ты найдешь своего отца? Ты же его никогда не видела, кажется. И ты хотя бы адрес его знаешь?

— Знаю, — твердо ответила окончательно успокоившаяся Ася. — Я письмо из дома забрала. Мама не заметила. Там город и улица — все написано. Я сбегу. Еще немножко подожду и сбегу.

— Нда...

Они почти дошли до корпуса. Из-под ног то и дело крупными глянцевыми бусинами отскакивали каштаны.

— А знаешь еще такую штуку? — Лёвчик наклонился и подобрал с земли несколько плотных плодов: — В кармане нужно носить каштаны, чтобы всегда везло.

— Не-а, не знала.

— Держи. На счастье, — он втиснул в ее руку каштаны. — Сейчас нужно незаметно пробраться в палаты, чтобы Степагнида не заметила. Скоро отбой.

— Пока?

— Ась, я так и не сказал тебе... Я уезжаю домой. Мама на выходные приедет меня забирать.

— Как?! — она почти задохнулась от неожиданности.

— Вот так... Послезавтра.

— Насовсем? — тихо спросила, пряча глаза.

— Насовсем...

Прищурившись, взглянула на него исподлобья. Он растерянно, словно бы извиняясь, неотрывно смотрел на девочку.

— Пойдем. Пора спать.

— Ася!

— Пойдем, Лев, — и она стремительно, не оглядываясь, вошла в корпус.

12

Уснуть не удавалось долго. В голове крутился весь этот тяжелый, полный событий день. Весть о Лёвином отъезде назойливо стучала в Асиных висках. Нелепая, бессмысленная смерть Лиды удивляла, не отпускала и пугала. Накатывали, сливаясь друг с другом: вьющаяся на мертвом лице прядка, рассыпанные под ногами каштаны, облизывающаяся Фирузка, голосащая повариха. И все это переполняло ее предчувствием отчаянной, неизбывной безысходности.

На улице шел дождь.

...Меж лестничными маршами под порывами сквозняка все кружило и кружило, никак не оседая, птичье перышко. Дождь отбивал дробь по водостоку, и шумящий в остатках листвы ветер врывается скрипом распахивающейся время от времени фрамуги. Силуэт стоящей перед окном против света матери протягивал к Асе руки. Голова ее склонялась и шептала что-то неразличимое. Сережки в ушах тихо позвякивали, касаясь Асиного лица. По краю поля бежала Лида, останавливалась и махала косынкой, снова бежала и снова останавливалась. Кипарисы шумели, выгибались до самой земли, и непроизнесенное желание каштановой бусиной катилось по берегу, исчезая в волнах...

13

Рано утром, тихонько встав с кровати, Ася оделась, вынула из тумбочки три маминых письма, немного подумав, опустила их в карман куртки, достала из-под кровати сумку, в которую вчера переложила часть своих вещей, и, стараясь не потревожить тишину палаты, выскользнула в коридор. На посту никого не было. Она вышла на улицу. Сырое утро бледно оседало редким туманом.

На веревках, протянутых вдоль столовой, сушились халаты и скатерти. У приоткрытой двери, вытянув лапки, на спине спала Фирузка. Раскидистый каштан упирался в стену здания огромной сломанной ветром веткой. Ася подошла, погладила мокрый испещренный бороздами ствол. Два коричневых глянцевых плода выкатились к ее ногам. Только два. Ася подняла их и, бережно сомкнув пальцы, понесла в ладони, ощущая холодную живую упругость.

Она шла через парк за санаторскими воротами. Вдоль дороги, скрывая за собой витой забор, колоннообразно тянулись кипарисы. Асе показалось — в одном из них маленьким глазком темнеет дупло. «Ну и пусть не роща», — она прижалась к дереву и поспешно зашептала что-то в глубину ствола.

Шоссе витым серпантином сбегало к пустующим пляжам. Серые скалы щетинились сухими колючками кустов, грязно желтели лишайниками. Где-то высоко в небе, оставляя за собой белую рваную рану, летел самолет. И на краю темного Черного моря бледнеющей точкой рождалось прохладное осеннее солнце. Шумели кипарисы.

Инга Кузнецова

Встречаемся на голубятне

* * *

счастье это частичное
не частотное
счастья не счесть
ворсинки
но цельного в строгом смысле
нет не бывает
нет
счастья как настоящего
продолженного
лишь сейчас
а дальше
следует
участь
несчастье
нести и снести
совершенно легко
это счастье
невыносимо
вот и мелькает

Кузнецова Инга Анатольевна — поэт, прозаик, переводчик, литературный критик. Родилась в поселке Черноморском Краснодарского края. Окончила факультет журналистики МГУ. Автор четырех книг стихов и романа «Пэчворк» (М., 2017). Лауреат литературных премий «Триумф» (2003) и «Московский счет» (2003). Постоянный автор «Дружбы народов». Живет в Москве.

* * *

как много музыки беспомощной внутри
как много гендера снаружи
ты на меня сегодня не смотри
ты слушай
фактурны шороха текстильные лады
и синева гобоя
две паузы упали как плоды
окно воды
стянулось за тобой и
мне снился утренний звонок отца
скорей скорей
но телефон молчащий
вернул меня к звучащей без конца
как свет из чаши

* * *

мы встречаемся на голубятне
потому что мы голуби
где ещё
мы могли бы поговорить
о литературе
небо над нами огромно
но оно
личное пространство каждого
мы привыкли его уважать
потому и ютимся здесь
а представь
если бы
я готовила тебе
яичницу со скорлупками
это было бы преступлением
против птичьего рода
пенитенциарную систему
ведь никто не отменял

* * *

мама мыла рану
согласно логике букваря
буквалистов
буря не буря но попросту говоря
ветер неистов

энтропия одна
шатается на корню
остальное вырвано а не много ли
я хочу
сяду в позе скрюченного иероглифа
чтобы это ню
инженю
оболочки твоих молекул трогали

* * *

забыла про яблоки
с древа познания добра и зла
лежащие в холодильнике
слегка подпорченные
с бочком
что делать
таково познание
качнусь в гамаке подвешенном меж миров
загляну в кафкианский замок
раскушу червяка

* * *

я не вирджиния вульф
и не смотрю на часы
внутренний мир осы
держит меня на плаву
бабочка чжуан цзы
грезит о нас наяву
острый укус полосы
жёлтый значит живу

Булат Ханов

Сумрачная

Рассказ

Было бы проще смириться, если бы он сам наслал на себя беду. Нарушил бы правила, оплошал, увлекся и потерял голову. Лучше уж ясно соображать, на ком вина, чем вот так.

Алексей зашел в бар. В один из баров, где он обычно охотился. Подсел к самой одинокой, завязал разговор и угостил ее «Ирландской розой».

По мнению Алексея, мужчины, за исключением геев, трансов и прочих патологических элементов, делились на пять лиг. В Низшей болтались наивные и озабоченные неудачники, позволявшие женщинам себя поиметь. Выше располагались неприметные середнячки, с завидным упорством строившие пары и привередливо выбиравшие одну-единственную. Многие из середнячков, устав выбирать, несчастливо женились. Дальше шла Лига самцов. Ее участники использовали женщин ради секса, иногда даже отличаясь постоянством. В таком случае секс в списке требований дополнялся борщом. В Высшую лигу получали доступ отъявленные альфахи, которые присваивали себе тела и души. Альфахи подчиняли девушек, и последние, отрекаясь от себя, прощали своим героям что угодно: обиды, измены, побои.

Себя Алексей причислял к элите, к Лиге чемпионов. При желании он мог переместиться к альфахам, чтобы питаться кровью и владеть сердцами, но предпочитал короткие приключения, приносившие всестороннее удовольствие и Алексею, и его мимолетным подружкам. Ведь важно наслаждаться чужими радостями, а не страданиями. Алексей не превращал никого в жертву, а потому обладал подлинным благородством, которого альфахи не знали. Он умел не только добиваться любви, но и любить.

В тот вечер целью стала притягательная добыча.

Она не выделялась красотой. Эпитет «доступная» не подходил ей в той же мере, что и «недоступная». Она брала очарованием, притом не расчетливо-холодным, до блеска отрепетированным, а очарованием едва уловимым, ускользающим. Неловкости и конфузы, как догадался Алексей, сопровождали незнакомку постоянно. Сперва она по ошибке заняла столик с табличкой «Резерв», а переместившись за свободный, полминуты не соображала, что делать с сумкой, покуда не положила ее на соседний

Ханов Булат Альфредович родился в 1991 году в Казани. Окончил филологический факультет Казанского федерального университета. Кандидат филологических наук по специальности «История русской литературы». Печатался в журналах «Дружба народов», «Идель», «Октябрь». Лауреат премии «Лицей» (2018). Автор романа «Непостоянные величины», опубликованного в «ДН» (2017, №№ 11,12).

стул. При этом девушка определенно отличалась от серых мышек. По великоватым ей джинсам и песочному джемперу с длинными рукавами, по ровному и лишенному тени кокетства голосу, которым незнакомка говорила с официантом, чувствовалось, что она не любит подстраиваться. Пусть и регулярно попадает впросак.

Ее звали Стевия. И она была неочевидной мишенью. Куда легче увести за собой опьяневшую выпускницу с танцпола, чем такую себе-на-уме-незнакомку. Она вызывала интерес уже тем, что с первого взгляда было сложно определить, кто же перед тобой: непуганая дичь или умелая актриса.

Алексею с детства внушали, что он обаятельный. Теперь он пустил все обаяние в ход. Перед Стевией предстал загадочный брюнет в черном, который разрабатывает мобильные приложения, разбирается в современной архитектуре и изящно шутит. Как всегда, исход решили харизма, отточенность навыка и щепотка творческого волшебства. Окончательно девушку растрогало, что Алексей установил ей на телефон удобный ежедневник с цитатами-напоминалками.

Стевия позвала к себе пить вино.

— Ты смелая, — сказал Алексей. — Не боишься пускать меня в свою крепость?

— Дома мне ничто не угрожает, — сказала она. — Его стерегут светлые духи.

Алексей, притворившись серьезным, поинтересовался:

— Надеюсь, они не причинят мне вреда?

— Если у тебя нет злых намерений, то не причинят.

— Тогда выдохну спокойно.

Порой Алексею надоедало, что свидания заканчиваются на его территории, поэтому он с затаенным ликованием позволил утащить себя в крепость со светлыми духами. Воображение подстегивала неизвестность: Стевия в равной степени могла оказаться как девственницей, так и испытанной любовницей. Устраивали оба варианта.

Она снимала комнату в коммуналке. От хозяев квартирантке достались вычурный дореволюционный комод с царапинами и старинное трюмо. На пожелтевших обоях висели графические рисунки Стевии в ретро-стиле. На них преимущественно изображались хищные птицы: совы, ястребы, кондоры. В узорной рамке размещался свадебный фотопортрет родителей. Отец с ранними залысинами важно надувал щеки, а мать, блондинка с выразительными круглыми глазами, выглядела хрупкой и скованной в пышном платье. На столе, справа от ноутбука, еще на одной семейной карточке маленькая Стевия торжественно, словно огромный микрофон, вытягивала перед собой сахарную вату. Полысевший папаша, положив левую руку на плечо дочери, левой приобнимал за талию жену, которая, вытянувшись в струну, как солдат в строю, неестественно улыбалась.

Стевия извлекла из комода пыльные фужеры и кубанский совиный. Судя по всему, девушка частенько подогревала творческое настроение выпивкой. На столе красовалась бутылка початого дешевого коньяка, две таких же, только пустые, ютились в углу. Кто знает, какие птицы являлись Стевии в пьяном угаре.

Она забралась с ногами на раскладной диванчик.

— Вино пробуждает чувственность, — сказала Стевия, наполняя бокалы.

— И притупляет мысли.

Он полагал, что чувственность также притупляется из-за вина, но предпочел не спорить.

Неожиданно Стевия вместо флирта приступила к нудной исповеди. Она рассказала про детство в Выборге. Родители разбились в автокатастрофе, когда она пошла в школу. Девочку воспитала тетя. Стевия поступила в художественный институт и бросила его на втором курсе. Тетя думает, что племянница до сих пор учится, и высылает ей деньги. А позавчера тетю госпитализировали в Выборге с подозрением на инсульт.

— Я не поехала к ней, — сказала Стевия и опустила глаза. — Я такая сука.

Алексей размышлял, как бы тактичнее намекнуть, что ему пора сваливать. О душевных излияниях его не предупреждали. Излишняя откровенность вообще против правил.

Стевия продолжала. Она призналась, что всюду опаздывает. У нее ломаются телефоны, часы, наушники, клавиатуры, молнии на куртках. Она теряет ключи и забывает о встречах, а также у нее не получается копить на путешествия. При знакомстве ее называют милой, а потом избегают. Она неуклюжая и летящая.

Чтобы прервать монолог, способный растрогать разве что неудачника из Низшей лиги, Алексей сделал вид, что ему пришло важное сообщение от начальства.

— Срочный заказ, — сказал он. — На новое приложение.

— Прямо ночью?

— Важные люди. Госструктуры. Достают в любое время.

— Подожди.

Стевия залпом допила вино из своего бокала и убрала его на стол. Затем проделала то же с бокалом Алексея.

— Вино пробуждает чувственность, — сказала она, садясь на него и обхватывая его голову руками.

Когда Алексей расстегнул ее ширинку и провел пальцем по влажной полоске на трусиках, Стевия простонала.

— Секунду, — прошептала она, переводя дыхание. — Секунду.

Девушка выскользнула из рук, метнулась к выключателю на другом конце комнаты и потушила свет.

— Не хочу, чтобы они следили.

— Кто?

— Папа с мамой.

— Это же просто фотографии.

— Молчи. Я иду к тебе.

Трахалась она ужасно. Очевидно, этот раз не был у нее первым, однако опыт ей не помогал. Неуклюжая — меткая характеристика. В точку. Стевия постоянно нарушала ритм и жаловалась, что ей больно. Никакой страсти, никаких скрытых достоинств. Впрочем, открытых тоже. Алексей сменил три позы, прежде чем ему окончательно не надоело и он не подключил руку. Иначе мучился бы целый час. Уж лучше иметь дело с робкой девственницей, которая с трепетом познает неведомые до того ощущения, чем с неподатливой древесинной.

Ладно, хоть моется своевременно.

— Тебе понравилось? — спросила Стевия.

— Да.

Алексей надел брюки медленно, чтобы соблюсти хотя бы подобие приличий. Он не даст повода заподозрить себя в бесцеремонности.

— Правда?

— Правда. Ты хорошая.

— Я так рада это слышать!

«Мне так противно это говорить», — чуть не сказал Алексей.

Весь следующий день он плевался.

Как же легко она его одурачила! Притворилась таинственной незнакомкой с редким именем, чтобы использовать первого попавшегося добряка в качестве психотерапевта. Посчитала, наверное, что художники имеют право залечивать хандру таким гнусным путем.

Существуют негласные правила. Вы делитесь друг с другом самым хорошим, что у вас есть, и прощаетесь навсегда. Все должно быть эффектно, искрометно, красиво.

А расписывать в деталях свои грехи и пороки — некрасиво. Ясное дело, у каждого есть секреты в шкафу, но необязательно распахивать его дверцы сразу после приветствия.

В том числе поэтому Алексей не растягивал общение с девушками дольше, чем на двенадцать часов. Именно в течение этого срока они остаются трогательными, задорными, ласковыми, внимательными. То есть кажутся лучше, чем есть, и такими же запоминаются. Разве это не прекрасно? Тем более этот принцип работал в обе стороны: Алексей также представал перед девушками любовником более честным, щедрым и умным, чем был на самом деле. Он бы оскорбился, если бы его причислили к бабникам. Бабники не дарят удовольствия — только берут.

И никаких повторных свиданий, звонков, переписок. Всякая девушка одержима своими демонами. На первой встрече они, как правило, не доставляют тебе хлопот. Зато в дальнейшем они срываются с поводка. Эти скучные истории из детства, рассказы о родителях, одноклассниках, одноклассниках, коллегах, мелочные переживания, раздутые до вселенских масштабов... Беря на себя ответственность за девушку, получаешь в придачу и ее неприрученных демонов.

Стевия нарушила этикет и с ходу перезнакомила Алексея со своими.

У него пропало настроение, и разработчик до обеда прописывал нехитрый код, с которым в иной день справился бы за час. Дважды Алексей отвлекался на порноролики, чтобы снять нарастающую злобу. С такими бабами придется терпеть без конца. Тогда простата изнашивается, как мотор какой-нибудь, и будешь передвигаться от одного врачебного кабинета к другому, пряча лицо от стыда.

Покончив наконец с кодом, Алексей спустился за влажными салфетками в магазин на первом этаже. Когда вернулся, его ждали заявка в друзья от Стевии и сообщение «ВКонтакте».

Привет)

Вот это наглость. Давно Алексею не писали после ночного приключения. Однажды первокурсница, капитанившая в факультетской команде КВН, рискнула, но быстро отвязалась. Занятно, как Стевия отыскала его страничку? Наверное, нашла из списка разработчиков удобного ежедневника. Это нетрудно разведать.

На аватаре она улыбочивая. Платье в цветочек, сахарная вата, набережная. Как школьница на каникулах. Папина дочка, приличная и беззаботная.

Думаю о тебе. Скучаю. Мне понравилось вчера)

Чесались руки ответить: «Еще бы тебе не понравилось». Алексей вежливо промолчал. Он останется джентльменом, несмотря ни на что.

Тебе не понравилось, да?()

Главное — не реагировать. Ей надоест.

Ты говорил, что я хорошая. Врал?

Вот в чем проблема людей с заниженной самооценкой. Они регулярно во всеуслышание объявляют себя тупыми, некрасивыми, безвольными, безответственными, лживыми. Это их привычка: они публично бичуют себя в надежде, что ты бросишься с жаром опровергать их и перечислять их достоинства. Любой отвратительный поступок они оправдают собственной ущербностью, в которую свято верят.

«Я такая сука» — типичная фраза для тех, кому выгодно считать себя уродом. Прибедняться удобно, особенно девушкам.

Алексей ждал гневной тирады с угрозами и попытками пристыдить одновременно. Не исключено, что матом. Не исключено, что капслоком.

Вместо этого Стевия кинула его в черный список.

И на том спасибо. Когда остынет, поймет, что погорячилась. Не маленькая.

Алексей постепенно возвращался к привычному состоянию. В конце концов,

ничего страшного не случилось. На его странице нет ценных данных, только репосты и картинки. Ни телефонов, ни адресов, ни меток на карте. Стевии его не найти.

Главное — избегать того бара хотя бы два месяца. Вдруг сумрачная особа пасет Алексея там.

Он попеременно работал дома и в офисе. Госструктуры вскоре и правда спустили срочный заказ, и Алексей с головой погрузился в скрипты. Все-таки языки программирования яснее и дружелюбнее человеческих. Как минимум надежнее.

Промах со Стевией не смутил Алексея. На выходных он забрел в другой бар и за стойкой познакомился с Катей, девушкой-аниматором, которая после смены в торговом центре расслаблялась с бокалом стаута. В отличие от Стевии Катя соблюдала правила и не повышала градус откровенности. Она звонко смеялась над шутками Алексея и рассказывала о забавном мальчике с большими очками, который утверждал, будто «Репку» и «Колобка» сочинила его мама. Алексея устраивало, что в Кате отсутствовали неочевидность и талант попадать впросак.

Они вдвоем отправились к Алексею. На выходе из такси им преградила путь старая тетка с пустой корзинкой и неуместным для ноября зонтиком.

— Тебе не стыдно? — обратилась она к Алексею.

— Мы знакомы?

— Не стыдно тебе, говорю?

Алексей, улынувшись, крепче сжал руку Кати и подмигнул ей. Они обогнули сумасбродную тетку и направились дальше. Та заковыляла следом.

— Сначала с одной потаскался, потом с другой. А девкам каково? В мое время мужчины порядочными были.

Катя замедлила шаг.

— Ты ее знаешь? — спросила она.

— Впервые вижу.

— Правда?

— Ну конечно. Забей на нее.

Тетка не отставала.

— Беги, дочка! — заверещала она. — Погубишь себя! Он тебя изнасилует!

Катя остановилась и предельно аккуратно, дабы избежать упрека в невежливости, высвободила руку.

— Я, наверное, домой.

— Из-за этой дуры?

— Вспомнила, что у меня дела.

Катя говорила тихо, опустив глаза.

— Что ж, не могу задерживать. Тебя проводить?

— Спасибо, я сама.

— Тогда пока. Может, еще увидимся.

— Да, может. Спасибо за вечер.

Катя пошла к метро. Она старалась не спешить и все равно спешила. Ну и пусть. Все равно бы красиво уже не получилось.

Из оцепенения Алексея вывел укол зонтика в бок.

— Думал, так просто будет? Сунул разок, и разбежались? Хоть я и с инсультом, девочку мою в обиду не дам! Не дам, понял?

На следующее утро кто-то позвонил в дверь и убежал.

В почтовый ящик кинули газету, изрезанную мелкими полосками. Как будто разъяренный почтальон поорудовал канцелярским ножом.

Нагрянул доставщик японской еды. Алексей долго убеждал курьера, что не заказывал роллы. Доставщик туго соображал и упорно протягивал контейнер с надписью «Юный самурай».

Новые и новые звенья нанизывались на цепочку. Слишком круто для совпадения. Алексей чувствовал, что должен выпить. Лучше пива. Неважно, какого по качеству, лишь бы холодного.

В бирмаркете у прилавка терся здоровенный лысый мужик с мохнатыми ноздрями. На его затылке расплылся посиневший кровоподтек, на правом виске отпечатался такой же синяк, похожий на фиолетовую кляксу. Словно невзначай, мужик задел Алексея локтем и не извинился. Алексей поостерегся связываться с незнакомцем. Типичный кобель из Лиги самцов, метящий в альфахи. Ищет, на ком отточить боевые навыки.

Алексей купил литр чешского темного. Пока продавец наполнял бутылку, самец завязал разговор.

— Боишься меня? — спросил мужик.

— Вы кто?

Алексей помнил, что надо смотреть в глаза. Брови у самца были тронуты сединой.

— А чего сразу какой недоверчивый? Не нравлюсь, что ли?

— Вы же не девушка, чтобы нравиться.

Мужик загоготал и в восторге треснул ладонью по прилавку. Алексей заметил, что продавец уже наполнил полбутылки.

— Зачетно отмазался! — сказал мужик. — Ладно, не бойсь. Меня Артуром зовут. Для тебя Артур Константинович. Скоро мы с тобой ближе познакомимся.

— Маловероятно.

— Обязательно. Надо понять, что ты за пацан. Как-никак не чужие люди. Правильно?

Самец гордо надул щеки. Алексей нервно отсчитал деньги за пиво и с замирающим сердцем покинул бирмаркет. Больше сюда ни ногой.

Снова нахлынули воспоминания о дрянной ночи со Стевией. В памяти всплывали смутные образы: опустошенные бутылки, рисунки хищных птиц, семейные фотографии. Пожалуй, мужлан из пивного магазина смахивал на покойного отца Стевии. Общий типаж. Ровно та же самодовольная ухмылка, та же обезьянья порода, то же стремление заполнить собой пространство, в котором находишься. Легко представить, как Стевин папаша и тип у прилавка костерят жен за недоваренное мясо в щах и корчат из себя героев. Не исключено, что за секунду перед автокатастрофой, в которой разбились родители Стевии, ее отец сказал напуганной супруге: «Доверься мне!»

Кому-то такие достаются в тесты.

Заглушить стресс пивом не дало сообщение от Стевии. Она разблокировала Алексея.

Тетя умерла в больнице. Поговори со мной?

Алексей подавил в себе желание отреагировать. Пусть он поступит жестоко, но не вяжется в общение.

Почему я такая невезучая? За что? Да, я сука. Но другие суки живут счастливо. Только не я

Стоило отметить ее упорство.

Я уже поняла, что ты беспринципный мудака. Хорошо, что хотя бы читаешь мой бред. Я буду писать, а ты читай

Стевия продолжала набирать текст. Алексей, как заколдованный, таращился в монитор. Она била наугад и пока не попадала. «Беспринципный мудака» — это слишком далеко от истины, чтобы задеть. Ругательства нужно отбирать тщательнее.

Ты подумал, что я бревно в постели. Не спорь, ты именно так подумал

Ты ведь парень простой. Зацепил очередную шкуру, кинул палку и зашагал довольный вперед

К новым приключениям готов. Так типа?

Я иная. Я ищу родственную душу. Кто бы меня понимал. Считаешь, легко так, когда на тебя постоянно смотрят?

А знаешь, как я потеряла девственность? Безумно увлекательная история. Как мелодрама. Сейчас раскрою секрет. Ты только читай, не уходи)

Сначала мне распечатали анус. Как будто раскаленную арматуру воткнули

Стевия застрочила дальше. Алексей закрыл вкладку. С него довольно. Забанить он эту особу не забанит, однако не позволит вовлечь себя в ее никчемную жизнь. Наверное, Стевия всласть страдает по ту сторону монитора, закидываясь дешевым коньяком и с трепетом прокручивая в памяти самые унижительные моменты.

Наверное, хуже таких лишь феминистки, которые автоматически причисляют тебя к угнетателям, белым шовинистам и моральным абыюзерам. Впрочем, даже феминистки лучше. Они, по крайней мере, не притворяются милыми девочками с дружественным настроем и не разрешают покупать себе коктейли в барах.

Вечером Алексей удалил переписку со Стевией, не прочитав шестнадцать новых сообщений.

Утром его разбудили звонки в дверь. Некто бесцеремонный выжимал из старого звонка дребезжащие очереди.

— Кто там? — крикнул Алексей, подскочив к двери в майке и шортах.

Звонки прекратились.

— Что ж ты, фраер, сдал назад? — нараспев произнес знакомый голос.

Алексей осторожно посмотрел в глазок, чтобы убедиться. На лестничной площадке терся вчерашний мужик из пивного магазина. Артур или как там его.

— Чего притих? — поинтересовался Артур.

— Что вам надо?

— Непорядочно, Леха. Непорядочно. Дочери моей сунул, а теперь заднюю включаешь. Знаешь, как называют тех, кто включает заднюю?

Алексей обмер, услышав свое имя.

— Она тебе пишет, переживает, а ты? Что ты за мужик тогда?

Стевия!

— Я полицию вызову! — выпалил Алексей.

Секундой ранее он набрал в легкие воздух, поэтому голос задрожал, сделался писклявым.

— Хоть пожарников. Главное — вину загладь перед ней. Прямо сейчас. Завтра еще поговорим.

Мужлан исчез из поля зрения. Алексей даже через дверь слышал шаги, удаляющиеся по лестнице.

Пришла пора принимать меры. Стевия оказалась не просто больной на голову алкоголичкой, но и феерической лгуньей. Она соврала насчет смерти родителей. Каким-то образом разведав адрес Алексея, девушка натравила на него отца. Капитально облысевшего, утратившего свежесть, но не повадки.

Наверняка и та полоумная с пустой корзиной тоже участвует в спектакле. Тетка из Выборга, кончившаяся от инсульта. Ха.

Ты добила своего и привлекла мое внимание. И зря. Теперь я зол. Чтобы эта злость не обрушилась на тебя и на твою семейку, тебе надо выполнить два условия. Радуйся, что всего два. Во-первых, ты прекращаешь за мной следить. Во-вторых, быстро утекаешь из моей жизни. Уяснила?

Отправив сообщение, Алексей пожалел, что переборщил с пафосом.

Стевия ответила мгновенно.

В смысле?

В прямом.

Я в Выборге на похоронах. Как я могу за тобой следить?

Короче, если твой папа еще раз появится в моем поле видимости, вас ожидают проблемы. Не знаю, нужны ли они твоим родителям на старости лет. Крепко подумай.

Ты вообще debil? Что ты несешь?

Крепко подумай.

Для начала неплохо.

У Алексея имелись контакты с теми, кто решает трудности кратчайшим путем и кого можно подтянуть на свою сторону. Правда, быть в долгу у таких типов хуже, чем в одиночку разбираться со Стевией и ее семейкой. Поэтому до поры лучше справляться самостоятельно. Главное — помнить, что ты из Лиги чемпионов. Что ты умен и непотопляем.

Алексей давно планировал сменить квартиру. Заварушка, в которую его вовлекли, в очередной раз дала повод поразмышлять над переездом. Алексей, регулярно мониторивший рынок съемного жилья, знал, что на днях освободилась комната в коммуналке на Васильевском острове. Рассмотреть не мешало, да и от Стевии далеко.

Алексей позвонил хозяйке, и та согласилась показать ему комнату сегодня же.

Пока Алексей ехал в метро, Стевия прислала ему кладбищенскую фотографию. В двух могилах по соседству покоились мужчина и женщина. Алексей увеличил изображение, насколько позволяло качество. Из-за нечеткости цифры и буквы не прочитывались, но даты смерти определенно стояли симметричные. Имя супруга включало пять букв, а солидное отчество растянулось следом. Вполне сойдет для Константиновича.

Или Бенедиктовича. Или Вениаминовича.

И что это доказывает? Даже прочесть толком нельзя.

Стевия промолчала.

Странно, что Артур поджидал Алексея в пивном магазине. Одно дело — нагреться домой, другое — вычислить маршрут и предугадать спонтанные решения. Алексей ведь никого не предупреждал насчет пива.

Знакомства с комнатой не состоялось. На лестнице в парадной, за этаж до встречи с хозяйкой, появление Алексея караулила сгорбленная женщина. Сперва он подумал, что она отдыхает во время подъема, опершись на трость. Серое драповое пальто пенсионерского фасона, холщовая сетка с продуктами, скрюченная поза и хворый вид старили женщину, хотя ей вряд ли было больше пятидесяти.

— Молодой человек, — окликнула она Алексея.

Он затормозил.

— Муж ругает вас, — виновато произнесла она. — Считает подонком и угрожает разобраться. А я верю, что вы неплохой парень.

— Вас Стевия приставила за мной следить?

— Что вы! Она всячески против, чтобы мы вмешивались. Мы это... Сами по себе беспокоимся.

— Сами, значит, по себе?

Алексея злило, что он не в курсе правил игры, которую с ним затеяли.

— Я верю, что в вас больше добра, чем зла, — продолжала женщина. — Вы не жестокий. Если бы вы видели, как Стевия страдает, то не отталкивали бы ее. Сама она до последнего прячет боль. Она долго училась ее прятать. Ее столько раз обманывали.

— Ее столько раз обманывали, а всех собак вы вешаете на меня?

— Я боюсь, что расставания с вами она не переживет. Бедняжка надломлена, хоть и притворяется сильной. Не дайте ей шагнуть через край.

— Вы давите на жалость?

Женщина драматически покачала головой. Мука исказила ее и без того изможденное лицо. Кажется, под слоем пудры прятались синяки.

— Вы же порядочный. Не такой бесчувственный, каким хотите казаться. Ей столько грязи на пути попадалось. Она заслужила счастье.

— Если девушке попадается одна грязь, это каким-то образом и ее характеризует, нет?

Алексей понимал, что дерзит сверх меры.

— Я все-таки надеюсь на вашу порядочность.

Алексей развернулся и потопал обратно. Смысл менять квартиру, если им все известно? Напоследок он услышал:

— Вы не представляете, как горько наблюдать за дочерью, которую преследуют неудачи. Будь она счастливой, мы бы давно ее покинули.

На улице его догнало оповещение. Стевия отправила ссылку на газетную заметку из начала нулевых. В заметке сообщалось о страшной аварии на трассе М-10. Сплошные газетные штампы. «Лада» разбилась всмятку, семейная пара погибла на месте, семилетняя девочка осталась круглой сиротой...

В ближайшем баре Алексей заказал графин водки и две банки светлого пива. Стевия перезнакомила его со всеми своими демонами, и Алексей мечтал отвязаться от них любыми способами. Пусть на вечер, пусть ценой нещадной головной боли.

Он соблюдал правила и все равно угодил в западню.

В благодный момент, когда опьянение наступило, а тело еще не отяжелело, Стевия написала сообщение.

Ты ведь не шутил, когда назвал меня хорошей? Мне было так тепло тогда. Я чувствовала себя живой, в кои то веки)

Очередная рюмка не сразу пролезла в горло. Изрядный глоток пива подтолкнул ее. Позже будет рвать, и это прекрасно. Это отвлечет.

Я скучаю. Мы завтра увидимся

Алексей тщетно высматривал вопросительный знак в конце строки.

Виктория Райхер

Эстер, красный цвет

Рассказ

Протирала стол, сломала палец. Не сломала, порезала сильно — махнула резко вдоль края стола. Когда-нибудь я себе так шею сломаю на нервной почве. В газетах напишут: «Разбилась насмерть, упав с дивана». Зато не поеду под бомбежку учить солдат мирной жизни. Зачем солдатам мирная жизнь... А мне зачем, с моими членовредительскими замашками?

Промыла палец, наклеила пластырь. Болит, зараза. Хорошо, хоть чемодан заранее собрала.

* * *

Здравствуй, папа!

Это сколько же мы не разговаривали? Ты ушел в девяносто втором, Эйтан ушел с тобой, мама сменила телефон и два дверных замка, и все напрасно, потому что вы ни разу нас не искали. Впрочем, и я тебя не искала.

Не ищу и сейчас, у меня нет твоего адреса, и это письмо никто не собирается отправлять. Но так получилось, что я еду на войну. Смешно.

Меня позвали на семинар в Сдерот — готовить боевых солдат к демобилизации. Отправили ценного специалиста на важный участок фронта. Солдаты во время семинара живут в молодежной деревне, и преподаватель тоже там живет. За год на тот район (я вот проверила сейчас) падает около полутора тысяч «кассамов». Раздели на триста шестьдесят пять и узнаешь, сколько это в день. Впрочем, *падает* не значит *попадает*. До сих пор в Сдероте убито шесть человек, а ранено около трехсот. За четыре года! В автокатастрофах и то больше гибнет.

У нас на работе все отказались ехать: «семьи, дети, времени нет». А у меня ни семьи, ни детей. Как-то стыдно признаться, что мне тоже хочется жить.

Еду на десять дней. Значит, на мою голову свалится около сорока «кассамов». Надеюсь, не все попадут.

Мама, я знаю, ты это читаешь (ты все читаешь). Если я не вернулась, найди способ отправить это папе, заодно узнаешь, жив ли он вообще. А если я вернулась, немедленно прекрати читать!

Эстер, герой

Виктория Райхер родилась в 1974 году в Москве. Окончила Иерусалимский университет и Lesley University (Boston). Занимается психологией. Автор книги прозы «Йошкин дом» (М.: Изд-во «Амфора», 2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Израиле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

В первый раз сирена застала меня в машине. Шоссе пустое, в макушку солнце, и вдруг раздается голос:

«Красный цвет... красный цвет... красный цвет...»

Хорошо я в новости заглянула, иначе решила бы, что небо заговорило. А на самом деле к нам летит «кассам».

Мне заранее выдали брошюру Минобороны: нужно остановиться, выйти и лечь под ближайшую стену. Нет стены — залезай под машину. Но не сиди в ней, она же готовый гроб, если что.

Остановиться я смогла, а выйти — нет. Сидела в машине, сжимала руль, смотрела перед собой. Лучше готовый гроб, чем на асфальт под «кассамы». Не знаю, чем они думали, когда писали свою брошюру.

Ничего не случилось, даже взрыва не донеслось. То есть взрыв-то, наверное, был, но вдали. Примерно там, куда я направлялась. Я сосчитала до двадцати, как велели в брошюре, и поехала дальше, одна на пустой дороге. Кому сюда надо.

Доехала скучно, без происшествий. Возле деревни — красивый сосновый парк, я парковалась и посидела в машине еще немного. Чего тут бояться? Тишина, пахнет соснами, птицы щебечут. Может, белки живут. Если от страха не передохли.

Вылезла, наконец. Пошла с чемоданом по длинной аллее, смотрела на солнце, дышала хвоей. На меня упала иголка, потом другая, а потом посыпались иглы прямо дождем. Где-то сверху мелькнул рыжий хвост. И послышался тоненький голос:

— Привет.

Я отряхнула блузку.

— Привет! А ты там кто?

В сосне повозились, пошебуршали, упала шишка.

— Я Йона. А ты?

— А я Эстер. Ты живешь на сосне?

Сосна затряслась, и оттуда спрыгнула ярко-рыжая девочка лет восьми, в рваной майке и джинсовых шортах.

— Смешная ты, Эстер! Разве человек может жить на сосне?

— Думаю, может, если это сосновый человек.

Девчонка почесала веснушки на щеке.

— Да, я, наверное, сосновый человек. А еще я песочный человек, цветочный человек, бассейнный человек, костровый человек и колбасный человек. Потому что колбасу люблю. А еще я рыжая!

Она посмотрела на меня с вызовом. Я состроила удивленное лицо.

— Серьезно? Никогда бы не подумала.

Девочка с важностью кивнула.

— Точно. Теперь ты все обо мне знаешь. Папа говорит, когда знакомишься, нужно рассказывать о себе. Я все о себе рассказала, теперь ты!

Не люблю все рассказывать. Вообще не люблю рассказывать о себе. Наверное, я усталый человек.

— Я не рыжая, но тоже люблю колбасу. Приехала сюда преподавать. Проводишь меня в деревню?

Мы немножко поспорили, кто понесет чемодан (Йона хотела проверить, правда ли он тяжелый), в итоге я с чемоданом пошла по аллее, а Йона скакала вокруг.

— Тут сейчас солдаты живут! Русские! Много! Эстер, а коса у тебя настоящая? Ночами шумят! Папа им запретил! А они все равно!

— Настоящая. Бедный папа. Он здесь работает, да?

Йона на секунду остановилась.

— Папа не бедный, папа — главный! Он здесь командует всем! И все его слушаются. Ой, вон он идет!

Тут сосновый человек исчез со скоростью белки. Только сухие иглы прошуршали.

— Йона! Быстро домой! Опять гулять вместо школы? Я же тебе запретил!

Навстречу нам быстро шел немолодой рыжебородый мужчина. Поравнялся со мной и сказал:

— Шалом.

Одновременно с этим размеренно загудел женский голос:

«Красный цвет... красный цвет... красный цвет...»

От страха я застыла на месте. Рыжебородый поставил руки рупором и протрубил так, что посыпались шишки:

— Йона! Азака!!!

Рядом с ним мгновенно материализовалась послушная девочка, руки в карманах, в зубах травинка. Он толкнул нас обеих под прикрытие толстого дерева и загородил собой. Раздался отдаленный взрыв, у меня резко заболела голова. От мужчины пахло стиркой и немного потом. После второго взрыва сосна лениво качнула веткой.

— Ты что, никогда не стриглась? — Йона вывернулась из-под его руки и дотянулась до моих волос. — Папа, я тоже хочу такую косу! Это Эстер, она приехала преподавать!

Папа ловко втянул ее обратно.

— Добро пожаловать, Эстер! Меня зовут Натан, я заведующий хозяйством. Сейчас проводим тебя в администрацию. Только нужно сосчитать до двадцати, верно, Йона?

Та замаяла девять и десять, восемнадцать заменила на девятнадцать и энергично вырвалась.

— Двадцать, двадцать, отбой! Пора идти!

Хорошо быть бездумной белкой. Натан взял мой чемодан и пошел по аллее, перед ним вприпрыжку бежала Йона, а я тащила сзади и думала, где достать лекарство от головы.

А лучше яду.

* * *

Папа, я тут вспомнила — один раз мы на улице повидались. Вы шли с Эйтаном, ты погладил меня по волосам и спросил, как дела с гимнастикой, а я ответила, что хорошо. За два месяца до того я сломала локоть, и уже было ясно, что больше не смогу выступать. Ты сказал: «Умница, занимайся! И косу не отрезай, тебе не пойдет». Я кивнула, как кукла, Эйтан тебя потянул, и вы ушли.

Ты всегда говорил, что страх — признак глупости. Я была умницей, занималась, прыгала без страховки, подвижность локтя полностью не вернулась, из спорта пришлось уйти. Потом я еще танцевала. А год назад упала на ту же руку, перелом со смещением, осложнения, короче, сейчас я отличница в аспирантуре. Мама считает, это благодаря тому, что я осталась с ней. Ну, не знаю. Мне кажется, любой человек как-то устроен сам по себе. Я устроена как отличница, а Эйтан — как герой. Ты устроен как ты, а мама как мама, и дело между вами было совсем не в том, что ты за гроши работал кладовщиком, а она была всем недовольна. Она и после развода не стала довольной, а ты так и остался кладовщиком. Люди редко меняются, да?

Когда в первый раз была сирена, я думала, прямо на месте умру. Но не умерла, и вообще никто не умер, просто где-то рвануло, и все затихло. Смешно.

Здесь есть завхоз, Натан, у него ярко-рыжая борода. Из-за этого кажется, что он вот-вот рассмеется. Но Натан не смеется, он, наоборот, со всеми ругается. С солдатами спорит, дочку воспитывает, они не слушаются, он звереет, а мне его жалко. Наверное, из-за того, что рыжий. Его наверняка дразнили в школе. Мне кажется, он чем-то похож на тебя. Помнишь, ты рассказывал, как тебя в школе дразнили

«помпон»? Хорошо, что ты потом похудел. Интересно, а Эйтан похудел? У меня перед армией был недовес (пушечное мясо в упаковке, меньше сорока килограммов в армию не берут), и я, когда ходила в военкомат, заранее сунула в лифчик пару камней. Жаль, что так мало проблем решается таким простым путем.

Эстер, философ

* * *

Сначала мне показалось, они дерутся. Здоровенные парни насакивали друг на друга, размахивали руками, кричали, кто-то картинно падал. Но это была разминка, гимнастика для самцов. Один снял форменную рубашку и делал мостик, демонстрируя мышцы, другой пытался ходить колесом. Худой «голани» спал на траве, раскинув руки.

— Пора, ребята. Девять утра.

У меня не очень громкий голос. Рядом со спящим валялась винтовка. Может, выстрелить в воздух?

— Эстер, ты умеешь делать мостик? — здесь же крутилась Йона.

Когда я напрягаюсь, у меня начинает побаливать локоть.

— Люди! Урок!

Йона меня поддержала:

— Люди! Мостик!

Тут над моей головой раздался зычный голос:

— Красный цвет! Красный цвет! Красный цвет! — к нам повернулось несколько голов. — Придурки, тихо! Учительница пришла!

Посреди лужайки стоял крупный чернокожий солдат и вопил с заметным русским акцентом.

— Санек, достал валяться! Костик, сопри у него винтовку. Руська, Игорь, ребята, хватит! Учительница ждет.

Солдаты тянулись, но очень неспешно. Чернокожий развернулся ко мне:

— Шалом, я Максим. Это вы научите нас выживать в гражданских джунглях?

— Попытаюсь, — я натянуто улыбнулась.

Локоть заныл сильнее.

— И я хочу в джунгли, — вмешалась Йона.

А я хочу таблетку, всех убить и чтобы не было войны.

«Красный цвет, красный цвет, красный цвет», — сказала небо. Сердце мгновенно всколыхило в горло.

— О, — сказала я, — отлично. Какие правила безопасности, солдаты? При объявлении тревоги немедленно под крышу. А ну пошли.

* * *

Начинаешь работать, и сразу легче. В детстве так было: тренируешься, не получается, тут болит, там болит, нервы, слезы, крики. А на ковер выходишь — и как не было ничего. Только тело, внимание и тишина. В конце еще и аплодисменты. Будто целую жизнь прожила.

Солдаты — сплошные герои. В стране по четыре года, год улыпана и три в боевых частях. На лекции по экономике спорят, на рассказе о банковской системе возражают, про безопасность с ними лучше не говорить. Вчера насакивали на Натана — почему он им запрещает хватать винтовки во время тревоги.

— Я же снайпер, я лучший в роте! — кипятился сутулый Илья, некрасивый, но с каким-то носатым обаянием. — Я тебе того стрелка снесу быстрее, чем досюда «кассам» долетит!

— Прекрасно, — кивал Натан. — Снесешь. Через всю деревню. У меня как раз сто детей с Украины приехали на лечение. Сразу вылечим всех.

Натан мне признался, что лучшие снайперы роты — его главная головная боль. Насчет головной боли это он точно попал. Днем я ходила в аптеку за таблетками от мигрени, сказала, что приехала из Иерусалима преподавать. Флегматичный аптекарь порекомендовал психиатра. Пожалуй, психиатр нам тут всем бы не помешал.

Самый уравновешенный на курсе — тот чернокожий Максим. Он не опаздывает, не ленится, уроков не просыпает, еще и строит других. Командир подразделения, «голани». Приехал, сказал, из Самары. Я стеснялась его расспрашивать, он сам на занятии рассказал.

— Дед всю войну прослужил в разведке, он тоже снайпер, до старости белок стрелял. Один раз зимой, дед уже еле ходил, у них в поселке парни повадились свастики рисовать. На снегу. Ну как рисовать, — он усмехнулся, — этим самым, желтым. Дед один раз сказал при всех — ребята, кончайте. Другой раз сказал. А на третий дождался парней за домами, вынул вальтер и начал по ним стрелять. Один упал, другие сбежали. А дед ушел.

Такого я как-то не ожидала.

— Его посадили в тюрьму?

Максим качнул головой.

— Он не убил никого. Тот, который упал от страха, говорили, штаны намочил. Ночью к деду пришли вшестером, он на крыльцо, ему говорят — Максимыч, сука. А он отвечает — я коммунист, фашистов гонял и буду гонять. А вы предатели. Развернулся, сплюнул и хлопнул дверью. Эти дураки только потом сообразили, что он нарочно мимо стрелял.

Артем, сержант из разведки, сказал печально:

— Трудно быть негром...

Все заржали. Максим ответил спокойно:

— Нет, он как раз был еврей. А мама, дочка его, после школы в Самару уехала на врача поступать. И с нею учились студенты из Конго, в том числе мой отец, — он помолчал и добавил: — Только я так и не знаю, который из них.

Здорово. Я своего хотя бы знаю.

— Максим. Послушай. Когда будешь проходить интервью на работу, вот эта история с дедом...

Сверкнули белые зубы на черной коже.

— Эстер, не волнуйтесь. На интервью я скажу, что с детства люблю мацу.

Кто-то из задних рядов подсказал:

— И снег.

* * *

Знаешь, папа, эти русские думают, у нас тут Африка и мы не видели ни черта. Дураки. Тогда, в девяносто втором, снег в Иерусалиме шел неделю подряд. Ты позвал нас с Эйтаном гулять, мама боялась простуды и непустила, но вечером она прилегла отдохнуть, и мы сбежали. Ты сказал, что мама спит, как боевой солдат: взрывом не разбудить.

Все дороги заледенели, автобусы встали, город белый, мы плелись по проезжей части. Мне в кроссовки набился снег, зубы стали стучать, и ты заставил меня отхлебнуть из армейской фляжки. Там была водка, жуткая гадость, но я согрелась. Вы с Эйтаном тоже хлебнули, ты упал в снег и показал нам, как делают «снежного ангела» (очень мокро), потом мы вдвоем слепили бабу. Я слепила ей круглую грудь, а Эйтан приделал торчащую письку. В другое время я бы страшно стеснялась, но на улицах не было никого. Уже стемнело, все нормальные люди давно разошлись, а мы пили по очереди из фляжки и орали: «Ам израэль хай!»

А потом ты учил Эйтана писать на снегу. Так что я знаю тот способ, о каком говорил Максим. Вы писали «Эйтан» и «папа». Я завидовала так, что у меня пошла носом кровь, салфеток у нас с собой не было, и я этой красной кровью написала на

белом «дураки». Мы так гоготали, что Эйтан описался, а нос мне пришлось вытирать рукавом.

Мама с ума сходила, куда мы делись. А мы явились — мокрые, с запахом водки, я в крови, Эйтан с описанными штанами и ты, по дороге допивший фляжку. Вы с ней орали так, что соседи стучали в стену. После этого ты и ушел. Развернулся, сплюнул и хлопнул дверью.

Я вот сейчас подумала, куда ты делся тогда? Автобусы не ходили, дороги закрыты. Пошел по снегу пешком до базы, к себе на склад?

Мама заставила нас с Эйтаном стирать одежду в тазу. У меня вода стала бурой, а у него — желтой. Когда вы нас потом спросили, кто с кем из вас хочет жить, Эйтан сказал, что с тобой, и мама сказала: «Предатель». Тогда я сказала, что с ней.

Я учу солдат, что при написании резюме нужно писать правду и только правду. Только не всю.

Не переживай по поводу той истории с мамой. Она же тоже переживала.
Эстер, пацифист

* * *

Мы с Йоной играли в змейки-лестенки и обсуждали моду на рваные джинсы. Мне такие не нравятся, а Йоне — наоборот. Натан уехал до ночи по каким-то армейским делам и попросил за ней присмотреть.

— Если ночью будет тревога...

— Она испугается и заплачет?

— Если бы, — он вздохнул. — Рванет на улицу. Любоваться.

При мне тревога ночью была только одна. Считается, это не очень опасно: спи спокойно, крыша прикроет. Но меня охватил дикий ужас: невозможно лежать и ждать, когда в тебя попадут.

Я залезла под одеяло и раз за разом считала до двадцати. Сводило живот, надо было пойти в туалет, но я не могла. Утром солдаты спросили: как прошла ночь? Сказала, что ничего не слышала. С тех пор они говорят, что я сплю, как боевой солдат.

— Эстер, пожалуйста-пожалуйста, можно я тебя причешу?

Да ради бога. Йона стащила с меня резинку и собрала волосы в какой-то сложный узел. Притащила зеркало:

— Хорошо у меня получилось?

Мне хотелось, чтобы она переночевала здесь на второй кровати, но она усакала к себе. А я заснула.

Видимо, крепко — не слышала «красного цвета». Зато услышала бум. Мать твою. И еще один.

Лучше не шевелиться, лучше не шевелиться, лучше не шевелиться. Не дышать. Одеяло на голову, ноги поджать, может, меня не заметят.

Ммать. А Йона?

Какого черта я обещала Натану. Какого черта он меня попросил. Как-то же они выкручивались до сих пор.

Раздался третий бум, довольно близко. Йона эта вечно шастает по кустам. Убегает, не слушается, лезет, куда не просят. Как я буду ее защищать? Привяжу к сосне? Заслону собой?

Бум. За все время в Сдероте убито шесть человек. Я заткнула уши. Что я почувствую, если Йона станет седьмой?

Ничего не почувствую. Меня застрелит Натан.

Прямо под одеялом я натянула брюки, кое-как застегнула кофту и вылезла, пригибаясь. Свет не включила. Нигде не нашла резинку, чертова Йона с ее прической,

на одну ногу надела кроссовок, на другую — ботинок и на цыпочках вышла наружу. Любоваться.

На лужайке царил фестиваль. Солдаты толпились с фонариками, кричали, смеялись, кто-то принес гитару, и все на что-то смотрели. Йона была, конечно, с ними. Увидала меня, замахала руками:

— Эстер, иди к нам! Совсем не страшно!

Рядом с ними и правда было не так уж страшно. Кто-то посторонился, дал мне пройти, я смешалась с солдатами и обомлела. На лужайке лежал белый снег.

Честное слово. В Сдероте, в мае. На кустах, на траве, вся зелень покрылась белым. Будто во сне. И Йона визжит:

— Снег! Настоящий! Еще, еще!

Что-то треснуло, снега стало больше. Артем поднял Йону на плечи, и они запели «Народ Израиля жив». Дураки...

Кто-то тронул меня за локоть. В тени стоял Максим с бутылкой пива.

— Мы летом в Газе так развлекались. Два месяца военного положения, вся пехота без отпусков. Вот и бесились. Красиво, правда?

Донесся еще один взрыв, и он протянул мне бутылку.

— Жарит, однако. Так-то обычно тише. Вам можно?

Какого черта. Взяла бутылку и отхлебнула. Поляна, покрытая белым, стала совсем нереальной. Может, я не проснулась? От пива в глазах заплясали снежинки.

Я встала на руки и прошлась колесом по снегу. Сделала сальто, потом второе. Могу, однако. Снег оказался сухим и немного пыльным. Я приземлилась, вскинула руки и упала на спину, получился снежный ангел. Что-то рвануло, сверху упала шишка. Солдаты зааплодировали.

— Класс! — восхитился фактурный Саня.

— Вот это да! — заливалась Йона. — Меня научишь?

Делать сальто со сломанным локтем? Боюсь, что нет.

— Эстер, — крикнула Йона, — если сейчас сюда упадет «кассам», мы не загоримся! Знаешь, почему?

Все вокруг засмеялись.

— Потому что вот это, — Йона обвела рукой побелевшую траву, — огнетушитель! Особый такой порошок!

— Красиво вам с этой прической, — сказал Артем за моей спиной.

Я схватилась за голову. Волосы все в порошке, спутались, в жизни теперь не расчесаешь! Плевать, отстригу. Что, Йона сказала, это за порошок?

— Кибенемат!!! Вы тут охренели? Совсем идиоты? Кто разрешил вам трогать огнетушитель?

На краю лужайки, весь белый, стоял Натан.

* * *

Утром я проспала будильник впервые в жизни.

Глаза щипало, по одежде будто проехал танк. Гладить времени не было, волосы не расчесались, резинка так и пропала, я скрутила хвост жгутом и заколола ручкой. На душе было странно. Хотя, по идее, должно быть стыдно. Да пошли они все.

Господи, как он вчера орал. Орал на солдат-дебилов, которые из армии вылетят прямо в тюрьму и которых возьмут на работу только кладовщиками, хотя после его рапорта даже кладовщиками не возьмут. Орал на меня, преподавателя, который обязан следить за порядком, а не сам участвовать в балагане. Орал на Йону, пускай катится к матери в Сдерот, с него довольно.

Мы молчали, как упрямые дети. Ветер разносил наш снег по кустам. Йона сумрачно плакала. Охрипнув, Натан пообещал, что мы еще пожалеем, и подвел итоги:

— Йона, домой!

Подвывая, Йона побежала через лужайку. Натан развернулся, не дожидаясь. Она в три прыжка его догнала и вдруг подпрыгнула и повисла на нем, обхватив за шею руками и прижавшись к спине. Он задержался, пытаясь стряхнуть ее вниз, но не вышло. Так они и ушли — высокий сердитый дядька с рыжей девочкой на спине.

— Вот паршивка, — сказал Максим.

Что да, то да.

— Эстер, а сегодня тебя причесать?

Паршивка с заплаканными глазами просочилась в закрытую дверь. Я почесала голову под волосами. Везде порошок.

— Потом обсудим. Чего там творится?

— Плохо творится. Солдаты письмо написали, что они просят прощения, собрали деньги. А папа их выгнал. И снова кричал. Что никаких денег ему не надо, надо пять огнетушителей, которых больше нету на базе Южного округа, потому что военное положение. А у боевых солдат мозгов, как у восьмилетней девчонки, и чтобы все катились отсюда к черту. Эстер, у тебя случайно есть огнетушитель? А лучше пять.

Огнетушителя у меня случайно не было. Огнетушитель случайно был не у меня... Как там сказал Максим? Летом два месяца военного положения? Точно, тогда выходили из Газы. А я лежала в больнице со вторым переломом локтя.

Мне делали операцию, понадобилась кровь для переливания. Я была без сознания и не помню, мама сказала, сдавать приехал Ицик, двоюродный брат, он удачно в отпуске был. Но Ицик тоже служил в пехоте в Газе! А вся пехота без отпусков!

Кровь сдали быстро, операцию задерживать не пришлось. Папа хвалился когда-то: «Отрицательный резус, мое наследство, на стороне не найти». У мамы резус положительный. И про Ицика она рассказала как-то вскользь...

Потому что это папа тогда приезжал. Потому что у нее был его телефон.

Да почему же «был». Есть...

Блять. Четырнадцать лет она запрещала мне даже думать. Клялась, у нее и концов не осталось. Я не искала, я же предатель. А сама она, значит, сидела с его телефоном? Звонила, жаловалась? Просила?

И он — согласился.

— Йона, паршивка, куда ты дела мою резинку?

— Ой. Она дома, я ее на руку надевала!

— Вот сбегай домой, пожалуйста, и принеси. Давай-давай.

Хотя бы на пять минут станет тихо.

«Красный цвет, красный цвет, красный цвет», — донеслось из окон.

Здравствуй, папа. Мне срочно нужен огнетушитель. А лучше пять.

* * *

Здравствуй, мама. Я знаю, ты это читаешь, хотя и сердито. Я хотела сказать тебе спасибо.

Папа очень смеялся и дал нам огнетушители для Натана, их на следующий день привез Эйтан каким-то внутренним рейсом, он водитель на папиной базе. Эйтан похудел, но всего на пять килограммов, надо еще на тридцать, а то, говорит, грузовик проседает. Папа стал завскладом. Оба передают тебе привет.

И вот еще что. Я не предатель.

Эстер, красный цвет

Сергей Захаров

Терапевт из Восточной Европы

Рассказ

...да, почему бы и не допустить, что приложил тут не-руку какой-нибудь афроамериканец: ведь был же у Петра Великого свой арап и тоже, поди, далеко не монашеский вел образ жизни, что вполне подтверждают историки — но они, жрецы изменчивой науки, вряд ли располагали данными о генеалогическом древе Зины С***, терапевта из Восточной Европы,

а ей, между тем, крайне хотелось бы знать, откуда все эти гортанно-кричащие знаки негроидной расы: смуглость невероятная кожи, паранормальная для здешних широт белозубость и крылья широкие носа, и губы далеко не здешнего формата, и все, все, все — но история держала язык за зубами, семейных преданий не сохранилось, и если разобраться, это нисколько не мешало ей жить, как все, и

влюбиться, и выскочить на последнем курсе медицинского замуж, и родить Варьку, а вслед за ней — Дениса, и дети удались в Зину, ни черточки малой не прихватив от мужа, как будто он и не участвовал в актах зачатия, да и вообще — и месяца не минуло со дня развода, а ей с трудом уже верилось, что с этой занудливой зеленой амебой она смогла прожить целых семь лет, и слава Богу, что все завершилось,

потому что по ключевым статьям — как кормилец, отец и любовник — муж методично доказал полную свою несостоятельность, заслуженно был предан забвению и выправлен к кудрявой дуре-мамаше на хрущевские метры в Сургут: пьянствовать, дрочить и разлагаться, а ей, Зинаиде, хватало забот с детьми, и нужда в мужиках если и возникала, то не часто и узконаправленно, да и спала она с ними для того лишь, чтобы окончательно не забыть о принадлежности своей к женскому роду-племени, и

оставалось только радоваться, что малые — «двое негритят», как в шутку звала их сама Зина, — возрастали в неведении о серьезных хворях и пошли в нужное время в школу, где Дениса сходу окрестили «Негром», и трижды на неделе ему приходилось доказывать свое арийское происхождение с помощью кулаков —

а Варьку не окрестили никак, потому что девочка получилась крепкая, острая на язык и боевая: такая сама кого хошь могла окрестить и к общему привести знаменателю, и если уж кто не комплексовал по поводу своей внешности, так это Варька, напротив —

Захаров Сергей Валерьевич родился в 1976 году. Закончил Гомельский государственный университет. Работал преподавателем английского языка, переводчиком, переводчиком-синхронистом, сотрудником газеты, грузчиком, охранником, фермером, экспедитором, консультантом и т.д. Печатался в «Новом Журнале», «Неве», «Новой Юности». Живет в Гомеле. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 5.

она гордилась даже эксклюзивно-экзотической, унаследованной от мамы красотой, и действительно, на бледном фоне евротоварок с тусклыми косицами и проблемными зубами гляделась истинной черной принцессой, юной пантерой, по нелепой ошибке угодившей в урбанистический пейзаж, да так она и похаживала: пружиня на подушечках лап, поводя грациозно и нервно кончиком молодого хвоста, и ей исполнилось шестнадцать, а Зине — тридцать восемь и три, когда,

совершенно случайно, стоя за колонной в холле девятой поликлиники, где она служила, Зина услышала ТОТ САМЫЙ РАЗГОВОР двух слабознакомых медсестер и шла, оглушенная, домой, не замечая встречающих лиц и тревожных огней светофоров, и твердила себе: не может этого быть, все это сплетни грязные нечистых людей, потому что такое — в принципе невозможно, ведь это её, Зины, любимая красотиуля-дочь — но все оказалось именно ТАК, и

когда она задала вопрос прямым текстом, Варька, не чинясь и не ломаясь, подтвердила: да, все верно, в свободное от уроков время она действительно подрабатывает ртом и другими частями тела в одной из гостиниц города и скоро уезжает в столицу, где платят в разы больше, и вообще она, Варька, — молодая и красивая, ей нужно хорошо выглядеть, соответственно одеваться и бывать в нужных местах: тогда есть реальный шанс выскочить за небедного человека, может, иностранца даже, и непонятно, что она, мама, имеет, в сущности, против —

и Варька с пугающим хладнокровием (характерец у нее был еще тот) перенесла материнские тирады и даже несколько оплеух, какими, разъярившись, угостила ее Зина, а вскоре ушла из дому и перестала появляться в школе, и лишь раз в полумесяц звонила из ниоткуда, чтобы сообщить, что все у нее в ажуре и не надо зря волноваться и, тем более, пытаться ее разыскать, это ни к чему не приведет, и в полиции приняли заявление, но без бьющего через край оптимизма, и не стали ничего обещать, и

Денису вновь приходилось регулярно орудовать кулаками, потому что не каждый в состоянии стерпеть, когда сестру твою называют проституткой и бл*дью, нет, далеко не каждый, а уж тем более Денис, мальчик искренний и горячий — хотя бы с сыном ей повезло, думалось Зине, и были, были все основания так считать: Денис увлекся всерьез математикой, побеждал на олимпиадах и собирался поступать в политехнический, а потом вышло так, что

восемь подростков проникли в частный дом одного бизнесмена на предмет разжиться его личным имуществом, и разжились, и спокойно могли бы уйти — когда б не ящик коньяку, обнаруженный так некстати в кухне — и своевременный уход не состоялся, а когда явились хозяин с супругой и пытались предъявить обоснованные, но явно не уместные на тот момент претензии —

мужика забили едва не до смерти, а жену, недолго думая, изнасиловали, и все это, разумеется, печально, но ничего экстраординарного здесь не было, за исключением одного: в числе суровых малолеток обнаружился и ее Денис, и тот факт, что сам он не насиловал и при избиении пытался, по мере сил, сдерживать лютующих подельников, не помог ему избежать тюрьмы, а потом и колонии, и как раз тогда, помнится, Зина, в полном оставшись одиночестве, начала втихую попивать, заглушить пытаюсь воинствующую несправедливость мира, а летом, во время отпуска,

случился первый настоящий запой, и позже, когда она не могла уже ни пить, ни есть, ни уснуть, и в состоянии этом находилась четверо суток, и, вспомнив, наконец, о Боге, вглядывалась до боли в чужое и жаркое небо и клялась, что никогда в жизни не повторится это, пусть только он, Бог, смягчит теперешние ее муки — вот тогда и явился к ней тот, другой —

типичный клерк из заштатной конторы, разве что туфли его по-итальянски оказались хороши, а голос — профессионально гипнотичен, явился и принялся мягко

убеждать ее в том, что Бога никакого нет, иначе не допустил бы он того черного изобилия, в каком приходится Зине существовать, — Бога нет, но есть —

равнодушно-слепая жестокость бытия, которая не думает и не выбирает, а просто бьет и рубит с плеча наугад — людей ведь так много, что в кого-нибудь непременно да попадешь, и что бороться с этой жестокостью бессмысленно — где они, те, что пытались? — но единственно верный и действенный способ выживания —

это игнорировать и не замечать, и он обязательно ей поможет, для того и прибыл, только не надо ничего прекращать, вот что главное: не надо останавливаться и прекращать, и жить, мало-помалу, станет если не лучше, то значительно веселее, причем взамен он и возьмет-то сущие пустяки — тридцать земных лет и душу: ведь ни первое, ни второе уже не имеет для нее особой ценности — он умел уговаривать, он на редкость был убедителен, и

Зина с тех пор редко заезжала на пит-стоп, а когда ей в мягкой, но категорической форме предложили уйти по собственному желанию, чтобы не портить трудовую книжку записью со статьей, — сделала это с легким сердцем, потому что давно и начисто утратила всякий интерес к работе и считанные разы за последнее время являлась туда не под мухой, но трагедии, опять же, в этом не было никакой:

в городе оставалось много бывших однокурсников, и некоторые из этих многих сидели в креслах главврачей и, памятуя о нездешней Зининой красе, рады были помочь, и помогали, и даже терпели ее в штате какое-то время, а когда очередное терпение иссякало, Зина перекочевывала в другую клинику, а

раз в полгода, изнемогая под тяжестью сумок, непривычно трезвая, садилась в дизельный поезд и ехала к сыну в колонию, и радовалась, видя, как вытянулся тот и повзрослел, а Денис рассказывал, что отправил очередную петицию и дело, возможно, пересмотрят, но если даже и нет, все равно он уйдет на УДО, и ждать ей не так уж много, и он оттаивал и улыбался, как прежде — африкански-кипенной улыбкой, а Зина потом с месяц еще жила этим визитом и реже заглядывала в вино-водочный отдел универсама, но постепенно возвращалось все на постылые круги, а

звонки Варькины делались все реже, ре же, ре же, ре же, пока и вовсе не прекратились: нашла, должно быть, своего иностранца, почему бы и нет — должно ведь хоть кому-то повезти! — но хорошо бы и мать поставить в известность, а Варька, зараза, даже не думала объявляться, и когда в одну из непьяных ночей протрезвонили несколько сумбурных раз в дверь, кого угодно ожидала Зина увидеть, но только не блудную дочь —

а между тем это была Варька, точнее, жалкая ее тень, сотрясаемая гибельной дрожью, и Зина, будучи все же врачом, сходу определила, в чем тут причина, стоило ей только глянуть на съезженные и ушедшие вглубь вены, сплошь в «дорогах» от регулярных инъекций, и хуже этого ничего придумать было нельзя, потому что нет ничего — хуже, и Зина делала все, что умела и могла, забыв в секунду о собственных проблемах, и Варька ушла, наконец, в кратковременный и бредовый сон, рот ее приоткрылся, из правого угла бежала обильная слюна, и

с особенным, горьким ужасом Зина обнаружила, что вместо двух верхних резцов у дочери — черная дыра, такая же беспросветная, как существование самой Зины в последние годы, да, казалось ей, и всегда, — и почему-то при виде этой черноты понялось Зине окончательно: тот, с экстерьером заштатного клерка и обволакивающим гипнотизмом речей, — безнадежно прав, и Бога — нет, как нет и не может быть справедливости, а есть — страшная в своем безразличии жестокость, которую принято называть жизнью,

но тогда было не до рассуждений, и десять дней Зина абсолютно не пила и не отходила от дочери ни на шаг, благо в очередной поликлинике прониклись ситуацией

и пошли ей навстречу, и Варька пережила-таки ломку, и согласилась с предложением Зины лечь в центр и стационарно лечиться, и вообще, подавленная, робкая, виноватотихая, она со всем соглашалась, и обо всем уже было договорено, и завтра нужно было ехать и ложиться, и так оно, безусловно, и случилось бы, когда б накануне, стащив из маминой сумочки ключи, Варька не сбежала самым постыдно-безжалостным образом — и в полиции отказывались ее искать, и как раз к этому времени относится неудачно-краткое сожительство Зины с одним строительным подполковником-отставником —

который, пожалуй, мог бы дослужиться и до генерала, если бы поменьше воровал и побольше отстегивал вышестоящим — но вышло как вышло, и подполковник остался таковым; и пленился сверхординарной белозубостью и прочими, не до конца еще разбазаренными достоинствами встреченной случайно на улице Зины, однако выявленные вскоре недостатки заставили его в корне пересмотреть диспозицию;

в первый раз он сделал Зине строгий выговор, во второй — выговор с занесением в личное дело, а в третий, традиционно последний, раз — основательно, по-военному, ее отчитал, пересчитал все ребра и, оскорбленный в лучших своих чувствах, покинул жилплощадь навсегда, но Зина вряд ли это осознавала — был июнь, очередной отпуск и очередной запой, и что такое, в конце концов, подполковник

в сравнении с самым надежным и преданным собеседником, который никогда не обманет и не подведет, а ума и понимания в нем неизмеримо больше, чем у всех подполковников Родины вместе взятых — да, тот самый, с внешностью обычного клерка, проводил с ней дни напролет, открывая высоты, о каких она и помыслить не могла ранее, он уводил ее гулять пустынным серпантином

(ах, дорога была хороша: поднимаясь в гору, по правую руку Зина видела сероватый камень скалы и склоны, поросшие земляничными деревьями, и россыпи густые оранжевой, красной, бордовой и кровавой, в чернь, крупной пупырчатой ягоды — так и хотелось взобраться по склону и узнать ее вкус — но спутник держал за руку крепко, и Зина шагала ровно, стараясь не взглядывать налево, где была пустая и голодная глубина, а после они вступали в самые облака, воздух делался влажен, тяжел и глух, облака были как кипящее молоко, но слой их каждый раз бывал на удивление тонок,

и теперь-то, когда они забирались выше и оказывались над, начиналось самое удивительное: теперь Зина без опаски подступала к не видной уже пустоте: ведь у самых ног ее было все то же молоко, непроглядно густое, но теперь не страшное, материнское, родное молоко, подогретое сверху солнцем, и так без конца, до самого горизонта, и здесь, казалось Зине, она могла бы оставаться вечно, она могла бы жить здесь, и хорошо, черт побери, жить — но гулко ударял большой колокол: нужно было возвращаться обратно, и

Зина с сожалением, с огромной неохотой, с обидой даже, глотая, как девочка малая, слезы, позволила свести себя вниз, под облачный зонт, где много дальше, крытый старой черепицей, с чуть-чуть наклоненной колоколенкой, прилип к обрывистому краю монастырь, но туда они ни разу так и не дошли — впрочем, и без того Зине все нравилось, и так она готова была гулять еще долго),

если бы однажды, проснувшись в утренне-серые пять, не обнаружила за окном непонятное мельтешение, и выйдя на балкон, не поразились еще более: все пространство, и выше, и ниже девятого ее этажа заполнено было парящими непринужденно людьми, и Зина, отказываясь это принимать, беспомощно озиралась в поисках гипнотического друга и обнаружила его не сразу — тот стоял совсем недалеко, так же облокотившись на перила и чуть выгнув горб, но выглядел странно полупрозрачным и зыбким —

а все же это был он, и вполне материальным, по-прежнему обволакивающим своим голосом пояснил, что все так и должно быть: Зина поднялась на новую ступень просветления и способна теперь узреть сокровище от нее прежде, и летают вовсе не души людские, потому что души, по договоренности, находятся у него — нет, летают сами люди, и научиться этому вовсе не сложно, нужно лишь не бояться сделать шаг — тот самый, первый, единственный и самый важный, сделать прямо сейчас, и Зина, верившая ему, как никому другому, действительно не боялась...

...и закончилось все очень быстро, быстрее, чем тело ее разбилось об асфальт — закончилось откровенно некстати: жизнь на самом деле слепа, и если левой рукой бьет что есть силы по голове, то правой может так же неожиданно и непонятно погладить, и за год с небольшим ситуация изменилась кардинально:

дело, наконец, пересмотрели, Дениса, с учетом уже отбытого им срока, освободили, а Варька, блудная и беспутная дочь, нашла-таки нужного ей человека, или он ее нашел — сути это не меняет: пусть оказался он не миллионером, не таможенником, не послом, а всего лишь контролером торгового зала —

человек был правильный и ИМЕННО ТОТ, и год спустя исцеленная чувствами Варька, млея от гордости, носила бесценный теперь живот и свободно могла тиранить сердца евродевушек африкански-неотразимым оскалом: зубы, вставленные в «Медее», по триста условных единиц за одну настоящую, ничем не отличались от родных, и влюбленная Варька обнажала их по поводу и без, похаживая беременной пантерой, счастливый и полуседой Денис готовился стать дядей и крестным отцом, и бессмертное лето продолжалось — но все это было позже, через не прожитый Зиной год.

Наталья Елизарова

Куркино

Размытою тропинкой узенькой,
меж сараюхами двора
я всё ещё иду на музыку,
что, кажется, была вчера.
Был дом с наличниками синими,
за домом стойла, огород,
загоны с овцами и свиньями.
Сновали куры у ворот,
и шли, вытягивая головы
и шеи, гусаки гуртом.
И тетя Поля разносолами
семейство зазывала в дом.
Под грушей, у забора синего,
у брошенных с зимы саней
печалилась гармонь Василия,
мы робко подпевали ей.
Кряхтя, дядь Митя сено стряхивал,
неспешно лошадь распрягал,
от оводов её обмахивал
и сам потом уж в стойло гнал.
Собравшись, девки на завалинке
смеялись, семечки грызя.
Мирок — такой худой и маленький
забыть и вычеркнуть нельзя.
И про любовь — ромашку белую —
несётся, в воздухе кружа.
В Козловский лес с утра поеду я,
где все они теперь лежат.

Елизарова Наталья Михайловна — поэт, переводчик. Родилась в г.Кашире (Московская область). Окончила Литинститут им.А.М.Горького. Автор поэтических сборников «Осколок сна» (2006), «Черта» (2014) и книги для детей «Мой ангел» (2015). Живет в Москве. В журнале «Дружба народов» публикуется впервые.

Дорис Карева

Септаккорд

С эстонского. Перевод Наталии Елизаровой

* * *

Мир изобилует, преобразуется, утекает.
Всё, что было, накапливается и иссякает.
В крови пыльца звёзд,
В памяти пурпурные импульсы.
Всё уже было раньше, и даже ты.
Не бойся, всё проходит и повторяется — это истина.
Единственное настоящее — то, чего и не было никогда.

* * *

Зачем ей деньги?
У неё богатый отец.
Единственное дитя —
И в танце так легка была.
В бурю на маяке,
Над водопадом на сквозняке,
Колеблема и тверда,
Как суфий или сомнамбула.

* * *

Истина — бесстрашная и беззащитная
Сияет в предутреннем свете,
Как горное озеро,
Как чистая тоска —
Острая и щемящая,
Ясная и неожиданная
В своём бриллиантовом блеске.

Дорис Карева — эстонская поэтесса и журналистка. Родилась в семье композитора Х.Калева. Училась в Тартусском университете. Автор более 15 книг стихов. На русском языке вышел поэтический сборник «Откровение» (1989). Лауреат многих эстонских литературных премий; кавалер Ордена Белой звезды (2001). В «Дружбе народов» стихи печатались в переводе Ларисы Йонас («ДН», 2009, № 4).

* * *

Дождь, ты дождь
Даже там, где тебя нет.
Сон, ты сон
Даже если тебя не видит никто.
Чьи шаги
В пустом, бессловесном тумане
Под похоронной горой? —
Думает ночной слушатель.
Бредущий думает о другом.
И идёт, словно дождь,
Через сон слушателя
Листопад.

* * *

Снег — это чистый лист,
Под ним тлеет тайнопись —
Весеннее соло трубы
И шафранный цвет лета.
Снег — это чистый лист,
Не пиши там имён,
Пусть звёзды отражаются
В его неисчислимых кристаллах.
Каждая снежинка — звезда,
Никогда не повторяющаяся
И ничего не стоящая —
Всё исчезнет.
Снег — это чистый лист
И утешение —
язык молчания
И глубина смысла.

* * *

Лёгкий-лёгкий кораблик переносит
Через туманность сна
Твои мысли и чаяния,
Которые не вмещает мир.
Глядящий в пучину, уверенный —
На всех парусах стремится под Млечный путь.
Между высокими скалами,
Сквозь пену прибоя,
Через проливы и бухты,
Через причудливые лагуны
и цветущий коралловый риф.
Лёгкий-лёгкий кораблик пробуждает
жажду жизни в крови, воображение,
смысл и отчаянье,
магическую мощь и покой.

Диана Амбарцумян

Злосчастье феаков

Фрагмент романа

С армянского. Перевод Соны Бабаджанян

Друзья! Боги ниспослали мне вещий сон.
Мы слишком отделились от наших кораблей!
Гомер, «Одиссея»

Когда нам доведется вновь явиться на свет
Божий, мы соберемся вместе, сядем на берегу
реки, будем смотреть на бегущие воды и молчать —
облачившись в дымку.

Д.А.

1. Назначаю себя плетельщицей

Я Манэ. Это история моей семьи. Ну, чуть больше, чем история моей семьи. Это могло бы быть и твоей историей. Когда я только начала свой рассказ, то есть пару вздохов назад, мне пришло в голову, что не стану я от вас ничего таить, все выужу, что бы ни попало в мои сети — и форель, и акулу, и даже самую мелкую рыбешку — всех выведу на чистую воду. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, то вижу — не сморгну, такую могу поднять бурю, что вся тина со дна, весь мох, даже самая затхлая вода всплывут на поверхность, а что до чистой воды, то не тревожьтесь, чистая и так прибежит, смешается со всей этой мутью, с чистой-то все просто, она быстрая, не даст себя ждать.

Мало того что я Манэ, так ко всему прочему еще и армянка. Мало того что армянка, так еще ко всему прочему и шведка, потому как так уж получилось, как получилось — родилась и выросла я в Швеции. И так уж получается, что живу я и люблю жизнь именно здесь, в Швеции, где вода круглый год хлещет вкусно-вкусно, прямо как в Армении, сказала бы моя мама Скальдина, повторил бы мой папа Ар, подтвердил бы Тумас Транс, но как гражданка Швеции, я глубоко озабочена

Диана Амбарцумян — армянский писатель и переводчик. Автор 20-ти книг, в числе которых рассказы, повести, переводы, монографии и вузовские учебники. Живет в Ереване.

Сона Бабаджанян — переводчик художественной литературы, художник, иллюстратор. В 1988 г. окончила переводческое отделение московского Литинститута им.А.М.Горького. Живет в Австралии.

бессмысленной тратой воды, а посему советую всем чистюлям-домохозяйкам не мыть свои чашки, тарелки, ножи и ложки по сто раз на дню под проточной водой, а собирать их всех в посудомойку, которая хоть и покрутит мутную воду над их головой пару часов, зато под конец окатит кипятком, освятит как благословенной водой и вернет вам их очищенными и обновленными, сохранив для поколений отчую воду.

Я хорошо знаю армянский, точнее хорошо его чувствую, но не говорю хорошо, потому что стесняюсь своего шведского акцента. Так уж повелось с малых лет, я стесняюсь несовершенства. И этот стыд, как чесотка, зудит по всему телу, я чешусь до крови, до того, что закрываю глаза во время купания, чтобы не видеть собственную наготу.

Вот насколько я стесняюсь, что плохо говорю по-армянски, настолько прихожу в восторг, когда нащупываю вены и жилки армянского, кувыркаюсь в самой глубине и стремглав низвергаюсь на дно. Я люблю армянские толковые словари, из которых выуживаю обнаженные слова и наряжаю их в одежды, потом верчу немного в разные стороны, оглядываю сверху донизу, потом тычу в бока до тех пор, пока они самовольно не раскроются передо мной, не сбросят все листы и, раздирая кожуру, разденутся догола. А в одно время, когда я была маленькой и только начинала учить армянский, эти самые слова бусинку за бусинкой собирала моя мама, нанизывала их на ожерелье моей памяти и вешала мне на шею как талисман. Мне очень жаль, что я не часто нахожу повод выставить напоказ свой талисман, но он всегда со мной, въевшись в кожу, в самое сердце. Как броня.

Сейчас, чтобы рассказать эту историю, я выбрала именно армянский, чтобы вы увидели, как этот талисман сросся, впился мне в кожу, стал не только плотью и кровью, но и всей моей сущностью. Чтобы вы увидели — армянский это я.

Я могла бы написать эту историю и по-шведски, так нет! Решила осложнить себе жизнь. Когда я поставлю последнюю точку в этом своем рассказе, то, как и обещала Тумасу, переведу все на шведский, потому как это по его «вине» я втравилась в это дело и готова пройти все семь кругов чистилища, лишь бы Тумас прочел эту историю и, как и обещал, снял бы кино — кино своей мечты. А теперь уже и моей мечты.

Я плету эту историю каждый день — беру в руки, как длинный, густой волос, и плету. Возьму прядь справа, прядь — слева, проведу прядь сверху, прядь — снизу, так чтобы они перекрутились туго-натуго, чтобы всем казалось, что я связала их бисерной вязью, и как надумают ее расплести, возьмут за один конец и встряхнут всю копну, так что все явное и сокровенное нашей жизни возьмет и расплетется, распутится, как волосы, прядка за прядкой, рассвободится. И покуда я рассказываю эту невозможную возможность, я назначаю себя плетельщицей.

И вот сейчас, когда я все это рассказывала себе, в сотый, в тысячный раз пересказывала, терпеливо выслушивала историю жизни этой маленькой девочки, и вот когда я рассказывала, выслушивала и стонала, и плакала в голос, и сердце мое выпрыгивало из груди и уходило в пятки, и я стояла в растерянности и бродила как потерянная, и смеялась над собственными проделками, этой маленькой шалунишки, захлебываясь от смеха, сглатывала боль, и вот сейчас, когда у меня больше нет страхов, потому что от всех мои страхов меня избавила та малышка средством похлеще, чем заговор воском или попова молитва, и вот сейчас я уже знаю, что у меня хватит дыхания и духу, и что рассказывая это все тебе, я не побоюсь сказать — это моя история, и малышка это я. Эта история могла бы быть и твоей историей. Эта история — все мы: я Манэ, моя мама Скальдина-Нарэ, мой папа Ар, Тумас Транс, Ован, Шушо, Кебабчик, полный детворы дом, мамы, папы, бабушки и дедушки, стар и млад, жертвы и убийцы, заговорщики и помощники, знакомые и незнакомые поселки и города, море и небо, солнце и луна, земля и вода, дома, улицы, старое и новое, любовь и ненависть, дружба и вражда, честность и ложь, правда и кривда, нищета и богатство, болезнь и исцеление, жизнь и смерть, одно большое кино, что снималось без режиссеров и операторов,

без продюсерских смет и расходов, без ведома актеров и без специально написанного сценария или же по такому сценарию, что разыгрывается сам по себе по ходу жизни.

Это кино моей и вашей жизни, которое кадр за кадром, эпизод за эпизодом я записала по заказу-просьбе шведского кинорежиссера Тумаса Транса, друга моего папы Ара, мамы Скальдины и всей нашей семьи, свидетеля нашего злосчастия.

2. Тетя Шушо — крыса

Я маленькая. Из-под одеяла выглядывает тело моего отца — длинное, худое, большое. Я цепенею на пороге. Отец сопит во сне. Обняв отца за шею, распустив на его груди длинные волосы, сладко спит тетя Шушо. Спит на месте моей мамы Скальдины. Мне хочется крикнуть, позвать маму, но я боюсь разбудить папу. Затаив дыхание, я разворачиваюсь и вжик — убегаю. Точно крыса за мной гонится и вот-вот настигнет, покусает, загрызет в кровь мои пятки. Крыса у меня в голове, а в кадре видна неясная тень крысы, скачущей за мной по пятам. Слышны писк крысы и мое запыхавшееся дыхание. Я бегу, сломя голову. Сопение моего отца напугало меня до смерти.

Неужто это и есть то самое бегство, которое узрела злая гадалка? Мы вдвоем, я и моя мама Скальдина, стоим в тумане и ждем поезда метро. Наряженная в пестрые заплатки, появляется пышнотелая цыганка. Появляется так неожиданно, точно рождается из тумана. И так же неожиданно хватается Скальдину за руку и, развернув ладонь, несет черт-те что.

«Виджу бегство. И не одно», — каркает старая цыганка и, отбросив мамину руку как ненужную вещь, поспешно уходит.

И вот я бегу, сломя голову. В кадре — тесно прижавшиеся друг к другу и еще полусонные улочки Стокгольма. Я бегу, то и дело натыкаясь на прохожих, люди оборачиваются и смотрят на меня остолбенело и злобно, кое-кто машет руками и кричит мне вслед, но уши мои оглохли, они кричат, а я бегу, еле переводя дух. Я дохожу до большой и пустынной улицы и беспомощно останавливаюсь. Я все еще тяжело перевожу дух. Я верчу глазами яблоками вправо и влево, мои охваченные ужасом глаза — теперь во весь экран и, разрастаясь, затемняют еще недавно белую стену. Потом выясняется, что это экран моей памяти, который, начинаясь с моих глаз, спускается внутрь, все глубже и глубже, в самую глубину: на самое дно моей двадцатиграммовой души, сердца размером с кулак и памяти в два с половиной миллиона гигабайт. Дрожа от страха, и холода, и отчаяния, я обнимаю себя: скрестив руки на груди, стуча зубами, в ужасе перед этой большой и пустынной улицей — я всего лишь желторотый цыпленок, а плачу, квохтая, как курица-наседка.

Сейчас, когда я вспоминаю своего отца и рассказываю нашу легенду, опуская из истории пастушьего сына, зарубившего трехглавого дракона, и томящуюся по нему принцессу по одной простой причине, что сейчас они не ко времени, сейчас я вспоминаю, что, глядя на моего отца, я увидела, как беда выглядывает из-под его одеяла, и вот сейчас я рассказываю, и меня трясет и распирает от осознания того, каким чудом этой крохе удалось узреть грядущее.

Беда моего отца — это и моя беда. Для друга моего отца его беда — это повод доказать свою верность или неверность. Это потом я узнаю, что каждый человек имеет потребность в верности, равно как и в предательстве, в особенности в предательстве тех, кто ему верен. Бывает же — смотришь на избегающее тебя тело человека и видишь душевные муки того, кто уже отрекся. Как рука, опущенная в карман, нечаянно сталкивается с изнанкой одежды, так и человек погружается в предательство, как в обычный морок. Бывает. А потом, когда задним числом пытаешься припомнить, люди слушают-слушают и говорят — а что же ты не сказала, не предупредила? Да такая

кроха, о чем она вообще могла предупредить? Говорят — хоть бы мать прупредила. А мне кажется, не нужно было моей маме ничего говорить или подсказывать, она и без того каким-то чудом все заранее знала, будто кто-то неведомый из какого-то неведомого места давно уже нашептал ей, какое несчастье ожидает нас всех, в то время как она сама, зная обо всем, ни словом не обмолвилась, что совсем скоро наша счастливая семья распадется, разлетится на кусочки, а наши радостные дни останутся там, где нас уже никто не станет искать и не отыщет. Мама знала. На ее бледном лице уже была печать близящегося страдания, но она все еще оттягивала неминуемый миг столкновения с реальностью. Она знала, но была счастлива и не хотела думать о несчастье, которое незванным гостем нагрянет в наш дом, чтобы долго, невыносимо долго хозяйничать в нем и на правах хозяина кромсать наши дни и ночи. Нагрянет и накроет нас с головой, как ливень, от которого нет спасу, даже если над головой у тебя крыша, на теле — одежда, в кармане — деньги, а в углу и заначка на черный день, все равно нагрянет и оберет тебя дочиста, все днями намечтанное, ночами взлелеянное, коленопреклоненно воскуренное выцарапает у тебя из рук, а тебя саму бросит в темницу — а это уж вы сами представьте, какова эта темница будет на цвет, вкус, запах и звук. Я сама лично открыла глаза в этой темнице и в череде бесконечно тянувшихся дней не верила ни своим глазам, ни впитавшимся в глаза слезам, которые были, как стальные прутья, глубоко вколоченные в мои зрачки.

Когда я бежала так куда глаза глядят, сломя свою маленькую голову, то чувствовала, как все звуки мира заглохли в моих ушах, небо обрушилось мне на голову и душило меня, от бессилия я ненавидела своего отца. И это при том, что «Осенний вальс» Шопена сейчас полон звуков моей любви, так же как «Сона яр» Комитаса — звуками любви ко мне. Это сейчас звук для меня — знак и повод к любви, но было время, когда этот самый звук, повсеместно обернувшийся сплошным крысиным писком, был омерзителен из-за моей ненависти к миру и людям и папе, и эта была исключительно моя причина и была ведома только мне.

Кадр сменяется. Тот кадр, что расширяет мне зрачок и проникает в темные глубины моей памяти, которые в одно мгновение освещаются и наполняются оживленной суетой. Кадры, один за другим, до самого последнего, светлеют и темнеют, как сменяющиеся друг друга дни, показывая на экране моей памяти наше кино, которое вы сейчас смотрите, оторвавшись от своих повседневных дел.

3. Развалины и розы Висбю

Летом мы приезжаем из Стокгольма в Висбю. Папа Ар выстраивает нас вдоль узенькой, утопающей в розовых кустах мостовой и стучится в железные ворота дома напротив. Под низеньким каменным сводом, повернувшись к нам каменным крупом, возлежит баран с горделиво закрученными по обе стороны головы огромными остроконечными рогами. Небо Висбю облачилось в длиннополое лазурное одеяние, и ему очень к лицу этот пылающий лучезарный венец, исходящий от которого свет щекочет глаза мне и моим братьям и сестрам. Мы прикрываем ладошками наши вздернутые головы и переминаемся с ноги на ногу, чтобы скрасить скуку ожидания и хоть как-то укрыться от жалящих ласк солнца. Заметив наши беспомощные потуги моя мама Скальдина выуживает из своей сумки разноцветные панамки и безошибочно натягивает на наши раскаленные от солнца головы.

Динь-дон! Колокол собора Висбю доносится как из старого и давно забытого фильма. Тепло полуденного солнца разливается над морем, и городом, и крышами, и развалинами, и розами, и людьми. Ворота дома напротив наконец отворяются, и скрывшийся на какой-то миг за железной оградой папа вновь возникает перед нами в обнимку со своим другом-армянином. Потом папин друг делает причудливый шаг

вперед, отходит от папы, с ловкостью фокусника достает из-за спины запеленутые в тоненький, как лист бумаги, лаваш сверточки кебабов и, опустившись на одно колено, протягивает их нам так, словно преподносит в дар принцессе Тысячеголосого соловья в золотой клетке. Видя, что мы неподвижно застыли на месте, он качает головой и, подойдя ближе, запихивает свои сверточки нам в руки и довольно улыбается. Достается сверточек и маме, но вместо того, чтобы его есть, она заворачивает сверточек в извлеченную из сумки салфетку и аккуратно укладывает в свою маленькую корзинку, в которой испеченные Скальдиной пирожки и бутылочки фруктового сока дремлют, прижавшись друг к дружке так тихо и мирно, будто им нипочем, что совсем скоро они подвергнутся жадному и нетерпеливому нападению нашей ненасытной оравы.

Это теперь я понимаю, почему мой папа Ар приходил в такой восторг при виде белизны, обтягивающей шоколадную кожу обнаженных девичьих ног, и почему это он в нашем присутствии вовсю старался приструнить трепет жарко бьющегося сердца. Откуда мне было знать, что такое страсть, откуда мне было знать, что страсть может как рождать любовь, так и любовь убивать. Я не знала. Еще не знала, но видела, как моя мама Скальдина молча, без улыбки и бледная стояла возле наваленных в кучу у дверей чужого дома сумок и смотрела на наши чавкающие рты, с аппетитом разрывающие на кусочки наши сверточки. Скальдина, казалось бы непричастная к кипящей вокруг нее суматохе жизни, с невозмутимым терпением смотрела на нас, смотрела так, будто мы были в пустыне и в бескрайних просторах этой пустыни она видела только нас, окутанных облаком кебабного духа.

Динь-дон! Динь-дон! Дома Висбю из-за своих красных черепичных крыш напоминают залитых румянцем крестьянок. Это сейчас, глядя с вершины горы, к которой прислонился собор, я смотрю на выглядывающий из окошка моего детства Висбю и вижу их румянец. Смотрю и вижу, как, облизывая красные губы и размазывая по ним жир, стекающий из наших пропахших мясом ртов, мы шагаем навстречу стоящей поодаль Скальдине и цепляемся за длинные полы ее цветастого платья.

Нарек и Алис родились вместе, Тигран и Джули — вместе, я самая старшая и я родилась одна. Мы родились в Швеции, а мама и папа — в Армении. Армения далеко от Швеции. Мы родились вдали от Армении. Армения каждый день входила к нам в дом, когда моя бабушка включала скайп и усаживалась перед своим квадратным кухонным столиком, в одном углу которого она чистила лук и картошку, а в другом — вытягивала шею и заполняла экран компьютера своим морщинистым лицом, на котором светились добротой ее лучистые глаза. Всякий раз, когда я слышу слово «доброта», из узенького окошка скайпа выскакивает моя армянская бабушка, раскидывает руки и душит меня в своих объятиях. Всякий раз, когда я слышу слово «случайно», я будто вижу как Скальдина склоняется и шепчет мне на ухо: «Нет ничего случайного в этом мире — ни единое словечко не произносится случайно, ни единая буква не пишется. Ничего не происходит случайно. Все на свете имеет свои причины и следствия. Человек и слово, мысль и вселенная, жизнь и смерть рождаются друг из друга и угасают друг в друге». Слушаю я свою Скальдину, слушаю и передумываю. Пусть будет так: всякий раз, когда я слышу слово «доброта», моя армянская бабушка просыпается, открывает глаза и, помаргивая, как мерцающие на небесах звездочки, сеет свет по всей нашей земле.

Моя армянская бабушка для меня — это и есть доброта.

Вот я подношу свой сверточек кебаба ко рту, опускаю голову, но глаза поднимаю ко лбу и вижу, как мой папа Ар вводит что-то в свой сотовый телефон, вижу, как он этот телефон, который уже стал чем-то большим, чем просто телефон, с демонстративной бережностью опускает в нагрудный карман, вижу, как он горячо пожимает руку Кебабщику и, пятясь, отходя от него, победно поднимает руки со скрещенными над головой ладонями и машет ими, что я воспринимаю как знак прощания, потом поворачивается и с довольным видом человека, завершившего

важную миссию, высоко подняв голову, радостно лаская глазами почерневшие кресты на соборе Висбю, бравое удаляется от прикованного к нему взгляда Кебабщика и почти бегом приближается к нам.

Я вижу все это в медленном, в тысячекратно замедленном кадре, в котором глаза мои видят и меня саму, и моих братьев-сестер, и мою Скальдину, и розовые кусты и сомкнутые рога каменного барана.

Пока мой папа добирался до нас, я вытянулась на пядь и с высокой моей высоты увидела то, чего не видела раньше: увидела тяжелый бег моего отца, который был не столько бегом, приближающим его к нам, сколько отдаляющим от Кебабщика. Мне и самой хотелось, чтобы мой папа поскорее ушел, отделался от этого человека, и хотя я не понимала, почему я этого хочу, но я хотела, чтобы он ушел от него далеко-далеко, пусть бы даже и не в нашу сторону, только бы подальше от этого Кебаба.

Сейчас, когда беда моего отца — это непреодолимый изгиб моей судьбы и грозит, как натирающий ногу ботинок, новой мозолью после каждого моего шага, мне кажется, что я тот самый блудный сын, который вместо того, чтобы вернуться в объятия к отцу, хочет вернуть отца в свои объятия, пусть отец так и не успел сказать: «Отче, я согрешил против Бога и пред тобою и уже недостойн называться сыном твоим», хотя бы по той одной причине, что он лишился обоих, еще не ведая и не признавая их существования, пусть он так и не успел сказать: «Девочка моя, я согрешил против Бога и пред тобою и уже недостойн называться твоим отцом». Этого так и не случилось, возвращение блудного отца не состоялось.

4. Моя Скальдина с зольными глазами

Кадр скользит и сменяется подобно тому, как перетекают друг в друга эпизоды нашей жизни, незаметно порождая один другой и умирая один в другом. Я заговорила, как моя Скальдина. Кино, со всемогуществом золотой рыбки, толкает время вспять, и наш взгляд смещает галоп преследующих нас по пятам железнодорожных путей в сторону, противоположную исчезающим перед нашим взором рельсам. Стремительно. Кино нашей жизни.

Я всматриваюсь в мамино лицо и улыбаюсь. Я уже узнаю ее: это моя мама. В те времена, когда я еще не понимала, что нет на свете ничего проще, чем узнавать маму, но уже узнавала ее, в те времена при виде мамы я восторженным агуканьем приветствовала единственного в моей жизни знакомого человека. Мама была бледная, со впалыми щеками, с остриженными под мальчишку волосами, а глаза ее были полны зольной воды. Что такое «зольная вода», я узнала всего несколько дней назад от моей армянской бабушки. Они разговаривали с мамой по скайпу, и бабушка спросила:

— Нарэ, помнишь нашу соседку Сируш?

Мама сказала:

— А то как же не помню, я, может, многое позабыла из того, через что сама прошла, а вот Сируш помню хорошо. Та, у которой сын уехал на шашку и умер, а она так и не нашла денег, чтобы перевезти его тело. Ты ведь об этой Сируш?

Бабушка сказала:

— Вот молодец моя девочка, моя Нарэ, видишь, вспомнила... Так ведь померла, бедняжка, вчера вечером, с рубашкой в зольной воде...

Бабушка моя была единственная, кто звал мою маму Нарэ, и Скальдина моя всякий раз с такой радостью и любовью откликалась своим «а джан!», что мне и самой иногда хотелось звать ее этим именем. Между бабушкиным «Нарэ» и маминым «а джан» умещался целый мир, неведомый нам и недоступный, в котором напрочь отсутствовали мы и наш дом и вся наша стокгольмская жизнь. И это мне не нравилось, но я еще не понимала почему, я обижалась на это, как обижалась всякий раз, когда

от меня прятали мою любимую «Нутеллу». В такие минуты мне хотелось, чтобы бабушка больше не звонила, не влезала бы к нам в дом через окошко скайпа, не отнимала бы у нас нашу ненаглядную Скальдину. Но только в эти минуты.

Бабушка моя всю жизнь жила в Армении, так же как мы с моими братьями и сестрами всю жизнь жили в Швеции. Когда-нибудь, когда я поеду в Армению, я перевезу свою бабушку в Швецию и приведу к нам домой, потому что наша учительница говорит, что старики должны жить в домах престарелых, а я не хочу, чтобы моя бабушка жила в доме для престарелых. Мой папа Ар, еще до того, как он уехал в Армению, и мы еще были счастливой семьей, как-то гладил меня по голове своей большой и тяжелой ладонью и, будто разговаривая с самим собой, объяснял: «Ты сейчас не совсем поймешь, почему я тебе все это говорю, но когда подрастешь и вспомнишь мои слова, то поймешь меня, дочка. Ты моя. Поймешь! Человек в жизни делает много верных и неверных выборов, но есть три вещи, от выбора которых зависит твоя судьба. Запомни это: судьба каждого человека в его руках, и судьбу эту создают те люди, с которыми он живет, то место — дом, улица, город, деревня, страна, где он живет, и то дело, которым он занимается. Не забывай об этом. Запомни, дочка, хорошенько запомни!»

Я не забыла, папа! Я так хорошо помню наше потерянное, убежавшее от нас счастье. Помню. И откуда я могу помнить, я буду вспоминать, папа!

Мои мама и бабушка всегда говорят по-армянски, я уже понимаю их, почти все понимаю, а те слова, что не понимаю, записываю в присланный бабушкой толстый блокнот, и как только мы отключаем скайп, я спрашиваю у мамы как это слово будет по-шведски, вписываю шведское слово напротив написанного шведскими буквами армянского слова и повторяю его раз за разом, чтобы хорошенько запомнить. Сейчас я уже хорошо понимаю армянский. Алис, Джули, Нарек и Тигран знают всего несколько армянских слов, как говорит моя бабушка, — пальцев на одной руке хватит, чтобы сосчитать. Но я знаю много слов, много-много! Я еще не очень хорошо говорю по-армянски, но уже все понимаю. Мама говорит, что «зольная вода» — это такая вода, в которую добавляют золу, чтобы стирать белье, она говорит, что в их деревне, там, где сейчас живет бабушка, одно время так и стирали, в те времена мыла не было, мама говорит — в их деревне до сих пор еще есть бабушки, которые стирают в зольной воде, она говорит — в их деревне есть магазин, в котором продают мыло, но у этих бабушек нет денег на мыло, потому они и голову моют в зольной воде, чтобы не завшиветь. Однажды у меня в волосах завелись вши. Но это случится позже. Я потом еще расскажу о вшах и о том, как я хотела умереть.

Я спрашиваю маму, почему рубашка той мертвой бабушки была в зольной воде, а мама моя улыбается мне своими зольными глазами и говорит — это такие слова, которыми поминают умерших бабушек. Моя мама очень умная, она все знает. Когда я вырасту, я стану поэтом, как мама. Сейчас я уже понимаю, что моя мама — поэт, но в те времена, когда я еще не знала, что нет на свете ничего проще, чем узнавать маму, но уже узнавала ее, в те времена я еще не понимала, но, наверное, уже чувствовала, что моя мама — поэт. Мама была бледная, со впалыми щеками, с остриженными под мальчишку волосами, а глаза ее были полны зольной воды. Я еще не сказала маме, что прозвала ее «Скальдиной с зольными глазами». Как-нибудь скажу. Я сейчас все рассказываю моей любимой мамочке.

Придет время, когда мне захочется прижаться к маме, посмотреть в ее глаза, полные зольной воды, и сопеть, обняв ее за шею, сопеть как сопел мой папа, во сне. Именно тогда я и возненавижу своего отца и это его сопение, и именно по этой причине мне так сильно захочется прижаться во сне к моей Скальдине и сопеть в ее объятиях, но Скальдина моя будет далеко от меня, оставив меня на чужую маму, она уйдет от меня далеко-далеко, ладно хоть бы папа был рядом, так нет — и папа мой будет далеко-далеко, и останусь я на попечении других родителей. Нареку с Алис достанутся другие мама с папой, Тиграну с Джули — другие. Так и останемся — одни-одинешеньки...

Мой папа Ар, который не любил читать нам наставления, иногда выдавал монологи — облокотившись о кухонный стол, подперев рукой подбородок, устремив взгляд на верхушки деревьев за окном: «Когда ты маленький, родители — твои боги, когда подрастаете, они становятся вашими учителями, когда они стареют, ты сам становишься им Богом и учителем, а вот когда твои отец с матерью умирают, ты низвергаешься со своего престола и остаешься один-одинешенек, никому не нужный». Когда я вспоминаю своего отца, это «один-одинешенек» свешивается с кончика моего языка и проскальзывает сквозь щелочки моих слов.

По вечерам, когда папа нас купал, а потом, закутав в огромные полотенца, по очереди нежно и заботливо укладывал нас по кроваткам, я, затаив дыхание, притворялась спящей, чтобы вслушиваться в голос моего отца за дверью, когда он отрешенно, самозабвенно беседовал со Скальдиной.

Помню, что он рассказывал о своем безотцовском детстве. В то время это было для меня туманной сказкой. Он рассказывал, что отец его был богобоязненным человеком, но более Бога веровал в справедливость и умер в вечной битве за справедливость. Он говорил, что не помнил отца, но из рассказов матери и родных понял, что малейшая несправедливость выводила его из себя, отец приходил в ярость, хватался за сердце и, зажигая сигарету за сигаретой, ходил взад и вперед по комнате, не находя себе места, без сна и покоя, покуда не находил выход, чтобы протянуть руку жертве несправедливости. Так вот и сам стал жертвой своих вспышек, сердце не выдержало.

Помню, что большая часть этих бесед сводилась к монологам, Скальдина моя только изредка вставляла слово или тихо вздыхала. Как-то папа Ар сказал: «Отец не успел стать моим Богом, скинул меня с престола, не дав даже взобраться. До сих пор не могу простить его, понимаешь, Скальдина?»

Я вскочила с кровати, босиком подбежала к двери, замерла недвижно в льющемся из щели свете и увидела, как Скальдина встала над головой сидящего на низеньком табурете отца, крепко обхватила его за голову и, пригнувшись, прижалась губами к его гладкому черепу. Мать с отцом застыли в остановившемся времени — грусть точно приклеила их друг к другу.

Я на цыпочках прокралась обратно. Их монолитное изваяние до сих пор стоит у меня перед глазами и моросит на меня грустью.

Моя Скальдина с золотыми глазами сейчас спит, привалившись головой к кожаной спинке дивана. Это сейчас она спит, когда злые чары рассеялись и дурной глаз, приставший к мамочке, ослеп, и черное проклятье отвратилось от нас, обрушившись на собственную голову, как сказала бы моя знающая, все зло и добро на своем веку повидавшая, армянская бабушка, но до той поры мне было грустно, ох и не сказать, как мне было грустно в самой распрекрасной стране на свете Швеции, где я осталась одна-одинешенька, где никто больше не лопал мои щечки так же вкусно, как зацеловывала меня моя Скальдина, где никто больше не душил меня в объятиях так же крепко, как прижимал меня к груди мой папа Ар, и никто больше не таскал меня за косички и рукава, припрыгивая так же весело, как вешались мне на шею и закатывались хохотом мои озорные братики и сестрички.

5. Сон маленькой одинёшеньки

Сейчас, когда я осталась одна на всем белом свете, одна-одинешенька, потому что папа мой уехал в эту далекую Армению и не вернулся, потому что мама моя заболела и ее забрали в больницу и пока еще не вылечили, потому что Алис, Джули, Нарек и Тигран живут в других семьях и мы больше не деремся за право играть на компьютере, потому что я ребенок и осталась одна-одинешенька, без призора, не

понимая на кого и не понимая почему, сейчас я знаю, что какие бы мечты ни лелеял ребенок — полететь в космос или забраться по уши в банку с «Нутеллой» — все равно каждый вечер, перед сном больше всего на свете ребенок мечтает стиснуть в объятиях маму с папой, звонко чмокая, зацеловать их до умопомрачения и уморившись, уснуть с румянцем на щеках.

Как обиженный на жизнь ребенок, я выставила рога и взбунтовалась против своей новой «мамы» — отказывалась купаться в надежде, что если у меня заведутся вши, то она вынуждена будет от меня отказаться. Но никакие вши не могли отпугнуть истосковавшуюся по ребенку мою новую «мamu», которой так сильно хотелось, нежно поглаживая мои волосы, заплетать их в косички, что она готова была любой ценой удержать меня, готова была выкрасть меня, чтобы я больше никогда не смогла увидеть мою Скальдину. Я ненавидела ласки и любовь своей новой «мамы». Мне хотелось убежать и вернуться в наш родной дом. Не будь моего спасителя Тумаса Транса, моя новая «мама» похитила бы меня, связала бы по рукам и ногам, заклеила бы мне рот и упрятала бы меня в глубине развалин Висбю.

Кадр выхватывает меня из мрака лежащей с открытыми глазами на кровати под стеной. Глаза мои медленно закрываются, и кадр увеличивает две крупные стеклянные капли, стекающие из-под прикрытых век в уголки моих глаз. Прерывая переливчатость капель, изображение сначала темнеет, а потом, постепенно светлея, разворачивается, как отснятый на пленку сон.

Сон маленькой одинишеньки:

«Папа повел маму в кино. Мне грустно, грустно-прегрустно, что меня не взяли. Разве я не старшая в доме? Под одеялом можно различить тело моей бабушки — коротенькое, пухленькое, сжавшееся в комок. Я застыла на пороге. Бабушка, лежа в маминой кровати, постанывает во сне. Я босая. Украдкой подхожу к маминому зеркалу. Зеркало в белой раме прислонено к стене спальни, а под ним — белый столик, выдвижной ящик которого — сокровенное средоточие моих мечтаний. Я оглядываюсь по сторонам, мне кажется, что мама следит за моими мыслями и запрещает мне делать, что взбредет мне в голову, но искушение мое так велико, что я во всю силу тяну за ручку ящичка, и запретный мир раскрывается передо мной во всей своей красе — всевозможные помады, бутылочки разных размеров, полные неведомых мне лосьонов и кремов, лаки для ногтей, духи — всего и не перечесать! Я не теряюсь — хватаю ярко-красную помаду и бесшумно задвигаю ящик обратно. Возвращаюсь, согнувшись в три погибели. Ведь мама, небось, следит за мной, и, улыбаясь собственной изобретательности, я заползаю под мамину кровать, которая добровольно становится свидетелем и соучастником первого в моей жизни разбойного нападения. В полутемной прохладе меня пробирает дрожь — а что если бабушка проснется, станет искать меня, не найдет, поднимет вопли на весь дом и двор, и что мне тогда делать? Но притаившаяся в моем сжатом кулачке увертливая, щекочущая мне пальцы помада рассеивает мои страхи и сводит на нет в моем детском сознании вероятность трагического исхода, так что я пытаюсь сообразить, как открывается помада, и быстро *допетриваю*, как любил выражаться Ази из поселка Скальдинино папы, известный Ази, который самолично *допетрил*, как можно менять рекламы к фильмам, так же как *допетрил*, как можно жить, не упоая на помощь посторонних, и все это не раз подтверждала своим авторитетным словом моя армянская бабушка, которая, свесив ноги из окошка скайпа, выпрыгнула оттуда, совершив мягкую посадку в нашей стохольмской квартире, и теперь мирно спала в маминой и папиной спальне.

И вот, значит, я допетриваю, как открывается эта помада, и в то время как я вожусь с ней во мраке, душистый запах забивается мне в нос, покуда я неловкими движениями размазываю ее по губам, по щекам, по подбородку, по лбу. Я закрываю глаза и глубоко вдыхаю ее аромат, жадно слизываю с губ вишневый вкус и вспоминаю,

как мне всегда нравилось вдыхать Скальдинин запах, когда она приближала свои накрашенные губы к моему лобику, носику, глазкам, щечкам, подбородку. Обнюхивала меня, расцеловывала и, оставив за собой в моей кровати свой душистый след, внезапно уходила, и я, еще совсем кроха, уже горевала, сильно горевала без сладкого запаха губ моей Скальдины.

У-ууу! Папа повел маму в кино. Кино осталось в «Клубе Або», наши вернулись домой. Но что это еще за такой «Клуб Або», какое он имеет отношение к нашей стокгольмской Biografen Saga, нашей известной Sage с ее сверкающими стеклами, червленными столбами и красными сиденьями? А-а, вспомнила! «Клуб Або» — он из сказки маминого детства, его Скальдина время от времени вспоминала, когда беседовала с бабушкой по скайпу. Наши вернулись из кино домой — вот мама стоит перед длинным зеркалом на двери трехстворчатого шкафа, задирает полу платья, и я из-под кровати вижу плавный рисунок ее ног. Мама стягивает нейлон телесных колготок и, поглаживая ноги, разговаривает сама с собой, но мне кажется, что она рассказывает бабушке:

— Фильм заканчивается сценой заката невероятной грусти, как если бы кто-то, вырвавшись из лап смерти, добрался до двери, а там, свисая с ее шеи, равнодушно дремлет ржавый замок. Ничего не стоит спутать карты человеку, но когда путается и искажается Божий расклад, то я даже не знаю, чем это все может кончиться... Совсем не знаю... Точь в точь как в этом фильме — сцена заката, но в кадре крупным планом — ржавый замок...

Я грущу под кроватью — ну почему меня не взяли в кино? Я же самая старшая. Мама опускает подол и смотрит в сторону моей деревянной кровати. И тут же впадает в панику. Ее и без того бледное лицо становится блее мела. Ноги заплетаются, и пятясь, она валится на кровать. От страха я сжимаюсь в комок и прикрываю руками голову, чтобы мама своим весом не подмяла белоснежную бабочку моего банта. Мама визжит:

— Манэ, Манэ, где ты, деточка? Мама! — кричит она бабушке. — Мама, ты что спишь, где Манэ? — И, обезумевшая, выбегает из спальни.

Бабушка, которая еще до прихода наших успела проснуться и ушла на кухню пить кофе, дрожащим голосом отвечает:

— Что? Что ты такое говоришь? Как это где Манэ? Спит она.

А мама ей в ответ:

— Где это она спит? Кровать пуста. Манэ, Манэ!

А бабушка:

— Так, может, она в туалете. Манэ, Манэ, где ты, деточка?

И тут же в зеркале появляются ее коротенькие, согнувшиеся в колесо ноги. Кровать тоже чувствует приближение опасности и, точно хорошо зная свое дело, затаив дыхание, не издает ни звука. Я тоже затаила дыхание. Бабушка смотрит на мою пустую кровать, потом оборачивается к зеркалу, и в сероватом его отражении я вижу, как она хватается кончиками пальцев свои покрытые морщинами щеки и нещадно тянет их, мотая головой. Я босиком. Я протягиваю руки и хватаю себя за холодные пятки. Краснота помады размазывается теперь и по моим ногам. В полутемной прохладе меня пробирает дрожь. С одной стороны мне в ноздри забивается душистый запах помады, а с другой — вонь моих тревожно переворачивающихся кишок. Бабушка моя смотрит себе под ноги, и вдруг глаза ее в зеркале расширяются. Я не понимаю, что приводит ее в такой ужас, но то, что она *напугана до смерти*, я вижу в зеркале, потому что я ползком приблизилась к краю и высунула из-под кровати свой красный нос, чтобы хоть вверх тормашками посмотреть на то, что происходит в зеркале. «*Бояться до смерти*» — это я слышала от своего отца. Как-то он рассказывал маме, что годы назад его директор держал в «Наирите» мертвые души, выписывал зарплату умершим и заставлял неработающих призраков подписываться под левым списком, а потом,

слонявя палец, отсчитывал денежку и клал себе в карман. Рассказывая об этом маме, папа говорил: «Он меня до смерти боялся, этот стервятник». Или в другой раз: «Он меня чертовски боялся, этот сукин сын».

И тут я вижу, как бабушка поворачивается спиной к зеркалу, нагибается, и ее усыпанная коричневыми пятнами рука подбирается к моему носу. Я в страхе закрываю глаза. Сейчас умру. Страх нарастает. Умирая, я совсем чуточку приоткрываю глаза и оглядываюсь по сторонам — зеркала не видно. Бабушка молча ощупывает мои размалеванные помадой глаза, лоб и нос, приближает растопыренные пальцы к глазам и в ужасе вопит:

— Манэ, Манэ, что это за кровь, деточка, что ты наделала?

Потрясенная словом «кровь» и оцепенев от изумления, я еле слышно шепчу:

— Это не кровь, бабуль, не кровь.

В полутемной комнате я, поблескивая глазами, улыбаюсь, медленно разжимаю кулак и виновато смотрю в бабушкины изумленно вытаращенные глаза. Растопырив кривые ноги, бабушка нагибается ниже, смотрит на помаду в моей ладони и, точно не веря глазам, поднимает свою пятнистую руку к лицу. Я не осмеливаюсь поднять глаза, но представляю, как она трет их кулаком и, пугая меня, заходится смехом, заслышав который, мама из кухни вприпрыжку, как козочка, вбегает в комнату, а я напуганным зайчонком снова заползаю под кровать и, съездившись, вся дрожа, представляю, как мама, белая как мел, смотрит то на меня, притаившегося зайчонка, то на бабушку, морщинки на лице которой так растянулись в широкой улыбке, что мама приходит в чувство, и тут что-то мне подсказывает, что сейчас самое время рассмеяться в голос, и как только я это соображаю, я громким хохотом присоединяюсь к маме и бабушке.

Я смеюсь с ними в один голос, схватившись за живот, растянувшись во весь рост под кроватью, мотая головой из стороны в сторону и топоча ногами. Я больше не трусливый зайчишка — ударившись лбом о край кровати, но сдерживая слезы, я выбираюсь из своего укрытия, мама прижимает мою разукрашенную красным голову к животу, и я тихо таю от маминого тепла.»

Тут сон мой заканчивается. Тут я просыпаюсь и грущу о своем сне — нет ни бабушки, запрыгнувшей из скайпа в наш стокгольмский дом, ни папы с мамой, вернувшихся из кино в Biografen Saga, где они, сидя в красных креслах, взявшись за руки, прижавшись плечами и прикасаясь коленями, смотрели фильм. Тут я одна-одинешенька, в чужом доме, в чужой постели, в совсем чужих запахах.

И в этот самый момент я смутно вспоминаю, что где-то уже читала эту историю, до того как она так вот со слезами и смехом просочилась в мой сон. Я вспоминаю, вдруг вспоминаю, что сон мой почти слово в слово был описан моей мамой Скальдиной в ее блокноте, который она оставила на столе перед тем, как уйти в больницу, только вот все то, что вспомнила и записала мама, произошло на самом деле в жизни маленькой Скальдины, то есть нет — маленькой Нарэ, а уж потом проникло ко мне в сон, после того как я уже прочла мамину историю, после того как я дрожала и плакала за мою Скальдину, и давилась смехом, топоча ногами, и хохотала, схватившись за живот.

Заир Асим

Звонок от Нуржика

Рассказ

Говорят, что жизнь проживаешь дважды и по-настоящему во второй раз — в воспоминаниях.

Я ехал в машине от угасающей бабушки, которая не всегда меня узнает. Было часов одиннадцать ночи. Позвонил Нуржик. Из Америки, по ватсапу. Интернет на телефоне плохой, поэтому связь обрывалась. Перезвонил из дома. Отрадный разговор всколыхнул память так, что до рассвета в голове вспыхивали события подростковой юности.

Дружить мы начали в школе. В классе девятом. Нуржик перешел из казахской школы. Все считали его диковатым, особенно девчонки. Мне же эта необузданность импонировала. Сам я тоже был резким и грубым, косноязычным необщительным спортсменом. В школе дружбу и любовь находят по биологическим принципам. Симпатия на уровне запаха. Смелость — благотворная почва для таланта. Как-то раз они с Дамиром проверили меня. Позвонили и сказали срочно приезжать, придется драться. Ничего не объяснили. Я приехал. Поржали.

Помню летние каникулы. Ехал вверх по Сейфуллина в троллейбусе, любуясь светотенями тополиной аллеи. Покупал в киоске бутылку пива Тянь-Шань, обнимал при встрече Нуржика, завидуя его обильной щетине. Захмелев, пускался в долгие витиеватые рассуждения, что уже тогда выявляли невысказанность натуры.

Наша дружба всегда отличалась откровенностью, легкостью обсуждать непонимание, непринужденностью выражать восторг. Даже несогласие звучало веселой фразой «Ну, ты тип!» В пятнадцать лет для подростка друг сродни жене после сорока. Иметь общую одежду, иногда подругу, драться друг за друга.

Мы ходили друг к другу домой, часто ночевали. У меня всегда был лагман, приготовленный бабушкой с маминой стороны. Все школьные друзья помнят этот лагман. Нуржик любил открыть холодильник, достать кастрюлю с подливой и хлебом макать в маслянистую гущу. Как-то раз ходил на свидание в парк и засиделся до двух ночи. Домой ехать было поздно, до него было пешком, он тогда жил в маленькой квартире на Арбате. Я попросил его не закрывать ночью дверь и самому встретить меня. Но он заснул. Как испугалась мама, когда в позднее время кто-то в темноте зашел в их квартиру и лег спать.

Обычно дружба сопровождается конкуренцией, особенно в этом бурлящем возрасте, но у нас этого не было. Мы открыто радовались успеху другого. Зачастую это

Заир Асим (Заир Асимов) — поэт, прозаик. Родился в 1984 году в Алма-Ате. Окончил механико-математический факультет КазНУ им. Аль-Фараби. Преподает математику в учебном центре. Автор книги стихотворений «Осиротевший крик сирени» (2010), книги прозы «Письма в никуда» (2013). Печатался в журналах «Знамя», «Новая Юность» и др. Живет в Алма-Ате.

труднее, чем разделять беду. Зависть сковывает приближенных, сталкивает человека с собой. Как правило, это столкновение никто не выдерживает. Начинают втайне презирать за одаренность или успех.

Когда по окончании школы мы всем классом собрались на Иссык-Куль, Нуржик поехал с моим папой провожать. С нами не смог. Расставание на неделю казалось разлукой.

Летом мы приезжали ко мне, смотрели фильмы. Тогда я еще не увлекся чтением, но брал постоянно у мамы деньги на обмен видеокассет. Шел пешком до мехпоселка на остановку или на базар. Старую на новую можно было поменять за сто тенге. Брал кассету, аккуратно лезвием открывал пленку, заклеивал скотчем. Если фильм потрясал, ставил в личную коллекцию. Случалось смотреть в день по два-три фильма. В кино я влюблялся, страдал, дышал свободой вымысла. В одну из таких ночей мы вдвоем (я, папа и Нуржик) смотрели фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк». Ели сочный арбуз. В тот момент, когда Энтони Хопкинс, уходя из праздника жизни, оглянулся, прищулив взгляд от смеси сожаления и восторга, произнес: «да... это жизнь, что тут скажешь!», Нуржик ткнул меня локтем. Папа невидимо плакал. За очками тихо блестели глаза. Ему тогда было сорок восемь, нам восемнадцать.

На первом курсе я прочитал Камю и решил, что буду писать. Вот здесь я и начал всех сторониться. «Посторонний» встал в мое мышление. Встречи происходили все реже.

Осенью в горах, на выезде с сокурсниками бывшей одноклассницы, мы подрались с одним асоциальным турком. Поодиночке он был здоровее каждого из нас. Знакомый турка не участвовал в драке, признавая нашу правоту, но не давал напасть вдвоем на него. Пожалуй, не приходилось драться с большим размахом. Скатывались с горы вниз, потом по асфальту. В итоге у обоих порванные джинсы, футболки, кровавые пятна потертости. На следующее утро на фоне этого потрясения взгляду впервые открылись пылающие горы октября.

Чтение стопорило инстинкты. Все ставилось под сомнение. В студенчестве смуты поиска или избыточная романтичность ни один раз вводили в иступление, за которое сейчас стыдно. В разгаре молодости ценно менять ситуацию под себя, а не рассуждать о другом способе мышления.

На втором курсе большой компанией оказались на Капчагае. К тому моменту с Нуржаном уже почти не виделись и не созванивались. Он общался преимущественно с Дамиром. Они странно влияли друг на друга, пробуждали дерзость, переходящую в наглость, провоцировали каждого, захлебывались в жажде конфликтного веселья. Пили до последней стадии оголтелости. Многие не выдержали этого и уехали. Очередь дошла до меня. Поводом послужило несогласие выпить с ними. На первом курсе я отказался от алкоголя и курения. Спорить с пьяным все равно, что беседовать с человеком со старческим слабоумием, ходить кругами вокруг одной мысли, как собака на привязи. Я сделал один символический, глупый, чрезмерно трогательный жест и удалился. Пошел на берег и голым, в одиночку плавал под луной. И был невыразимо счастлив, окрыленный горьковатой независимостью. В эту ночь я попросился со своей дружкой, и потребность видаться была исчерпана.

Лет пятнадцать прошло. Голос Нуржика не изменился. Мой, должно быть, тоже.

— Я в Америке. Работаю в посольстве консулом. До этого жил в Швейцарии. В Лондоне пожил. Ты женился? Дети есть?

— Нет.

— А что так? Это же легко. Плюнул пару раз куда надо, — сказал он это с ребячливой восторженностью, какая была свойственна в школе. — У меня двое пацанов, учатся здесь. Я прилетаю 18 мая. Давай встретимся.

Внезапная молния юности осветила ночное небо. Приятно пощекотать память, чихнуть, посмотрев на солнце радости, словно ничего не происходит. Только длится почти бесконечное настоящее.

Лотта Гесс

Линия антарктической конвергенции. Бука

Рассказы

Озёрное время

Глава 1. Меня нет

В семь тридцать утра по Озёрному времени мама ушла на автовокзал работать буфетчицей. Мягко хлопнула дверь. Через триста туманных каменистых метров, через десять влажных холодных минут озябшая мама погрузится в дребезжание и пыхтёж, в сонное раскачивание и свежий бензинный дух, в «Красную Москву» пухлых ситцевых соседок. Хищный тупой компостер оправдывает ее билет.

Щелк! Бука проснется по-настоящему и посмотрит в далекий беленый потолок. Поздно вечером она парила под ним, раздвигая руками желтеющий воздух, и отчаянно вопила: посмотрите, как я умею! Но большие не обращали на нее внимания. Будто ее вовсе не было в этой старой накуренной «зале», и она не трогала жухлой, простреленной шампанской пробкой известки. Потом мама будто что-то заметила, оглянулась, закинула голову и крикнула: Бука, что ты делаешь! Это нельзя, так нехорошо, слезь оттуда немедленно!

— Отку-у-у-да? — хитро и победоносно спросила висящая вниз плечом Бука, — откуда? — и засмеялась.

Потом Озёрному времени надоело считать. Оно проскользнуло в невесомый тюль, в прохладную липовую темноту и скрылось по своим временным делам. И все пропало до утра.

Бука пошевелила затекшим пальцем, стянула одеяло и бросилась в соседнюю комнату.

— Ты видел, как я вчера летала?

Мутный сонный глаз открылся и захлопнулся.

— Ты видел?

— Ты дура тупая, отстань, я спать хочу!

— Видел? — прыг! — Видел? — прыг — Видел!!! — прыг! — натужно кричал панцирь.

Лотта Гесс (Лотта Сердюцкая) родилась в 1986 году в Биробиджане. Окончила областной колледж культуры и Литературный институт им.А.М.Горького. Печаталась в журнале «Знамя». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Жорка схватил Буку за плечи и затряс, как дюжий кондуктор тщедушного безбилетника.

— Больше никогда! Слышишь? Никогда так не делай, тупая, уродливая свинья, а то станешь такой же, как она! Ты уже такая! Я видел, как вы с Кристинкой показывали друг другу письки в коридоре!

— Ты врешь! Только тетя Соня видела, она никому не скажет!

— Видел! Видел! Видел! Тетя Соня — старая курва, старая вонючая падла! Папа вернется, и мы вас всех обоссим!

Жорка взбодрился и отправился завтракать. Бука лежала под трельяжем, всхлипывала и пускала длинные зеленые сопли.

Ночью маме снился такой сон. Кто-то пришел и сказал, что Бука умерла. А маме не в чем ее хоронить: Бука росла-росла-росла и к смерти выросла из всех колготок. Остались одни старые розовые гольфы. Мама достает их из шкафа, идет наряжать мертвые Букины ноги, а они такие длинные, что розовые гольфы выглядят как носки, и мама плачет-плачет-плачет, потому что перед соседями будет стыдно.

И Буке под трельяжем стыдно. Но еще ей жалко, невыносимо жалко — вот мужики несут по Озёрке красную бархатную лодочку с Букой; и Жора, и папа с мамой, и тетя Соня плачут-плачут-плачут, и Бука тихонько плачет потому, что не может их утешить: взять и вылезти из гроба — так нельзя, это нехорошо, залезь туда немедленно, грязная вонючая свинья, раз уж была добренька откинуть копыта.

— Бука, иди жри, а то льдом покроется! — Дверь лихо саданула, и деревянная лестница, содрогнувшись, как потрясенная скала, стала принимать обратно серые пылинки тишины.

Жрать не хотелось. Слезы высыхали, стягивали и щекотали щеки, но это было приятно. Время, как котенок, лежало с ней на ковре, смотрело в потолок и тоже думало: а может, меня вовсе нет? Вдруг — все это — просто злая сказка? Ведь не может же быть такой нелепицы — я лежу тут, в их бредовом пространстве, и что-то отсчитываю. Но что? И зачем?

Из расщелины шкафа остро потянуло Озёрной водой.

Глава 2. Озеро

Бука вошла в туман, как в дом. Где-то были стены, но они были далеко, и все они были внешние, немые. Она видела свои ноги, зацыпканные тощие ноги в коричневых сандалиях. Ноги шли по мягкой мокрой траве. Вокруг качались пухлые лиловые колокольчики сон-травы, нежно касались кожи. Китайские колокольчики сон-травы тихо звенели, повесив головки, пели про Императора-солнце, что никак не взойдет. Какие же вы глупыши, ведь вы не подымете головок, когда взойдет Император! Вы не посмеете взглянуть на него, вы замолчите от страха, что он сожжет ваши подданные головки! Туман вернее, он — ваша мать, он поит вас прохладным росистым молоком, дает вам слезы плакать по Императору, скрывает от жадных детских рук.

И когда я дойду до Озера, оно нежно прильнет к моему телу, и скроет его, а туман окутает голову, и никто-никто не увидит, куда я плыву — и не скажет — КАК это. Это будет никак — все, происходящее тайно, да будет — никак.

В траве сидел кузнечик. «Простите, вы не знаете — как пройти к Озеру?». Кузнечик задрал голову и обнаружил толстые рыжие усы.

— Да хрен его знает! Туман этот проклятый...

— Врете вы! Дурак, ничего не знаете — туман с Озером заодно, они вместе делают человеку Никак!

Кузнечик подло засмеялся, усы его нестерпимо засияли, как жестяная банка для червяков. У Буки заболело в глазах, и она проснулась на ковре, в круглом горячем пятне — это взошел Император.

Глава 3. Песок

Просторной северной кухней правила суровая боярыня Сковорода. Озёрное время подарило ей шершавый черный панцирь, и ни одна ничтожная щетка не могла лишить ее этих заслуженных доспехов. «Бу-у, марамойки! — гудела боярыня при очередной безуспешной атаке. — Сыми с меня шубу — дак кто я буду? Старуха без портов? Срамота!»

Но внутри она блестела серебряным морем. Архипелаг Яичница был усыпан зелеными голышами горошка, а одна горошина угодила в самый подернутый нежной пленкой ярко-оранжевый кратер. И если достать эту горошину языком, можно...

— Букенция! Букашо!! Бука-ан! — заорало снизу низкорослое желтогровое чудовище.

— Чо? — спросила Бука, высовываясь на полподоконника и прожевывая сразу почти весь архипелаг.

— Пошли ко мне! Хватит жрать. Бабка на рынок уползла.

— Щас.

Бука скрылась, но Степан заорал пуще прежнего:

— Бу-у-у-ук?

— Чо?

— Ты это... Киселя возьми.

— Щас.

За высоким степановским забором наливались розовым соком крупные прозрачные вишни. Выглядели и пахли они хорошо, и это было странно, потому что бабка Степановна любила кричать, что вскормила их своим потом и кровью.

— Стёп, а что значит «вскормить потом и кровью»?

— Не знаю. Она даже про меня так говорит. Что папа с мамой в командировках, а она меня... того. Ну, это она врет! Никакого я ее пота не ел, и вишни — тоже, так что жри, будь добренька, — ответил Стёпа с набитым розовой кисло-сладостью ртом, и они засмеялись.

Но у Буки пропал аппетит. И все вокруг как-то посерело и поскучнело.

— Император зашел...

— Какой еще Император?

— У меня в одной книжке написано, что солнце — это Император.

— Во ерунда.

— Я тоже так думаю. Император же делает, что хочет, когда хочет, а солнце появляется и пропадает, когда посмотрит на часы. Или когда тучи набегут, вот как сейчас...

Стёпа оторвался от вишен. Он лег в огромное черное колесо, зажевал травинку и устался на скученные серые облака. Они то закрывали солнце, то уносились от него, словно сами не знали, чего им надо. И когда на вишни падал широкий косой луч, ягоды блестели и переливались, а темные бархатные листочки освещались, как изнутри, и меняли цвет. Пахло нагретой резиной, сухими дровами и малосольными огурцами — от гигантских укропных зонтов вокруг колеса.

— Пошли в песочницу.

Бука, лежащая в другом колесе, была погружена в сосредоточенное безмыслие — она нюхала свою жизнь.

— Мы что — маленькие? И у меня все ведра и совки уже в сарае.

— Ну и дура. Не только маленькие лепят из песка. Мы с мамой были в Анапе прошлый год, так там кто только не лепил. Даже самые старые старики. И русалок, и замки, и вообще — города! И ведерки твои нафиг не нужны.

— Врешь...

— Я вру?! Это ты все-то врешь, всегда все врешь и сочиняешь, как Мюнхаузен, а я только чистую правдочку!

Буке надоело лежать, она вскочила, запрыгала вокруг колеса на одной ноге, повергая ниц потоковный укроп Степановны и кривляясь:

— Правдочка-правдочка, чистенькая правдочка, правдочка-корявдочка!

Стёпа перевернулся на живот, мостиком повиснув над дыркой колеса и вдыхая пряный резиновый дух.

Буке стало совестно. Она села на корточки рядом и осторожно погладила его по голове, отчего он нервно дернулся.

— Стё-о-оп... Стёп, ну я не нарочно, я больше не буду. Ну, пошли лепить, а? Только что? Может, снеговика?

Степан перевернулся и захохотал:

— Ты что? Какого еще снеговика из песка? Песковика, что ли?

— Сам ты песковика. Тогда я вообще ничего не буду лепить из твоего дерьмового песка.

— Ну ладно, Бук, слушай че. Мы будем лепить завод. Там же вообще просто: тяп-ляп, там же много маленьких и больших квадратных домов, забор и трубы, и все!

— Слу-у-ушай! А для главной трубы я возьму гирлянду из новогодней коробки, вот прикольно будет!

Загоревшись гирляндой, строители побежали было к Букиной двухэтажке напротив, но у самого подъезда Степан остановился и растерянно посмотрел в конец улицы. Там никого не было. Но могла появиться.

— Ты че, Стёп? Никто ж не видит. Ты же сам говорил, что она пока со всеми продавцами не полагается, ни одной морковки не купит.

Степан стоял, опустив голову и вычерчивая что-то сандалеточным носком.

— Ну ладно.

Бука пожала плечами и полетела по ступенькам.

Через час песочного кипенья, буренья, взрыхленья, через короткий, будто совсем не Озёрный, час, посреди сыпучих холмов вырос Папин завод. Не хватало только главной — самой толстой и высокой трубы, трубы, которая уже из мысленного полубытия взывала к волшебной черной проволоке, усеянной крохотными яркими лампочками.

Потому что все законченное да будет украшено.

Вечером вернется с работы веселый чумазый дядя Гена и, уже подъезжая на своем смешном муравье к дому, заметит крохотный осиянный желтым и красным завод и скажет:

— Во дела! Только я с работы, а она меня тут поджидает! И как это ты додумался до такой лампочной красоты?

И Стёпа скажет — это мы с Букой. Я придумал построить завод, а она придумала гирлянду. Ты скажи завтра дяде Толе — пусть возвращается домой, а то Бука плачет.

Стёпа и в самом деле никогда не врет.

— Кто будет строить трубу? Давай я. Мой же папа ее строил. И я гирлянду принесла.

— Так нечестно! Строил-то твой, а мой у него начальник. Не захотел бы — вообще никакой трубы бы не было!

— Ты что, дурак? Труба — самое главное! Не было бы трубы — не было бы завода! И твой папа никакой не был бы начальник, нигде!

— Сама дура! А папа твой — алкаш, мой его скоро уволит!

Буке стало плохо дышать. Она подняла ногу, раздавила завод, сошурив большие глаза до тоненьких яростных щелочек и, глядя прямо на побелевшего Стёпу, прошипела:

— Ты ссышься! Бабка твоя всем говорит — ссышься, ссышься по ночам!

— А ты — вы***док, — спокойно и густо сказала стоящая в трех метрах Степановна. — Стёпочка хоть и ссыкун, а своего отца сын.

Бука мельком взглянула на Степановну и врезала ее внуку так, что тот зашатался и заревел. Степановна зычно скомандовала:

— Вдарь ей, Стёпа! За волосы ее, суку, за патлы хватай! На руку намотай! Вот так! И рожей, рожей в песок! Рожей!

У Буки искры из глаз посыпались: так больно ей еще никогда не было. Она ослабела и упала в песок, а Степан, громко ревя, тыкал ее в руины завода, в желтое месиво, в страшную черную правдочку, и они оба рухнули и полетели в нее, и падали, испытывая нестерпимую боль, а далеко вверху, над самым краем, висела Степановна и отдаленно, но явственно громыкала:

— Так ее! Туда ее, тварь, попомнит мои вишни!

Глава 4. Клаустрофобия

Хотя гром недвусмысленно прочищал горло где-то над близкими сараями, а по радиоволнам шел на разрыв Высоцкий, тетя Соня слышала и рев, и вопли, и проклятия: адская симфония исполнялась напротив ее кухонного окна. В ту же минуту, что она выскочила за дверь, раздался оглушительный треск и хлынул теплый проливной дождь. При появлении тети Сони Степановна охнула и тяжело отпрыгнула за калитку.

— Приперлась, жидовская харя, внученьку выручать? Твоя-а-а, твоя-а-а внученька-то, патлы черные, тощая, как веревка! Исашкина работа! Исашкина работа Толяну-обалдую привалила, Исашкина, земля ему прахом!

Тетя Соня подхватила под мышку одичалую Буку и, сделав пару затяжек, кинула беломорину в степановскую калитку. И сказала, уходя:

— Ты лжешь, безумная.

— Ой! — надрывалась вслед Степановна, не выходя из-за калитки. — Ой, бляха, актриса с погорелого театра! Большую ты пенсию в своем театре заработала? Не зря сиськами трясла? Или у тебя по ночам в примерке была главная роль?

Безумная Степановна еще долго, должно быть, поливала тетю Соню помоями, но они уже ничего не слышали. Бука лежала на красивой пухлой софе в северной комнате и колотилась под всеми тремя одеялами. Тетя Соня уже вымыла ее в ванне, мягко вытерла и обрядила в длинную белую ночнушку. Но Буке было грязно, холодно и мокро.

— Тетя Соня, она врёт?

— Врет, врёт, — успокоительно сказала тетя Соня. — Все врёт.

— И ты?

— Я? Я — нет. Я играю, — тетя Соня улыбнулась и закурила, отойдя, и опустилась в кресло-качалку.

— Значит, тебе можно врать?

— Нет, малыш. Мне нельзя больше, чем кому бы то ни было.

— А мне — можно?

— Тебе можно фантазировать. Что ты и делаешь. Это хорошо, но требует осторожности. Есть опасность — перепутаться в правде и выдумке и остаться между двумя мирами.

— Миров не два.

— Кто тебе сказал?

— Ты.

— С тобой с ума сойдешь, философ.

В коридоре зазвонил телефон, и тетя Соня пошла отвечать.

— Я сейчас вернусь, лежи, будь добренька.

Но если очень долго быть добренькой, можно соскучиться. Недавно вернувшееся Озёрное время обнаружило себя, потянувшись, как осенняя стая, как ночной вой, как инвалидный баян.

— Брысь! — прошептала ему Бука. — Как же ты мне надоело.

С осторожным стуком она открыла белую деревянную раму и села на подоконник, свесив босые ноги в теплый грибной дождь, в крошечный край-сад, в пьяный земной дух.

Далеко-далеко голубела полоска неба, катился едва слышный игрушечный поезд, зеленело чисто поле. Ближе блестели белой жестью гаражи, мокли некрашенные сараи и пузырилась сплошь поросшая аптечной ромашкой земля. Совсем близко росла старая коричневая липа. Липа росла всю Букину жизнь. Поэтому она не умирала, хоть и была стара, как притча.

Под липой росли белые цветы — клаустрофобии. Однажды вечером Буке захотелось полакомиться нектаром, и она залетела в самую крупную и ароматную клаустрофобию. Нектар был на вкус почище шоколадной пасты и бубльгума, и Бука так нажралась, что не могла встать. В те минуты она, помнится, жалела, что Степана нет рядом. Она лежала, блаженно растянувшись на плотном нежном лепестке и подумывала, что это отличное убежище от котов и птиц, и здесь можно неплохо вздремнуть.

А пробуждение было одним из самых страшных в жизни — внутри туго сомкнувшегося кокона лепестков, без воздуха, без света и звука. Она стала биться в резиновые стены, но они мягко отбрасывали ее невесомое тело назад, и все билась и кричала, но даже сама себя не слышала. Папа спас ее: он обманул клаустрофобию, близко-близко поднес ночник, и дура-клаустрофобия, подумав, что это Император, раскрыла свои предательские лепестки.

Бука вцепилась в папу руками и ногами и долго плакала, не умея вымолвить ни слова. Потом спросила: Как ты узнал, что я там?

Папа улыбался и гладил взъерошенную букину макушку. — Ааа, ты увидел, что она качается, да? Что она раскачивается, когда я в нее снутри бьюсь? Да?

— Да, малыш. Я сразу это понял и побежал к тебе.

— И как ты догадался с лампой! Ты, папочка, самый умный в мирах.

Но это было очень давно. А сейчас Бука грустно поглядела на них и сказала:

— Вы злые и глупые. Ваша красота предает бабочек... Хотя бабочки сами шишанутые — лезть в пасть смерти ради какого-то паршивого нектара... У них, небось, и пап-то нету.

Бука перевела взгляд и обнаружила: дождь кончился, а к липе привалился мокрый побитый Степан. Он глядел себе под ноги и молчал.

Глава 5. *Велосипед*

— Пришел?

Степан кивнул.

— Че скажешь?

— Я скотина тупая.

— Еще?

— Гнида подзаборная.

— Еще?

— Еще лампочки бы не горели... — в голосе его булькали слезы... — Удлините-ль бы... не хватило все равно... Бу-у-ука....

Он сполз по стволу на землю, закрыл лицо руками и зарыдал.

Бука спрыгнула в сад, встала на колени и крепко прижала его голову к лицу.

— Стёпочка, я наврала... Она не всем говорит, только твоей маме, я случайно услышала... я больше никогда... я тоже иногда по ночам... ты хороший, это я свинья, и скотина, и гнида шизанутая, слышишь?

— Нет!

Тетя Соня тихонечко отошла от окна и прокралась на кухню — жарить яблочные пирожки примирения.

* * *

Стёпа потянул ее за руку:

— Пошли.

Голос его уже не булькал, а подрагивал, а зареванное лицо просияло:

— Пошли скорей!

— Куда?

— На кудыкину гору! Я велик пригнал — там, на углу стоит.

— Но я же не умею! И бабка...

— Да пошла она в пень! Она с сердцем лежит, притворяется, как всегда. Я же обещал, что научу!

Они взялись за руки и побежали на угол, туда, где привалился к стене новенький красный «Пионер». Он оказался ужасно своенравный — Стёпа держал его изо всех сил, а Бука все равно через два метра сваливалась и набивала шишки. Ночнушку пришлось снять — она спутывала и без того неуклюжие, робкие ноги.

— Ну ты что, как маленькая? Ты же не трусиха! Вот че! Залезай и вцепляйся в руль. Прямо его держи! Я тебя до дороги довезу, а там — айда под наклончик! Сам повезет!

— Под какой еще наклончик?

— Под тот, что к трассе поворачивает. Он самый чутошный, и далеко вообще до трассы! А тормозить ты умеешь. Зато равновесие почувствуешь, это самое главное. Ну?

— Ну... — согласилась Бука не очень уверенно. — Ну давай.

— Да не ссы в трусы! На тебе же больше ничего нету, кроме них, — пошутил Степа и получил по шее.

После чего потащил велосипед с Букой к наклончику.

Небо уже совсем поголубело, и даже начало наливаться здоровой глубокой синевой. Солнце светило так, будто бы извинялось за недоразумение — лакировало булыжники и гальку Озёрных дворов, старательно сушило забытое на веревках белье, осыпало сотнями крохотных алмазов даже самый горемычный придорожный куст. Все дома-двухэтажки по одной стороне, и частные по другой — будто умылись, а теперь еще и согрелись, и поблескивали стеклами, как именинники.

Стёпа остановился и отдал последние указания.

— Значит так. Ничего не боисься. Держишь руль. Педали можешь не крутить, но ноги на них держи. Через сто метров примерно тормози. Все поняла?

— Поняла.

— И еще...

— Чего еще?

— Я тебя люблю, вот чего.

И земля выплыла у нее из-под ног. Все вокруг полетело вместе с ней, ровно, уверенно, легко, как будто освободилось, наконец, от тягучего Озёрного времени, которое бежало вдогонку и кричало: «Это нехорошо! Так нельзя! Слезь оттуда немедленно!» — Бука хохотала над его посрамлением, и бетонные стены по одну сторону спуска, а высокие сосны — по другую хохотали вместе с ней, и не было конца этому веселью, потому что конец — торжество времени, а где нет времени, да не будет никаких паршивых концов.

Примерно метров через сто до нее дошли последние слова Стёпы, и она в изумлении обернулась через плечо. Стёпа быстро бежал вслед и кричал:

— Тормози! Тормози!

Бука изо всех сил нажала на педали, но они беспомощно прокрутились назад.

— Не могу!

— Тогда сворачивай! Бу-у-у-ка!

Она оцепенела, посмотрев вперед: у недалекого конца бетонной стены, почти у самой трассы, стояло Озёрное время и неодобрительно покачивало головой, так медленно, будто наверстывало украденное Букой. Потом оно указало пальцем на наручные часы и отошло в сторону, театрально приглашая кого-то. Из-за стены торжественно выехал веселый оранжевый «Камаз».

Глава 6. Император

Бука сидит на простых деревянных качелях, держась за канаты и слегка покачиваясь. Странно только то, что ноги качелей все время растут и постепенно уносят ее вверх. Озёрка, трасса, Стёпа, «Камаз» — все становится маленьким, ненастоящим, а времени и вовсе не видно — ни там, ни здесь — среди нежной синевы и пушистых белых облаков. Хорошо и спокойно, почему-то пахнет сон-травой, хотя на земле у нее вовсе нет никакого запаха. Бука понимает, что может сойти и пробежаться по облакам, но пока не хочет: на качелях удобно. Качели останавливаются напротив большого белого облака, из которого исходит какое-то неземное сияние. «Конечно, неземное, дурачок, ты что — на Земле?» — говорит себе Бука и тихонько смеется.

Сияние тоже... будто смеется.

— Ты — Император?

— Ну, какой я тебе Император. — Хочешь — возвращайся, а хочешь — оставайся здесь. Человеку всегда лучше там, откуда он.

Бука улыбается, но тут же сдвигает брови.

— Зачем ты выжигашь цветы?

— Я не выжигаю. Я создал их, грею и ласкаю. Выжигает их жажда.

Сияющий луч мягко проводит по ее лбу, разглаживая упрямую складку. Бука догадывается:

— Я тоже цветок?

— Тоже.

— И ты не будешь меня выжигать?

— Ты где-то видишь паяльную лампу?

Этого Бука совсем не ожидала и громко рассмеялась.

— Ты шутишь совсем, как папа. Но знаешь больше. Скажи, пожалуйста, как обмануть время?

— Не обманывай его, и тогда оно тебя не обманет. Вот и все.

— А что такое правда? Она есть?

— Есть, Бука. Правда — это когда любишь.

Бука немного раздумывает и говорит:

— Тогда я пока пойду туда. А потом мы вместе к тебе придем. Если... можно.

— Ты хорошо знаешь, что все, чего по-настоящему хочешь, — можно.

— Как это — «по-настоящему»?

— Значит — сердцем. Сердце не хочет зла.

— Знаю, — кивает Бука, — оно от него болит. Ты опять говоришь, как папа... это ты меня тогда спас от клаустрофобии? — осеняет ее.

— Мы вместе. Я всегда с тем, кто любит.

— С тобой хорошо, Император, — серьезно говорит Бука. — Я им всем расскажу, как быть с тобой.

— Они не поверят тебе. Они думают, это очень сложно. Но я буду рад, если ты постарайся. И еще я хотел тебя кое о чем попросить.

— О чем?

— Никогда не думай, что тебя нет. Сказать так — все равно, что сказать, будто меня нет. Это, честно говоря, немножко обидно.

Бука задумывается.

— И наоборот?

— И наоборот. Сама ты, Бука, самая умная в мирах!

Бука смеется и отвечает:

— Это оттого, что я вся в тебя. Я обещаю, обещаю больше никогда не думать, будто меня нет! Я теперь точно знаю — я — есть!

Глава 7. Я есть

Бука проснулась, но не открыла глаза. Во рту перекатывались две бусинки, и, как это часто с ней бывало, она не могла вспомнить — откуда они там взялись. «Я есть... я есть... я есть... ну, это правда, и чего?» И вдруг поняла:

— Ма-ама... Мам, я есть хочу!

Мама заплакала и сказала:

— Слава Богу!

Лес или книга

«Говорят, память похожа на лес, — подумала Бука и посмотрела в потолок. — да, г о в о р я т. Еще говорят — впереди леса нет. Он вырастает за тобой следом, когда ты просыпаешься утром и делаешь разные вещи. Чистишь зубы — вырастает травинка, помогаешь маме — красивый куст, получаешь щелбан от Жорки — колючая корявая ёлка. А ночью, когда ты не можешь делать вещей, ты остаешься в этом лесу один, и лучше бы тебе поскорее уснуть, потому что травинки и кусты почти не видны, а жуткие ёлки машут лапами и тянутся за тобой, как будто хотят задушить».

На самом деле никто так, конечно, не говорил. Но Буке было приятно всюду прибавлять эти слова — говорят, пишут, считается, а самое лучшее — «по мнению ученых». Эти слова утяжеляли ее собственные, ничтожные и глупые, которым никто никогда не поверит, над которыми можно смеяться сколько влезет. И получалась — речь, впереди идет мощное, солидное и внушительное, как завуч Валентина Павловна, «говорят», и никто никогда не посмеет ему перечить, боясь, как бы самому не оказаться глупым, ничтожным и смешным.

На потолке качались голые черные ветки. Бука забралась с головой под одеяло и попыталась найти хоть какую-нибудь завалящую березку или багульник, чтобы укрыться под ними до утра. Но внезапно на пути оказалась мысль «завтра в школу», Бука споткнулась об нее, как об огромную корягу, и полетела вниз головой в дремучую пропасть сна.

Летела она медленно и недолго — рядом прорисовался силуэт Жорки, схватил ее за руку, затянул наверх и громко зашептал: «Букаш... пошли, Букаш. Ты нам нужна».

— Кому это вам? — спросонья не поняла Бука. Она забыла, что у Жорки часто оставался поночевать и поиграть в приставку Сашок Голубев, и сегодня тоже. — А-а... А зачем?

— Мы играем в доктора. Нам нужен этот... пацэнт. Я доктор, а Сашок помощник, а пацэнта нет, понимаешь? Поможешь?

— Угу...

Толком не понимая, зачем Жорка и Сашок играют ночью, да еще и в доктора, когда они такие большие, Бука понимала, что голос Жорки звучит ласково, чего она никак не могла припомнить раньше. И она может им помочь. Которую днем только вышвыривают из-под ног, как помоечного кота. Они тихонько прокрались по залу, в котором после суток спала мама, и зашли в Жоркин «бункер». Там у Сашка было уже все готово, но он был сильно бледный и как-то суетился глазами. Над кроватью наклонилась большая круглая лампа, а посреди кровати лежала большая белая подушка и куча карандашей — больших и маленьких. Жорка сказал:

— Снимай трусы и ложись.

— Зачем трусы?

— Затем, что надо слушаться доктора, Бучочек.

Бука стеснялась Сашка, но сделала, как просили. Теперь она лежала под лампой, и лицо у нее было очень красное.

— Сашко, давай я буду лампу держать, а ты — карандаш, — доброжелательно сказал Жорка.

— А чё сразу я? — начал Сашок, и осёкся под Жоркиным взглядом. — Ладно. Только давай сначала посмотрим.

И они поднесли лампу совсем близко, туда, где раньше были трусы. Бука очень удивилась: в лицах обоих мальчиков было странное и жуткое выражение необычайного интереса и еще чего-то, и у них открылись рты, как у мертвых карасей.

— А где волоса? — спросил Сашок, сглатывая сухую слюну.

— Ты чё — дебил? Ей же десять лет.

Бука села и сильно наклонилась, пытаясь рассмотреть, что они там увидели. Но ничего необычного не было. Ей стало стыдно и страшно.

— Что там? Я что — болею?

— Букашечка, да не бойся! Ты немножко болеешь, мы сейчас тебя вылечим, только лежи спокойно, не двигайся. — Давай, Сашко.

Сашко неуверенно взял карандаш и стал его засовывать. Бука закричала от боли, но Жорка вовремя придавил ее второй подушкой. Жорка был старше на четыре года и здоровый, как лось, но от страха в Буке проснулись дикие силы, она вырвалась и побежала в комнату, и только там, зарывшись под одеяло, заплакала. В голове стучалось сердце и страшная мысль — что, если мама узнает?

Жорка просунул голову в дверь и громко прошептал:

— Хана тебе, если она узнает.

* * *

— Дочь, ты что такая бледная? Не выпалась? Опять, небось, в туалете читала? Не доведут тебя до добра эти читочки, и так уже ничего не видишь со второй парты. Положить еще оладушек?

— Не, ма, я пошла. Спасибо.

— На здоровье, цыпленочек. Пойду нашего фашиста разбужу, а то Сашок уже давно ушел, а этот дрыхнет. Был бы жив отец, уж всыпал бы ему вдоль вонища, а так... Жора! Жорес, хватит вылеживаться! Ты, ирод, в школу пойдешь когда-нибудь или нет? Или это я опять пойду в детскую комнату милиции позориться?

Бука надела ранец, села в прихожей и стала медленно шнуровать ботинки. Сейчас Жорка будет материться, а потом все равно никуда не пойдет. Она знала, что он больше никогда не пойдет в школу, потому что там скучно и там он всех презирает.

У нее было наоборот.

* * *

Снег на темной утренней улице шел наоборот. Его выдувало из асфальтовых трещин, заметало змейкой, сыпало в лицо. Бука шла, не поднимая головы, по старому

знакомому маршруту и пыталась понять, что это за «ло», которое совершает все эти действия. И потом, когда оно утихнет и ляжет спать, окажется ли оно в лесу своей памяти, и как будут выглядеть его деревья? Не будет ли ему стыдно за то, что оно мешает... И тут она поняла, что Ло — это Ветер. Что у всякого Ло или Лось есть свое имя... существительное, но людям, наверное, проще называть его коротко или вовсе не называть, чтобы... меньше думать? Показывать ему презрение? Какая разница ветру, что думают о нем люди... И нет у него леса памяти, я слышала, как он засыпает и как спит, и можно сказать совершенно определенно — Ветру хорошо.

— Говорят, Ветру хорошо... — неслышно для себя произнесла она вслух.

В ответ всё вокруг громко засмеялось.

— Чё-чё? Ой, не могу! Слышь, чё шизанутая гонит! А-ха-ха-а-а!

— Это тебе мамочка такой четкий свитер связала, да? Блин, пацаны, отвечаю, это ей мамочка связала!

— Или бабуля! А-ха-ха-а-а-а! Дашь погонять, длинная?

— На дискач сходить!!

Вокруг носились птицы враждебного смеха, били по плечам, дергали за хвост. Бука увидела, что она стоит на лестнице, закрывает одной рукой желтые вязаные розы на свитере, а другой — очки, потому, что их могли разбить, а на новые у мамы нет денег. Люди не пропускали ее, а ждали, пока она разозлится. В этот раз она совсем не злилась, но понимала, что сейчас прозвенит звонок и надо быть в классе. Тогда она набрала полные легкие воздуха и оглушительно заорала:

— Пошли во-о-о-о-он!

Крик смешался со звонком и воплями человеческого восторга. Лестница быстро опустела, и Бука понеслась наверх.

* * *

Уроки — благословенное время. Обстоятельства сжимали людей в тиски и усаживали за узкие низкие парты. Первое время людям было плохо, они томились. Потом — кто как. Отличники относительно быстро включались в процесс, средняки тренировали характер, влекущий их взоры и сердца на «камчатку», «камчатка» медленно смирялась и затевала карточные битвы, морские бои или футбол ластиком, словом, употребляла все силы на примирение с ненавистными обстоятельствами. Это тоже было полезно. Изредка кому-нибудь в ухо прилетала бумажная пуля.

Бука блаженствовала. Время, которое большинство ее одноклассников воспринимало, как крестьяне — барщину, было для нее временем освобождения и примирения. Если был урок истории, географии или литературы, время вообще исчезало. Лес памяти за спиной превращался в диковинный сад: там вырастали краснокожие марокканские апельсины, Красные и Белые розы, изобильные яснополянские яблони, маслянистые желтые купальницы окских излучин.

Исключение составляли уроки математики. Угрюмая и невнятная поросль цифр на доске стлалась, что характерно, впереди коварной карельской березкой — в ней вязли ноги, Бука спотыкалась и продиралась сквозь нее только напряженным усилием воли. Поминутно накатывали тоска и отупение. Но и это было неплохо: она лучше понимала своих одноклассников, смотрела в их тоже по большей части унылые и страдальческие лица и видела каждого по отдельности; приходило странное, горько-приятное чувство братства.

Но звенел звонок, и этому иллюзорному братству приходил конец. Восстанавливалось нерушимое братство всех против одного — «братство во Иуде», как шутила маленькая старушка-историчка. На перемене лучше всего было сидеть себе за партой и не высовываться. Донимавших ее одноклассников и мелюзгу из начальной Бука не очень боялась. В какой-то момент надо было просто подыграть им — взрывать буйно-помешанным медведем и сделать вид, что ты их сейчас сожрешь. Конечно, они

говорили обидные слова и норовили напакостить, но Бука смирилась с этим во избежание более серьезных проблем. После исполнения ритуала к ней на время теряли интерес.

Главное — не попадаться на глаза Калгану и компании. Когда Жорка еще ходил в школу, Калган был его лучшим другом — они вместе отнимали у мелюзги деньги, били опущенных и ходили на стрелки. Буке жилось гораздо спокойнее, и даже бумажная пуля, пущенная ей в ухо на уроке, означала только внутриклассовое равноправие. Когда Жорка ушел, Калган развернулся и стал единоличным властителем невеселых дум несчастной мелюзги и завуча Валентины Павловны. Жорка с друзьями переключился на улицы района и продуктовые склады, но по-прежнему претендовал на половину денег, вырученных Калганом в родной школе. Возмущавший Калган оказался против, и Жорка поставил его на счетчик. Завязалась лютая вражда.

Дерево их вражды пускало корни по горизонтали. Не стоило оборачиваться, чтобы убедиться, что зловещий побег тут как тут. Он поблескивал шипами и ядовито отплевывался, но пока держал нейтралитет.

* * *

Как обычно, после уроков Бука зашла в библиотеку. Библиотекарь заменила старые книжки на новые, выбранные почти бездумно.

— Леночка, ты же уже брала Гофмана?

— Угу.

— Так зачем он тебе опять?

— Так. Чтобы помнить.

На самом деле Бука не заметила, что снова взяла уже читанную книгу, но была рада. Если перечитываешь хорошее, возвращаешься в свой старый лес, туда, где было хорошо. Это можно только с книгой. Там остается все как прежде. А если будешь читать без перерыва, позади тебя может вырасти непрерывный сказочный мир. Если не давать времени своим деревьям, которые вырастут неизвестно какими, и чужим, которые вообще вырастают без спроса.

Она не знала, чьего появления боится больше. На улице сильно похолодало.

— Говорят, тебя собственный братец отчпокал, очкастая? Как, понравилось? Еще, наверно, хочешь?

Четверо загоготали и застонали на разные высокие голоса. Калган поигрывал ножиком и смотрел на нее, как на голую. У Буки брызнули слезы и перехватило горло от страха, но она крикнула:

— Ты дурак! Врешь!

— Да ла-адно, нам Голубок все на хвостике принес! Теперь коробочка открытая, че уж там ерепениться, цыпленочек!

Гогот усилился, и кольцо вокруг Буки сжалось. Она поняла, что нужно прорвать его прямо сейчас, наклонилась и рванула на таран, туда, где стоял самый маленький и тощий семиклассник Шкет. Шкет, неожиданно и мощно боднутый в живот, охнул и сложился пополам. При этом с Буки слетели очки, и она побежала, не разбирая дороги, к узкому проходу между гаражами.

— Ах ты, сука! — изумился Калган, — держи ее, ребя!!

Но Бука недаром была выше всех в классе. Не пробежав нескольких метров до большой улицы, калгановские оставили ее. Только разъяренный Шкет непонятно как успел дать очень сильного пинка перед тем, как она, поскользнувшись, упала на тротуар.

* * *

«Значит, в самом начале я стояла в пустой полосе. Ни до, ни после меня ничего не росло. Потом я сделала первый шаг, и пошло. Пошло расти. Значит, теперь надо

идти назад. Как будто переворачиваешь страницы наоборот, с последней до первой... Как будто это книга? Это книга или лес? Всё равно. Надо выбираться».

Бука лежала в горячей ванной. Ныли разбитые коленки, сильно болел копчик, и перед глазами трескалось пространство, тонкие черные линии расплзались одна от другой. Но она мало обращала на это внимание — она листала страницы и отходила назад. Важно было ничего не забыть, забытое слово-дерево могло приманить тебя снова вперед, отложить и запутать возвращение.

Когда она добралась до последнего воспоминания, вода в ванной уже совсем остыла. Зато исчезли черные трещины, стало возможным даже разглядеть маленькое пятнышко ржавчины над тем концом ванной, куда упирались ноги. Она стала неотрывно смотреть на пятнышко и говорить внятно, медленно и раздельно: «Дальше я ничего не помню. Меня больше нет».

* * *

Очнулась она от боли. Какая-то женщина, громко плача, била ее по щекам и кричала: «Лена!!! Лена!!!» Какая еще Лена? Бука ничего не понимала и с изумлением оглядывалась — вокруг была комната. Знакомая и незнакомая. Если сильно приглядеться, женщина тоже была знакомая. В комнату вошли двое в белом и спросили, что случилось.

— Я захожу — она лежит, глаза открытые, рот открытый, синяя вся. В ледяной воде! Что это с ней? Она придет в себя? Она нас слышит? Доченька, ты нас слышишь?!

Потом ей поставили укол, и, прежде чем полностью провалиться в белую вату, она с отвращением вспомнила, кто такая Лена.

* * *

Прошла уже почти неделя, а мама все не приходила. Бука старалась не плакать, потому, что маленькой Ирке, соседке по палате, начали давать в два раза больше таблеток оттого, что она начала денно и ночью реветь. Теперь Ирка денно и ночью спала. Но Ирка была детдомовская, ей было некого ждать, а Бука боялась проспать маму. Она боялась этого так, что уже даже не могла уснуть ночью. Просто сидела в темноте и не оглядывалась на притихший за плечами лес. Она прошла его туда и обратно, и он ей опротивел.

Вдруг послышалось приглушенное, но отчетливое хлопанье носом.

— Ир?

— Че... чего?

— Чё ты реवेशь?

— Я пи-и-сать хочу.

— Так сходи.

— Медсестра там на посту... она ругает, когда ночью ходят...

— Писай, значит, в кровать.

— У-у-у-у-у-у....

— Нет, послушай, ты писай! Санитарка же тетя Маша, она хорошая. Не будет на тебя ругаться.

— Завтра разве тетя Маша?

— Ну. Давай.

Через некоторое время Ирка облегченно вздохнула.

— Ир? Расскажи про свое самое страшное воспоминание.

Ирка немного помолчала, а потом высморкалась.

— Я тут же лежала, в этой больнице, летом. Только в другой палате. И мне опять ночью писать захотелось сильно. Я хотела прокрасться, чтобы медсестра не заметила, а потом увидела, что она вообще спит. И пошла. Подхожу, а там это...

— Что?

— Там же дерево растет рядом с окном, ветки почти в форточку залазят. И туда прилетела кукушка и начала орать человеческим голосом. Прямо в окно. И я боялась, что все сейчас проснутся, и медсестра, и все. Даже в ушах зазвенело от ее кукуканья. Но я-то писать так хочу, что могу прямо возле туалета... И я зашла. И сделала. А она была там и кричала, как будто хотела влететь. Вот. Может, это вообще была не кукушка.

— Конечно кукушка, глупыш. Ты молодец, что туда зашла. А то была бы трусихой.

— Я и сейчас трусиха.

— Нет, ты не трусиха, а плакса. И я тебе сейчас кое-что расскажу, чтобы ты больше не плакала. Хорошо?

— Ага.

— В другом мире есть большая-большая равнина без леса. Там растет только одно огромное Дерево — посередине. Вдалеке по краям равнины стоят прекрасные дома с садами, в них во всех живут садовники со своими семьями, и каждому живущему там хорошо. Они любят свои растения, и растения, чувствуя это, дают сторичный плод.

— Какой?

— Сторичный. Значит, в сто раз больше, чем могли бы. Не мешай. Все поле засеяно золотистой пшеницей. Жители растят ее вместе, и она приносит хороший урожай. Его всегда делят поровну, но только после того, как прилетает Большая Птица. Большая Птица прилетает один раз в год, как раз перед жатвой. Она садится на Дерево и ждет наступления ночи. В этот вечер все зажигают свечи и лампы на верандах, а малышей не отправляют спать. Весь мир молчит, и к двенадцати часам даже самый распоследний кузнечик замолкает в ожидании.

В полночь Птица начинает петь. И клянусь тебе Богом, что никто из смертных никогда не слышал такого пения. Высоко в небе на облаке лежит луна и не может оторвать глаз от той самой высокой и красивой ветки, на которой поет птица, и не может сдерживать слез. Слезы луны превращаются в жемчуг и падают в пшеницу. Люди, звери и насекомые тоже плачут. Но они плачут не так, как ты из-за кукушки. Это слезы сострадания, горькие, но целебные. Целый год птица, невидимая, летала по Земле и слышала, как плачут живые, как бьют маленьких и больших, как у малыша сбивают собаку, как водитель не успевает приехать и у него умирает жена, как плачут на помойках брошенные коты и те, чью маму уводят в тюрьму. Целый год зреет у нее песня, и когда чаша ее скорби переполнится, она прилетает в тот мир и поет обо всем, что видела, и голос ее слаще ирисок и грустнее колокольчиков. Потом она слетает вниз и начинает клевать пшеницу. И от каждого съеденного ею зерна чье-то земное сердце утешается, малышу снятся волшебные сны, а котка находит и берет домой добрый человек. Но хоть птица и очень большая, она не может склевать столько, чтобы утешить всех на Земле. Кто-то не получает утешения.

— Кто?

— Тот, кто не простил обидчика. Кто отомстил. И кто решил больше не жить.

— А потом?

— Потом птица залетает в дупло и ложится спать. Ей нужно отдохнуть, ведь впереди целый год. Луна засыпает на облаке. Взрослые укладывают малышей и тоже ложатся спать. Только лунные жемчужины поблескивают среди золотой пшеницы.

— А куда они потом деваются?

— Женщины собирают их утром и делают ожерелье. Оно достается первой девочке, родившейся после этого.

— Что это за девочка?

— Девочка, которая раньше жила на Земле и очень много плакала от горя. Когда она рождается там, она все забывает, у нее есть мама, папа, братья и сестры. Сад, качели, куклы, шоколадки. Все, понимаешь? Только ожерелье на ее шее напоминает всем вокруг, что нельзя делать зла. У тебя тоже такое будет. Спи.

* * *

Утром сонная Бука тащи́лась в умывалку, и вдруг услышала несравненный, самый прекрасный запах в мире — запах маминых духов.

— Мама!

Она пронеслась по коридору, едва касаясь линолеума, и обняла маму что есть мочи. Еще от нее пахло снегом и грушами. Она плакала, но не так, что рада видеть Буку. Ее большие красивые глаза были все красные и опухшие. Она плакала давно.

— Что, мам?

— Ничего, глупыш, на грушу.

Бука села рядом на пуф и крепко обняла маму. Другой рукой она держала сочную желтую грушу.

— Почему ты так долго не приезжала?

Мама пошарила в сумке и вынула Букины очки — треснувшая оправа была аккуратно обмотана черной изолентой.

— Это тебе Жорка передал. Его в тюрьму посадили.

Она зажала себе рот рукой, чтобы не зарыдать в голос. Бука надела очки и посмотрела в окно — снег шел так медленно, ровно и густо, что даже в них невозможно было разглядеть ни одного дерева.

Линия антарктической конвергенции

«Границу проводят по линии схождения теплых и холодных поверхностных вод...» — было написано в папином журнале, а рядом — отметка синей ручкой — 48-60°С. Журнал был очень старый, Бука была очень молодая, а папы уже не было. Она вытащила ластик и посмотрела на свет: синева в папиной ручке тоже скоро должна была закончиться. Бука пожалела, что записывала этой ручкой слишком много ерунды и решила, что отныне этой ручкой будет записываться только то, чего еще никто никогда не записывал. Например, ее завещание. Она легла на старую карту на полу и начала писать черновик — пальцем в воздухе.

— Бук?

— Чего?

— Всё нормально?

— Ну да, а чего?

— Мне показалось, ты тут с кем-то разговариваешь.

— Не, я просто думаю. Мам, а я скоро выйду на пенсию?

Мама засмеялась.

— Не скоро, глупыш. Что это тебе взбренило?

— Жаль. Я бы вышла. В школу не ходить.

— Ты и так не ходишь, каникулы же. Можешь считать, что уже вышла, понарошку...

— Понарошку — это отстой.

— Где ты такое дурацкое слово откопала? Вроде, Жорка уже год, как сидит. Все Юлька твоя, бичушка. Баба Тома говорит, что она уже курит.

— Баба Тома сама курит.

— Знаешь что? Баба Тома уже на пенсии, может делать, что хочет.

— Вот я и говорю.

Мама снова засмеялась.

— Ох, горяшко, чего только у тебя в голове ни понапихано. То про какую-то конвергенцию бубнишь, то про пенсию, то про отстой. Вся в папочку.

— Кон-вер-ген-ции. Ли-ни-я ан-тар-кти-чес-кой.

— Пошли, вишню поможешь чистить, конвергенция. А то будет тебе отстой, а не варенье.

* * *

Вишня была рыночная — черная и сладкая. Такой можно съесть тонну и не объесться.

— Ну-ну, не налегай. Надо Жорке хоть баночку передать. Я тебе потом пенку дам, съешь. Только сначала на торгашку сходишь? Я пока сварю, а ты полтора-два часика посидишь, да?

Бука приуныла.

— Дочь, ну надо. Ты уже большая, понимать должна. Кто нам что...

— Да знаю, знаю.

Иногда Буке и вправду казалось, что она уже не то что даже большая, а очень старая: так много она знала. Что зарплату задерживают, что за квартиру давно не заплачено, а ее надо собирать в школу, а Жорку без сигарет тоже не оставишь, а в собесе сидят одни скоты.

А на ветке рябиновой сидят одни дрозды. Пестрые дрозды с бусиничными глазами — с хохолком и гонорком, сытым рябиновым говорком. Им плевать на собес — рябиновой косточкой. А я сижу в лодке. Или лежу. Я плыву с самого мыса Доброй Надежды, Надежды на Чудо, и надеюсь, что вот-вот увижу Линию Ан...

— Сдачу возьми на всякий случай.

Бука ссыпала в карман мелочь, взяла алюминиевый тазик, складной стульчик и большой пакет с семечками — где-то внутри него утопи мерные стаканы, как смешные стеклянные суда, посмеившие выйти в открытый океан с Мыса Доброй Надежды.

* * *

Неподалеку от автобусной остановки стоял киоск «Союзпечать». Неподалеку от «Союзпечати» стоял овощной ящик, и на нем — на толстой мокрой кипе газет — два жирных хариуса, щука и ведерко с мелкими карасями. В тени «Союзпечати» сидел на корточках маленький, седой и лохматый дед Костя. Он считал выручку на ладонях и довольно хихикал.

— Привет, дед Кость.

— Внуча! А я тебя жду-пожду, думаю, где там моя спасительница. Я ж с утра маковой росинки не брал, видала, каких голубей споймал? А бабка моя где-то тут шмыряет, житья не дает, весь уж семью потами изошел. Выручишь? Я мигом!

— Давай. Только ты, правда, мигом, а не как в прошлый раз.

— Что ты! Что ты! Я тока писярик опрокину и мигом сюда!

Дед Костя подобрался и побежал в переулок, как молодой. Даже хромота куда-то подевалась.

— Деда! А хариусов — почему?

— По двадцатке, внуч! — прокричал он уже из-за поворота. — Бабка наказывала по двадцатке, не меньше!

Ничего такого бабка, конечно, не наказывала. Хариусы, хоть и жирные, как поросята, лежали на июльском солнцепеке с утра, а сейчас обед, и тень на «Союзпечать» легла совсем недавно. Серебристые жабры речных поросят заметно потускнели, и больше пятнадцати рублей за них нынче никто не даст. Но дед Костя хотел навариться и сэкономить на маковые росинки втихушку от бабы Тома. Вот что делает с человеком жажда.

А пахло хорошо. Над киоском нависла старинная медовая липа, от рыбы шел вкусный речной дух, «пазики», подъезжая к остановке, источали горячий бензиновый дурман. Парил асфальт, и очень подходил к нему сытный густой запах жареных семечек. Погодка что надо... для мыса Доброй Надежды. Для того, чтобы отчалить от его раскаленных берегов.

Бука высыпала семечки в таз, разровняла горкой и, зачерпнув с лихвой, укрепила на вершине два разновеликих стакана — по два рубля и по три пятьдесят.

* * *

Прохожих было маловато. Два раза купили по двухрублевому стаканчику, один раз какая-то женщина купила большой и через несколько минут вернулась с кульком — сказала, что горелые. Бука отдала ей деньги и приняла кулек назад — в нем оставалось чуть меньше половины.

Жара давала запахам силу — они росли, плавились, текли прямо в голову мягкими душистыми волнами. Значит, лодку относит назад к мысу, к родному черному континенту, но — пусть — время никуда тебя не торопит, ему тоже жарко, отчалим в ночь, когда над мысом повиснет прохладная хрустальная звезда.

— Почем зубные мандавошки, малая?

— По пять, — сама не зная почему, лягнула Бука в ответ. Это были два больших пацана в адидасах, они появились из-под земли, и один уже запустил в тазик худую загорелую руку с грязными ногтями.

— По пять? А не многовато ли для такой мелкой мандавошки, как ты?

Второй заржал и высыпал большой стаканчик в карман. Первый, бритый, забрал у него стаканчик и внимательно на него посмотрел.

— Слышь, здесь же цена приклеена, малая? Так ты еще и туфтогонка? Ты, в натуре, дядю Славу обидела. Слышь, Гэца, а что бывает с теми, кто дядю Славу обидит?

Второй зачерпнул, высыпал на землю второй стаканчик и харкнул в то место, куда высыпал.

— Вот так бывает. Можно еще насать.

— Пра-а-вильно. А показать тебе, сука, как еще бывает, или ты извинишься?

У Буки отсох язык. Она хотела извиниться, но не смогла. Бритый размахнулся ногой и пнул Букин ящик, семечки полетели ей в лицо, тазик упал и оглушительно загремел.

— Ах вы, скоты! — тонко закричал выносимый из-за поворота дед Костя. Пацаны шухарно переглянулись, а потом заржали и засунули руки в карманы трикушек. Деда Костю несло, как океанский смерч, — мотало из стороны в сторону.

— Я тебе, падла, покажу, как над ребенком издеваться! Ну-кась все собрал! Мигом!

Дед подбежал к бритому и схватил его за шиворот. Бритый аккуратно убрал дедову руку с воротника и наотмашь ударил кулаком в лицо. Второй пнул под дых. Согнувшись, дед упал на ящик с рыбой, но устоял на коленях и локтях и попытался вдохнуть. Его начали пинать в живот.

— Че, старый, охренел?! Ты охренел на Славу грабки распускать? Ты нахерачился, так смелый стал? Ты, сука, щас кровью будешь блевать!

Бука смотрела, как парализованная, но внутри росло страшное, внутри рос деда Костин смерч — он исчез между двух скал, но нашел ее и оглушительно засвистел в ушах. Плохо соображая, она схватила большой стакан, прыгнула на бритого сзади и начала лупить его по голове, крича и не слыша себя из-за свиста:

— Не трожь! Не трожь! Не трожь!

Стакан хрустнул в руке, брызнула кровь, кто-то, кажется второй, стал отдирать ее от лысого, но она, даже если бы захотела, не могла разжать пальцев. Вокруг собралась небольшая толпа, издалека засвистели.

Бука получила тазиком по голове и упала на спину. Двое проскользнули в толпу. Седая старушка оберла лицо платком и сокрушенно сказала:

— Кого только манда не понарожает.

* * *

— Что вы тут столпились? Не налюбовались?!

Толпа начала расходиться.

Мама подняла Буку и, причитая сквозь слезы, стала убирать волосы с ее лица.

— Доченька моя, больше никогда-никогда не пойдешь, обещаю, лучше я еще смену возьму... Ироды проклятые... Фашисты... а ты, старый, нажрался и не мог ребенку помочь? Валяешься!

Вокруг деда Кости уже суетилась баба Тома, сокрушительно матерясь и пытаясь подхватить его за битые бока. Дед только стонал и кряхтел, но встать не мог.

— Не надо его ругать! Он меня защитить хотел, а они его побили!

— Мало побили, собаку! Мало! Свежаком за версту несет, когда успел? «Пися-а-арик!» Я тебе покажу «писярик!» Деньги пропил, рыбу просрал! Ребенка подставил, герой! Попомнишь ты мои слезы! Перед Богом будешь отвечать за жизнь мою загубленную! В церкви весь лоб об пол рашшибешь, да поздно будет! Ох, мутила-а-а....

Баба Тома сдалась, села рядом на асфальт и заплакала. Мама собрала «торгушку», собрала в ведро дедову рыбу и повела Буку на колонку — мыть порезанную руку. Вода была такая ледяная, что руку почти не шипало. Бука напилась из маминой горсти.

— Мам?

— Что, мой цыпленочек?

— Они деда сильно пинали. Его надо к врачу.

— Ничо-ничо, оклыгает. Пить запоями у него есть здоровье.

Они вернулись к «Союзпечати». Мама подхватила деда с одной стороны, а баба Тома с другой. Бука взяла ведро с рыбой в целую руку и пошла впереди.

Возле подъезда стояла Юлька и улыбалась так широко, будто отсутствие двух передних зубов — самый распрекрасный для этого повод.

* * *

— О, еще одно горе луковое, — сказала мама, улыбаясь. — Пойдем, пойдем. Мы, видишь, только с поля боя, раненого тащим. Зато у нас варенье есть.

Деда Костю кое-как заволокли на второй этаж и положили в кухню на диванчик. Он уже и вправду оклыгал, но продолжал не слишком натурально постанывать в ожидании маковой росинки, которая ему теперь, конечно, полагалась. Баба Тома ласково прикрикнула:

— Лежи-кась, старый хрен! Опрокинул уж, так что самого опрокинули. Сначала карасей нажарим.

Мама перевязала Буке палец и дала целую миску вишневой пенки — воздушной, карамельно-розовой — и две ложки. Они с Юлькой зашли в комнату, Бука протянула ей ложку и только тут заметила, что она продолжает так же широко улыбаться. Бука поставили миску на стол.

— Ты чего?

Юлька ничего не ответила, но из глаз у нее покатались слезы. Буке стало жутко. Она обняла ее за плечи и усадила на кровать.

— Юль, ты чего?

— Я мамку убила.

На кухне загремела посуда.

— Она на смене ночью была, а он меня взял в кровать. Она раньше пришла на полчаса, подменили раньше. И она зашла, а он там со мной. Она села на пол, а он убежал.

— И все?

— Нет. Она меня взяла за руку и в ванну завела. Дверь закрыла. Скрутила петлю. Из бельевого веревки. И удавилась. Иди посмотри, если хочешь.

— Ты не виновата.

— Виновата. Она говорила, что удавится, если узнает.

Юлька сползла на пол, скрутилась волчком и завывала. Бука забралась с ногами на подоконник. Она попыталась придумать дело, но в голове вертелась только паршивая линия антарктической конвергенции, от которой теперь не было никакого толку. В кухне сухим надтреснутым голосом запела баба Тома.

- Вставай, пойдем.
- Куда?
- В церковь пойдем. Ты там у Бога спросишь.
- Про что?
- Про лоб. И вообще.
- Они постарались потихоньку миновать прихожую.
- Дочь, вы куда?
- Гулять, можно?
- Давай, только недолго, а то караси скоро пожарятся.
- Шли долго. Сначала молча. Юлька шмыгала вечно простуженным носом.
- Откуда ты знаешь, как идти?
- Мы там уже два раза были. На Пасху.
- Как Он выглядит?
- Кто?
- Бог.
- Я не знаю.
- Ты же говорила, Он там?
- Ну... Может, Он выходил. По делам. Что, думаешь, у Него дел мало?
- А вдруг сейчас тоже не будет?
- Будет.
- А как мы Его узнаем?
- Он там главный.

Когда они вошли в церковь, Юлька увидела большого красивого старика в золотых одеждах, побежала к нему, обняла, и заревела, уткнувшись в эти одежды. Он взял ее за руку и повел к скамейке. Они долго и очень тихо говорили, старик гладил ее по голове, а потом перестал. Бука подошла к женщине за прилавком.

— Извините, пожалуйста, а где Бог?

Женщина удивленно сдвинула брови, а потом тихонько засмеялась.

— Здесь, — указала она пальцем на Букины ребра, — здесь. Поэтому Его не видно.

* * *

Дома было тихо. Мама спала на кухонном диванчике. Под столом лежала пустая бутылка, а на столе — сковородка с печальными коричневыми карасями. Бука тихонько собрала мусор и объедки, выкинула в ведро и поставила посуду в мойку. Потом она прикрыла маму пледом и выключила свет.

Вишневая пенка осела и затвердела, но все равно была очень вкусной. Бука забралась в кровать и попыталась продолжить мысль о линии. Ей пришло в голову, что по-настоящему о линии знал только папа, и если бы его можно было расспросить...

Миска выскользнула из ее рук и гулко ударилась о дно лодки. Бука подняла глаза и увидела папу, молодого, сидящего на перекладине и улыбающегося. Она бросилась к нему и обняла.

— Тише, тише, глупыш! А то еще перевернемся...

Бука огляделась — вокруг переливался Океан.

— Ну, и где линия антарктической конвергенции?

— Это я тебя хотела спросить.

Папа засмеялся и плеснул в нее воды, зачерпнув с правого борта. Вода была теплая. Она тоже засмеялась и зачерпнула с левого — руку обожгло холодом, и сильно заныл порез. Бука перегнулась через нос и удивленно вгляделась в воду, но ничего не увидела.

— Ее не видно, пап... и тебя тоже.

Лодка тихо покачивалась. Бука легла на дно и посмотрела через правый борт в оранжевое вечернее небо, туда, где робко проявлялась прозрачная звезда — наверное, где-то в той стороне был континент.

Вадим Месяц

«...я с детства привык к бременю славы»

Свое первое стихотворение я написал, когда мне было шесть лет, и это было напрямую связано с издательской деятельностью. Мы с соседкой с верхнего этажа Ниной Вяткиной решили делать собственный журнал, наподобие «Мурзилки» и «Веселых картинок». Купили альбом, прицепили к нему обложку из картона, написали на ней «Диманин №1», соединив в названии наши имена. На обложку вынесли нарисованных снеговиков под радугой-дугой. С тех пор меня волнует вопрос: бывает ли радуга зимой? Композицию придумал я и упорно ее отстаивал. Нина говорила, что это невозможно по законам природы и предлагала заменить радугу на солнце или звезды. «Радуга красивее», — отвечал я. Искусство держится на вымысле и преувеличении. Нина предпочитала реализм. Она стирала радугу школьной резинкой и рисовала солнце. Я стирал солнце и рисовал радугу. Когда в картоне образовалась дыра, мы ее заклеили фотографией Натальи Варлей, вырезанной из журнала «Экран», и оба остались довольны. Пошли хвастаться «Диманином» к бабушке. Тот сказал, что название походит на «динамит», но для детского журнала сгодится. «Надо, чтоб ваши материалы были взрывными, как бомбы», — добавил дед. Мы обещали постараться. Номер по нашей задумке должен был открываться стихами. Яркой положительной нотой. Предисловия ни мне, ни Нинке писать не хотелось, поскольку концепции издания мы еще не придумали.

Стихи я взял на себя, сказку про автобусы решила писать Нина. Писали сразу на чистовик. С тех пор я так всегда и делаю. Я забрал журнал и через десять минут вернулся с текстом, украшенным кривоватой иллюстрацией.

На пути стоит мороженица.
Все любят прохождение.
Тут пломбир и эскимо,
но холодное оно.

— Блеск, — сказала Нина. — А почему прохожие ей любят, если они хотят есть? Напиши лучше «волнуются».

— Что им волноваться, когда им вот-вот купят эскимо или пломбир.

— Не купят, — с садистской уверенностью говорила Нина. — Холодное оно!

— Его можно принести домой и согреть, — искал я интерпретации стихотворения. — Тут описаны три чувства: восторг перед блеском эмалированной коробки, предвкушение блаженства и опасности, которое это блаженство в себе таит.

— Все равно не купят! Потому что у бабушки нет денег. Пока она дожидается пенсии — мороженое растает.

— Как оно может растаять на бумаге? — говорил я и пририсовывал к руке продавщицы эскимо на палочке. — Видишь — теперь оно останется в веках.

На этом наша издательская деятельность закончилась. Нина пошла писать историю про приключения автобусов. По нашей улице ходил 19-й маршрут. По замыслу Нины он должен был заблудиться и уехать в другой город. Я принес на ее суд сказку «В стране тигров», где слово «превращается» писал через «ц», а в «жи-ши» предпочитал букву «ы».

— Кошмар! — сказала соседка. — Будем заниматься грамматикой.

И я послушно сел за стол писать диктант, как Буратино перед Мальвиной. В тот день мы побыли и писателями, и издателями. Пришла пора играть в школу. Нина была из семьи столбовых отличников. Ее сестра Ира была круглой отличницей. Ее сестра Лена была круглой отличницей. Нина тоже должна была стать лучшей. Держать марку. Так, между делом, соседка научила меня правилам грамматики и даже как-то поставила почерк. А большего мне и не надо было. Как только я пошел в школу, начал писать романы про одноклассников. Они становились у меня фантомасами, шерлоками холмсами, мушкетерами и ихтиандрами. В классе это всем нравилось — я с детства привык к бремени славы. Позже я стал писать стихи, но уже не с такими авангардными рифмами, как в самом первом своем стихотворении. А дальше — песни, рассказы и настоящие романы. Но славы теперь совсем не замечал. Может, и нет у меня никакой славы? И существует ли она вообще?

Юрий Оклянский

ЗЯТЬ ВЛАДЫКИ

Семейный детектив

Вхождение в семью

Хотя со временем Аджубей, кажется, всего навидался, поначалу многое его удивляло и в самом тесте, и в обстановке, в которую он попал.

В конце лета 1950 года Хрущёв прогуливался в парке при своей даче, зять дисциплинированно вышагивал рядом. Вдруг зазвонил телефон. Аджубей удивленно завертел головой. Не приходится говорить, что до мобильных в ту пору было еще далеко. Хрущёв жестом указал на соседнюю березу. К ее стволу на уровне человеческого роста была приделана коробка, отдаленно похожая на скворечник, а в ней стоял черный телефонный аппарат. «Мне Микиту...» — слышался глуховатый голос.

Это звонил Сталин. «Микитой» он называл Хрущёва. Вождя интересовало, насколько верно проблемы сельского хозяйства отображены в новом романе Галины Николаевой «Жатва», получившем вскоре Сталинскую премию. И такой телефон на деревьях дачного парка, оказывается, был не один.

К зятю своему Хрущёв в первые годы пылких чувств, как, впрочем, и особого доверия, не питал. Тот был человек пришлый, артист, из другой житейской среды, с собственными, как их ни таи, закидонами и вензелями. Мать, сватья то есть, — модная кремлевская модельерша. Никита же модничать не любил, ценил живое нутро, человека каков он есть, а не его одежды.

Поддерживала эти настроения, судя по всему, и жена Хрущёва, старая большевичка и пуританка Нина Петровна Кухарчук. Она не слишком верила, что этот залетный павлин так уж безумно увлекся ее дочерью — пусть умненькой и волевой, но по внешности все-таки курочкой-рябой. Вернее всего, гонится за выгодой и карьерой. Сама она, Нина Петровна, была бессребреницей, много повидавшей в жизни — и плохого, и хорошего. В отличие от мужа, она знала английский язык. И во время визита Хрущёва в США поразила всех неожиданной точностью и тонкостью дипломатических отношений.

Рада, безусловно, многое взяла от матери. Недаром Аджубей или, точнее, они вместе с Радой, включили в книгу «Те десять лет» неоконченные мемуары Нины Петровны. Теща была личность скрытная и загадочная, настоящая железная

большевичка. Характерная подробность: ведя семейную жизнь с Хрущёвым с 1924 года и имея от него троих детей, ей и в голову не приходило подтвердить брачные отношения в бумагах. Они жили «нерасписанными» более 40 лет. И только после того как Никиту сняли со всех должностей и потребовалась паспортная прописка в новом жилье, выяснилось, что брачных отношений на бумаге не существует. И только через год, в 1965-м, старики отправились в ЗАГС. Так же Нина Петровна смотрела и на отношения дочери с Аджубеем. Нужно молча и спокойно терпеть. Время покажет.

Никита Сергеевич с выбором дочери смирился. Но к зятю долго и жестко приглядывался. Вот отчего тот должен был собственными силами проходить начальные ступеньки журналистской карьеры. После университета был, например, как о том хорошо знал Хрущёв, всего лишь стажером в спортивном отделе «Комсомольской правды». И трепетал, и гордился, когда там появлялись его информационные заметки в десяток строк. Позже писал очерки, статьи, репортажи, проходил через вереницу разнообразных должностей. И далеко не сразу занял кабинет заместителя главного редактора.

Они и в самом деле были очень несхожи и различны — тесть и зять. По своему происхождению, по психологическому складу, по выработке жизненных решений. Пастух из глухой курской деревни Калиновка Никита в детстве окончил два класса сельской школы. Научился тогда считать только до 30. Его отец находил, впрочем, что и этого было с избытком: «Больше чем 30 рублей тебе все равно никогда не заплатят», — шурился он.

Никита был талантливым самоучкой. Он жадно хватал знания всюду, где только мог. Перебравшись в 14 лет в угольный Донбасс, чистил там котлы, а позже работал механиком. Записался с началом Гражданской войны в Красную Армию, вступил в 1918 году в партию большевиков, прослушивал курсы в разных партийных школах и семинарах. В 1922 году учился на рабфаке Донтехникума.

В 1929 году поступил в Промышленную академию в Москве, чему, кстати, немало способствовала тамошняя студентка Надежда Аллилуева, жена Сталина. Не без сталинской поддержки почти сразу после поступления туда молодого энергичного Никиту возвели в секретари парткома Академии. И неизвестно, чем ему больше приходилось заниматься, — слушать лекции и готовиться к семинарам или проводить всевозможные заседания, бороться с оппозицией и направлять жизнь Академии в правильное партийное русло.

Сталинское влияние на себе, впрочем, он испытал еще до этого. Уже с XIV съезда партии (1925 г.), делегатом которого был, тридцати одного года от роду, Хрущёв был ярким и влиятельным проводником сталинской политики. Долгие годы Сталина он боготворил, позже — боготворил и ненавидел. В 30—40-е годы, находясь на высших партийных постах, он по обыкновению тех лет не только выполнял, но и перевыполнял «лимиты» по выявлению и уничтожению «врагов народа». Готовил и верстал списки лиц, подлежащих аресту, выступал даже со встречными расширенными планами на этот счет. Сохранилась, например, такая секретная телеграмма Хрущёва Сталину, относящаяся к концу 30-х годов: «Украина посылает списки на 13—16 тысяч врагов народа, а Москва утверждает только 2—3 тысячи. Прошу принять меры».

Уже смещенный со всех постов, тоскуя, Хрущёв с горечью признавался одному из редких своих собеседников: «Мои руки по локоть в крови... И это самое ужасное, что лежит у меня на душе».

По-своему Хрущёв пребывал у Сталина в любимчиках, насколько, конечно, тот был к этому способен. Вождь наградил Хрущёва орденом Ленина за строительство Московского метро, доверял ему высшие посты в самых чувствительных местах — в столице страны и на Украине. С января 1934 по февраль 1938 года Хрущёв был первым секретарем МГК ВКП(б) с почти одновременным исполнением обязанностей главы

коммунистов Московской области. То есть полным номинальным хозяином столицы и окрестностей. Затем его послали руководить Украиной, куда (после перерыва на военное лихолетье) Сталин после Победы вернул его снова. А затем опять сделал его полным партийным губернатором столицы и области в 1949-м — в те самые месяцы, когда университетский старшекурсник Аджубей выглядел замену жене-актрисе и сочетался с Радой.

С зимы 1934 года Хрущёв неизменно входил в самый узкий круг лиц, приближенных к Сталину, с кем вождь разделял и досуг, — те самые нередкие долгие винные ночи. И даже за особо тяжкие проступки Хрущёв бывал наказан куда мягче, чем другие.

Неизгладимый случай. В мае 1942 года советские войска потерпели катастрофическое поражение под Харьковом. По вине командования, где членом военного совета фронта был Хрущёв, в Харьковском котле погибло или было ранено 70 тысяч военнослужащих. Но это еще не всё, и даже не главное. Более двухсот тысяч солдат и офицеров попало к немцам в плен.

Склонив голову перед вождем, уцелевший и плохо стоящий на ногах от недавно пережитого, Хрущёв докладывал об этом Сталину. Вождь слушал молча. Потом, попыхивая трубкой, долго и нервно ходил по кабинету взад-вперед. Даже за меньшую вину в таких случаях расстреливали.

Но вождь вдруг остановился перед склонившим голову Микитой. Потом, зло усмехнувшись, принялся выбивать пепел из трубки на голый череп Хрущёва. И стуча по черепу, произнес: «Так поступали древние римляне после проигранных сражений. Пепел на твою голову! Пепел!»

Это было издевательство, но все же не смерть.

«Пепел на голову», по-видимому, действовал на Хрущёва. На исходе 1942 — зимой 1943 года в качестве члена военного совета Сталинградского фронта он успешно участвовал в Сталинградской битве, явившейся началом коренного перелома в войне с немецким фашизмом.

Возможно, некоторые из подобных жизненных картин и уроков как-то вспоминал Хрущёв в первые годы своего общения с Аджубеем. Тесть нередко возил зятя с собой. Хотел, как уже говорилось, ближе узнать, чтобы позже, раз уж так получилось, — найти ему применение. Случалось, в те первые годы будущему королю «оттепельной журналистики» приходилось исполнять обязанности и почти лакейские. Например, отбывать повинность у тестя при незамысловатых его культурных развлечениях выходного дня.

«Утром в воскресенье, — пишет Аджубей в мемуарах, — Никита Сергеевич обычно просил прочитать ему театральный репертуар и почти всегда выбирал что-нибудь знакомое. Младшие члены семьи стали ходить в театр с отцом чуть позже, а в начале 50-х повинность лежала на нас с женой. Я не оговорился: именно повинность. Никита Сергеевич чаще всего выбирал МХАТ, хотя все спектакли видел не один раз. "Горячее сердце", наверное, раз десять, не меньше, и мы вместе с ним».

«Журналистику в ту пору <Хрущёв> не считал серьезным занятием, — продолжает Аджубей, — и уж тем более не ждал от нас никаких "публикаций"». Просто Хрущёв не терпел одиночества и приглядывался, выворачивал наизнанку зятя. Тот в свою очередь точно и метко оценил, с кем имеет дело.

Бояться тестя Аджубей начал после того, как Хрущёв мгновенно и безжалостно расправился с Берией, с тем самым, на помолвке сына которого, в беспечной и наполовину кавказской компании, Алексей столь недавно благоденствовал. А затем пошло-поехало... Плакал Хрущёв на похоронах Сталина, а с врачами не торопился, когда с тем случился удар, и по его же повелению выкинули сталинское тело из Мавзолея.

К почтению и уважению перед тестем примешивался страх. Аджубей не знал, что

в следующую минуту ждать от этого с виду простака, но на деле неожиданного, решительного и жесткого тестя.

«Он только казался простоватым человеком, — пишет Аджубей. — Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие темные глаза». Верность взаимных оценок обеспечила взаимопонимание. Значение журналистики в «оттепельную» эпоху вскоре неизмеримо возросло. И одна из заглавных ролей в этом, безусловно, принадлежала «Комсомольской правде» и «Известиям», руководимым Аджубеем. Газетная пропаганда неотрывна от людских голов и сердец. Хрущёв это оценил, осознал и постепенно поменял отношение к зятю.

Не так проста оказалась и Рада, характером вышедшая в мать. Скромная тихоня, ставшая женой и поводырем в жизни красивого и ловкого, однако же компанейски разгульного и не всегда проницательного, недостаточно решительного и волевого артиста-журналиста. После университета Рада заведовала отделом в научно-популярном журнале «Наука и жизнь». Параллельно со множеством повседневных дел и обязанностей училась на биологическом факультете МГУ. Стала заместителем главного редактора журнала «Наука и жизнь». И на этом посту при всеобщем уважении проработала полвека вплоть до выхода на пенсию в 75 лет, в 2004 году. А ведь у нее на руках были и трое детей, и часто непутевый муж.

Молодые, однако, жили напоказ дружно. Прочностью семейных уз брак был обязан неговорливой и волевой Раде, которая, кажется, прощала мужу несоответствие его часто расхлябанных, богемных привычек и образа поведения собственным вкусам и понятиям. Но и Аджубей уже без нее не мог обойтись. В важные для жизни моменты слушался ее, а иногда и беспрекословно поступал так, как продумала, взвесила и решила она.

Рада родила ему трех сыновей: в 1952 году — первенца Никиту (Никиту! Названного так в честь понятно кого), два года спустя — Алёшу (Алексея Алексеевича), удвоившего имя отца, затем еще через четыре года — Ванечку, Ивана. Кстати, в 1959 году, когда Хрущёву исполнилось 65 лет, у него появился еще один внук Никита: его преподнесло деду семейство Сергея Никитича. Родные состязались за право почтить отца-именинника.

Волевая и усердная Рада озаботилась, чтобы ее сыновья преуспели в изучении языков и наук. Они и стали впоследствии специалистами каждый в своей сфере.

Видя в общем удачливую семейную жизнь дочери, Никита Сергеевич постепенно все больше располагался к зятю и мало-помалу шел на сближение с ним. Однако же с той сердечной открытостью и полным доверием, как к своему сыну Сергею Никитичу, все-таки, пожалуй, не относился к Аджубею никогда.

Зятя он держал как бы на расстоянии и величал на «вы».

Летом 1952 года тогдашний главный редактор «Комсомольской правды» Горюнов по собственной инициативе включил способного сотрудника в состав делегации на слет молодежи в защиту мира, проходивший в Австрии. «Вечером на даче, — читаем в мемуарах Аджубея, — я сказал Никите Сергеевичу, что завтра уезжаю в Австрию. К моему удивлению, Хрущёв выразил явное неудовольствие и более чем строго стал выпрашивать, "как", "зачем", "почему". После длинной паузы проговорил: "Смотрите, чтобы все было в порядке, а если что — держитесь как подобает..."»

Читатель обратит внимание, что разговор все еще идет на «вы». Это деревенское обоюдострое «вы». И наставления даются довольно подробные и жесткие. Тем не менее, номенклатурное колесо крутилось уже по собственной инерции. И обороты оставляли свои отметины. Аджубея все чаще включали в самостоятельные поездки зарубеж. Летом 1953 года он находился в Шанхае в составе комсомольской делегации на съезде Народно-Демократического Союза молодежи КНР. Там его и застало известие о перетрубациях с Берией. В дальнейшем по мере укрепления власти Хрущёва, ставшего первым человеком в стране, география поездок расширялась.

В Хрущёве как крестьянском сыне было очень развито семейное начало. Наследовать отцу и идти по его стопам прежде всего полагалось сыновьям. Однако старший Леонид погиб. Младший Сергей, несмотря на любовь и привязанность к отцу, был слишком загружен своими профессиональными заботами. Доктор технических наук, конструктор космических систем, он по горло был занят чертежами, испытательными полетами, выездами на аэродромы и полигоны. Политика и текущие дела в стране до поры до времени занимали его только как преданного сына и отзывчивого современника. В постоянные спутники и соратники, каким оказался позже, он вроде бы не годился. Остальные же дети были девицы. Старшая дочь от первого брака Юля, за ней Рада, следующая — постоянно болевшая и рано умершая Лена, и внучка Юля, дочь погибшего Леонида, росшая в семье наравне с собственными детьми.

Зять же жил, что называется, умственными происшествиями, бегущим днем и растасовкой текущих политических карт. И хотя в ту пору Хрущёв не слишком доверчиво относился к пишущей братии, считая их болтунами и шелкоперами, к зятю он решил присмотреться и поработать с ним, раз уж так оно угрозило. С той же своей крестьянской основательностью и хитрецой он долго выверял этого человека, приглядывался к нему, нарочито расставлял даже иногда незаметные для того психологические ловушки и петли. Выверял его терпение и готовность. Из зятя Алексея старался вырастить еще одного недостающего ему, как бы приемного, сына. Для этого использовал свои методы — присматривания, испытания, медленного вовлечения в семью. Делал это с чисто крестьянской основательностью и постепенностью. Приемный сын-зять должен быть проверенным и надежным.

Старался возить Алексея с собой. Давал ему возрастающие по сложности задания. Внутри страны и за рубежом. И в конце концов убедился, к удовольствию своему, что все эти испытания Аджубей выдержал. Этот потянет. Человек умный и основательный. Можно положиться. Теперь и впредь.

Вот тогда, после книги «Лицом к лицу с Америкой» (1958), и началось золотое пятилетие их отношений. Грешки за Алёшей, конечно, водились. К рюмке любил приложиться, да и женский пол мимо не пропускал. Тесть знал. Но не это главное, в конце концов.

И они славно и дружно работали рядом пять лет. Первый секретарь ЦК партии и редактор правительственной газеты, а завтра, может, министр иностранных дел СССР или еще кто.

Зять владыки — тот случай, когда в повседневной и, казалось бы, самой бытовой рутине разграничить личное от государственного часто почти невозможно. Спаяно то и другое до неразличимости.

Вот для примера характерный казус, с которого открыто затеялось противоборство не на жизнь, а на смерть с так называемой антипартийной группой Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина, Ворошилова и других вождей государства.

Весной 1957 года женился Сергей Хрущёв. Свадьба любимого сына проходила по высшему разряду на даче простонародного всемогущего отца. Приглашен был весь цвет партийно-государственного элиты. Присутствовала, конечно, и супружеская чета Аджубеев.

«На свадьбе, — рассказывает в своей биографической книге "Маршал Жуков" писатель В.Карпов, — как полагается, крепко выпили и произносили речи. С речью выступил и Хрущёв, говорил он, как всегда, хорошо, рассказывал о своей биографии, родословной, тепло вспомнил маму, а затем как-то вскользь уколол Булганина. В другое время Булганин промолчал бы, а тут он неузнаваемо вскипел и довольно резко сказал:

— Я попросил бы подбирать выражения...

Присутствующие поняли: Булганин озлоблен против Хрущёва. Догадка подтвердилась: как только кончился обед, Молотов, Маленков, Булганин и Каганович демонстративно покинули свадьбу и уехали к Маленкову на дачу. Хрущёв понял, что отныне Булганин переметнулся в стан его противников, и он был явно озабочен усилением группы его противников».

Жуков вспоминает:

«После того, как ушли Молотов, Маленков, Булганин, Каганович, ко мне подошел Кириченко (секретарь ЦК, соратник Хрущёва еще по Украине. — Ю.О.) и завел такой разговор.

— Георгий Константинович, ты понимаешь, куда дело клонится? Эта компания не случайно демонстративно ушла со свадьбы...»

То, что развернулось затем к началу лета того же 1957 года, хорошо известно.

...Главным редактором «Комсомольской правды» Аджубей проработал год с небольшим. Пошел в гору дальше. Но даже и тогда, когда Хрущёв принял зятя в число своих ближайших соратников, произвел в депутаты Верховного Совета СССР и члены ЦК партии, рассматривал как домашнего министра иностранных дел и плюс опять-таки домашнего министра печати, культуры и чего там еще, он внутренне отделял его от кровной части семейства.

Характерный пример приводит в своей книге Сергей Никитич. Внутри семейства не так часто, но иногда все-таки случались споры с участием отца по острым проблемам окружающей современности. Сергей Хрущёв вспоминает одну из таких словесных стычек, связанную с оценкой деятельности, или, точнее, провокационной активности академика-селекционера Т.Д.Лысенко. У малообразованного Хрущёва была странная, давняя, почти гипнотическая привязанность к этому псевдокорифею тогдашней официальной аграрной науки, мистификатору и обманщику, обещавшему, как по мановению волшебной палочки, быстрое решение всех сельскохозяйственных, а стало быть, и продовольственных проблем в стране.

Незадолго до этого семейного скандала к Хрущёву приходил академик-атомщик Курчатов хлопотать за жестоко гонимых и травимых лысенковцами генетиков. Борьба с ними велась на уничтожение. Несмотря на теплое и доверительное отношение Хрущёва к самому Курчатову, визит успеха не имел. Генетики ведь картошку не выращивали. А занимались какими-то бессмертными генами и мухами-дрозофилами. Лысенко же после уничтожения генетиков обещал быстро и изобильно накормить страну. Непонятно, правда, чем и почему дрозодилы мешали фантастическим волшебным горам картофеля. Но занятия Лысенко и он сам были ближе и понятней Хрущёву. Обо всем этом хорошо знала молодая часть семьи.

Как-то тема эта вынырнула на вечернем домашнем сборе.

Голос на сей раз подала тихая Рада Никитична, биолог по второму образованию. Она, мягко говоря, усомнилась в величии идей и полезности деятельности Лысенко.

О том, как развивались события, подробно повествует Николай Шмелёв, видный экономист, публицист и писатель, женатый на Юлии, внучке Хрущёва. Как член молодежной семейной компании Шмелёв присутствовал в тот день при разговоре.

«Однажды дома у первого секретаря, — вспоминает он, — вспыхнул скандал из-за Трофима Лысенко. Спровоцировала его Рада/.../. Она спросила отца, не опасается ли он, что учиненный лысенковцами разгром генетики может оказаться столь же губительным, как и запрет кибернетики при Сталине? Раду поддержал брат Сергей, трудившийся в конструкторском бюро создателя ракетной техники Владимира Николаевича Челомея.

Аджубей тоже пытался что-то сказать, но Хрущёв его резко оборвал:

— Алексей Иванович, вы член ЦК и не имеете права идти вразрез с партией.

Никита Сергеевич мрачнел, багровел, огрызался, как затравленный волк от

наседавшей на него со всех сторон родни, что-то несвязное такое возражал... А потом как грохнет кулаком по столу! Как закричит в полном бешенстве, уже почти теряя, видимо, сознание... Господи, как страшно было! Ну, сейчас, прямо сейчас удар хватит человека. Прямо на глазах...

— Ублюдки! Хриstopродавцы! Сионисты! — бушевал советский премьер, грохоча по столу кулаком так, что все стаканы, все тарелки, вилки, ножи прыгали и плясали перед ним. — Дрозофиллы! Ненавижу! Ненавижу! Дрозофиллы-ы-ы-ы — будь они прокляты!

Ни до, ни после я его таким больше не видел никогда. Конечно, охваченная ужасом семья мгновенно смолкла. И он вдруг тоже так же внезапно, как и начал, замолчал, с шумом отбросил от себя стул и вышел из-за стола...

Рада Никитична хлопнула дверью, уехала и неделю не приезжала к родителям.

Для нас среди прочего любопытен в данном случае словесный жест вождя, как одной репликой старейшина рода выключил Аджубея из семейной дискуссии. При всех возвышениях и обретенной близости тот оставался для Хрущёва, прежде всего, не родным человеком, не мужем дочери и отцом внуков, а колесиком чиновной машины, высокопоставленным службистом.

Между тем по мере вхождения в правящую элиту и утверждения в новом положении изменения происходили и в самом Аджубее. Бывший танцор армейского ансамбля песни и пляски старался держаться в рамках. Но натура брала верх над этикетом и условностями приличий. Нарастал гонор.

Мэлор Стурва, талантливый публицист и доверенный сотрудник Аджубея, передает эпизод, относящийся к поре высшего карьерного взлета главы «Известий»: «Однажды он принимал американского сенатора Бенсона с супругой. Бенсон был не только сенатором, но и главным редактором знаменитой энциклопедии "Британика" и собирался заказать Аджубею статью для нее. Не помню уж в какой момент и в связи с чем, Аджубей неожиданно вскочил на конференц-стол и стал шагать по нему, рассказывая визитерам о своих планах преобразования советской печати. Бенсон с супругой сначала оторопели, впрочем, как и я, но затем стали восхищенно смотреть вверх на вышагивающего по длинному столу Аджубея. В их глазах были абсолютно неподдельные страх и восторг.

Когда я провожал Бенсонов, госпожа Бенсон, очарованная Аджубеем, сказала мне:

— Ваш редактор напомнил мне Петра Первого. Это было незабываемо!

— Ну как? — лукаво полюбопытствовал Алексей Иванович, когда я вернулся в кабинет.

Я передал ему слова госпожи Бенсон. Аджубей ничего не ответил, но все его лицо светилось почти что детской радостью».

Выступали наружу в Аджубее, как он ни пытался скрыть, и еще попутные бытовые страстишки. Тяга к дешевым амурным похождениям и начинавшая одолевать страсть к спиртному.

Другой эпизод бытовых выкрутас относится к осени 1960 года. Аджубей в многочисленной свите Предсовмина СССР Хрущёва плыл на теплоходе в Нью-Йорк, на сессию ООН, посвященную проблемам деколонизации. Это была та самая вошедшая в историю сессия Генассамблеи, на которой глава СССР для убедительности политических аргументов стучал по столу ботинком. Анна Алексеевна Капица, жена физика, лауреата Нобелевской премии, через девять лет вместе с мужем П.Л.Капицей почти повторившая этот рейс в Новый свет, записала рассказ капитана о тогдашнем поведении А.И.Аджубея во время этого тягучего и долгого плаванья.

«Рассказ о Хрущёве, — читаем в ее дневниковых заметках. — Когда он плыл на "Балтике", с ним был и Аджубей, который все время пьянствовал. С двумя девчонками из команды. Они вели себя беспутно, он обещал им жизнь в Париже. В Ленинграде их просто списали. А когда стали проситься обратно, то не взяли. А/джубей/ пил

непрерывно, но на столе стоял "Боржом". Н.С. (Хрущёв. — Ю. О.) спросил (теперь уже он был с ним на «ты»): "Что пьешь, Алексей Иванович?" — "Боржом". Взял бутылку, понюхал и стукнул ею по столу. Ночью Аджубей/ вымогал водку у всех, кого мог разбудить. Был вызывающий и все время пьян. Н.С. не велел ему продавать вина».

О бытовой разнузданности Аджубея упоминал и Илья Григорьевич Эренбург во время личных наших встреч второй половины 60-х годов. Его мемуары «Люди, годы, жизнь» подверглись грубому разному в статье В.Ермилова на страницах «Известий». Сам Аджубей устно, а позже в мемуарах, отрицал собственную причастность к клеветническим проработкам Эренбурга. Говорил, что статья поступила сверху в порядке партийной обязаловки и была напечатана под давлением идеологического кардинала Михаила Суслова, вопреки желанию главного редактора. Дескать, он ничего не мог поделать и вынужден был печатать.

Если иметь в виду внутренние симпатии и скрытые желания Аджубея, возможно, так оно и было. Но в реальности происходило все-таки совсем иное. Истинный оборот — «наоборот» обрисовала недавно редакция журнала «Знамя» в номере, целиком посвященном «Памяти Оттепели» (2018, № 8, с. 88).

«30 января 1963 года, — говорится там, — газета опубликовала статью В.Ермилова, в которой Эренбург был назван чуть ли не соучастником сталинских чисток в рядах писателей. Эренбург обратился в газету с возмущенным письмом. Ермилов в своем ответе («Известия» от 6 февраля) обвинил Эренбурга в «оскорблении целого поколения советских людей». *Редакционный комментарий* (выделено мной. — Ю. О.) поддержал эту точку зрения, сместив при этом острие нападок на симпатии Эренбурга к формализму и авангардному искусству». Но ведь комментарий этот писал не Суслов и выдумывал, как невинность соблюсти и капитал приобрести, тоже не кремлевский кардинал...

К тому же и житейский стиль поведения Аджубея при замаливании газетного «греха» был сходным. По словам Эренбурга, однажды Аджубей в пьяном виде пытался объяснить с И.Г. насчет этих самых ермиловских статей о его мемуарах: «Вы меня презираете!» — и лез целоваться.

И однако, при всем том, Аджубей сыграл выдающуюся роль в отечественной журналистике, а это значит, — в многоликой тогдашней духовной атмосфере и самой истории страны.

Контуры газетной империи

Вскоре после прихода Аджубея в газету по верхнему фронтому старинного серого конструктивистского здания «Известий» вечерами стали бегать яркие строчки световой рекламы. Огненные буквы извещали о новейших важных событиях в мире и главном содержании свежего номера газеты. Это было совсем необычно для старинного покрова площади, центром которой был дореволюционный памятник Пушкину, при открытии которого держал программную речь еще Достоевский.

Дважды побывав в Америке, Аджубей произвел пертурбации и внутри здания. На первый взгляд, вроде бы административные и чисто технические. Однако же в действительности переделки повлияли и на сам дух газеты. Вместо крошечных кабинетиков, в которых, как в норах, по его словам, прятались репортеры, шеф распорядился на манер западных редакций сломать кабинетные перегородки, вместо них сделать несколько общих залов. Предпочтение отдавалось отраслевым журналистским коллективам, совместным поискам и быстрым решениям. Шире пошла в ход и современная оргтехника. Требовалось работать солидарно, с чувством «локтя», быстро и споро.

Из-за поднятого в Москве шума вокруг этих переделок и сломанных перегородок к Аджубею тогда являлся даже сын знаменитого архитектора-конструктивиста и

соавтор проекта Григория Бархина, по чьему проекту в 1925—1927 годах возводилось здание «Известий», вошедшее в культурное наследие страны. Но Аджубей заверил Михаила Григорьевича, что на памятнике архитектуры переделки никак не отразятся.

В стране существовало две главные газеты — «Правда» и «Известия». Аджубей употребил много гражданской и творческой смелости, усилий и таланта, чтобы до неузнаваемости расподобить собственное издание от высохшего, будто египетская мумия, в избытках партийности, казенного близнеца.

Простой, казалось бы, но неоценимой находкой в этой конкуренции стало то, что, сполна пользуясь статусом и влиянием зятя, Аджубей перевел газету на вечерний выпуск. В результате одна из двух лошадей, шедших до этого ноздря в ноздю, стремительно вырвалась вперед. Пустяк и простое вроде бы дело, а вот на тебе! Теперь из «Известий» можно было узнать главные и решающие события дня задолго до других изданий. Свежесть жизненного букета новостей в западном духе!

Аджубей старательно и всеми способами расширял и усиливал свое журналистское королевство. Он участвовал в создании еженедельника «За рубежом», пробившего многие информационные дыры в тогдашнем «железном занавесе». И он же создал невиданное в послереволюционные десятилетия в России полубульварное развлекательное издание — вовсе не политическую, занятую и приятную болтушку «Неделю» — воскресное иллюстрированное приложение к газете (1960). Тираж «Недели» доходил до двух миллионов. Главный редактор стремился к тому, чтобы печатный орган служил не просто разносчиком новостей и толкователем бегущих событий, но и увлекательным чтивом, разнообразящим и украшающим быт.

В качестве «дочки» правительственной газеты воскресное приложение превратилось в любимое народом издание. Это была ломка стереотипов кондового советского мышления, шедшая навстречу потребностям человеческой натуры. Имена таких «недельцев», как первый редактор издания Александр Плющ или, например, популярный автор Анатолий Макаров, обрели собственную притягательность и окраску.

Вообще, если говорить об Аджубее как реформаторе журналистики, то главное, что он сумел сделать, — заставил по-новому звучать слово «журналист». Сфера деятельности, которую издавна костерили как «вторую древнейшую профессию» (первая, как известно, — проституция) обратилась при нем в занятие почетное. В 1958 году по инициативе Аджубея был создан творческий Союз журналистов. В очаг дискуссий на злободневные темы, просветительских программ и просто излюбленных дружеских посиделок обратился московский Домжур — Дом журналистов, о существовании которого раньше мало кто слышал. Обретя неповторимое собственное лицо, он успешно конкурировал с Московским Домом литераторов и Домом кино.

Правда, отточить свою идею до полного совершенства и наделить членов Союза журналистов такими же юридическими правами и материальными преимуществами, какими законодательно пользовались члены Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных работников и т.д., как того добивался Аджубей, не удалось.

Торпедировал же завуалированную идею возможной автономии журналистского объединения и «свободы прессы» все тот же давний скрытый ненавистник Аджубея «серый кардинал» М.А.Суслов.

Уже в самом конце своей карьеры несказанно возвысившийся член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской премии А.И.Аджубей задумал крупную реформу, которая превратила бы его журналистское королевство в империю. Теперь уже должны были изменить лицо не внутренние апартаменты здания, а сама газета «Известия». Внешне она могла потолстеть раз в десять, если не в двадцать. Это один вариант. Или же — при сохранении прежнего объема основного издания — рядом

с ним появились бы многочисленные отраслевые его приложения. И изменения эти должны были отразить внутренние перемены в газетном мире страны.

По договоренности с П. Сатюковым, главредом «Правды», некоторые из подобных изменений должен был произвести у себя и партийный орган. Но в целом все же «Правде» отводилась роль английской королевы, которая царствует, но не правит. Единственным королем прессы и вождем общественного мнения в данном случае становились бы «Известия» и их глава.

Для этого требовалось сделать не столь уж много. Все или почти все общесоюзные отраслевые газеты должны были быть упразднены. Самостоятельно не следовало более существовать ни «Советской торговле», ни «Гудку», ни «Водному транспорту» ни, может быть, даже «Учительской» и «Литературной» газетам. Все они в мгновение ока превращались, в зависимости от собственной значимости и читательской аудитории, в двух- четырех- и т.д. страничные вкладки к главной газете или в ее приложения. Сами «Известия» на западный манер, скорей всего, обратилась бы в «толстый» ежедневный журнал объемом в 50—60 страниц.

Зато читатель ежедневно получал бы в нем всё. В подобной всеобъемлемой тематической толщине здравствуют и процветают самые главные газеты на Западе. А чем мы хуже?! Да и партии в таком случае легче управлять всеми струями газетной продукции. А кто стоит на капитанском мостике, кто крутит руль событий — гадать не надо!

В редакции «Известий» уже обсуждалось, между прочим, где и как разместить новых сотрудников «отраслевых отделов», кто и где будет сидеть. У кого какое помещение и какой столик, и в какой очередности будут кормить в столовой... Помешал октябрьский переворот 1964 года — он же октябрьский пленум ЦК, захват власти задубенелой партбюрократией ... А то бы аджубеевская газетная империя засверкала во всех красках.

Но и то сказать, творческий потенциал журналистских сил «Известий» открывал возможность для самых дерзких реформ. В ту золотую газетную пору во многом благодаря главному редактору сложилась плеяда сотрудников, чьи имена искала на полосах «Известий» вся читающая страна. Вроде первого пера редакции Анатолия Аграновского, новаторски отзывавшегося на подсмотренные в жизни социально-этические проблемы. Аграновский живым и зорким своим талантом потеснил таких бывлых законодателей газеты, как Татьяна Тэсс и Евгений Кригер. Оба печатались и при Аджубее. Однако же слащавые, похожие на святочные рассказы, иные морализаторские очерки Тэсс или «мужественные» канонические очерки Кригера, скажем, о недавней войне, не шли ни в какое сравнение с острыми, яркими и живыми расследованиями окружающей действительности и подачей нравственных проблем Аграновским.

Глубиной расследования жизни и яркостью подачи материала отличалась газетная публицистика других известинцев нового призыва: Геннадия Лисичкина (публицист-деревенщик), Любви Ивановой, новатора воспитания, «под которую» специально был создан отдел школ и вузов, Александра Васинского (разъездной корреспондент), Отто Лациса (экономист), Станислава Кондрашова (международник), журналистов-организаторов Михаила Хитрова, Алексея Друзенко и Игоря Голембиовского (отдел писем), Нателлы Лордкипанидзе (театральный критик), Андрея Золотова (музыковед), Нинель Исмаиловой (кинокритик) и многих-многих других... С большинством из этих «известинцев» мне привелось позже вместе работать или быть близко знакомым. Из их уст дополнительно знаю, как шли дела и велась газета при Аджубее.

Журналисты, долгое время работавшие с Аджубеем, усвоили кодекс правил, на котором главный редактор воспитывал коллектив и исполнения которого добивался. Смелый путепроходец и искатель истины Леонид Шинкарев, с 1961 года более тридцати

лет проработавший собственным корреспондентом «Известий» в Сибири и за границей, печатно следующим образом сформулировал эти аджубеевские принципы.

Главный из них — «защитить маленького человека», читай — основного читателя газеты. «Редактор Аджубей, — пишет Шинкарев, — огромное значение придавал письмам, которые приходили в газету.

В отделе писем трудились 40 человек (неслыханно много!), в газете было 90 рубрик по письмам читателей, в крупных городах были открыты общественные приемные газеты «Известия».

Принципы, которым при этом следовал Аджубей, впитывали «известинцы»:

— газета должна быть собеседником своих читателей;

— необходимо слушать и слышать, о чем спорят и говорят на улице...»

Итак, газета должна нести свое слово за пределы частных жилищ и казенных стен. Оно должно вырываться на улицу, витать на свободе и веять эту свободу. А в качестве закоперщика и разносчика освобожденной мысли призвана выступать, прежде всего, интеллигенция.

Словом, мы видим здесь те же самые установки плюс четко взятый курс: преобладающий читатель — интеллигенция. Именно она, по устремлениям руководителя редакции, была главным читателем «Известий».

Преувеличивать не будем, конечно. *Но так или иначе правительственная газета «Известия» стала первым шагом к будущему появлению освобожденной бесцензурной прессы в стране.* То есть цензура, конечно, и при Аджубее знала свое дело и где надо свой голос подавала. Но только уже в исключительных крайностях. В остальном предпочитала поджимать хвост перед таким главным редактором. Заменяла ее гвардия партийных досмотрщиков и соглядатаев из ЦК во главе с самим Сусловым. Но у тех много было других обязанностей, собственной круговерти, и всего досмотреть они не могли.

Впрочем, обретения обретениями... Мечты мечтами... А реальная жизнь идет своим чередом. Одно дело — чего ты хочешь, а другое — что ты можешь, какие извороты делает с тобой жизнь и во что ты на деле реально превращаешься. Так в немалой степени происходило и с Аджубеем.

Крутые перемены судьбы, повторюсь, меняют не только место человека в жизни и обществе. Чаще всего постепенно или скоропалительно меняется он сам. Метаморфозы эти в главном редакторе «Известий» четко отметил, например, петербургский исследователь Д.Травин:

«Поначалу, — пишет автор, — он был франтоватым и компанейским парнем. Мог при случае станцевать твист, рассказать анекдот... А во время встречи с читателями мог поручить первому ряду самим выбирать вопросы, на которые стоит отвечать известинцам.

Но по мере того как укреплялись его позиции, Аджубей заметно бронзовел. Он стал членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета, а по личному статусу зять вождя и любимца масс мог заткнуть за пояс даже иного члена политбюро. Порой редактор превращался во что-то вроде теневого министра иностранных дел, поскольку выполнял за рубежом личные поручения Хрущёва и фактически представлял страну западному миру.

Внутри известинского коллектива он все больше превращался из первого среди равных в хозяина, который может по многу дней заставлять высиживать в приемной, скажем, такого не последнего в журналистской иерархии человека, как Станислав Кондрашов. Все чаще Алексей Иванович раздражался, когда старые друзья прилюдно называли его Алёшей...»

Однако при всем том талантливым и быстрым редактором он оставался.

Подарок надоевшего полуострова

Говорят, что Аджубей
В детстве тоже был еврей.
Еврей, еврей... Кругом одни еврей.
Если в кране нет воды,
Значит, выпили жида...
Еврей, еврей... Пробрались в Аджубей...

(Из уличных куплетов эпохи Оттепели)

Если брать отношения с Хрущёвым, то поначалу долгое время Аджубей вынужден был довольствоваться ролью созерцателя, если не угодливого прислужника всемогущего тестя. В начальные годы что-либо выходящее из круга привычных отношений ему еще дозволялось редко. Приходилось помалкивать.

Может быть, ни слова возражений не сказал он тестю в ту пору и об «историческом подарке» — передаче Крыма Украине в феврале 1954 года. А собственное осмысление этого события дал лишь без малого четыре десятилетия спустя. Это произошло почти сразу после сговора в Беловежской пуше, положившего конец существованию СССР. Его статья под названием «Как Хрущёв Украине Крым отдал» появилась в шестом номере журнала «Новое время» за 1992 год.

Еженедельник был одним из самых популярных общественно-политических изданий той поры, выходил он, помимо русского, на девяти иностранных языках. Руководил журналом сотрудник Аджубея времен «Комсомолки» смелый журналист Александр Пумпянский.

Крым уже в момент распада СССР (декабрь 1991 года) мог бы превратиться в яблоко раздора между Украиной и Россией. Но главным противником для нового властителя страны Бориса Ельцина оставались силы, стоявшие за только что свергнутым президентом СССР М.Горбачёвым, изо всех сил старавшиеся отстоять целостность и единство государства, а тем самым удержаться у власти. И Ельцин тут остро нуждался в поддержке своего коллеги по Беловежским соглашениям — президента Украины Леонида Кравчука. Отсюда их взаимопонимание и совместные акции. Одной из плат за надежный трон новоявленного «царя Бориса», как вскоре возникнет прозвище, был Крым.

Не стану пересказывать статью. Попробую показать ее остроту и актуальность на выдержке из недавнего номера известного немецкого журнала «Шпигель» (2016, № 6).

«После распада Советского Союза, — пишет "Шпигель", — Крым обратился в потенциальное яблоко раздора. Уже в октябре 1991 года, через два месяца после провозглашения украинской независимости, Верховный Совет Республики Крым потребовал проведения народного референдума о будущем полуострова. Полгода спустя, в мае 1992 года, парламент Крыма (так и не дождавшись решений из Киева. — Ю.О.) провозгласил независимость и собственную Конституцию. Российская Федерация под руководством президента Бориса Ельцина развила систему всевозможных силовых противодействий и давлений на Крым, чтобы заставить его подчиниться украинской воле. Со своей стороны киевское руководство постановило считать решения парламента Крыма недействительными. В заключенном с Украиной в 1997 году договоре о дружбе (подписанном тем же Б.Ельциным. — Ю.О.) Россия признала ее границы в обмен на соглашения о размещении российского черноморского флота в крымском Севастополе.

Большинство жителей Крыма постоянно ощущало большую близость с Россией. В референдуме, проведенном 27 марта 1997 года в форме опроса общественного мнения, 78 процентов населения высказалось за суверенитет полуострова».

Таким образом, можем сказать теперь, сам подарок, менявший статус и вековой

уклад (Крым присоединен к России в 1783 году) и отдающий полуостров в собственность Украине, разнообразной юридической буквой подтверждался дважды. Но будто в крепостные времена, ни разу не спросили при этом мнение тех, чью новую судьбу эта буква определяла. То есть народ, население Крыма. Буква же в данном случае вновь и вновь выступала против здравого смысла. А когда крымское население все-таки спросили, то вот и получилось... Худо или хорошо был устроен прошедший в марте 2014 года референдум о статусе Крыма, но подавляющее большинство населения полуострова и города Севастополя (соответственно 96,77 % при явке 83,1 % и 95,6 % при явке 89,5%) высказались за объединение с Россией. И можно проводить еще сколько угодно референдумов и опросов под любым международным контролем, результат будет сходный...

Что и как совершалось в вершущем закулисье, в самой Беловежской пушке, между Ельциным и Кравчуком, тоже теперь известно в деталях. Об этом дает представление, причем со слов самого президента Украины Кравчука, с которым лично общался, сын Никиты Сергеевича — Сергей Никитич Хрущёв.

«...Первый президент Украины Леонид Кравчук, — рассказывает он, — когда в декабре 1991-го в Беловежской пушке принимали решения /.../ о ликвидации СССР, то у него, у Кравчука, — все время кошки скребли на душе... А как с Крымом-то будет? Вроде Крым-то украинский, но не совсем украинский. Это не я говорил, это он говорил. И тогда перед подписанием соглашений Кравчук обратился к Ельцину. Они собирались там за стол садиться, а после этого официально подписывать документы. "Борис Николаевич, а как с Крымом будем?" А Ельцину, видимо, было не до этого. Он в основном думал, как ему с Горбачевым расправиться, да и за обед пора садиться... Он сказал Кравчуку, махнул рукой: "Ну и забирай!" Кравчук говорит: "Я сразу и забрал!" Понимаете? Если бы Ельцин не сказал: "Ну и забирай!", то Кравчук был бы рад получить Украину даже без Крыма. О Крыме он и не мечтал. А тут такой подарок царский от Ельцина, который о крымчанах, оказывается, и не думал /.../ Ельцин же мог спокойно сказать: "А-а, вы не отдаете нам Крым? Я тогда Беловежские соглашения не подпишу". И все. Очень просто. Вы думаете, что Кравчук сказал бы, что ему не нужна Украина без Крыма? Сомневаюсь..."»

Без выворачивания наизнанку самых вопиющих подробностей бывшего закулисья, но того же, в сущности, направления, что и газетное выступление С.Н.Хрущёва («Комсомольская правда», 2014, 20 марта), за двадцать с лишним лет до этого держалась и статья Аджубея в журнале «Новое время». Подробно воспроизводила в печати часть тогдашних событий и дочь Хрущёва Рада Никитична. Сделала она это гораздо позже, через двенадцать лет после покойного мужа. Но начну все-таки с ее рассказа — интервью правительственной «Российской газете», публикацию которого в номере от 19 октября 2004 года редакция сопроводила шапкой: «Отец Крым отдавал на моих глазах».

«Каждую осень в сентябре, — повествует Рада Никитична, — отец ездил в Крым и меня с собой брал. Он не любил Сочи, "Бочаров Ручей", ни разу там, на сталинской даче, не жил... На третий день нашего отдыха он предложил мне и Алёше (А.И.Аджубею. — Ю.О.): Давайте поедem по степному Крыму, посмотрим, что там делается в колхозах?

Нас поразила пустынность Крыма — татары выселены, переселенцы из России жалуются: замучили засухи, картоха не растет, а виноград выродился. Доехали мы до Симферополя. И отец говорит: "Махнем в Киев, там сейчас совещание сельхозников, послушаем, что говорят люди, кое-что обсудим". Я вернулась на дачу к маме, а они с Алёшей махнули в Киев. И вот из Киева отец приехал уже с этой идеей. Украинцы — южная нация. Виноград умеют выращивать. Все им более или менее близко. Конечно, как вы сами понимаете, у него и в мыслях не было, что СССР когда-нибудь развалится».

Сейчас вокруг новейших событий «Крымнаш» — «Крымненаш» кипят страсти. Хмурые, чуть не огненные политические баталии застлали международные горизонты. Украинская сторона утверждает, что все было сделано и оформлено в соответствии с тогдашними советскими законами начала 50-х годов, буква в букву. Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области в состав УССР был принят 19 февраля 1954 года с соблюдением всех должных процедур и церемоний тогдашних законодательных норм. Крымчан, правда, среди которых подавляющее большинство в любые советские времена составляли, да и составляют, русские, где они хотят жить и на каком языке разговаривать, никто не спрашивал. Никаких референдумов не проводилось. Но по тогдашней букве закона того и не требовалось.

Передачу Крыма сделали тогда апогеем громозвучных торжеств в связи с 300-летием Переяславской рады, заявившей о воссоединении Украины с Россией. Старший брат по такому случаю вручал младшему весомый подарок. Скажем, отрезанную от собственного тела руку или ногу.

Народный поэт Украины Павло Тычина, расчувствовавшись в тот памятно-роковой день 19 февраля 1954 года, на сессии Верховного Совета СССР даже не смог скрыть в благодарственной речи ноток удивления масштабами подарка. «Когда и в какой капиталистической стране, — в экстазе чуть ли не захлебывался он, — возможен такой величественный акт, как передача великим народом одной из лучших своих областей другому народу. Причем передача бескорыстная, от всей души, по доброй воле...»

Вернемся теперь к статье Аджубея в журнале «Новое время». Там он описывает свои впечатления от поездки по Крыму. Во время неожиданного сентябрьского автомобильного вояжа 1953 года с Хрущёвым по степной части полуострова его поразила зелено-песчаная полупустыня, в которую превратился некогда цветущий степной край. Зброшенные, разваливающиеся деревни, пустые аулы и поселения. Даже захудалого магазинчика, чтобы испить по дороге водицы, на пути не попадалось. Как выяснилось потом из официальной справки, оказывается, во всем здешнем краю к той поре действующими уцелело только 29 продуктовых и 11 промтоварных магазинов. Всего-то! Впрочем, одна какая-то захудалая лавчонка путешественникам все же подвернулась. Но в ней на полках, кроме поллитровок водки и черствых буханок хлеба, выстроились только бутылки с прокисшим лимонадом. И самое поразительное — в сверхурожайную пору года, будто по черному колдовству, в лавчонке не оказалось овощей и фруктов!!! Будто приезжие очутились за полярным кругом!

Все это были бытовые последствия сталинской депортации народов 1944 года, почти десятилетней давности. Хрущёв за многолетнюю пору высшего управления и хозяйствования на Украине все это знал наперед. Наслышан был, да и помимо летнего отдыха в Крыму не раз заезжал в эти края. Сейчас же, перед окончательным решением, может, хотел освежить впечатления, чтобы напором фактов и доводов убедить возможных противников, опрокинуть и побить несогласных. Вот почему после стремительного броска по крымским пустошам он немедленно направился в Киев.

Аджубей далеко идущего замысла тестя тогда еще не знал. Но запустение степной части Крыма видел своими глазами. Удручающим оказались встречи со здешним новопоселенцами. «Больше всего, — по словам аджубеевской статьи, — Никиту Сергеевича поразили и взволновали толпы переселенцев, которые неведомо как узнали о его поездке. Они задавали вопрос о жизненно необходимом — продовольствии, жилье, помощи». Переселенцы преимущественно приехали из России, с Волги, из северных российских областей. «Это я сейчас пишу "приехали", а они кричали: "Нас пригнали" — привычный стон людей, отчаявшихся обрести надежную судьбу. Из толпы раздавались и вовсе истерические выкрики: "Картошка здесь не растет,

капуста вянет". Или вдруг совсем неотразимое: "Клопы заели". "Чего же вы ехали?" — спрашивал Хрущёв. И толпа вздыхала: "Обманули"...

Вечером того же дня Хрущёв с Аджубеем оказались на приеме в Мариинском дворце, в Киеве. И Хрущёв пересказывал свежие впечатления от крымской поездки обступившим его здешним украинским управителям. Он просил их вмешаться, протянуть руку братской помощи, серьезно взяться за дело и с намеком внушал (запомнилось Аджубею): «Тут южане нужны, кто любит садочки, кукурузу, а не картошку...»

Все это было в сентябре, а в феврале состоялось историческое решение. Крым отдали Украине.

Зачем же так поступил Хрущёв?

Скрытые намерения открываются через поступки. Запущенной была только степная часть Крыма. А ведь были еще другие части, просторы и края полуострова, превосходящие, не говоря уж о населении, по территориям обезлюдившую крымскую степь. Были легендарные живописные крымские горы. Был уникальный курортный субтропический Южный берег с его бесчисленными живительными здравницами. Были Ялта, Гурзуф, Алушта, Феодосия... Были города, порты и исторические центры, в том числе крупные и важнейшие — Севастополь, Симферополь, Керчь, Евпатория, Бахчисарай... Что же, их тоже надо было мерить по принципу, что там лучше произрастает — кукуруза или картоха?

Нет, конечно. Не так прост был новый партийный вождь Хрущёв, недавний сокрушитель Берии. Аджубей только гораздо позже стал догадываться, что тесть, обратившись в первую фигуру в стране, тогда еще только сжимался в комок, примеривался к предстоящей борьбе за власть. После смерти Сталина она далеко не была окончена, а только начиналась. Председателем правительства был Г.Маленков, главный докладчик на последнем XIX съезде партии, несостоявшийся наследник Сталина. Его заместителем был В.Молотов, председателем Президиума Верховного Совета СССР К.Ворошилов, членом Политбюро Л.Каганович и т.д. (Будущая так называемая антипартийная, а по существу, антихрущевская группа!). Тесть знал, что борьба предстоит, и он хотел иметь собственную вотчину и твердую опору.

Хрущёв видел для себя такую вотчину и твердую опору в Украине, где правил многие предвоенные и послевоенные годы и часто красовался в летнюю пору в белой расшитой красно-голубыми узорами украинской рубашке-вышиванке. Окончательно привязать нынешнюю неньку Украину к себе мешали только полосы недоброй памяти о тех лихолетьях, когда он в качестве главного здешнего управителя волей обстоятельств и от собственного усердия подписывал конвейер бумаг со смертными приговорами жертвам тогдашних репрессий. Память о соучастии в тогдашних преступлениях надо было погасить. Теперешнюю номенклатуру купить и задобрить. Подарок Крыма со всеми истекающими отсюда возможностями, прямыми благами и посулами было то самое оно.

Хрущёв улыбался. Изображал чуть ли не мелкой семейной формальностью предстоящее решение о передаче Крыма Украине. Дескать, у России просто руки до Крыма не доходят, а Украина может «эффективно помочь преодолеть полуострову хозяйственный и демографический кризис». Сумел тогда перетянуть на свою сторону «луганского слесаря» Клим Ворошилова, председателя Президиума Верховного Совета СССР, благо тот родом с Украины, а затем слабовольного и рыхлого Предсовмина Георгия Маленкова, в своем узком кругу прозванного «Меланья», ну и других... Даже возил группу членов Политбюро с собой в Киев. Но круто и безжалостно рубил головы — расправлялся одновременно с теми, кто такому решению пытался противиться.

Так обернулась судьба тогдашнего первого секретаря Крымского обкома партии Павла Титова.

Титов попытался возражать и выставлял контрдоводы. Этим загубил себя. Зато со спины правдолюбца, как самолет с аэродрома, обеспечил себе блистательный взлет в карьерное небо второй за ним человек в крымской иерархии — председатель облисполкома Дмитрий Полянский.

Очевидец событий партработник Г.Мясников в позднейшей книге «Страницы из дневника» (М., 2008) пишет: «Я помню, как он (Дмитрий Полянский) пошел в гору. Хрущёв, Титов и Полянский встретились в Крыму. Возникла идея передачи Крыма Украине. Титов идею с ходу отверг, а Полянский сказал, что это гениально. На другой день собрали пленум, Титова прогнали, а Полянский стал первым секретарем обкома».

Хрущёв нуждался в безоглядном и энергичном исполнителе крымской затеи. И он учуял и обрел такового в 35-летнем Д.С.Полянском. Зато и расплата за услуги последовала по-барски размашистая и безмерная. Уже через пять лет Дмитрий Степанович получил пост Председателя Совета Министров РСФСР (1958—1962), а затем еще и более высокие назначения в Совмине СССР, с одновременным членством в Президиуме (Политбюро) ЦК КПСС... Полянский стал самым молодым членом Политбюро. Все это, впрочем, не помешало ярому энтузиасту украинизации Крыма в 1964 году участвовать в антихрущевском заговоре и даже подготовить письменный доклад о свержении своего благодетеля. Кстати, гораздо более резкий, чем тот, с которым в октябре 1964 года выступил на Пленуме ЦК партии М.А.Суслов...

Не стану долго оспаривать еще один теперешний довод псевдоморалистов, кто считает, что хрущевский дар якобы безнадежно угасавшего полуострова вернули назад в прежнее лоно не только незаконно, но и несправедливо. Дескать, братская Украина несколько десятков лет корячилась, себе в куске отказывала, превратила бывшие пустоши и руины в цветущий край. А затем пришли «вежливые человечки» и, прикрываясь листочками референдума, в мгновение ока все эти плоды и труды отобрали. В России же, мол, полуостров, как кочка в болоте, по-прежнему оставался бы заброшенным и полуничим.

Приведу, может быть, несколько пространную выдержку из современной статьи специалиста, разъясняющего среди прочего и эту сугубо экономическую проблему. «Подобные утверждения, — пишет автор, — ловкая манипуляция сегодняшним незнанием советских реалий. Комплексное, плановое, строго централизованное единое хозяйство страны развивалось по единым планам. Крупные проекты, а Крым был очень крупный проект, реализовывались сообща, всеми республиками, всем миром под присмотром Москвы. Так создавалась вторая индустриальная база на Урале и в Кузбассе, Второе Баку — в Татарии и Башкирии, Третье Баку — в Западной Сибири, прокладывался БАМ /.../

Уже 24 июля 1954 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства, городов и курортов Крымской области УССР". Такие документы готовятся иногда годами, а тут за несколько месяцев уложились. Вот что значит — своя рука владыка. Кстати, в комиссию, которая готовила проект постановления ЦК и Совмина, входил и Дмитрий Полянский, первый секретарь Крымского обкома, теперь уже КПУ. Москва, именно Москва — Госплан союзный, Минфин выделили на 1954—1957 годы, всего на три года, около пяти миллиардов рублей. Планировалось заложить в колхозах и совхозах около 14 тысяч гектаров садов, 16 тысяч гектаров виноградников, 900 гектаров ягодников, 80 тысяч квадратных метров парников. Предусматривался огромный объем мелиорации, в том числе и начало подготовки к строительству гигантского сооружения — Северо-Крымского водоканала. Тяжелый оброк накладывался на все крупные министерства и союзные ведомства. Они должны были строить Новокрымскую ГЭС и ЛЭП, современные порты в Ялте, Керчи, Феодосии, автодороги, школы, объекты культуры, мощную по тому времени перерабатывающую промышленность. 600 миллионов рублей выделялось на развитие санаторно-курортной зоны. Надо отдать должное Никите Сергеевичу — озолотил свою

идею. Вот и весь секрет украинского чуда». (Левицкий Л. «Уроки истории», журнал «Российская Федерация», 2015, № 14).

Могу дивиться лишь, насколько эта выдержка из специального журнала, о существовании которого я до сих пор понятия не имел, не только тоном и оценкой, но иногда и подробностями былого показалась мне знакомой. Совпадением с тем, что мне привелось выслушивать в редакторском кабинете, а затем и читать у Аджубея еще в давние времена в журнале «Новое время».

Хрущевский подарок Крыма Украине был переносом данной территории из одной административной единицы общего государства в другую. Перекладыванием кошелька из одного кармана в другой. И не более того. Положение в корне изменилось, когда дарящий и одариваемый стали разными международными субъектами, не зависимыми друг от друга государствами. В тот момент в Беловежской пуще, когда Ельцин на ходу Кравчуку гаркнул: «Забирай!». О каких юридических и правовых нормах тогда могла идти речь?

В дальнейшем мы не раз будем наблюдать вживе и говорить о тихом, но вероломном предательстве, совершенном зятем по отношению к тестю во время подготовки дворцового переворота и вскоре после него. Это было так, и тут ни убавить, ни прибавить. Предательства не оправдывает ничто.

Но при этом не следует все же скидывать со счетов расхождение натур и многих внутренних жизненных принципов, понятий, устремлений и вкусов, существовавших между зятем и тестем. Расхождений и отталкиваний скрытых, глубоко спрятанных, однако же нутряных и установочных, вплоть до самых мелких и капризных.

Вольнолюбивому журналисту претили вельможено-диктаторские замашки тестя, проявившиеся в небрежном, а в тайне своекорыстном, хорошо просчитанном и умело подготовленном подарке Крыма. За полуостров пролито столько крови, за него воевал молодой Лев Толстой.

Не забыл Аджубей и бытовых мелочей, лично с ним происходивших. Воскресных попыток — десятикратных театральных посещений одного и того же спектакля «Горячее сердце». И собственных жалких высокоумных бормотаний-разъяснений, которые вынужден был давать чуть ли не похрапывающему рядом в кресле тестю. Долгое время тот ведь даже и в семью его на равных правах с другими родственниками не допускал. Выслужи, мол, это сначала.

Словом, не нравились Аджубею и большевистско-диктаторское самоуправство, и партийное барство бывшего сына пастуха, и его жестокость. Алексей был артист и вида, конечно, не показывал. Но в душе это жило — не изгонишь...

Кубинские сигары и германский вопрос

Если говорить о международной деятельности Аджубея, то особо яркой и оригинальной страницей, безусловно, стали тут встречи и переговоры с Джоном Кеннеди. Причем наибольшую дипломатическую новизну и даже историческую значимость в их содержании обрела германская проблема.

Таких деловых встреч с президентом США было три. О первой из них вскользь уже упоминалось. После победы кубинской революции и провала американского вторжения на Кубу Аджубей попросил Джона Кеннеди об интервью для «Известий».

Советско-американские отношения пребывали тогда в благоприятном раскруте. В июне 1961 года сам Н.С.Хрущёв встречался с президентом США в австрийской столице Вене. Заключались новые межгосударственные соглашения, в том числе о запретах испытаний атомного оружия в трех средах (в космосе, на земле и под водой), действующие поныне.

Алексей Иванович был направлен тестем в Вашингтон, чтобы подышать

тамошней атмосферой и проследить живые детали происходившего. Скромный наблюдатель, однако, вскоре вырвался в лидирующие партнеры, не замедлив затеять печатную дискуссию с президентом Кеннеди, вынесенную на страницы «Известий». Причем действовал не просто как газетный интервьюер, знающий свое место, а как равноправный партнер в завязавшейся дискуссии.

В современной хроникерской заметке под тематической рубрикой «Газеты» происходившие события передаются так: «27 ноября 1961 г. в «Известиях» появилось неожиданное сообщение: *"25 ноября президент США Дж. Кеннеди принял на своей даче, близ Бостона, главного редактора «Известий» Алексея Аджубея и дал ему Интервью"*».

Интервью с президентом Дж. Кеннеди заняло половину первой и всю вторую полосу «Известий». Ответы президента занимали столько же места, сколько слова Аджубея, — журналист сначала давал комментарий, а потом задавал вопрос. Кеннеди поначалу явно не ожидал, что вместо интервью советский журналист начнет дебаты. Президент воскликнет: «Вы, господин Аджубей, и журналист, и политический деятель», — на что получит выверенный ответ: «У нас каждый гражданин является политическим деятелем, потому что мы очень любим свою страну».

Джону Кеннеди оставалось только, добродушно усмехнувшись, принять предложенные ему правила игры. В результате обе стороны высказывались и обменивались мнениями на равных и почти равное время.

Это было первое интервью с американским президентом за всю историю советской печати. Известны любопытные подробности, сопровождавшие столь необычное событие. Не обошлось без скандально нашумевших курьезов. Причем один из них был отчасти почти детективный.

Как-то еще во время дружеской дипломатической встречи в Москве Хрущёв, услышав об этом его увлечении, преподнес в подарок новоизбранному президенту Кеннеди, через посредство его пресс-атташе Пьера Сэлинджера ящичек с редкостными и дорогими кубинскими сигарами, подаренными ему в свою очередь Фиделем Кастро. Сам Хрущёв, как известно, не курил. Дальнейшую судьбу этого переподаренного сюрприза, в котором было 250 коллекционных сигар, проследил А. Аджубей.

Существует несколько рассказов о дальнейших переплетях с этим сигарным даром, исходящих от разных лиц, но в первую очередь, конечно, — от самого Сэлинджера. Дело в том, что к тому времени указом президента Кеннеди США уже наложили эмбарго на торговый обмен с Кубой. Любой ввоз товаров оттуда или там произведенных в Штаты был строго запрещен.

«Как и Кеннеди, Сэлинджер был заядлый курильщик сигар, — читаем в одной из таких ходячих бывальщин, — и в частности, большим любителем кубинских /.../ Сэлинджер, улетавший из Москвы, знал, что ввоз этих сигар в США был незаконен, но он также знал, что с его специальным президентским дипломатическим паспортом у него не будет никаких проблем на таможне США.

Когда Сэлинджер вручил сигары Кеннеди, президент испытал шок, а затем пришел в ярость. Он приказал Сэлинджеру сдать сигары в распоряжение Главного таможенного управления. А затем представить ему квитанцию, чтобы убедиться, что Сэлинджер это сделал...» И двести пятьдесят замечательных раритетных сигар, как солома, были изрублены специальной резательной машиной на американской таможне.

Лиха беда начало. Вслед за тем полгода спустя Аджубей еще дважды встречался с выдающимся американским государственным деятелем. И от имени Хрущёва по поручению высшего советского руководства вел с ним переговоры, касающиеся не только Кубы, но также судеб и устройства послевоенной Европы.

Причем, если вторая встреча в узком кругу была доверительной и полуофициальной, то третья, «с глазу на глаз», — абсолютно тайная. Происходившие на ней переговоры настолько секретные, что отражающие их документы из спецхрана увидели свет лишь совсем недавно. Некоторые извлечения из них приводятся ниже.

Записка А. И. Аджубея в ЦК КПСС от 12 марта 1962 года о его третьей встрече с

президентом Кеннеди излагает дальнейшие американские планы — их отказ от возможного повторного вторжения на Кубу. США не намерены больше применять внешнюю силу. *«Куба падет изнутри»*, — в ходе беседы выразил свой приговор американский президент. Это означало, как комментирует Аджубей, что весной 1962 года Джон Кеннеди окончательно отдал предпочтение подрывным действиям и тайным операциям против Кубы, а не военному вторжению.

Существует секретная «Записка А.И.Аджубея в ЦК КПСС от 12 марта 1962 года», где он подробно информирует о двух последующих мартовских встречах с президентом Д.Кеннеди. В поездке его сопровождала Рада Никитична. Поэтому официальные приемы происходили с неизменным участием жен.

«Во время пребывания в США, Бразилии и проездом в Мексике, — сообщает Аджубей, — я имел несколько встреч с президентом США Кеннеди, его братом Робертом Кеннеди (тогдашним министром юстиции. — *Ю.О.*) и некоторыми другими лицами из окружения президента /.../

На следующий день после нашего приезда в Вашингтон президент дал завтрак, на котором присутствовали его жена, сестра жены, а также посланник СССР Г.Н.Большаков с женой. Обращает внимание на себя такая деталь. Когда я поздоровался с Кеннеди, он почти сразу завел разговор о Кубе...»

Разговор за завтраком, оттолкнувшись от устроенных президентом расспросов Аджубея о личных его впечатлениях от недавнего визита на соседний остров и его мнений об отдельных кубинских руководителях (Че Гевара и др.), сосредоточился затем на политических, экономических и других сторонах и способах решения кубинской проблемы. Временами доходило до острой дискуссии. После завтрака состоялось нечто вроде упорядоченных формальных переговоров по кубинской проблеме. Затем была устроена пресс-конференция для журналистов.

Самое интересное, однако, случилось позже. Гостя неожиданно-негаданно вдруг окунули в тайны мадридского двора.

«После пресс-конференции, — сообщается в докладной записке Аджубея, — Кеннеди попросил еще об одной встрече, которая, как он выразился, будет носить совсем конфиденциальный характер...

Обращает на себя внимание боязнь президента открыто принять советского журналиста. Через Большакова и Сэлинджера было условлено, что в 6 часов вечера за мной придет машина из Белого дома, в которой я должен буду поехать по городу. Чтобы журналисты не узнали о новой встрече президента с советским редактором. И действительно, машина долго возила нас по каким-то дальним улицам, наконец, мы подъехали к Белому дому со стороны личного подъезда президента. Ворота очень быстро раскрылись, у нас не спросили никакого документа, и машина подошла вплотную к подъезду.

Кеннеди ходил по коридору и ждал. Он быстро прошел в комнату и на этот раз в нервном тоне начал разговор. Жестикулируя, он говорил следующее...»

Темой оказалась не Куба, основные решения по поводу которой руководством Соединенных Штатов, как видно, были уже приняты. И выражены достаточно отчетливо в предыдущем разговоре. Не вторгаться на остров, а блокировать, всеми способами скрыто и тайно вести там подрывную работу изнутри и ждать, когда то ли дерево сгниет, то ли созревший плод сам падет на землю. Так что застольный завтрак, помимо знаков вежливости, имел разве лишь дополнительную информационную цель.

Как известно теперь, такая установка со стороны администрации Кеннеди частично оказалась ошибкой неведения. Советские ядерные заряды уже плыли к Кубе или находились на острове. Но ведь подобные же ядерные установки США и НАТО базировались в Турции и еще были рассредоточены совсем рядышком, вдоль советских границ. Казалось бы, полное равенство. Но мириться с таким смертоносным равенством руководство США отнюдь не собиралось. Всего чуть более полугода оставалось до

Карибского кризиса, до момента, поставившего земной шар на грань возможной гибели в огне третьей мировой войны, на сей раз испепеляющей ядерной.

Главным предметом обсуждения, на котором президент США сосредоточил внимание и ради которого была затеяна вечерняя потаенная беседа, стала не Куба, а послевоенное устройство в Европе. Прежде всего — германская проблема в самых ее актуальных, животрепещущих и неотложных аспектах и поворотах. Положение в различных частях разделенной Германии и, в особенности, статус Западного Берлина после сооружения «берлинской стены». И вообще дальнейшие миротворческие усилия в Европе и в мире.

Вечерняя беседа 12 марта 1962 года, можно сказать, была нашпигована дипломатическими секретами, которые звучали порой как политические сенсации. Истины реальной политики, делавшие честь говорившему, несомненно, соседствовали тут с тонким политическим расчетом.

«Я прошу Вас передать, и если можно, передать устно, — говорил Кеннеди и излагает в докладной записке Аджубей, — что *Соединенные Штаты, Англия и Франция против воссоединения Германии. Нас беспокоило бы это динамичное и мощное государство (выделено мной. — Ю.О.)*. Мы понимаем нереальность такого объединения, однако на словах я должен говорить об объединении. И поэтому не может быть и речи о признании ГДР, также как о признании границы на Эльбе, то есть границы между двумя Германиями. Что касается других пограничных вопросов, то вполне возможно, что шаги, которые будут направлены к урегулированию наших споров, приведут к тому, что будет заявлено о признании границ по Одере и Нейсе».

Продекларированная Кеннеди тайная позиция не только США, но и главных его союзников — Англии и Франции — по отношению к объединению Германии означала совершенную сенсацию в тогдашней мировой политике. Аджубею следовало известить о ней высшее советское руководство. Ради этого, судя по всему, и была затеяна эта тайная вечерняя встреча. А уж в свете и под знаком такого понимания должны были обсуждаться и решаться другие аспекты и частности германской проблемы. К их рассмотрению президент затем и приступил.

Кеннеди недаром называли американским шестидесятником. Президент «очень настойчиво/.../ проводил мысль, что в ближайшие годы надо было бы выработать такие взаимоотношения, которые повели бы к некоторому смягчению общей мировой обстановки...» Требовалось отрегулировать острые текущие проблемы — судьбу Западного Берлина, отсеченного уже со стороны столицы ГДР спешно сооруженной разделительной стеной, транспортировку грузов между двумя частями Германии и т.д.

Из журналиста — фиксатора и летописца событий — Аджубей все больше превращался в их устроителя — штатного дипломата и государственного деятеля крупного масштаба. В Москве, впрочем, Хрущёв по-своему собирался привести форму в соответствие с содержанием. Полезность деятеля — с его официальным статусом.

Несколько позже, почти в канун собственного падения, Хрущёв готовился и даже напрямую обсуждал такую идею с самым доверенным из своих предполагаемых союзников — с А.И.Микояном. Собирался расширить государственные функции, повысить политическую роль молодых государственных политиков (Шелепина, Андропова, Ильичева и — в их числе — Аджубея...), ввести всех названных политиков на одном из ближайших партийных пленумов в состав Президиума ЦК КПСС. Оргвыводы зрели и обговаривались. Но только с их исполнением Хрущёв губительно для себя медлил. Тянул, колебался и выбирал момент, подталкивая лишний раз к решительности своих противников-заговорщиков, среди которых преобладали старики. Тем ничего не оставалось, как торопиться.

Свидетелем таких разговоров был 25-летний Сергей Хрущёв. Он излагает аргументы отца, которыми сопровождался замысел, касающийся в том числе Аджубея. «Они живее "стариков", — говорил Н.С.Хрущёв, — легко улавливают новое, развивают

брошенную мысль, вываливают в ответ ворох дельных предложений... С ними не только интереснее работать, но, по существу, они и сейчас при решении большинства партийных и государственных дел играют не меньшую, если не большую роль, чем официальные, голосующие, члены Президиума ЦК...Так что оставалось формально затвердить статус-кво» (Хрущев С. Никита Хрущёв. Реформатор. М.: Изд-во «Время», 2010, с.1035).

Из журналиста и руководителя правительственной газеты Аджубей уже выросстал к той поре, как видим, в прямого вершителя судеб страны.

Покушение на убийство

Сухой догматик М.А.Сулов, делая доклад на октябрьском 1964 г. пленуме ЦК КПСС, снимавшем Н.С. Хрущёва, не без схиждства назвал Аджубея «министром иностранных дел на общественных началах». Похожую функцию при тесте тот действительно исполнял.

Аджубей — единственный советский журналист, кто по поручению правителя СССР в те годы встречался с Папой Римским. Секретной целью было, как теперь установлено, прощупать возможности визита Хрущёва в Рим и встречи советского вождя, гонителя церкви и веры, с властителем римского святого престола Иоанном XXIII.

Для этого по внутренней секретной договоренности зять и был откомандирован с женой в солнечную Италию. А ведь тогдашняя затея могла закончиться для Аджубея гибелью.

В эту морскую веселую страну, кстати говоря, Алексей Иванович навещался особенно охотно и часто. По одному из официальных своих постов он состоял заместителем председателя Общества дружбы «СССР — Италия». В председателях значился знаменитый кинорежиссер Григорий Александров, автор многих прославленных картин, начавший работать в кино, когда Аджубей еще не родился. Деятельность какого-то заграничного общества дружбы его не слишком занимала.

Целевого смысла нынешней своей поездки в Рим в мемуарах «Те десять лет» Аджубей вроде бы особо не скрывает, но и в подробности тоже не вдаётся и даже прямо по мере возможностей от них ускользает.

Многое в этом по форме вроде бы совершенно искреннем рассказе, где надо, произнесено скороговоркой, а где требуется — размыто и утоплено в трогательных и сентиментальных частностях, к делу особо не относящихся. А происходило на самом деле вот что.

Был март 1963 года. Католическому первосвященнику незадолго перед тем присудили высокую журналистскую премию имени Бальцмана «За мир и гуманизм» — «За деятельность во благо братства между людьми и народами». Золотую медаль лауреата подкреплял миллион швейцарских франков. Среди журналистов на устроенной в Ватикане пресс-конференции, сливаясь с пестрой толпой, безмолвно присутствовали и Аджубей с Радой. Притом, согласно договоренности, чуть позже Аджубей имел с Папой важного смысла беседу не только на государственные, но, как скромно сообщается в мемуарах, также на сверхбудничные и личные темы, которые задели и тронули его душу не меньше. Встреча с главой католической церкви была необычным новшеством в истории советской журналистики. Символом веротерпимости и разрядки международной напряженности.

Причем сам Аджубей, как он описывает, подошел к ней не формально. Он действительно был душевно растроган. Папа Иоанн XXIII человек был необычный. «Человек без маски» — так определил мемуарист духовную и нравственную сущность своего собеседника. Это был человек, который говорил то, что думал, и делал то, что говорил.

Таким должен быть человек высокой цели и благородной идеи! Мемуарист им увлечен, находится под его влиянием, искренне ему сопереживает. И выражено это словами безыскусными и совершенно искренне, абсолютно сердечно и правдиво...

Вот, пожалуй, и всё, что об этом событии можно почерпнуть из аджубеевских мемуаров. Плоско и не густо, как видим. Тогда как это лишь сугубо внешняя скороговорка о случившемся, происходившем в действительности.

Теперь опубликованы *Записки* тогдашнего корреспондента «Известий» в Риме Леонида Колосова под названием «За стенами Ватикана» (Алексей Аджубей в коридорах четвертой власти. Сб. М., 2003, с. 272—277).

«Пролетело много лет, — с первых же строк, надо думать, не дрогнув ни одним мускулом на лице, оповещает автор, — и теперь можно, наверное, рассказать некоторые детали встречи А.И.Аджубея в Ватикане весной 1963 года. В те годы еще нельзя было написать о том, что принимавший его в Риме корреспондент "Известий" был офицером внешней разведки КГБ СССР и за помощь главному редактору "Известий" в его встрече с Папой Иоанном XXIII получил очередное звание».

Как видим, вездесущие шупальца Шелепина—Семичастного тянулись и сюда.

Начальственным резидентом офицера-корреспондента был посол СССР в Италии Семён Козырев. Он и свита посольских дипломатов из небольшой толпы итальянских представителей общества «Италия-СССР» встречали на вокзале Аджубея и Раду. Встреча была торжественной, как значительного человека, который ко всем этим преувеличенным ритуалам относился должным образом.

При беседах в подходящих местах, где явно можно было избежать риска внешних прослушиваний, Аджубей получил необходимую подготовительную информацию от своего заграничного корреспондента-резидента Л.Колосова. Затем на корпункте «Известий» они встретились с личным представителем Папы, высокопоставленным служащим внешнеполитического ведомства Ватикана голландцем Виллибрандтом, которому Папа абсолютно доверял. Для этой встречи, как описывает Л.Колосов, «корпункт только что проверяли наши технари на предмет обнаружения подслушивающих устройств».

Встреча происходила втроем за богато сервированным столом с бутылками лучшего привезенного из Москвы коньяка. В последние годы любые подобные встречи не обходились у Аджубея без доброй выпивки.

«Не буду приводить стенографическую запись беседы между Виллибрандтом и Аджубеем, которая пошла шифровкой напрямик Хрущёву, — сообщает мемуарист Л.Колосов. — Остановлюсь только на основных договоренностях. Их было три. Встреча с Иоанном XXIII состоится в его личной библиотеке, куда после пресс-конференции Папы с журналистами по поводу вручения ему премии "За мир и гуманизм" будут приглашены синьор Алексей Аджубей и его жена синьора Рада. Во-вторых, разговор будет идти об условиях заключения межгосударственного соглашения между Ватиканом и Советским Союзом, а также о возможном визите в Италию Никиты Хрущёва. В-третьих, встреча и особенно ее результаты не будут преданы огласке в печати и останутся до поры до времени под грифом "секретно".

Хотя Виллибрандт, с подачи Алексея Ивановича, изрядно причастившись застольными коньяками, уходил от нас нетвердой походкой, через два дня после аудиенции в папской библиотеке Аджубей был в восторге. Он уверял, что Хрущёв не побоится встречи с Папой с глазу на глаз и восклицал: "Понимаешь, как поворачиваются дела? Если мы заключим соглашение с Государством Ватикан, этот факт войдет в мировую историю"».

Но не все было так просто и гладко, как на радостях в первый момент склонен видеть человек. Иоанн XXIII выдвинул жесткие условия для заключения соглашений с СССР. Он потребовал расширения религиозных свобод в стране, в особенности для миллионов католиков. Принять их для гонителя религии Хрущёва было не просто.

А затем вскоре посыпались объективные помехи. Через несколько месяцев, в июне 1963 года, тяжело переболев, Папа Иоанн XXIII скончался. В октябре 1964 сняли со всех постов Хрущёва и Аджубея. И изготовившаяся было в вольное плавание ладья застыла у того же причала...

Но могло быть и еще хуже.

«Через некоторое время после встречи с Папой, — повествует в мемуарах Колосов, — возвращаясь из своей очередной командировки, Аджубей вновь оказался в Риме. Здесь он провел два дня... Самолет, на котором Аджубей должен был возвращаться в Москву, вылетал рано утром... Договорились, что в аэропорт он поедет на автомашине посла, а я последую за ним в эскorte сопровождающей посольской и журналистской братии. Однако не успел я вернуться в свой журналистский корпункт, как задребезжал телефон. В трубке раздался голос Аджубея:

— Ты знаешь, Лёня, я, пожалуй, поеду на *твоей* машине.

— Но посол обидится. Ведь он же хочет проводить вас по протоколу.

— Пускай обижается. *Наплевать мне на протокол. Ты не загоняй, пожалуйста, машину в гараж. Подъедешь к машине пораньше, мы немного поболтаем о делах*

Я оставил свою "джульетту" на улице. Оставил на всю ночь, хотя должен был прекрасно знать, что мой телефон прослушивается и что вообще разведчик не должен оставлять машину без присмотра. Не знаю, почему я так сделал, ей-богу, не знаю. Может быть потому, что даже представить себе не мог, что на жизнь моего шефа могут посягнуть.

А утром узнал, что Аджубей всё же поедет вместе с послом и его женой...

Моя "джульетта" резво бежала вслед за правдинским "ситроеном". Настроение у меня было прекрасное, стрелка спидометра прыгала между 130—140 километров в час. По приемнику передавали полюбившийся мне новый американский шлягер. Потом меня неожиданно потянуло влево, я почувствовал сильный удар и куда-то провалился...

Технари из резидентуры, осмотревшие вскоре разбитую "джульетту", констатировали, что в умело подрезанную покрышку левого переднего колеса автомашины была вставлена специальная стальная шпилька, которая должна была проткнуть камеру при движении с большой скоростью. При ударе о дерево меня выбросило из автомашины, и я оказался на шоссе с переломанными ногами и многочисленными ушибами.

Автомобильная катастрофа, как вы сами понимаете, готовилась не ради меня...».

В смертельный переплет должно было попасть лицо более значительное — член ЦК КПСС, зять правителя СССР, главный редактор «Известий» А.И.Аджубей, чей телефонный звонок подчиненному корреспонденту был засечен кем надо, а ввиду благоприятной ситуации с оставленной во дворе без присмотра машиной сопровожден гибельными оргвыводами.

«Алексей Иванович, — заканчивает свой рассказ об этом эпизоде Л.Колосов, — /.../ был безумно рад, когда на другой день стало известно, что корреспондент "Известий" остался жив и даже отказывается быть отозванным из Италии для лечения в Москве... Я проработал на Аппенинах еще пять лет, хотя ноги мои нынче болят ужасно, напоминая о злополучной аварии.

Скандала, разумеется, поднимать не стали.

Я продолжал заниматься Ватиканом и после неудавшейся попытки заключить межгосударственное соглашение между нашими странами...»

Что же касается Аджубея, то в наступившем 1964 году он и без того нередко жил как в лихорадке. Помимо желаний и воли, все больше вязнул в тревогах и надеждах зреющих общественных перемен и как будто бы неотвратимой смены власти.

(Окончание следует)

О хорошеньких и не очень

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Эволюция от рыбы до человека

Дорогой Алексей, в наших беседах мы уже вспоминали ковчег старика Ноя. Но сейчас я не о спасении, сейчас я о вымирании.

«Не знаю, каким образом Вселенная может выйти из сингулярного состояния, — писал в свое время томский фантаст Виктор Колупаев. — Скорее всего, эта проблема не просто физическая. Но предположим, что скорость фундаментального воздействия начинает уменьшаться и Вселенная выходит из сингулярного состояния. Это происходит не в шуме и грохоте Большого взрыва, а в тихом Сиянии и Славе».

На мой взгляд, сказано замечательно.

Эпохи великих вымираний живого на Земле тоже проходили не в грохоте и шуме, ну, разве что при падении астероида, возможно, шестьдесят пять миллионов лет назад вызвавшего вымирание динозавров. За миллиарды лет существования планеты Земля по ней прокатилась не одна волна великих вымираний. Ордовик-силур — вымерло почти шестьдесят процентов морских беспозвоночных; девон — Земля потеряла более половины живых видов; пермский период — исчезло с лица планеты более девяноста процентов всех морских и около семидесяти процентов наземных позвоночных; триас — более двадцати процентов морских животных и большинство земноводных; мел-палеоген — пятнадцать процентов всех морских и около двадцати — сухопутных.

Разумеется, все это происходило не одновременно, а в течение миллионов лет.

Сценарий, впрочем, один: исчезают одни виды, приходят другие.

Помню, как еще в детстве поразила меня удивительная таблица-схема, приведенная в монографии Вильяма К.Грегори «Эволюция лица от рыбы до человека» (Биомедгиз, 1934). Я тогда с головой погружался («все волновало юный ум») в такое чтение.

Пустые злобные глазки, разверстая зубастая пасть, ничего умирительного, чистый ужас, почти машинный стандарт — позже я не раз встречал это хищное акулье

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов» — эссе: «О красоте» (2016, № 1); «О молчании» (2016, № 6); «О понимании» (2017, № 4); «О пошлости» (2017, № 7); «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12); «О цели и направлении» (2018, № 5); «О знании, непостижимом разумом» (2018, № 10).

выражение на вполне, казалось бы, обычных человеческих лицах. Невинная хитринка в чудесных, расширенных от волнения круглых зрачках опоссума — я не раз и ее замечал в глазах провинциальных, себе на уме, простушек, да поможет им Бог. Близорукие глаза долгопята с острова Борнео — о, знаю, знаю писателя, который до сих пор смотрит на мир такими же близорукими глазами.

На всю жизнь я запомнил указанную таблицу-схему:

- девонская ископаемая акула,
- ганоидная рыба,
- эогиринус,
- сеймурия,
- триасовый иктидопсис,
- опоссум,
- лемур,
- шимпанзе,
- обезьяночеловек с острова Ява, и, наконец,
- римский атлет, триумфально завершающий эволюцию.

Кем, за что, почему были они наказаны? Почему не спас их свой допотопный Ной?

По этому поводу (уже тогда, в школьные годы) у меня была выстроена достаточной стройная гипотеза. Может, не было никаких катастрофических вымираний? Может, длились они бесконечно долго, просто мы не находим останков переходных видов, не сохранились они в горных породах?

Обсудить это мне было не с кем, зато под рукой (библиотеки еще не списали старые фонды) часто были невероятно интересные издания. Например, «Ежегодник Русского Палеонтологического Общества». В выпуске 1926 года (Ленинград) в письме палеонтолога В.О.Ковалевского к своему брату — знаменитому биологу А.О.Ковалевскому (Берлин, декабрь, 1870) я обнаружил такие вот весьма обрадовавшие меня слова. «Что между мелом и третичной есть перерыв, в том не может быть сомнения, и весь наш верхний мел есть глубоководная фауна до 10 000 футов, а наземной мы почти не имеем. Представь себе сам — во всем меле ни одного млекопитающего (хотя в средней юре есть четыре и даже в триасе один зуб), а затем вдруг в древнейшей третичной — млекопитающие вроде тапиров и жвачных, да по десяти видов на каждый род. Были же у них предшественники? Вообще нет такого дикого факта, как внезапное появление этой бесконечно богатой колоссальными и мелкими формами фауны нижней и средней третичной».

Я был уверен, что слова В.О.Ковалевского подтверждают мою гипотезу.

Я был убежден в этом. Как иначе? В четырнадцать лет такие твердые убеждения еще не опасны. Главное, найти верный путь.

За мной тогда точно следили какие-то высшие силы.

Иначе я не могу объяснить многого, что происходило в моей жизни.

В ясный солнечный день холодной зимы 1954 года на станции Тайга (Кузбасс) на ледяном катке (залитом, кстати, нами самими) некто Паюза — средний из семи братьев Портновых, обитавших на нашей улице (Телеграфной), дал, наконец, понять всем нам, катающимся, за что он вскоре *сядет*. Тогда это словечко не требовало никаких пояснений. Криминал — он и есть криминал. Старшие братья Паюзы отправлялись в исправительные лагеря регулярно, как дежурные электрички, вот и Паюзе пора. И сядет он, Паюза, за меня, за глупого Гену Прашкевича, ведь только я, простодушный, рассмеялся, увидев, как он споткнулся на льду на своих прикрученных к валенкам «снегурках».

Споткнулся. И упал.

Такое бывает. Но рассмеялся я один.

Кстати, чудесный и страшный ряд наших предков, от девонской ископаемой акулы до обезьяночеловека с острова Ява, триумфально завершался на таблице-схеме Вильяма К.Грегори неким прекрасным римским атлетом. То есть имелось в виду (по

крайней мере, так понял я), что все мы — и я, и поэт Пушкин, и ученый Обручев, и машинист Петров с нашей улицы, и Паюза, все мы, в некоем смысле, такие вот римские атлеты — верх эволюции. Хотя сам бы я определил место Паюзе более скромное — рядом с обезьяночеловеком с острова Ява.

До сих пор помню бледное, нездоровое (мы недоедали в те годы) лицо Паюзы.

Имя забыл, но лицо хорошо помню — бледное, никогда не меняющее выражения, холодные глаза, кустистые, совершенно взрослые брови. Мы, кузбасские заморенные атлеты, росли на улицах железнодорожной станции; улица была нашим миром. *Своя* улица, подчеркну я. Та, на которой тебя побить могли только *свои*. Явись сюда чужаки, меня, ушастого, защищал бы даже Паюза. Где-то в Сиблаге (кажется, под Тайшетом) старший Портнов — конкретный создатель Паюзы, отбывал очередной срок — может, за воровство, может, за грабеж, это, в общем, не важно. Гораздо важнее (для меня) было другое: холодной зимой 1954 года на залитом нами катке все, наконец, узнали, за что сядет Паюза.

Лет с четырех, с первой прочитанной мною книжки, я жил, скажем так, двойной жизнью. В окружающем меня мире было много обид, только книжки примиряли меня с этим миром. К тому же, не мне одному было трудно. «Иногда раковины, — жаловался В.О.Ковалевский брату, — лежат в одном месте густо, а в другом редко, кроме того, на водостоках растворены. Эти пермские глины и мергели в России до такой степени подлы, что приводят меня в содрогание».

Я остро чувствовал обиду В.О.Ковалевского.

Среди книг, приносимых в дом моим отцом, попадались иногда совершенно удивительные. Вот героический штурман Альбанов пытался спасти потерявшихся в полярных льдах товарищей, а наш конюх Рябцев, хорошо поддав, вышел на зимний двор в одном белье, и никто его до утра не хватился. Глаза пятнадцатилетнего капитана Дика Сэнда всегда лучились мужеством и умом, а в холодные глаза Паюзы было лучше не заглядывать. «Для большинства млекопитающих, птиц или пресмыкающихся, — читал я в другой книжке, — не могло быть особенно важно, покрыты они волосами, перьями или чешуей». Меня это приводило в содрогание (по выражению В.О.Ковалевского). Нет, вы себе представляете? Большинству млекопитающих, птиц или пресмыкающихся было совершенно неважно — покрыты они волосами, чешуей или перьями! А нам, что Паюзе, что мне, что поэту Пушкину, шерстяные покровы зимой ничуть бы не помешали.

Четырнадцать лет. В любой подворотне тысячи тайн.

Иногда всего один жест, одно слово определяют твою судьбу.

Катаясь на своих «снегурках», Паюза споткнулся, взмахнул руками и опрокинулся на спину. Конечно, ему было больно, но глаза Паюзы, я это видел, ни на секунду не изменили своего выражения. Маленький злой старичок (таким он мне показался), прекрасно знающий, что ему написано на роду.

Паюза! — и вдруг упал!

Вот я и рассмеялся, что с меня взять?

И сразу на шумном катке, оглашаемом визгом и криками, сгустилась пронзительная, бьющая по ушам тишина. Все прошлые предсказания, все неясные слухи сбылись. Раньше только считалось: вот скоро Паюза сядет, а сейчас пришла полная ясность: Паюза сядет — *за меня*. Никто не произнес этого вслух, но странным образом все в одно мгновение поняли, что я обречен.

Впрочем, сам Паюза не торопился.

Он медленно поднялся со льда. Он медленно сунул руку в карман. Но вовсе не за ножом или заточкой, просто рука у него рука замерзла. Потом неловко присел, отмотал ремешки коньков и, по-взрослому сутулясь, побрел домой.

И я тоже побрел домой. Так же молча и так же сутулясь.

Меня никто не преследовал, думаю, некоторые меня даже жалели.

Хотя, чего жалеть, тут дело ясное. Не сегодня, так завтра Паюза все равно зарежет меня. А завтра не получится — послезавтра.

Ясный день, сугробы, дым над кирпичными трубами.

Дома было пусто. Солнце не по-зимнему весело играло на лакированных стойках самодельной этажерки, но меня это нисколько не радовало. На столе лежала толстенная большого формата книга, видимо принесенная отцом, но и она меня нисколько не радовала. Мажорный голос из черного радиорепродуктора. «И раз... И два... Начали... Не снижайте темпа...» Боже мой, каждый день один и тот же голос. «И раз... И два...» Неужели Паюза убьет меня? «И раз... И два... Не снижайте темпа...» Боже мой, неужели это все навсегда?

Прижавшись спиной к обогревателю печи, все еще чувствуя на себе холодный неумолимый взгляд Паюзы, я тоскливо взвесил на руке толстенную книгу. «Происхождение видов». Так она называлась. А если совсем точно: «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение избранных пород в борьбе за существование». 1935 год издания. Перевод академика К.А.Тимирязева, исправления и указатели — академика Н.И.Вавилова, вводная статья — академика Н.И.Бухарина. (Тогда, конечно, все эти выходные данные остались мною незамеченными). Очень добротная, очень весомая книга. С такой, пожалуй, можно отсидеться дома до самой весны. Нельзя мне теперь выходить из дома: зарежет Паюза.

Вздохнув, я раскрыл книгу.

«Моему уму присуща какая-то роковая особенность, побуждающая меня всегда сначала предъявлять мое положение или изложение в неверной или неловкой форме, фразе...» Ну, надо же! Я даже растерялся. Со мной тоже так. Я сперва рассмеюсь, а потом уже думаю.

Впрочем, следующая фраза оказалась еще интересней.

«Не во власти человека изменить существенные условия жизни; он не может изменить климат страны; он не прибавляет никаких новых элементов к почве, но он может перенести животных или растения из одного климата в другой, с одной почвы на другую; он может дать им пищу, которой они не питались в своем естественном состоянии...»

Я был поражен тем, как всё это было сказано.

«Не во власти человека изменить существенные условия жизни».

Это правда. Как их изменишь? Разве что перенесешь животных или растения из одного климата в другой и дашь им пищу, которой они не питались в естественном состоянии. Но как перенесешь? Поездами, что ли? Птиц пугни, они сами полетят, а как быть со свиньями, с курами, с коровами? Мне захотелось увидеть автора такой точной, такой совершенной формулировки, и я вернулся к началу книги. Наверное, там есть портрет автора.

Ну да.

Вот он!

Я увидел портрет.

Я был потрясен. Я смотрел на портрет с содроганием.

Паюза! Пусть постаревший, пусть стоптавшийся, но Паюза!

Не знаю где уж он раздобыл такую хорошую шерстяную куртку, мало ли, стащил у кого-то, украл. Борода. Ну, это сущая ерунда. При желании Паюза мог отрастить не только бороду. Ну, большая залысина. Наверное, схватил в бане лишай, что еще? Только с кустистыми бровями Паюзы ничего не произошло. Он и в книге смотрел из-под них холодно и мрачно.

Чарльз Дарвин.

Я был по-настоящему потрясен.

Мир оказался гораздо теснее, чем мне казалось.

Почти месяц я ходил в школу самыми дальними снежными тропками, обходил все подозрительные фигуры, старался не отдаляться от дома и школы. Я жил мучительно, тихо, трудно. Дома тщательно штудировал Дарвина, на улицах так же тщательно скрывался от Паюзы.

Но ничто не длится вечно.

Однажды всё же дошел до меня слух: сел, сел Паюза! На три года сел!

Это же — свобода! — дошло до меня. Это же теперь я могу ходить в школу не таясь. Настоящая свобода! Вот они, прозрения великого Чарльза Дарвина. Не во власти человека изменить климат страны... прибавить новых элементов к почве... и все-такое прочее... но можно, сами видите, вполне можно перенести животных... или Паюзу... из одного климата в другой, с одной почвы на другую и дать им пищу, которой они не питались в своем естественном состоянии. Вот и случилось. Пока я изучал труд Дарвина в своем добровольном заключении, Паюза был перенесен из одного климата в другой и, как сказал бы тот же великий естествоиспытатель, получает теперь пищу, которой не питался в своем естественном состоянии.

На волю я вышел убежденным дарвинистом.

На очень многое я смотрел теперь совершенно по-другому.

«Будет пролит новый свет на происхождение человека и его историю». Я теперь думал, как Дарвин. Я теперь осознал необратимость великих изменений. Как В.О.Ковалевский, на многое я смотрел с пониманием и содроганием. Когда через много-много лет я рассказал случившуюся со мной историю Кристи Тёрнеру, знаменитому американскому антропологу, моему другу, он начал понимающе кивать. Да, это так. Он согласен. Ты дарвинист. С ним нас теперь двое. Всю жизнь он считал себя последним истинным дарвинистом на свете, но со мной он был уже не один.

Наверное, многие читали дневники Марка Твена. Там он записал однажды, как, наслушавшись страстей, кипевших вокруг еще молодого тогда дарвинизма, хорошенькая дама поинтересовалась: «Правда ли, мистер Твен, что все люди произошли от обезьян?» — «Конечно», — ответил писатель. — «Как? Все-все? Абсолютно все? — не поверила дама. — И я тоже?» — «Да, и вы тоже, — беспощадно ответил писатель. — Но вы — от очень хорошенькой».

Он знал, что говорит.

А она не видала таблицу-схему Вильяма К.Грегори.

Алексей Буров

Паюзы и ботаники

И у меня были свои паюзы, Геннадий Мартович, — с вашего позволения, буду пользоваться этим именем как нарицательным. На новосибирской улице Мира, где прошли мои детские годы, паюз было достаточно. Завидев их издали, имело смысл побыстрее куда-то свернуть. От них случалось спасаться бегством, получая за это на другой день под дых и в глаз в школьном туалете. Приходилось стоять в темном подъезде под их хорошо заточенным сапожным ножом. Все это было как бы ни за что. Закончились для меня подобные истории лишь с переездом в физматшколу при нашем замечательном университете. Тоже по Дарвину: не во власти человека изменить климат страны, но иногда удается перебраться в иную климатическую зону. Что детство не стоило мне даже инвалидности, дарвинизмом, однако же, не объяснимо, это (как и вы) могу отнести лишь к особой заботе свыше.

Из каждого репродуктора, газеты, учебника, с каждого экрана неустанно возглашалось, что человек — это звучит гордо, особенно советский человек — строитель коммунизма. С той же непоколебимостью устанавливалось, что человек получился как-то сам собой из-за постоянных превращений материи, за которыми не

было ничего умысла, а только незнамо откуда упавшие законы и совсем уже бессмысленный случай. Безумная материя в своих бесконечных коловращениях порождала все, что ни попадя, вот из нее и человек слепился. Материализм, выводя человека от обезьяны, обезьяну — от амёбы, амёбу — от сгустка грязи, уничтожал достоинство человека, но здесь же провозглашалось и величие строителя коммунизма.

В коммунизм на скудной, грязной, вечно вонявшей промышленными отходами улице Мира мало кто верил. Жившие на ней строители нового общества воспринимали повсеместные слова о гордости как часть привычной советской природы — ее лозунгов, плакатных фигур и профилей, не замечаемых и не подлежащих умственному отношению. Материализм же, напротив, был людям совершенно внятен и близок, ибо отвечал их простому уму с его вечной заботой о той или иной дефицитной материи; в материализме и убеждать не надо было, он казался самоочевидным. Таким образом, никакого противоречия не наблюдалось между величием строителя коммунизма и ничтожеством его мелкой материальности; слова о величии вообще не были утверждением, точно так же, как Слава КПСС вообще не был человеком.

Но как же жить с чувством собственного ничтожества, в котором убеждают сразу и суровое бытие, и единственно верное материалистическое сознание? Многие находили утешение в алкоголе, спивались: видеть на улице крепко пьяных людей, кричащих, шатающихся, дерущихся, валяющихся, было совершенно в порядке вещей. Есть ли еще язык, в котором вопрос *ты меня уважаешь?* есть ходовая идиома, означающая крепкое подпитие спрашивающего? Кто-то находил достоинство в ином, прилагая громадные усилия для добычи материалов на дачу или запчастей для мотоцикла, каковые и подчеркивали превосходство над окружающими. Кто-то делал карьеру, получая образование, вступая в партию.

А что было делать подросткам? Ведь и им уже открывалась проблема смысла жизни и человеческого достоинства; но как ее разрешить, из чего это достоинство добыть? Хорошо было нам с вами, вовремя открывавшим мощные миры палеонтологии, математики, классической литературы, а где было искать достоинства прочим детям страны победившего материализма, кому не повезло с открытием удивительных миров? Как приходилось быть тем, кто не нашел ни этих высоких миров, ни миров мастерства в полезных ремеслах, тоже дающих достоинство? Одна из немногих возможностей, открывавшихся перед ними, состояла в насилии и преступности. Что может более убедительно засвидетельствовать твое значение, чем глаза трепещущей жертвы или глаза товарища, восхищенного смелым и ловким ограблением, а то и быстрым хладнокровным убийством? А почему нет? Если человек — та же дрожащая материя, как червяк или баран, то почему бы не отвести иной раз на нем душу? Посадят? А пусть вначале поймают, а потом хоть бы и посадят — что за радость самому жить бараном? Одним из напрашивающихся кандидатов на роль жертвенного барана и был наш брат ботаник, страшно далекий от народа, беззащитный и невольно оскорбляющий достоинство пауз своим неотмирным, непонятным, счастливым образом жизни. Как может пауза простить это небесное счастье ботаника, в котором ему, паузе, отказано, к его глубочайшему унижению? «Нет правды на земле, но правды нет — и выше. Мне это ясно, как простая гамма», — с горечью думал пушкинский Сальери, лелея планы мщения за несправедливость. Наши паузы выражались проще, но обида была, в сущности, та же. Сходного рода было и мщение за обиду, восстановление справедливости и своего достоинства. Слава Богу, уберег Он нас с вами от этой участи, Геннадий Мартович.

Проблема достоинства — одна из самых ключевых и трудных. Жить в чувстве собственного ничтожества невыносимо, но достоинство нельзя и просто так, на ровном месте, провозгласить — не сработает, ибо неубедительно.

Святое Писание повествует о радости, с которой Творец созерцал создаваемый мир после каждого дня, о первых людях, сотворенных по образу и подобию Божию, и о любви к их потомкам, ради спасения которых Он отдал Сына на крестные муки, и

Сын их принял. Говорится в Вечной Книге и о великой ответственности каждого из нас перед Небесным Отцом, и о Последнем Суде.

Однако, не все это принимают даже среди тех, кто хотел бы.

А кто не принимает, как тому быть, где взять венец достоинства и смысла, какой силой отличить себя от червя или барана тем, кто не увидел хода ни к высоким мирам наук и искусств, ни к дарящему благодарность миру мастерства в добром ремесле? А если не отличить, то как с этим жить? Забыть эти вопросы, уйти в автоматизм и конформизм жизни? Примкнуть к воинственному братству борцов с врагами отечества и забыться в злобе борьбы? Найти утешение во вседозволенности насилия и преступности? В пьянстве и наркотиках? Или разом решить все вопросы самоубийством?

Замечательный выбор, нечего сказать.

А разве есть что-то еще? Разве этот выбор не есть ответ на вопрос, отчего мировой истории не известно безбожных народов? Народ, теряющий религию, связь с Небом, может заняться лишь истреблением себя, как существа дурного, ни себе, никому другому не нужного. Мне могут указать, возражая, на многочисленные недостатки доминирующей церкви. Не стану спорить. Но разве могла русская церковь выйти из атеистической диктатуры в каком-то ослепительно-сияющем виде, после не имеющих прецедентов десятилетий уничтожения и подмен? С какой стати взялись бы безукоризненно-белые ризы священства у народа, долго усердствовавшего в крайней форме сатанизма, народа, до сих пор имеющего и антихристово капище на главной площади, и бесчисленные сатанинские истуканы по городам и весям, народа, преспокойно живущего в местах, обозначенных именами видных слуг врага рода человеческого? Думаю, что при таком раскладе недостатка в паузах быть никак не должно, почва для них самая подходящая.

Проблема насилия, преступности, власти низов, хаоса и деструктивности слишком велика, чтобы хоть в малой степени быть охваченной в подобном кратком письме. Так или иначе, она проявляется себя в любом обществе. Важен, однако, масштаб и особенности этого проявления. Здесь две чаши весов: итоговая степень социальной деструктивности определяется тем, насколько религия способна умирить страсти низов, их обиды, их рессентимент. Вольтер понимал эту проблему, утверждая, что, если бы Бога не было, его следовало выдумать. Бога выдумывать не надо, неплохо хотя бы не терять понимания Вольтера. Увы, духовными лидерами Европы XVIII—XIX веков утеряна была не только вера, не только у них *Бог умер*, но утратилась и та прагматика, что была очевидной Вольтеру. Наверное, это означает, что на одной прагматике далеко не уедешь. Последствия, разумеется, были: во Франции, столетием позже в России, чуть позже в Германии. В Америке, весьма религиозной стране, эта проблема до последнего времени касалась преимущественно чернокожего населения, дающего основной вклад в преступность, несмотря на основательные специальные программы. В последнее же время проблема деструктивности стала заявлять себя и среди белой Америки, заметным ростом наркомании и самоубийств среди белого большинства депрессивных районов. Даже там, где вера относительно сильна, жизнь может терпеть поражения.

Вернемся, однако, на отечественную почву.

Что делать тем, кто вынужден обитать рядом с Паузой? — спрашиваете вы, Геннадий Мартович. Как жить нашему другу ботанику среди пауз? У этой жестокой проблемы, как я ее вижу, есть несколько решений, трудных и очень трудных. Трудное, бедное и ненадежное решение — ходить огородами, уклоняться от встреч. Более сложное, но надежное — дарвиново: сменить климатическую зону. Третье, тяжелое и времяземкое — рыцарское: стать сильным, овладеть искусствами боя. И четвертое, почти невозможное — стать на путь мудреца и святого, побеждать словом.

Да поможет им Бог, дорогим моему сердцу ботаникам!

Александр Мелихов

Любовь и кровь

23 декабря 1895 года в пригороде Лондона был сбит поездом один из кумиров моей юности Сергей Кравчинский, писавший под псевдонимом С.Степняк. Сорок пять лет для ухода из жизни, конечно, рановато, но для легенды даже избыточно. А для легенды у него есть все: силач, храбрец, странствующий рыцарь свободы, то устремляется поддержать своим артиллерийским образованием восстание в Герцеговине против турецкого ига (и не обязательно знать, что вместо партизанского отряда он попадает в разбойничью шайку), то участвует в вооруженном восстании в итальянской провинции Беневенто, где от казни его спасает лишь случайная амнистия по случаю коронации (и не обязательно знать, что он был схвачен, еще ничего не успев натворить, и выпущен до суда), затем в центре Петербурга на Михайловской площади закалывает кинжалом шефа жандармов генерал-адъютанта Мезенцова (и не обязательно знать, что друзья отзывались о Мезенцове как о добром, верном и преданном долгу человеке — чего стоят мнения сатрапов!).

В историю, то есть в легенду, проще всего попасть через убийства. Сила и храбрость пленяют нас, на что бы они ни были направлены, нас восхищает и альпинист, покоривший неприступную вершину, и врач, прививший себе смертельно опасную болезнь, но кровь — самый острый соус. Мировую славу Кравчинскому (Степняку) принесла книга «Подпольная Россия», в которой он изобразил русское правительство шайкой разбойников, а противостоящую им горстку революционеров орденом рыцарей без страха и упрека. Каковыми многие из этих немногих, похоже, действительно являлись. Кравчинский страницу за страницей воспевал их мужество и жертвенность, не уделяя ни строчки размышлениям о том, каким образом принесет свет и счастье униженным и оскорбленным «евангелие наших дней — социализм». Этому явно неглупому человеку, кажется, просто не приходило в голову, что причиной бедности народа является не только его эксплуатация «разбойниками», какими бы чудовищами они ни были, но и скандально низкая для «наших дней» урожайность, малоземелье, слабо развитое и примитивное производство. Не делается даже попыток прикинуть, сколько каждому крестьянину достанется земли, если ее всю отобрать у помещиков, какая сила, если не страх голода, заставит людей пахать в шахтах и горячих цехах, какие мотивы и ресурсы понадобятся для поддержания конкурентоспособной армии — и так далее, и так далее.

Лев Толстой был более последователен — он желал отменить всю современную цивилизацию: в его мире должен был остаться только крестьянский труд, а шахтам, доменным печам и вооруженным силам предстояло исчезнуть вместе со всей прочей господской дребеденью. Рыцари свободы не заморачивались трусливыми заботами о том, что будет, если революция каким-то чудом победит: их дело нанести удар в самое сердце разбойничьего гнезда, а за таким примером, глядишь, и народ поднимется. А если и не поднимется, все равно этот пример станет воодушевлять будущие поколения.

И в юности он меня действительно воодушевлял...

И у меня тоже не возникало наипростейшего вопроса: что было бы, если бы народ все-таки поднялся и эти герои действительно победили? Чем их революция оказалась бы лучше большевистской, относительно которой у меня оставалось уже очень мало иллюзий?

Чем? Только тем, что народники были *красивы*, — вам этого мало? Обаяние социальных грез порождается не анализом земных подробностей (анализ как раз способен убить любую грезу), но именно свободой от подробностей, иллюзией отрыва от земли с ее несносными законами причинности. Вот почему эта сравнительно образованная молодежь не задумывалась о последствиях своих подвигов, не интересуясь анализом хотя бы их знаменитого современника Спенсера, уже тогда предсказавшего, что при социализме люди впадут в зависимость от своих уполномоченных. Кравчинский раскрывает причины этого удивительного легкомыслия с присущим ему и в жизни детским простодушием — революционное движение было не политическим и не экономическим, а *религиозным*. «Движение это едва ли можно назвать политическим. Оно было скорее каким-то крестовым походом, отличаясь вполне заразительным и всепоглощающим характером религиозных движений. Люди стремились не только к достижению определенных практических целей, но вместе с тем к удовлетворению глубокой потребности личного нравственного очищения».

Именно потребность в *личном* очищении и приводила к *социальной* безответственности: можно ли обсуждать выбор наименьшего зла, только и возможного в реальности, если речь идет о движении «к святой цели»!

Влюбленная в героя Евгения Таратута в его биографии «С.М.Степняк-Кравчинский — революционер и писатель» (М., 1973) с полным одобрением передает его суждения о том, что «одно есть счастье в мире и одно несчастье. Это — мир со своею совестью и отсутствие этого мира». Это и есть этика убеждений, требующая поступать в соответствии со своими принципами, в отличие от этики ответственности, требующей думать прежде всего о реальных последствиях своих поступков.

Кравчинский не раз говорит и о том, что подвиг важнее мысли: неважно, кто чего хотел, важно, кто что сделал, в истории живут только дела. Что явно неверно — в истории живут только слова, только легенды, и сам Кравчинский с его портретной галереей демонстрирует это как нельзя лучше.

Криминальными психологами давно выделен тип личности, в опасной ситуации испытывающей не страх, а гипероптимизм, и Кравчинский при всем благородстве его идеалов тоже бывает счастлив лишь под дамокловым мечом ареста и неизбежной казни. В эти дни и недели он испытывает «особое наслаждение жизнью, свободой, потому что это может в любой миг исчезнуть, нужно ловить счастье на лету». А во всей остальной Российской империи, если исключить пиршество сатрапов, он видит лишь страдания народа и трусливое прозябание интеллигенции. Россия Толстого, Достоевского, Чайковского, Мусоргского, Чехова, Менделеева, Бутлерова, Пирогова, Докучаева, Столетова, Пржевальского, Чебышева, Ляпунова (а на подходе был уже весь Серебряный век) представляется ему выжженным полем, ибо если правительство не позволяет осуществиться грезам его друзей, то все прочее не стоит и внимания: когда лучшие, наиболее пылкие умы безжалостно уничтожаются, остается мало простора для развития национального гения, уверен Кравчинский. Гм... Наиболее пылкие совсем не обязательно лучшие. И даже подлинно лучшие умы были отняты у национального гения прежде всего политической химерой, уже не оставлявшей талантам возможностей для развития. Именно химера пожирала российские таланты, властям доставались лишь объедки.

Николай Морозов-«шлиссельбуржец», обладавший огромными научными дарованиями, включая пламенную страсть к всевозможным знаниям и грезы о путешествиях, еще гимназистом убежденный в том, что лишь наука способна

накормить и освободить людей от тяжести физического труда, вспоминал об этом так: «Во мне началась страшная борьба между стремлением продолжать свою подготовку к будущей научной деятельности и стремлением идти с ними на жизнь и на смерть и разделить их участь, которая представлялась мне трагической, так как я не верил в их победу. После недели мучительных колебаний я почувствовал, наконец, что потеряю к себе всякое уважение и не буду достоин служить науке, если оставлю их погибать, и решил присоединиться к ним». Снова на первом месте не народный стон (Толстой как-то обронил: народ нигде не стонет, это либералы повывдумывали, — Толстого в крестьянах как раз и восхищало принятие жизни, какова она есть), на первом месте самоуважение. Так что вполне естественно, что и у террориста на первое место, по Кравчинскому, выходит гордость: «Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который один среди народа рабов присвоил себе право за всех все решать». Как будто хоть один верховный правитель хоть что-то решает один, не взвешивая и не перевзвешивая все попутные и противостоящие силы, против которых даже и он мало что может.

Это только у благородных младенцев на все вызовы мира имеется универсальное фельдшерское средство. Голод? Единственным спасением будет созыв Земского собора. С чего, почему? Чему он поможет? Нет не только ответа, но и вопроса. Именно террорист, по Кравчинскому, и решает один за всех: «Он борется за себя самого. Он поклялся быть свободным и будет свободен во что бы то ни стало. Ни перед каким кумиром не преклоняет он колена. Он посвятил свои сильные руки делу народа, но уже не боготворит его. И если народ в своем заблуждении скажет ему: “Будь рабом!” — он с негодованием воскликнет: “Никогда!” — и пойдет своей дорогой, презирая его злобу и проклятья, с твердой уверенностью, что на его могиле люди оценят его по заслугам».

Самоотверженность дает право на неподсудность: если-де террористы были и неправы, то не в тысячу ли раз более неправы те, кто не помогал им в их отчаянной борьбе? Снова полное презрение к логике: ведь если первые были неправы в их отчаянной борьбе, то вторые, воздерживаясь от участия в ней, были, следовательно, совершенно правы. Однако пламенный пропагандист понимает, что правыми мы ощущаем всех, кто вызывает наше сочувствие, а неправыми — тех, кто нам противен. Народовольцы просили Кравчинского возбуждать в Европе «презрение и ненависть к русскому правительству», и он в этом вполне преуспел: многие англичане и американцы после его книг и выступлений признавались ему, что в России и они бы сделали террористами.

Ему подпевал даже пророк экономического детерминизма Фридрих Энгельс: политическое-де убийство в России — единственное средство, которым располагают умные, смелые и уважающие себя люди. Так что, Чехов, Чайковский, Менделеев недостаточно уважали себя? Да они именно что слишком уважали себя и свое дело, чтобы ввязываться в борьбу безумцев и мерзавцев, благородных младенцев и преданных долгу тупиц.

И собирая в Америке деньги на революцию, Кравчинский снова на первое место ставил достоинство, а не практический результат: я, конечно, понимаю, что нужно применяться к обстоятельствам, но только в такой мере, в какой это не противоречит нашим личным понятиям о приличии и достоинстве; а делать из себя паяцев, чтобы американцев задобрить, — нет, слуга покорный, почему бы уж тогда было не облизывать русского императора, чтобы смягчить его сердце? И вообще, вся наша агитация имеет значение лишь настолько, насколько она производит действие на умы и чувства *в России*; если бы русские не обращали внимания на него, то всему американскому общественному мнению была бы цена *ровно нуль*.

Но он продолжал твердить до самой смерти: *непреходящие* интересы культурного мира лежат в *свержении самодержавия в России*. То-то порадовался культурный мир, когда в Семнадцатом году его непреходящие интересы были наконец удовлетворены!..

«Каждый шаг России к свободе уменьшает опасность ее военной экспансии», — успокаивал Запад Кравчинский. Российская «свобода» и прилетела на крыльях грезы о мировой революции от Японии до Англии.

Кравчинский был не только человеком исключительной храбрости, но и редкой верности и доброты по отношению к соратникам, невзирая на любые идейные расхождения. Однако истории ничего не стоит любые доблести обратить во зло и вымостить благими намерениями дорогу в ад.

Но такими ли уж благими были эти намерения, если скрытой целью движения было вовсе не благополучие народа, о страданиях которого, по признанию того же Морозова, они узнали из поэзии Некрасова, а высокая самооценка его участников?

И тут возникает главный вопрос: зачем нам нужна еще и высокая самооценка, когда материальное благополучие и без нее обеспечено? Униженность в миру ранит нас так жестоко из-за того, что она открывает нам нашу униженность в мироздании, нашу смертность, бренность и хрупкость, тотальную зависимость нашего высокого духа от низкой материи. Для защиты от этого убийственного знания и создаются религиозные учения, в рациональные эпохи выступающие под маской социальных теорий. Художественные, любовные фантазии тоже порождаются грезой о чем-то неземном, и потому о природе терроризма можно больше узнать из потрясшего меня в свое время романа Кравчинского «Андрей Кожухов», чем из его публицистики, вынужденной гримировать гордецов, борющихся за самих себя, в народных заступников. Кравчинский и сам желал изобразить не их политические программы, а их «сердечную и душевную сущность». Полнее всего раскрывающуюся в слиянии темы любви и темы смерти («любовь и кровь»).

Перечитаем же этот роман, не придираясь к обилию штампов и стереотипности женских образов, — все красивые, все гордые, без специальных усилий не вспомнить, которая Лена, а которая Таня, Таню начинаешь выделять, только когда она становится возлюбленной главного героя. А он, Андрей Кожухов, «самый обыкновенный из всех». Что сделано не случайно: Кравчинский «всегда находил, что рядовые бойцы самые лучшие. Те, кого мы называем вожаками, намного хуже, если даже они гораздо сильнее». И ясно почему — вожаки ведут борьбу за собственное величие гораздо более откровенно. А Андрей до поры до времени ни на что особенное не претендует, он вполне готов раствориться в общем деле.

Пока не обнаруживается, что его любимая девушка любит другого, более блестящего и поэтически одаренного, а он, Андрей, для нее всего лишь соратник по борьбе, хотя ему долго казалось, что этого вполне достаточно — слияния в общем религиозном энтузиазме (прежде же для него любовь и вовсе была «этими глупостями»). Вначале он ищет мрачных самоутешений в том духе, что пусть-де цветы срывают баловни судьбы, а с них, скромных тружеников, довольно и терний. Но подавленная обида находит выход сначала в злорадном торжестве над безответно любившей его другой девушкой. А затем обрушивается и на «изменницу», пожелавшую в другом городе заняться пропагандой уже не среди рабочих, а среди интеллигенции. Однако личная уязвленность и здесь выступает под маской идейности: это-де такая скука — повторять одно и то же среди простых рабочих, то ли дело блистать между светскими пустомелями, способными разносить славу во все концы, революционеры из аристократии только-де драпируются в демократический плащ...

Но чуть только «аристократка» со слезами признается в любви к нему, как все обличительные теории вмиг забыты. А личное счастье, общее дело и смертельная опасность начинают поддерживать друг друга: Андрей и Таня любят друг в друге еще и «олицетворение высокого идеала», а «мрачное будущее не портило красоты настоящего. Оно придавало лишь БОльшую цену каждому часу, каждой минуте, проведенной вместе». И ключевое слово здесь — красота, именно погоня за красотой заставляет террориста ставить свое благополучие и жизнь на карту.

И красота, и любовь — суррогаты религии, и Андрей это почти осознает: «Когда я был мальчиком, я был очень религиозен. Потом мне часто приходилось слышать, что только религия дает самые высокие, чистые настроения души. Но когда я — с тобою и твоя рука покоится на моей голове или когда наедине я начинаю думать о тебе, я испытываю ту же сладость смирения, то же стремление к поклонению, ту же страстную потребность нравственной чистоты и самопожертвования, как и в былые времена религиозного детства. Я рад тогда сознаться в моих недостатках и слабостях, и я страстно желаю очиститься от них, чтобы без страха предстать потом перед тобою...»

И жажду мученичества в нем пробуждает тоже женщина, которую он видит на эшафоте.

«Но со всяких подмостков над толпой царит женщина. Все эти тысячи глаз, казалось, смотрели на одно лицо, видели одну фигуру — ту, что сидела по правую руку Бориса. Прекрасная, как только может быть прекрасна женщина, с головой, окруженной как бы ореолом светлых развевающихся волос, она обводила добрым, жалостливым взглядом теснившуюся у ее ног толпу, у которой в эту минуту было к ней одно чувство.

... Ни тогда, ни после Андрей не мог понять, как это случилось, но только в эту минуту все изменилось в нем, точно в этом добром, жалостливом взгляде были какие-то чары. Тревога и страх, негодование, жалость, месть — все было забыто, все потонуло в каком-то великом, невыразимом чувстве, охватившем все его существо. Это было нечто большее, чем энтузиазм, большее, чем готовность на всякие жертвы. Это была положительная жажда мученичества, внезапно пробудившаяся в нем. Он всегда порицал это чувство в других и считал себя самого совершенно к нему неспособным, но теперь оно переполнило его душу и сердце, трепетало в каждой фибре его существа. Быть там, среди них, на этой черной, позорной колеснице, с плечами, привязанными к деревянной доске, подобно этой женщине, склоняющейся над толпою свое лучезарное лицо, — это была не казнь, не жертва, а выполнение страстного желания, осуществление мечты о высочайшем счастье!»

Но когда он пытается разделить свой религиозный экстаз с любимой женщиной, он терпит полное фиаско: «Таня оставалась холодной, равнодушной. То, что минуту назад пронзило бы ей сердце, теперь отскакивало от нее, как стрела от кольчуги», — близость смерти и сама смерть — дьявольская разница.

И она уступает вовсе не идее, а жалости: она видит, что он действительно страдает невыносимо.

«Удар должен быть нанесен. Отказаться от нападения из-за любви к тебе? Да я чувствовал бы себя трусом, лжецом, изменником нашему делу, нашей родине. Лучше утопиться в первой попавшейся грязной луже, чем жить с таким укором совести. Как мог бы я это вынести и что случилось бы с нашей любовью?»

И она сдалась. «Она так глубоко его жалела, что не в силах была отягчать его участь своим сопротивлением».

Однако когда из огромной, но в принципе могущей и миновать опасности смерть превратилась в неотвратимый приговор, она породила уже не обостренную радость жизни, но, напротив, безразличие ко всем земным делам.

«Для него самым существенным было то, что он должен умереть. Покушение было делом второстепенным, о котором он будет думать, когда очутится на месте. А покамест он не мог заставить себя интересоваться им. Он думал о своем: он готовился умереть. Остальное как будто его не касалось.

Странная вещь случилась с ним на другой день после собрания, на котором он виделся с Таней. Вычищая и приготавливая револьвер, которым он собирался стрелять в царя, Андрей сломал пружину. Отдавать его в починку было некогда, тем более что подоспел какой-то праздник. Тогда один из товарищей предложил ему свой револьвер,

аттестуя его необыкновенно метким, и Андрей согласился на обмен, доверившись на слово; он ни разу не попробовал своего нового оружия в тире или в поле. Прежде он никогда бы не сделал такой оплошности. Но теперь все его умственные и нравственные силы были так поглощены предстоявшею личною развязкою, что он слишком мало обращал внимания на все остальное.

С приближением рокового момента этот эгоизм самопожертвования становился всепоглощающим и все более и более повелительным».

Мало того, что он не смог попасть в царя из непристрелянного револьвера, — этот эгоизм отравил и его прощание с любимой — он говорил лишь о подробностях предстоящего покушения, «как будто это было самым приятным сюжетом для их беседы».

«Таня отодвинулась немного и смотрела на него широко раскрытыми глазами. Она не слушала его, она только наблюдала за ним с удивлением. Чем дальше Андрей распространялся, тем сильнее росло ее изумление. Зачем он рассказывает ей все это? Казалось, и ему самому это неинтересно, потому что говорил он сухо и монотонно. Лицо его хранило то же каменное выражение, которым она так была поражена, когда он вошел, только оно еще резче обозначилось. Она не узнавала своего Андрея. Этот человек был чужим для нее.

“Они его там подменили!” — внутренне говорила она себе, между тем как его рассказ неприятно резал ее слух. Ни слова любви, симпатии, ни ласкового взгляда! И это — в их последнее свидание, перед тем, как расстаться навсегда, после той любви, какую они жили!..

“Да, да, они его подменили! Это не мой Андрей... Мой был другим человеком...” — повторяла она, кусая засохшие губы и глотая слезы, чтобы окончательно не потерять самообладания.

Его рассказ и объяснения раздражали ее. Наконец она не выдержала.

— Да ну его, вашего царя, со всеми вашими хитростями и вашими часовыми! — воскликнула она в негодовании.

— Таня! — произнес он с огорчением.

В своем отчаянии она схватилась за голову. Ужасно было так обращаться с ним в такую минуту.

— Прости меня! — промолвила она и, схватив его руку, припала к ней головой. — Я сама не знаю, что говорю.

Она оставалась все в том же положении, склонясь над его стулом. Волосы упали ей на лицо, ее губы были раскрыты, она тяжело дышала.

Андрей думал, что она плачет, и сердце его разрывалось на части. Но как мог он ее утешить? Что мог он ей сказать, что не было бы бледно и мелко, что не вышло бы профанацией ее великого горя? Он с нежностью гладил ее по голове и старался привести в порядок ее волосы.

Когда она подняла голову, он увидел, что она не плакала. Глаза ее были сухи и горели лихорадочным огнем. Она пристально посмотрела на него и отвернула голову, ломая руки.

Она знала, что он сейчас уйдет и что, умри она тут же, на месте, от разрыва сердца или разбей себе голову об стену, все равно ничем его не удержишь; не удержишь его даже на оставшиеся три дня, которые он мог бы ей подарить! В камне оказалось бы больше сострадания, чем в нем. Он только почувствовал бы к ней презрение за ее слабость, если б она обмолвилась хоть одним словом об этом! Зачем же он и вовсе пришел?

Андрей встал.

— Прощай, моя дорогая! — прошептал он, протягивая к ней руки.

Она вздрогнула, как будто услышала нечто совершенно неожиданное.

— Нет, нет, погоди! — воскликнула она с испугом. — Погоди! — повторила она громче, умоляющим голосом.

Он притянул ее к себе и сжал ее в своих объятиях.

— Прощай! — повторил он. — Пора... Таня, моя голубка, моя родная, — вырвалось из самых недр его души. — Как бы мы могли быть счастливы с тобою!

Она посмотрела ему в глаза и узнала наконец своего Андрея, любимого, которого она так обидела в своих мыслях! Она вернула его себе, чтобы еще мучительнее почувствовать, что сейчас же и бесповоротно его потеряет.

Она почти лишилась сознания от боли. Неужели это правда?.. Это невозможно... Любить, как они любили друг друга, и вдруг отпустить его прямо на смерть... Но жить без него она не может. Он — ее жизнь, он — свет ее души. Не ее вина, что он стал для нее всем на свете...

— Послушай, Андрей, — вскричала она, — ты мой! Ты сам мне это говорил, и я не пушу тебя. Не пушу! Слышишь?

Слова ее представлялись ее расстроенному уму вполне логичными, неопровержимыми.

Но тотчас вслед за тем пальцы, вцепившиеся в его руку, разжались. Она наклонила голову и опустилась в кресло, бледная, истомленная, с закрытыми глазами, и махнула ему рукой, чтоб он уходил.

Было на свете нечто более великое, для которого они дали обет пожертвовать всем: жизнью, сердцем, помыслами, счастьем».

Но когда он все-таки убегает, сквозь «идейность» снова прорывается правда.

«Дело! Россия! Они не существовали для нее в эту минуту. Она думала только о себе, о своем несчастье — бесконечном, безмерном, которое будет длиться до последнего ее издыхания...»

Художник в который раз оказался умнее, тоньше и правдивее пропагандиста. И не скрыл, что Андрей тоже идет на свой подвиг безо всякого воодушевления.

«Он был в это утро в каком-то особенном настроении, столь же далеком от унылой покорности, как и от экзальтированности и вообще от какой бы то ни было страстности. Он впал в равнодушно-холодное состояние души человека, покончившего все счеты с жизнью, которому нечего более ждать впереди, нечего бояться и нечем поделиться с другими. Правда, ему предстояло еще совершить свой подвиг. Но так много препятствий уже удалось преодолеть на пути, что то небольшое, что оставалось сделать, казалось ему до такой степени несомненным и неизбежным, что он считал его почти совершившимся.

Будучи еще в живых и в полном обладании нравственных и физических сил, он в то же время испытывал странное, но совершенно реальное ощущение, что он уже умер и смотрит на себя, на всех близких и на весь мир с ровным, несколько сострадательным спокойствием постороннего наблюдателя.

...Он знал, что когда все кончится для него и когда без страха и злобы он завершит дело своей жизни и станет наконец лицом к лицу с великой торжественностью смерти, то снова переживет те прекрасные, возвышающие дух чувства и они поддержат его в последнем испытании».

Боюсь, он и в этом ошибся. Ибо красота есть лишь в смертельном риске, в смерти красоты нет.

Но смерть самого Кравчинского все-таки принесла пользу человечеству: на месте его гибели был возведен пешеходный мостик.

Николай Анастасьев

О частной жизни в Америке

Случайные заметки пристрастного наблюдателя

ИНТЕРЛЮДИЯ 3

Американист Георгий Дмитриевич (Гена) Гачев

В середине 60-х годов прошлого века я учился в аспирантуре Института мировой литературы, где репутацией самых ярких и независимых умов пользовались молодые сотрудники отдела теории (в алфавитном порядке): Сергей Бочаров, Георгий Гачев, Вадим Кожин и Петр Палиевский. Впоследствии, сохранив, кажется, приятельские отношения, позиционно они разошлись: двое последних стали идейными лидерами так называемой русской литературной партии, Бочарову же с Гачевым, вовсе не западникам, национальное высокомерие было явно не по душе. Но в описываемое время они действовали сообща, став ключевыми авторами интеллектуального, как сейчас бы сказали, бестселлера — трехтомной «Теории литературных стилей». Помимо того, первые трое из этой четверки недавно навестили в Саранске еще полузапретного (из тени он выйдет лишь несколько лет спустя) Михаила Михайловича Бахтина, и эта поездка сразу же сделалась в институтских коридорах легендой — по слухам (самим героем, правда, опровергаемым), Гачев при первом знакомстве с мэтром стал перед ним на колени.

Ни с кем из них я лично тогда знаком не был, может, даже и в лицо никого не знал, за исключением Палиевского, да и то потому лишь, что с его сестрой Юлией учился на одном курсе филологического факультета МГУ, а потом одновременно поступал сюда же, в аспирантуру ИМЛИ.

Произошло же знакомство — не со всеми, а с одним Гачевым, да и то одностороннее — при обстоятельствах не вполне заурядных, можно даже сказать драматических. В Москве шел суд над Синявским и Даниэлем — авторами антисоветских, по тогдашней терминологии, пасквилей, опубликованных за границей под псевдонимами, соответственно, Абрама Терца и Николая Аржака. Андрей Дмитриевич, преподавая в университете, был одновременно научным сотрудником отдела советской литературы ИМЛИ, и вот по ходу судебного процесса в институте созвали общее собрание, призванное заклеить позором вчерашнего коллегу, ну и покаяться в том, что вовремя не разглядели за маской respectable ученого-филолога матерого врага советской власти. Речи звучали одна за другой, хотя и в разной тональности — одни заходились в разоблачительном экстазе, большинство же

явно отбывало номер. В какой-то момент посреди зала поднялась рука, и с места встал невысокий и неладно скроенный, в очках с толстыми линзами, с гоголевским носом, мужчина на вид лет тридцати (потом выяснилось, что ему под сорок) и... — впрочем, пускай сам скажет — словами из позднейшей дневниковой записи:

«Когда в Институте мировой литературы в 1966 году собрались «единодушно осуждать» Синявского-Терца, я попросил слова и напомнил о презумпции невиновности и что коллективное «выражение чувств» будет давлением на суд — и тем лютых идеологов осадил».

Увы! Задним числом Гена (а был это, конечно, Георгий Дмитриевич Гачев, которого я буду отныне именовать так, как звали все — и друзья, и просто более или менее близкие знакомые, в круг которых со временем попал и я) явно преувеличивает эффект своего выступления — не осадил он лютых идеологов, и зал, вопреки тому, что говорится в этой же записи, не онемел. Скорее напротив, еще красноречивее сделался, и еще более лютые требования — распни его! — зазвучали. Тон задал директор института, испытанный боец идеологического фронта Иван Иванович Анисимов. Лицо у него побагровело, и, тяжело нависнув над столом президиума, он буквально прорывал в микрофон: «ПрезЮмпция, презЮмпция, какая такая презЮмпция?» А следом за тем из первого ряда поднялся какой-то совершенно незаметный, без определенных черт лица человек и сказал буквально следующее: «Когда задержание производит наше ведомство, это значит, что арестованный виновен».

Полагаю, начальство, явно согласное с коллегой по существу, все же указало ему на неуместность подобных откровений, но это случилось (если случилось) потом, а сейчас его слова лишь подстегнули, повторяю, заскучавших было разоблачителей.

ИНТЕРЛЮДИЯ К ИНТЕРЛЮДИИ

Помимо опыта личного наблюдения я имею некоторое касательство к этой истории и по семейной, так сказать, линии. После вынесения обвинительного приговора группа московских литераторов обратилась к властям с просьбой передать Синявского и Даниэля на поруки. Перечень подписавших открывал мой отец, театральный критик и историк театра Аркадий Николаевич Анастасьев. Но это по алфавиту, а по воспоминаниям его ифлийской однокашницы Раисы Давыдовны Орловой, выдавленной впоследствии вместе с мужем Львом Зиновьевичем Копелевым за границу, на самом деле он присоединился к товарищам по профессии и духу как раз одним из последних и внес в текст письма некоторые поправки. Насколько можно понять, против них возражала, хотя и ненастойчиво, Белла Ахмадулина, но отец, свидетельствует Раиса Давыдовна, эти попытки решительно отпел, ссылаясь на то, что не зря его три года школили в Академии общественных наук (а он действительно был среди первых выпускников этого, по замыслу, Красного Лицея) и он лучше Ахмадулиной знает, на каком языке надо разговаривать «с этой публикой», то есть с адресатами. «Синявский и Даниэль — люди талантливые, и им должна быть предоставлена возможность исправить совершенные ими политические просчеты и бестактности... Этого требуют интересы страны. Этого требуют интересы всего мира. Этого требуют интересы мирового коммунистического движения». Понятно, что такие слова режут слух любого нормального человека, а нежный слух Беллы тем более, понятно, что ни она, ни Булат Окуджава, ни Фазиль Искандер, да и вообще никто из 42 подписавших послание людей, включая, конечно, и моего отца, их бы не написал. Но это — в естественных обстоятельствах. А в тех, которые были, питомец Академии общественных наук при ЦК КПСС действительно лучший любого самого замечательного поэта знал язык, принятый в коридорах власти. И все с ним в конце концов согласились. Иное дело, что никакого практического эффекта этот благородный жест, как известно, не возымел — кроме эффекта бумеранга: у кого-то книги вычеркнули из издательских планов, кто-то сделался, по непонятной — и слава богу — для современников терминологии,

«невыездным». Как ни странно, в эту категорию угодил на недолгое время и я: не сразу в так называемых компетентных органах разобрались, где отец, где сын.

Впрочем, все эти дела давнишние, и вспомнил я про них лишь затем, чтобы восстановить момент знакомства с Геной. Потом я закончил аспирантуру, он перешел из ИМЛИ в другой академический институт — истории естествознания, и встречаться мы продолжали в редакции «Вопросов литературы», где я тогда начинал служить. Правда, встречи эти были нечастыми, Гена почти не публиковался, ушел куда-то в подполье, и я узнавал о его житье-бытье в основном от давнишней своей университетской знакомой, его жены Светланы Семеновой, занимавшейся тогда творчеством Камю, а впоследствии ставшей крупнейшим у нас знатоком и публикатором философского наследия Николая Федорова.

А однажды, где-то в первой половине семидесятых, мы с Геной столкнулись в метро, и после дежурного обмена репликами он вдруг спросил:

— Ты в Америке бывал?

— Случалось, а что?

— А мне не случалось, но я сейчас путешествую по Америке виртуально.

— Это как?

— Ну как-как? Книжки американские читаю, романы, стихи, трактаты, исторические сочинения, экономические, юридические — все, словом. Ну и стараюсь понять таким образом, что это за страна такая, что за люди.

Так я впервые, не придав тогда этому особого значения, ненароком узнал, что Георгий Гачев, известный прежде как автор (помимо глав в имлийском трехтомнике) идеи ускоренного развития окраинных литератур, например, киргизской, пустился в интеллектуальное приключение, результатом которого станет многочастный цикл национальных образов мира — славянского, индийского, японского, американского, германского, галльского и многих иных. Но до этого еще далеко, а в тот момент Гена просто обронил эту фразу, и мы разошлись, и при новых, по-прежнему редких, встречах к предмету этому не возвращались.

А по прошествии многих лет, вскоре после того, как мы сделались переделкинскими соседями и встречи эти участились, он как-то зашел ко мне, держа в руках увесистый том, на обложке которого огромными, соразмерно объему, буквами значилось: АМЕРИКА, а на фронтисписе шрифтом помельче: «Американский образ мира, или Америка глазами человека, который ее не видел... и увидел». И тут же, еще мельче, указание на жанр: интеллектуальный детектив и роман-хэппенинг.

Книгу я прочел с естественным и ревнивым интересом. Ревность зашевелилась с первых же строк.

«Я не американист, а просто вольный мыслитель, — предупреждает читателя Гачев. — Специалист по данной стране — как участковый инспектор: знает местность, людей, детали, но их связь от него зачастую ускользает, тогда как странствующий детектив, у кого наметан глаз и немал опыт предыдущих исследований, по небольшому числу данных может уловить связь событий и бывает способен реконструировать целостную картину».

Но мало того: оказывается (тут я вспомнил наш двадцатилетней давности случайный разговор в метро, и мне вроде как неловко сделалось), не видеть Америку — это даже лучше, чем видеть: «И это ж тебе дороже: высказаться, словесное Америки прохождение совершить, нежели съездить реально. А съездишь, увидишь — и не напишешь: убьешь свою работу отгадывания воображением» (тут я как-то запутался: по смыслу, вроде, должно быть наоборот: не «воображением убьешь», а как раз взглядом с близкого расстояния; ну да ладно).

Поначалу, да откровенно говоря, и далее трудно было избежать соблазнов, что испытывает даже не участковый инспектор, а низший чин — урядник, каковым я — специалист явно не по целой стране, в лучшем случае по ее литературе, — видимо, и

являюсь: надо ему непременно застукать вполне законопослушного гражданина на каком-нибудь нарушении. А коль скоро речь зашла о детективах, можно расписать роли: Гена — вдохновенный Шерлок Холмс, я — скучный и недалекий работага инспектор Лестрейд.

Пробиваясь сквозь зигзагообразные синтаксические обороты, которые так любит немилосердный к своему гипотетическому читателю Георгий Гачев, я выискивал неточности и даже несообразности — и находил их. Сделать это, в общем, нетрудно, да только само занятие, скорее, не похвально. Добравшись до финиша, автор перечитывает написанное, сам обнаруживает эти самые несообразности и устало вздыхает: «Что делать? Ничего — не могу. Даже если бы взялся ужимать, книга лишилась бы натуральности и непричесанности, что — главное в ней невероятие и достоинство».

По законам, самим над собою признанным, следует судить не только поэта, но и любого сочинителя, это я понимаю, и все-таки притаившийся внутри специалист-урядник подталкивает под локоть.

«Но вот гляжу я на портрет поэта Карла Сэндберга — 90 лет прожил. И конечно, в основном где-нибудь у себя на ферме... И лишь иногда выезжал по миру, чтоб вернуться и с освеженным чувством восславить, как хорошо дома и лучше нету».

Да ничего подобного, смолodu Сэндберг колесил по Америке, дорогу, по собственному выражению, впервые оседлал в 18-летнем возрасте, и с тех пор уж не бросал ее, континент многожды пересек с востока на запад и с севера на юг. Он и поэтом-то сделался, можно сказать, стоя на площадке железнодорожного вагона, подслушивая звуки и ритмы американской речи, и до конца долгой жизни сохранил дух бродяжничества, вернувшись в свой родной Гейлсберг, штат Иллинойс, туда, где «лучше нету», лишь «Камнем Памяти», что стоит на местном кладбище.

Или: «Сюжет американского романа — это жизнеборьба, столкновение энергий, маниакально устремленных к самоутверждению человека в мире вещей и материй... И не разговоры там диалоги, а описание дел и делишек, сшибка в затеях, а не в обговорах... Слово там не весомо так, как в Евразии. Потому и Хемингуэй мерцание незначащих слов-реплик возле дел людей мог заметить, придумать и выписывать. Бессубстанциальные слова у него хороводят».

Гена, смири бег вольной мысли (как жаль, думаю, что так и не случилось нам поговорить о его книге при жизни автора): ведь слова у Хемингуэя оттого именно, как ты выражаешься, бессубстанциальны, что сама действительность (война) лишила их меры и объема, оставив смысл лишь за номерами полков, дорожной пылью, ружейной смазкой и галькой на дне ручья. А «субстанциальные» слова — «священный, славный, свершилось» — звучат неприлично и фальшиво. К тому же есть у Хемингуэя повесть, почти сплошь состоящая как раз из них — из «субстанциальных» слов — «Старик и море», где, как показалось Фолкнеру, «он нашел Бога, Создателя». К слову, о Фолкнере. Это у него-то, как ты находишь, «описание дел и делишек»? Отчего же тогда Камю увидел в бытовой истории, случившейся в наши дни в американском захолустье (она описана в повести «Реквием по монахине») отблеск античного рока, набросил на плечи персонажей одежды Электры, Медеи и Ореста и поставил спектакль в Париже? А благодарный автор послал ему, правда, по другому поводу, телеграмму: «Salut l'ame qui constamment se cherche et se datande» («приветствую душу, что неустанно ищет и вопрошает»). И отчего он же, Фолкнер, признаваясь в любви и интересе ко многим писателям мира, говорил, что походить хочет только на одного — на Достоевского?

«Любовь еще не начиналась на американском континенте, в американской литературе».

Насчет континента не скажу (хоть и есть там у меня знакомые супружеские пары — чистые Филимон и Бавкида), а вот из литературы ни «Алой буквы», ни повестей Генри Джеймса, ни романов Скотта Фицджералда, ни «Унесенных ветром», ни «Трамвая "Желание"» не вычеркнешь. О Хемингуэе даже не говорю, потому что о нем говоришь ты, полагая, правда, что за любовью ему пришлось вернуться на «афр-евра-азиатский континент».

По мне так это просто условность сюжета, а к тому же любовь у него завязывается не только в испанской сьерре, но и «у нас в Мичигане».

Хотя, что верно, то верно, ни «Анны Карениной», ни «Госпожи Бовари» в американской литературе нет.

Словом, скучному инспектору Лестрейду есть чем пожить.

Но ведь «Америка» — не про американскую литературу, она — про Америку. Есть у Гачева насчет нее замечательно верные мысли или, как он сам бы сказал, догадки:

«Если европейский дух мучительно прорывался из природы к свободе, выискивая себе опоры и собственную субстанцию (Декарт, Кант, Шеллинг, Маркс), то в Америке первична субстанция свободы, а природа вначале ничтожно мала перед ней по смыслу... и лишь с течением уплотнения существования здесь образуется «При-рода» как суть и понятие... Американцы — мученики Свободы».

Или, по-моему, еще более прозорливо и неожиданно точно:

«Американский флаг... следующие смыслы дает собой прочесть. Горизонтальные красно-белые полосы (в отличие от вертикальных полос французского, например, флага) подчеркивают большую важность горизонталей и горизонтов («Дальнего Запада», «открытых возможностей», продвижений к успеху), далее-шире в этом их мире, нежели вертикалей, которые важнее в иерархических обществах Евразии».

А с другой стороны, и тут догадки «странствующего детектива», как мне кажется, не всегда верны, а порой неверны очевидно: собственно, это даже не догадки, а утверждения, выдаваемые за факты, но фактами не являющиеся.

«Америка — выкидыш Старого Света, его бастард и отпрыск. Причем самые парии, грубые и варвары, туда переселялись. И принести туда могли не европейскую верховную культуру, а именно низовое психо-космическое самочувствие европейца и даже, точнее и уже, — англосакса, островитянина, пуританина и сектанта». Кстати, ту же, по существу, мысль высказал в «Восстании масс» Ортега-и-Гассет: «Америку создали европейские излишки».

Были среди американских иммигрантов (или европейских эмигрантов — это откуда смотреть) парии и варвары, одним словом, бомжи? Да сколько угодно, пожалуй, даже большинство. Но они пришли потом. А первопоселенцы — пассажиры «Мэйфлауэра», или еще большие «Леди Арабеллы», — это, положим, сектанты и пуритане, но никак не ишваль — напротив, йомены, ремесленники и, конечно, миссионеры. Из-под пера одного из них, Джона Уинтропа, вышло несколько написанных еще во время опасного путешествия через Атлантику страничек, которые вдохновенный автор озаглавил «Моделью христианского милосердия». Для строительства Нового Света этот — трактат? обет? проповедь? молитва? — значит не меньше, а мне так кажется, что и больше, Декларации Независимости и Конституции США.

«Мы должны быть готовы отринуть все наносное... ни на мгновение не забывая о своем Предназначении. Мы должны понять, что будем подобны Граду на Холме; на нас будут обращены взоры людей всего мира, и если в этом деле мы отворим очи от Господа нашего и вынудим Его лишить нас своего нынешнего попечения, то предадим множество верных слуг Божьих и вместо молитв услышим проклятия».

Как будто мощный пафос этих слов совершенно опровергает ключевую идею «Америки», которая заключается в том, что страна эта сделанная, сотворенная, творимая людьми — «ургия» в терминологии Георгия Гачева, в противоположность «гонии» — творению мира Богом.

Но оказывается, нет, не опровергает, и более того, парадоксальным образом подкрепляет. Потому что «модель» — это не только обет и молитва, но и на самом деле модель — свод правил поведения, перечисление причин, по которым предпринято трансатлантическое путешествие, разъяснение четырех главных опор в строительстве Града, являющегося одновременно и просто новым городом: люди, работа, цель, средства.

Сам же Джон Уинтрон — это проповедник и пастырь, но одновременно геометр и, по нынешнему выражаясь, менеджер.

И вот тут, в этом, то ли не прочитанном Геней, то ли почему-то не процитированном, хотя цитировать он любит (и мне эта наклонность близка), тексте, с неожиданной ясностью проступает самая привлекательная особенность его сильного ума: способность к интуиции, которая, собственно, и оправдывает авантюру, в которую он столь рискованно пустился.

Могут быть точные попадания, может, с другой стороны, заносить так далеко, что диву даешься: «нет тут взращиванья... ни своих талантов, ни умов: всех ввозят — и эйнштейнов, и стравинских готовыми берут: конфекция во всем». Гена, опомнись: а Эдисон? а Морзе? Их тоже ввезли? Но откуда? Не говоря уж об Уитмене или Марке Твене, о которых у тебя же так хорошо и оригинально написано. Но в том-то и дело, что Гачев этих противоречий не боится и, как я подозреваю, нарочно провоцирует ими читателя. Потому что уже в них самих угадана и выражена суть Америки, угадана и выражена даже лучше, чем в самых точных конкретных наблюдениях, — ее, Америки, нецельность, ее вечная незавершенность, при которых противоречия не только возможны, но и неизбежны, о чем пристально и цепко написал автор прочитанной (и даже местами заново переведенной) Гачевым книги — «Воспитание Генри Адамса», еще одного из немногих сочинений, без которых Америки не понять: эта страна, как и создавший ее народ, постоянно колеблется между динамо-машиной и Святой Девой. То есть между ургией и гонимой.

Удивительным образом совпали дух не виденной (но потом все-таки увиденной) Геней земли и его собственная природа, какой она представляется ему самому: «НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ, открытость — твоя вода, где ты — рыба. Так и «завершим» книгу — без точки, радостью незавершимости».

«Пятый год я разгуливаю вверх ногами... — начинает Сергей Довлатов вторую часть «Ремесла», приступая к рассказу о своем американском житье-бытье. — ...Пятый год я разгуливаю вверх ногами. И все никак не могу к этому привыкнуть».

Мне кажется, по впечатлениям от довольно регулярных встреч с ним в Нью-Йорке, оборванных несчастно ранней смертью Сергея, привыкнуть вполне, сжиться, ощутить Америку *своей* страной он так и не смог, пусть даже квартал в Квинсе, где он прожил двенадцать лет и где до сих пор живут его жена и дочь, назван именем писателя: Sergei Dovlatov Way. Об этом я еще, быть может, расскажу, но пока о другом.

Мне хватило не пяти лет, а пяти дней, чтобы понять, что очутился я в совершенно ином мире, где люди и впрямь ходят вверх ногами.

Конечно, поразил Нью-Йорк — мощью своих каменных громад, своими слепящими огнями, блеском вездесущей рекламы, муравьиным кишением людей в центре Манхэттена — словом, всей внешностью поразил. Но все же ко всему этому я был более или менее приуготовлен литературой, и американской, прежде всего трилогией Дос Пассоса, и русской, прежде всего стихами и эссеистикой Маяковского. Увы, такая подготовка лишает во многом первые впечатления свежести и непосредственности. Не всегда знание во благо.

Конечно, не оставил равнодушным пестрый пейзаж американского Юга, где оказался тогда же, в ходе той первой своей, полувекковой давности поездки по Америке. Потом я бывал здесь много раз, живал подолгу, полюбил этот край и его людей, но тогда просто с любопытством поглядывал по сторонам, и вновь мне не столько помогали, сколько мешали страницы прочитанных книг. Если и было чему удивляться, то в первую очередь тому, с какой приметливой точностью описали эту землю Уильям Фолкнер и Томас Вулф, Флэннери О'Коннор и Юдора Уэлти. И не только пейзаж, но дух, нравы, весь стиль жизни. Случилось, допустим, стать свидетелем-зрителем совершенно неожиданной, странной сценки, развернувшейся в захолустном городке, название которого сейчас начисто вылетело из памяти. Городок-то захолустный,

но? — со своим университетом, и вот к главному входу легкой рысью подъезжают молодые люди в серых мундирах и такого же цвета треуголках и подхватывают, сажая перед собою в седло, столь же юных девиц в кринолинах.

Где я? И какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

Как вскоре выяснилось, это был мемориальный день — отмечали годовщину одной из крупных битв Гражданской войны, положим, при Булл-ране. Или Висксберге. Но еще до того предательская память подсказала сходные сцены и похожих персонажей из «Унесенных ветром» или «Сарториса», где описана авантюра двух молодых офицеров армии конфедератов, совершивших в ночь перед Рождеством налет на провиантский склад противника в надежде добыть индейку, каковой в собственном лагере не обнаружилось. Историю эту, «с тем выражением неодолимой смертельной усталости, которое усвоили все южанки», рассказывает одна местная жительница, принадлежащая почтенному аристократическому роду, и в ее изложении «безрассудная выходка двух обезумевших от собственной молодости мальчишек... превратилась в некий славный, трагически возвышенный подвиг двух ангелов, которые своей героической гибелью вырвали из миазматических болот духовного ничтожества род человеческий, изменив весь ход истории и очистив души людей».

Поистине, как любил повторять автор этого романа Уильям Фолкнер, прошлое не прошло, оно даже не прошлое.

Такие вот подсказанные литературой ассоциации.

Но вот то, чему литература не помогает и не мешает и что сразу обнаружило — так мне, во всяком случае, показалось — суть американского опыта, столь не похожего на свой, родной и привычный.

Дело происходило там же, на Юге, и в этом же (а может, и в другом — не суть) городке. Хозяин дома, в котором я оказался случайным гостем, предложил проехать по самому городку, а еще более по его окрестностям, редкостно живописным, особенно в это время года — в апреле. Я, естественно, с благодарностью согласился, но когда выяснилось, что сам-то он занят, компании мне составить не может, а вот автомобиль его в моем распоряжении, радость потухла. Я запротестовал, ссылаясь на то, что, во-первых, не знаю здешних мест, во-вторых, водитель неважный, права совсем недавно получил (тут в глазах его мелькнуло явное удивление: мне стукнуло уже тридцать, а в Америке за руль на вполне законных основаниях садится любой шестнадцатилетний подросток, как, впрочем, и юница), но главное — нет никаких документов (нотариально скрепленной доверенности), дающих мне право водить чужую машину. Для советского гражданина реакция вполне нормальная. Я до сих пор помню, каких усилий стоило получить такую доверенность дома, когда я засобирался поехать куда-то на машине отца. А уж о том, чтобы сесть в нее без оной, и речи не могло быть. Но мой новый знакомец только отмахнулся:

— Come on, Nick, why worry, go ahead¹.

Ну я и поехал, продолжая, впрочем, испытывать некоторый внутренний озноб. И как показалось в какой-то момент, небезосновательно. География городка была незамысловата, движения почти никакого, и все же в какой-то момент я понял, что сбился с дороги. Я остановился, вышел из машины и принялся оглядываться по сторонам в поисках хоть кого-то, кто мог бы подсказать, куда ехать дальше. Но пешеходов на улицах не было, как и автомобилей. А затем невдалеке мигнул проблесковый маячок, и рядом со мной притормозила полицейская машина. Московский или любого другого города Советского Союза автолюбитель 60—90-х годов легко поймет, что я в тот момент испытал: привычное чувство жертвы перед лицом закона в облике сурового офицера ГАИ (сколько я повидал их на своем веку,

¹ Да брось, Ник, не о чем беспокоиться, вперед! (англ.)

и как они все похожи друг на друга — никогда не улыбнутся). Прав ты, виноват — неважно, тебя остановили, и этого достаточно. Впрочем, на этот счет все давно уже описал Франц Кафка. А ведь сейчас я действительно совершил (в своем понимании) правонарушение: машина чужая, доверенности на пользование нет. Как оправдаться? Но делать этого не пришлось. Полицейский вышел из машины и, не спрашивая никаких документов, добродушно поинтересовался:

— Any problem, sir? Can I help you?¹

— Ну да, — бормочу, безуспешно стараясь стереть с лица сразу же появившуюся при его появлении раблепную улыбку, — есть problem, совсем замучался.

Легко уяснив, что перед ним не только приезжий, но и иностранец, полицейский предложил мне сесть за руль и следовать за ним. Ну вот, думаю, началось: мягко стелет, да жестко спат, наверняка в участок везет, разбираться. Однако миновал несколько кварталов, патрульный притормозил, показал мне, куда ехать дальше, и мы расстались, вполне довольные друг другом. То есть это я был доволен, полицейский же, скорее всего, просто подивился странному поведению чужеземца.

Предположение мое скоро подтвердилось. Владелец машины, выслушав мой взволнованный рассказ, с недоумением пожал плечами: мол, что тут такого особенного, нормальное дело, они (то есть полиция, в том числе и дорожная) на наши налоги живут и вести себя должны соответственно.

Некоторое время спустя возникла примерно та же ситуация, только за рулем на сей раз был не я, а мой добрый знакомый Уильям (Билл) Феррис — в ту пору директор Центра по изучению культуры американского Юга в Оксфорде, штат Миссисипи, а впоследствии руководитель Фонда поддержки науки и культуры в правительстве своего тезки и давнего товарища Билла Клинтона. Мы ехали куда-то, и вдруг сзади к нам прилепилась полицейская машина. Билл остановился, вышел, и через зеркало заднего обзора я увидел, как он мирно беседует с полицейским.

— Что ему понадобилось? — осведомился я, когда Билл снова сел за руль.

— А, ерунда, — отмахнулся он. — У меня срок прохождения техосмотра вышел (он отмечен на бланке, что крепится к заднему стеклу автомобиля).

И не почувствовал я ни в голосе, ни в поведении не то что страха, но даже малейшего беспокойства.

А вот еще у одного моего товарища — некогда ленинградца, а в описываемое время давно уже гражданина США, как раз почувствовал. Ситуация все та же: заезжаем мы в Вашингтоне в подземный гараж, за нами — машина дорожной полиции. Оказывается, водитель то ли только что повернул на красный свет, то ли в том месте вообще поворот запрещен. И видно было, с каким напряжением разговаривает он со служителем закона и подписывает штрафную квитанцию. А ведь далеко не первый, повторяю, год живет в Америке и устроен вполне надежно, на государственной службе состоит, что большая редкость для выходцев из тогда еще существовавшего Советского Союза. Но стоило полицейскому, сделав свое дело, отъехать, как он разом успокоился и, более того, выпятил грудь: ничего, говорит, я этот штраф в суде отсужу (и отсудил, кажется).

Процедуры здешние товарищ мой усвоил хорошо, и в этом смысле стал американцем. А вот по духу, по самоощущению — нет, не стал (так мне во всяком случае кажется), хоть к нынешнему моменту живет в стране уже, наверное, лет сорок.

¹ Какая-то проблема, сэр? Могу я вам помочь? (англ.)

ИНТЕРЛЮДИЯ 4

Русский писатель в Америке

Мое знакомство с Сергеем Довлатовым ни тесным, ни близким не назовешь — длилось оно всего ничего, полтора-два года, да и на протяжении этого времени встречались мы лишь во время моих наездов в Америку, правда, в ту пору — конец 80-х — довольно частых. Начало ему, этому знакомству, положила одна, как любят говорить в редакционных кругах, акция: журнал «Иностранная литература», где я тогда работал, разослал русским писателям-эмигрантам последней волны анкету, предложив при этом на вопросы, если неинтересно, не отвечать, а просто рассказать о своем заграничном жизненном и литературном опыте. Откликнулись почти все: Аксёнов, Владимов, Войнович, Копелев, Зиновьев. Развернутое эссе пришло и от Сергея Довлатова.

По удачному стечению обстоятельств, выход номера в свет совпал со временем какой-то моей лекционной поездки по американским университетам, так что, добравшись до Нью-Йорка, я сразу связался с Довлатовым, представился и предложил передать журнальную книжку с его публикацией. Как мне показалось, звонку он обрадовался, хоть и сдержанно, и пригласил нас с женой поужинать, разъяснив при этом с характерной для себя (как впоследствии выяснилось) дотошностью, как до него добраться. К сожалению, инструкции помогли не вполне, чему, видимо, в равной мере способствовали свойственное мне неумение ориентироваться в незнакомых местах (а Квинс я не знал тогда совершенно) и склонность американцев давать улицам, имеющим один и тот же номер, различные определения. Скажем, под цифрой 63 (нужной нам) значились и *street*, и *drive*, и *road*, и *lane*, и *way*, возможно, что-то еще. Короче, проплутали мы изрядно и опоздали против назначенного времени на час, а то и больше. Хозяйину, в силу означенного свойства характера, это явно не понравилась, и, возможно, поэтому разговор как-то не заладился, и посреди очередной паузы я, кивнув жене, собрался было поблагодарить за гостеприимство и удалиться. Но тут выяснилось одно крайне неловкое (для меня) обстоятельство. У Довлатовых был тогда пес-такса Яша. Полаяв для порядка на незнакомцев, собачка мирно улеглась где-то у меня под ногами и большие голоса не подавала, разве что причмокивала время от времени. Причина этого причмокивания как раз и обнаружилась, когда я встал: брючина на левой ноге оказалась выедена от лодыжки едва ли не до колена. Все — а за столом, помимо Довлатовых и нас с женой, сидел Владимир Соловьёв — критик, прозаик, политолог, мой давний автор по временам работы в «Вопросах литературы», эмигрировавший в Америку приблизительно одновременно с Сергеем, — расхохотались, что и понятно. Но Сергей страшно смутился, вскочил и с живостью, какую только позволяли, с одной стороны, богатырское сложение, а с другой — скромная квадратура кухни, где все расположилось, бросился к выходу.

— Сейчас сбегая куплю брюки. У вас какой размер?

— Да? И куда это ты, интересно, собрался бежать? — с невозмутимостью, не оставляющей ее, как впоследствии обнаружилось, буквально в любой ситуации, поинтересовалась его жена Лена. — На часы посмотри.

А времени было часов одиннадцать вечера, торговые точки, тем более в таком спальном районе Квинса, как Форест Хиллз, где жили Довлатовы, были давно закрыты.

Дурацкая эта история способствовала не только возобновлению оборвавшегося было застолья, которое потекло куда живее, чем прежде, но и некоторому моему сближению с Сергеем Довлатовым — возможно, его, человека, как известно, на редкость остроумного, привлекла легкость, с какой я воспринял внезапно свалившуюся на меня шутовскую роль: смеялся наравне со всеми. А впрочем, что мне еще оставалось делать?

Но описывать здесь наши последующие встречи, воспроизводить переписку и разговоры я не буду: во-первых, дабы не создалось впечатления близости, которой не было (знаменитостей по смерти обступает легион друзей, не хотелось бы самозвано умножать их число), а во-вторых, литература о Довлатове и без того весьма насыщена воспоминаниями людей, с которыми его действительно связывало долгое и тесное знакомство.

Точно так же нет у меня намерения заниматься тем, что называется «анализ прозы писателя». Это предмет увлекательный и, в отличие от мемуаров, как раз оставляющий довольно обширное пространство для умственных занятий, но — не на этой площадке.

На самом деле меня занимает только одно — самочувствие Довлатова в стране под названием Соединенные Штаты Америки. Даже точнее — в городе под названием Нью-Йорк.

Прожил он в нем более десяти лет, но пустым занятием было бы искать на страницах его книг — книг, написанных здесь, в этом воздухе, в этой среде — хоть отдаленное подобие Нью-Йорка с его особенной топографией, повадкой, языком, искать, словом, то, что называют гением места. Нью-Йорк Довлатова — это 108 улица Квинса, даже не вся улица, а те ее островки, где расселились русские эмигранты.

«...Вот разъезжаются наши таксисты: Лёва Баранов, Перцович, Еселевский...»

«Вот идет хозяин фотоателье Евсей Рубинчик...»

«Вот раскладывает свой товар хозяин магазина «Днепр» Зяма Пивоваров...»

«Вот сворачивает за угол торговец недвижимостью Аркаша Лернер...»

И так далее.

Это замкнутый мирок, в котором «местных жителей...считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся». Это община со своим прошлым и настоящим, со своими привычками, интригами, скандалами, со своим вполне специфическим говором и прежде всего со своими печальями. Потому что, как написано в «Ремесле», уезжая из дома, люди меняют «не общественный строй. Не географию и климат. Не экономику, культуру или язык. И тем более — не собственную природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего».

Впоследствии я исходил 108-ю и прилегающие к ней улочки и переулки вдоль и поперек, я видел этих таксистов и лавочников, я слышал эту речь, и прогулки эти лишней раз убеждают в правоте героя-повествователя новеллы Бабеля «Мой первый гонорар»: литературе нет нужды походить на действительную жизнь, это жизнь из всех сил старается походить на литературу. Сто Восьмая — это довлатовская Йокнапатофа, она столь же реальна, сколь и придумана, и границу между правдой и вымыслом провести невозможно, да и не нужно.

И совсем иначе звучат слова, стоит писателю Сергею Довлатову удалиться от 108-й.

«Нью-Йорк — хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляюще безмятежен и смертельно опасен. Размашисто щедр и болезненно скуп. Готов благодетельствовать тебя и разорить без минуты колебания».

Написано хорошо — а плохо Довлатов вообще писать не умел. В сюжете могла быть фальшь (например, в «Иностранке»), ну так сюжет, по собственному признанию, интересовал его в литературе меньше всего. Могла хромать композиция — например, в «Филиале». Но слово всегда отточено и всегда на месте. Искусством, по Флоберу, *mot juste*¹ Довлатов овладевал неустанно и довел его до блеска.

Да, написано сильно, но — как бы со стороны, и потому безлично. Большие похоже на имитацию чувства, какую не скроешь никаким мастерством.

Довлатов, по его словам, был готов к встрече с Америкой, быть может, больше, чем многие товарищи по эмигрантской судьбе, — он знал и любил американскую литературу.

¹ Точное выражение, нужное слово (фр.).

И это знание и эта любовь распознаются в его прозе порою, быть может, слишком легко. Вот и сейчас возникает некое близкое, даже очень близкое сходство, да только тотчас за ним проступает столь же очевидное несходство.

«Крах», эссеистический цикл Скотта Фицджералда, составленный и посмертно опубликованный его принстонским однокашником Эдмундом Уилсоном, открывается очерком «Мой невозвратный город». В некотором роде это панорама Нью-Йорка, постепенно открывающаяся молодому выходцу со Среднего Запада во всем своем ослепительном и обманном блеске. Если убрать безумные эскапады, когда Растиньяк американского разлива, распластавшись на капоте такси, гонял по улицам мегаполиса, если выключить неземной свет кафе на крыше отеля «Ритц», а с другой стороны, еще больше приглушить доносящийся откуда-то из недалеко тихий звук гобоя и шелест книг в кабинете Кролика (студенческое прозвище Уилсона), если вычеркнуть печальные признания в том, как постепенно, одна за другой, тускнели прекрасные иллюзии, то как раз и останется чертеж, сложившийся из перпендикулярных линий, проведенных уверенной рукой Сергея Довлатова. А лирический финал очерка ему и вовсе не нужен: «Возможно, мне предстоит когда-нибудь вернуться и пережить в этом городе что-то новое, о чем я пока только читал. Но сейчас я могу лишь с грустью признать, что прекрасный мираж, с которым я жил, растаял. Вернись, о, вернись, мой образ, сверкающий и белый!»

Все разница в местоимении: в одном случае первое лицо, в другом — третье.

Фицджералд Нью-Йорком очаровывался и в Нью-Йорке разочаровывался, но в общем — любил. А Генри Миллер — ненавидел и боялся:

«Ночные улицы Нью-Йорка отражают распятие и смерть Христа. Когда они покрываются снегом и воцаряется совершенная тишина, из уродливых строений Нью-Йорка несется музыка такого черного отчаяния и несостоятельности, что от нее пробегает дрожь... Улицы пахнут голодом, которому нет дела до любви; они пахнут ненасытными творениями пустого желудка, не имеющими права на существование. В этой недействительности и пустоте, в этой нулевой белизне я научился радоваться сэндвичу и пуговке...» («Тропик Козерога»).

Нью-Йорк Миллера — фантом, проекция его тяжелого душевного состояния, но и это город в первом лице.

А вот Нью-Йорк Сергея Довлатова, когда он остается с ним один на один, без посредничества литературы в лице хоть того же Скотта Фицджералда или, допустим, Джона Дос Пассоса: «...Этот город — серьезное испытание воли, характера, душевной прочности. Здесь у тебя нет ощущения гостя, приезжего, чужестранца. И нет ощущения дома, пристанища, жилья. Есть ощущение сумасшедшего корабля, набитого миллионами пассажиров».

О смерти Серёжи я узнал будучи где-то далеко от дома, кажется, в Германии, — услышал по радио в машине и сначала подумал, что просто недопонял, по немецки-то с пятого на десятое говорю и разбираю. Ведь еще совсем недавно, месяц-полтора назад, мы виделись в Нью-Йорке. И был он, как всегда, неотразим и остроумен. Но потом, когда все подтвердилось и поверить пришлось, я почему-то не удивился. Опечалился — конечно, даже опустошенность почувствовал, потому что за недолгое время знакомства успел полюбить этого человека — не прозу писателя Сергея Довлатова, которую знал, хоть поверхностно, и раньше, знал и ценил, но именно его — Довлатова Серёжу. Но не удивился. При всем блеске и легкости, особенно ощутимой по контрасту с внушительной фактурой, ощущались в нем некий надлом, бесприютность, неустроенность.

Нью-Йорк сделал Довлатова знаменитым, правда, больше по смерти, когда на него обрушилась такая слава, какая даже в самых смелых мечтах привидеться не могла. Нью-Йорк, повторяю, увековечил его имя в своей топографии, и на презентации таблички с новым названием той части 108-й улицы, что ограничена улицами, вернее говоря, 63-м и

64-м drives, присутствовало какое-то важное лицо районного, может, и городского масштаба. Впрочем, и при жизни Нью-Йорк не обделял Довлатова своим вниманием — переводы его рассказов печатались в «Нью-Йоркере», и стал он всего вторым, после Набокова, русским писателем, которому этот журнал предоставил свои страницы. Курту Воннегуту, скажем, такая честь не досталась, о чем он сам не упустил случая сообщить Довлатову.

Тем не менее испытания Нью-Йорком, его же словами говоря, он не выдержал. И литература здесь ни при чем.

Что американским писателем, в отличие от Набокова и отчасти Бродского (хотя, скорее, эссеиста, чем поэта), Довлатов не стал и стать не мог, это понятно — он и говорить-то по-английски толком не выучился, не то что писать.

Но дело не только и даже не столько в языковой немоте — дело в немоте душевной.

Стена, стоящая между русским, очутившимся по ту сторону Атлантики, и миром, именуемым «Америка», в «случае Довлатова» так и не обрушилась. Георгий Владимов писал, что из молодых русских писателей, состоявшихся уже на Западе, Довлатов лучше других выдержал бремя свободы. Честно говоря, я не совсем понимаю, что в данном случае имеет в виду Георгий Николаевич. Если свободу творческую, то да, разумеется, только, на мой-то взгляд, Довлатов никогда не ощущал ее как бремя, даже в ту пору, когда жил в Ленинграде, потом в Таллине, и нигде его не печатали. Это было естественное состояние, это был воздух, которым дышишь, не задумываясь. А вот если говорить о свободе поведения, о мироощущении, то нет, бремени такой свободы Сергей Довлатов, как мне кажется, не вынес. Он так и не обрел того внутреннего стержня, который Ральф Уолдо Эмерсон назвал self-reliance, опорой на самого себя, той опоры, без которой американца просто не существует, где бы ни жить, пусть даже в США. Кажется, он сам догадывался об этом. Повесть «Ремесло» завершается печальным вздохом: «Я мечтал о человеческом равнодушии. О той глубокой безучастности, которая служит единственной формой неоспоримого признания. Смогу ли я добиться этого?»

По-моему, не смог. Ощутить это и даже увидеть воочию я имел множество случаев, вот только один из них. Он вновь отчасти связан с автотранспортом, что, может быть, не удивительно, в конце концов, Америка XX века и автомобиль — почти синонимы. Был в свою пору в южной части Манхэттена магазин электротехники, который держал некий Тимур, — наши, что сотрудники дипломатических миссий, что командировочные, охотно у него отоваривались. Серёжа, написав про этот магазин и его хозяина нечто вроде арабески — «Тимур и его команда», сделался здесь своим человеком, что ощущали своим карманом его приятели и знакомые, в том числе и я. Ну вот, назвав волшебное имя, я с изрядной скидкой купил у Тимура большую по тем временам в Москве редкость — видеомагнитофон — и отправился по своим делам, сказав, что вернусь за покупкой попозже. Потом мы встретились с Серёжей, и он любезно предложил подбросить меня до Тимура, а потом и в гостиницу отвезти. А пока я буду брать свое приобретение, он найдет поблизости, где пристроить машину.

— Да чего куда-то ехать? — искренне удивился я, — я ведь туда-обратно.

Серёжа покачал головой и отъехал.

Потом я понял, в чем дело. Стоянка в том месте, где я вышел из машины, была действительно запрещена, но не штрафа Серёжа, при всем своем вполне скромном достатке, опасался. Вообще, он был человек редкостно щедрый, очень любил одаривать друзей всякими раритетами, и в этом смысле как раз легко слился с Америкой.

Тут я немного отвлекусь, возвращаясь к заявленному было и брошенному в самом начале сюжета: американцы и деньги. Итак, что уловил Маяковский?

— В отношении американца к доллару есть поэзия... Американец эстетически любит зеленый цвет доллара, отождествляя его с весной и бычком в овале,

кажущимся ему портретом крепыша, символом его довольства. А дядя Линкольн на долларе и возможность для каждого демократа пробыть в такие же люди делает доллар лучшей и благороднейшей страницей, которую может прочесть юношество».

А зря, что ли, нищий сорванец Гек Финн отказывается в пользу судьбы Тэтчера от целого состояния, что они с Томом отыскивали в пещере? На что ему эти шесть тысяч долларов? Свобода дороже.

С литературой перекликается гуманитарная наука. В своем хрестоматийном ныне исследовании «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер рассказывает такую историю. Немец-зять успешного предпринимателя из Айовы никак не может взять в толк, отчего тот все время так суетится: неужели старикану не хватает 75 тысяч долларов в год, требуется ему, видишь, увеличить площади своей прачечной еще на 400 квадратных футов. Зачем? А затем, объясняет тот, что тогда это будет самая большая прачечная в округе, и нет нужды, что управляться с ней будет труднее, и навар, не исключено, этих усилий не окупит. Ключевое слово — «самая». Так, при въезде в Скенектеди, штат Нью-Йорк, вас встретит рекламный щит: «Самый большой маленький город в США».

Словом, американец — это спортсмен, он хочет быть везде и во всем первым. Иногда такое стремление отдает чистой комедией. Один путник, знаток и почитатель древностей, которому Скалистые горы показались похожими на горы Моавитские, вдохновенно рассказывает своему юному и не шибко грамотному компаньону по имени Джек, что Моисей сорок лет вел свой народ через триста миль зыбучих песков в Землю Обетованную. Джек лишь ухмыльнулся: «Сорок лет? Триста миль? Фью! Бен Холидей доставил бы за тридцать шесть часов».

Уместно пояснить, что этот самый Бен Холидей, описанный Марком Твеном в книге «Налегке», был большим пройдохой, сумевшим прибрать к рукам всю западную часть тракта, ведущего с востока, через Скалистые горы, в Калифорнию. Но это не имеет значения, важно, что он — первый, он чемпион. Потому такой нестерпимой пошлостью, молю траченной пропагандой, привычными фобиями и комплексами отдают прописи, будто все в Америке молятся одному лишь богу — доллару. Да нет, тратить здесь любят не меньше, а может больше, чем зарабатывать, вернее, зарабатывают, чтобы тратить. Вот почему в литературе США нет ни Гарпагона, ни Гобсека, ни Плюшкина, но есть Фрэнк Каупервуд и Джей Гэтсби. А как же, возразят мне, фолкнеровский Флем Сноупс? Отвечу: в отличие от всех иных скопидомов, что из Франции, что из России, что из Венеции, Флем абсолютно бестелесен и неосязуем. Недаром Фолкнер сделал его импотентом. За каждым насельником Французовой Балки — биография, каждый готов перечислить предков до седьмого колена, даже тех назовет, кто некогда, во времена для молодой Америки почти библейские, бросил свои домишки на болотах Шотландии или Уэльса и пересек в поисках лучшей доли океан. А за Флемом — стильное безмолвие: «только что дорога была пуста, и вот, откуда ни возмись, уже стоит на опушке рожицы у обочины... как из-под земли вырос». Голос мертвый, ноги деревянные, лицо неподвижное, даже дышать ему, как всем людям, кажется, не надо, «словно все тело каким-то образом приспособилось обходиться своими внутренними запасами воздуха».

Возвращаясь к магазину Тимура на нижнем Манхэттене. Нет, не из опасения получить штрафной талон не решился остановиться в неположенном месте Серёжа Довлатов. Тут другое: не хочется говорить — страх, но некое смутное беспокойство при возможной встрече с властью, пусть даже самой маленькой. Super, то есть, попросту говоря, управдом шестизэтажки в городе Нью-Йорке, Queens borough, на углу 108-й street и 63 drive был в его глазах тем же, что и управдом на улице Рубинштейна, 27, город Ленинград. А то и похуже, потому что лексически super — это явно нечто более значительное и даже величественное, нежели просто «управ».

Впрочем, иерархические отношения с их противоположностью «верха» и «низа» — это только часть, хотя и немаловажная, испытаний, с какими сталкивается русский в Америке. Есть и нечто иное, трудно выразимое и еще труднее обретаемое. То есть выразить-то Довлатову удалось — все в том же «Ремесле», повести о рассвете и быстром закате газеты «Новый американец».

«Я шел сквозь гул и крики. Я был частью толпы и все же ощущал себя посторонним. А может быть, все здесь испытывали нечто подобное? Может быть, в этом и заключается главный секрет Америки? В умении каждого быть одним из многих? И сохранять при этом то, что дорого ему одному?..»

Мне кажется, это замечательно точная догадка или, если угодно, один из тех вопросов, пожалуй, что и главный, которыми я начал эти записи. Только Довлатов его гораздо точнее меня сформулировал. Иное дело, что, уловив секрет, назвав его по имени, он, Довлатов, не сумел сжиться с ним настолько, чтобы он перестал быть секретом.

Но мало этого.

Собственно американской, укорененно-американской среды жизни у Сергея Довлатова, насколько я понимаю, так и не образовалось. Знакомые, притом немногочисленные, — переводчики, прежде всего Энн Фридман, издатели, прежде всего Карл и Эллендея Профферы, верно, были, но среды в пастернаковском («Я говорю про ту среду...») смысле не было. Да только ли американской? Довлатов знал эмигрантов и писал про эмигрантов. Они — понятны, с ними сохраняется близость, с ними поддерживается связь — житейская и литературная. Не зря «Иностранке», книге, в общем у Довлатова не лучшей, а на мой вкус, так и просто неудачной, но, пожалуй, самой со-чувственной к тем, кого вместе с ним занесло в эту даль, предшествует посвящение: «Одиноким русским женщинам в Америке — с любовью, грустью и надеждой».

Все так, все верно. Но невозможно в то же время не ощутить той иронической, пусть лишь слегка иронической, пусть добродушно-иронической, но все же дистанции, которой отделяет себя автор от всех этих близких ему людей — таксиста Лёвы Баранова, журналиста Вили Мокера, отставного диссидента Караваева, Маруси Татарович, которая не выдержала одиночества и полюбила латиноамериканца Рафаэля... А если видеть в персонажах «Ремесла», «Филиала», той же «Иностранки» не просто художественные образы, но лишь несколько измененные портреты реальных людей с их подлинными именами и определенными свойствами характера и поведения, манерой речи и так далее — а не видеть нельзя, я знал этих людей и готов с легкостью расшифровать если не все, то большинство псевдонимов, — так вот, если стереть пограничную черту, отделяющую литературу от жизни, то можно заподозрить, что и этой среды обитания в жизни Сергея Довлатова не было.

Литература от этого ничуть не страдает, а вот создатель литературы — совсем иное дело.

Сергей Довлатов оказался в состоянии экзистенциального одиночества. Он сохранял то, что дорого ему одному, но при этом одним из многих стать не сумел.

Как мне кажется, это ощущение неизбывной раздвоенности и привело его к ранней, слишком ранней гибели.

Все остальное — злоупотребление спиртным, неумелость санитаров «скорой помощи» — быт.

Имя и судьба Финеаса Тейлора Барнума — такая же часть американской мифологии, как имена и судьбы Дэви Крокетта и Дэниэля Буна, с той, правда, разницей, что подвиги двух последних — это во многом плод их собственного богатого воображения, а карьера Барнума с его всемирно известным цирком легко подтверждается фактами и в дополнительных красках не нуждается.

Он родился в 1810 году в семье владельца небольшой гостиницы и столь же скромной бакалеи, и сам сначала сделался бакалейщиком, с тем чтобы впоследствии перепробовать множество занятий — от лотерейного бизнеса до газетного дела.

Но славу ему, конечно, принесли не лотерея и не пламенные памфлеты против рабовладения, которые он помещал в им же созданной и редактируемой газете с духоподъемным названием *Herald of Freedom* — «Вестник Свободы». Барнум сделался по сути первым в Америке антрепренером — вдохновителем и организатором того, что позже стало именоваться шоу-бизнесом. Все началось с того, что, убежденный противник работорговли, он сам купил престарелую рабыню-негритянку, придумал целый аттракцион и принялся разъезжать по стране, выдавая его героиню за 160-летнюю Джойс Хит, которая, будучи уже совсем немолодой женщиной, нянчила Джорджа Вашингтона. Потом выяснилось, что лет ей вдвое меньше, и если она кого и нянчила, то был это вовсе не прославленный отец нации, но репутации Барнума эти разоблачения совершенно не пошатнули, а благосостояния тем более. Разве что теперь его стали называть «Королем надувательств». Словом, история Финеаса Тейлора Барнума — это история успеха, и уже поэтому американская история. Один добывал золото (Джон Саттер), другой занимался сталелитейным делом (Эндрю Карнеги), третий вот устраивал цирковые представления. На вершину, правда, взбирались немногие, но верили в удачу все. Однако меня сейчас занимает другое. После первого успеха Барнум придумал новое представление с участием лилипута Чарлза Страттона (сценический псевдоним *General Tom Thumb*), с которым объездил не только Америку, но и большую часть Европы, в том числе и Великобританию, где на спектакль пришла, а затем пригласила устроителя к себе в Букингемский дворец сама королева Виктория. И вот тут начинается самое любопытное. Приглашение Барнум принял, однако, судя по воспоминаниям очевидцев, польщенным себя отнюдь не почувствовал, вел себя во время приема если не развязно, то фамильярно, словно перед ним не королева, а какая-нибудь миссис Джонс или миссис Смит, и вообще всем своим видом давал понять, что у него есть дела и поважнее, чем гонять чай с ее величеством.

Примерно столетие спустя ситуация фактически повторилась, хотя и в ином сюжетном оформлении и с участием других персонажей.

Кто-то из приятелей и земляков Уильяма Фолкнера, его неизменный спутник в охотничьих вылазках, услышав по радио, что ему вручили в Стокгольме Нобелевскую премию по литературе, сразу направил письмо шведскому королю Густаву Адольфу Шестому: «Дорогой Король! Поскольку на церемонии вручения Нобелевской премии Вы сказали о нашем друге Билле Фолкнере такие добрые слова, просим Вас быть в ноябре нашим почетным гостем в охотничьем лагере».

Надо полагать, послание это вызвало в королевской канцелярии некоторое замешательство: все же есть какой-то ритуал, к венценосным особам так обращаться не принято. Тем не менее, последовал вежливый ответ в том смысле, что его величество признателен за приглашение, но вынужден с сожалением его отклонить, ибо на лошади не ездит и из ружья не стреляет (можно было добавить, что на престол он вступил буквально за месяц до того, и было ему как-то не до охоты, тем более в дальних краях). Реакция в Оксфорде, штат Миссисипи, соответствовала акции: сморите-ка, вертя в руках полученное из Стокгольма письмо и обращаясь к друзьям, хмыкнул адресант, похоже, король считает, что для хорошего времяпрепровождения в лагере нужно ездить верхом и палить из винтовки; он явно не имеет представления о том, что там на самом деле происходит.

А еще лет через десять туда же, в захолустный городок едва ли не самого бедного из американских штатов, пришло еще одно письмо, на сей раз из Вашингтона: недавно

избранный 35-й президент США Джон Кеннеди имеет честь пригласить Уильяма Фолкнера, вместе с другими американцами — нобелевскими лауреатами поужинать с ним в Белом доме. Говорят, прочитав письмо, Фолкнер проворчал примерно следующее: слишком я стар, чтобы ехать в такую даль ради удовольствия посидеть за одним столом с незнакомым человеком. Было ему тогда 64 года, от Оксфорда до Вашингтона меньше тысячи миль.

(По прошествии времени у меня появилась возможность убедиться в достоверности этой — как мне думалось — легенды; Дин Фолкнер Уэллс, племянница писателя, дочь его младшего брата, погибшего во время тренировочного полета еще до ее рождения, подтвердила: все так и было, она сама была свидетельницей этой сцены.)

К чему, однако, все эти были, которые можно дополнить массой небылиц, на были, однако же, очень похожих?

Да просто к тому, что родовая черта американца — это все та же *self-reliance*. Он самодостаточен. Любой бомж внутренне убежден в том, что он равен Рокфеллеру, а уж о каком-то там шведском короле и говорить не приходится. Или нет, не убежден, конечно. Но бессознательно убеждает себя, и это укрепляет в нем жизненные силы. Граница между обретением и возможностью обретения неуловимо стирается. Даже язык, а может быть, не даже, но в первую очередь, об этом свидетельствует. Американскому английскому свойственно то, что один проникательный наблюдатель назвал «социальной уравниловкой». Еще в XIX веке, назвав, скажем, судомойку на постоялом дворе «служанкой», вы бы нарвались на возмущенный ответ: «Эй, мистер, я вам не служанка. Слугами у нас бывают только негры, я — помощница». Ну, а сейчас, когда рабство осталось далеко позади, к коридорному в гостинице лучше обратиться, как и к постояльцу соседнего номера, — «сэр». В этом смысле в Америке тоже ходят вверх ногами — те, что выше, служат тем, что ниже. Выступая перед выпускниками Вест-Пойнта, Барак Обама говорит, что горд как раз возможностью «служить им» в роли верховного главнокомандующего. Конечно, это игра, в чем отдают себе отчет обе стороны, но — игра значимая, игра всерьез. И недаром «министров» в Америке называют не министрами, а «секретарями». Они тоже — служат, или даже прислуживают.

Это самостоянье — хребет того что называют Американской Мечтой. Хребет. Сердце. Душа. Словом — все.

Но для начала надо хотя бы приблизительно определиться в содержании понятия. Приблизительно — потому что, как уныло замечает видный историк литературы Фредерик Карпентер, «американская мечта никогда не была и, видимо, никогда не будет определена точно. Для этого она одновременно и слишком разнообразна, и слишком расплывчата».

Как книги, по словам римского грамматика рубежа II — III веков Теренциана Мавра, имеют свою судьбу в зависимости от того, кто их читает, так и американская мечта приобретает разную форму в зависимости от того, кто о ней судит. Скажем, англичане, которые все никак не могут избавиться от чувства исторической обиды и видят в Америке непослушное дитя, вырвавшееся из-под родительской опеки, чаще всего и Мечту полагают воплощением то ли наивного подросткового романтизма, то ли, напротив, вульгарного стремления к жизненному благополучию: дом, машина, набитый продуктами холодильник. Словом, американец — это Джордж Бэббит. Сходное представление культивируется, особенно в последнее время, и у нас при этом обнаруживается удивительное единодушие сторон, во всем остальном друг с другом не согласных. Патриоты-трубадуры российской государственности, на которую будто бы коварно покушается весь западный мир во главе известно с кем, усматривают в Мечте агрессивную бездуховную силу — питательную почву идеи гегемонизма и даже, что уж совсем трудно поддается пониманию, во всяком случае моему, русофобии. Либералы

в подобного рода паранойе явно не замечены, но как явствует из относительно недавнего интервью Татьяны Толстой какому-то латвийскому то ли агентству, то ли информационному portalу, американская мечта вызывает у нее в лучшем случае добродушную улыбку: «Американская мечта незамысловата: ребенок в магазине, курица в супе».

Как ни странно, сходно с ней — то есть не по форме, конечно, но по смыслу — высказывается автор чрезвычайно содержательной книги «Русская идея и американская мечта» Эдуард Баталов: мечта эта «по своему социальному содержанию есть *мещанская* мечта». Странность же состоит в том, что ранее он всячески упирал как раз на духовное содержание этого понятия: Мечта — это мечта не просто о повседневном благополучии (хотя тоже дело не последнее), но о безусловном и беспрепятственном воплощении свободной человеческой воли. Впрочем, справедливости ради надо обратить внимание на оговорку: речь идет о популярной, «приземленной», «обытовленной» версии Мечты, имеющей лишь отдаленное сходство с видениями сначала пилигримов, а затем отцов-основателей американского государства.

Самое время к первоисточникам и обратиться.

Считается, что само понятие Американской мечты было впервые сформулировано историком Джеймсом Траслоу Адамсом, выразившим — в книге «Американский эпос» — суть Америки и американского сознания почти с той же глубиной, что его однофамилец Генри Адамс, да и сам Токвиль. Вот что там говорится: «Американская мечта — это мечта о земле, где всякий обретет лучшую и более богатую и более полноценную жизнь, где всякому будут предоставлены для этого равные возможности... Это мечта, которую высшим классам европейского общества нелегко осознать и выразить, да и дома многие, очень многие устали и потеряли веру в нее. Это не просто мечта о личном автомобиле и высоких заработках, нет, это мечта о таком социальном устройстве, при котором каждый мужчина и каждая женщина имели бы возможность развить заложенные в них духовные силы и были бы по достоинству признаны такими, каковы они есть, независимо от преимуществ, доставшихся по праву рождения или занимаемого положения».

Так формулирует ученый-историк.

А вот слово художника — Уильяма Фолкнера: «Была американская мечта: земное святилище для человека-одиночки; состояние, в котором он был свободен не только от замкнутых иерархических установлений деспотической власти, угнетавшей его как представителя массы, но и от самой этой массы, сформированной иерархическими установлениями церкви и государства, которые удерживали его как личность в рамках зависимости и бессилия.

Мечта, равно вдохновлявшая отдельных индивидов...

Не просто идея, но состояние...

Мечта, надежда, состояние, которые наши предки не завещали нам, своим наследникам и правопреемникам, но скорее завещали нас, своих потомков, мечте и надежде...

Дар свободы, оставленный нам теми, кто вместе работал и в одиночку страдал, чтобы создать ее...»

Длится и длится эта патетическая речь, в которой, однако, с первых же слов гимн звучит как реквием — «была», — так что мы не слишком удивляемся, когда она в какой-то момент обрывается печальным признанием: «Что-то произошло с мечтой. Много произошло».

Что же именно?

Быть может, все просто, быть может, следуя давнему завету Уильяма Оккама, не следует умножать сущностей сверх необходимости и стоит согласиться с Татьяной

Толстой: курица в супе? Да и не только с Татьяной — ведь еще в пору американских зорь первые колонисты собирались вовсе не только «делянку Бога» на новой земле разбить, а после «Град на Холме» воздвигнуть, но и ловом трески заняться. И тогда все становится понятно: в таком своем изводе — мещанском, как мы помним — мечта давно осуществилась: страна богата, люди живут хорошо. Можно, конечно, еще об одной тарелке супа, о двух курицах похлопотать, но это же скучно.

Есть и еще одна, уже далеко не столь приземленная версия Американской мечты — назовем ее версией «границы», или Дикого Запада. Она вдохновляла скотоводов и золотоискателей, строителей железных дорог и ковбоев, скваттеров и фермеров, потоками текущих в сторону Скалистых гор и далее — к тихоокеанскому побережью, куда манили пустые, необработанные, хранящие всяческие богатства земли, а вместе с тем гнали жажда и ветер приключений, перемен.

Быть может, это она «была», а потом быть перестала? А «произошло» то, что в 1890 году Статистическое бюро США официально заявило, что такого понятия, как «граница», в Америке больше не существует, она естественно совместилась с прибрежной полосой океана, свободных земель на Западе не осталось. Это был сильный удар не только по сознанию тех американцев, что готовы были сорваться с насиженных мест и двинуться в поисках лучшей доли туда, куда двигались предшественники, — таких-то, может, немного и осталось, на носу XX столетие, в ворота громко стучится индустриальное общество, которое, как полагает крупный историк и публицист Стадс Теркел, само по себе трудно совместимо с мечтой в любом ее воплощении; нет, это было нечто большее — удар по коллективному бессознательному целой нации, для которой «Запад», «граница» — это не просто надежда поправить пошатнувшиеся делишки (курица в супе) и уж точно не просто география; это — символ свободы, это сама жизнь, а жизнь — это:

...мчащийся к Западу грёз ураган.
Жизнь — вечная грёза, звёздный туман.
Дыханье созвездий златоволосых,
Раскинувших в небе лучистые косы.

(Вэсел Линдзи, «Призраки бизонов».
Пер. М.Зенкевича)

И все же Фолкнер — не про это, не про рассеявшиеся грёзы и не про горизонты Запада. Не зря эссе его называется «О частной жизни».

...Нью-Йорк, говорят, — не Америка, точно так же, как Москва — не Россия. Ну, с последним не поспоришь, пусть даже растеклась теперь наша столица далеко за пределы кольцевой дороги. Так это по документам, а в натуре отъедешь на пятьдесят, и тем более сто километров — и все другое: пейзаж, дома, магазины, дороги, говор: не только деревенского жителя, но даже и горожанина, если он из Твери или Тулы, сразу отличишь от москвича. Как и он сразу признает в тебе московского гостя.

Но Нью-Йорк-то почему не Америка? Понятное дело, в какой-нибудь Топеке, штат Канзас, с ее 125 тысячами населения или, тем более, в нашей однофамилице Москве, штат Айдахо, где и двадцати-то пяти тысяч не наберется, небоскребов нет. И говорят на Среднем Западе не так, как в Нью-Йорке, а о Юге, что много-, что одноэтажном, и речи нет, — своя мелодика и свой словарь.

Но в остальном — все более или менее одинаково, только масштаб мельче. Те же дороги — ровные и накатанные, разве что намного чище, чем в мегаполисе. Те же магазины — Woolwart, JCPenny, Walmart и так далее, а в них такие же товары и

продукты. Такие же школы и при них такие же спортивные площадки и такие же желтые автобусы скользят по городку, подбирая детей у дома, а после уроков развозя по домам. А кое-где и университеты имеются, например, в тех же Топеке и Москве. Не Йель, конечно, не Гарвард, но вполне приличные учебные заведения, со знанием дела говорю, бывал и там, и там, в Москве, то есть в университете штата Айдахо, лекции читал, в Топеке, то есть в университете Уошборн, участвовал в одном довольно крупном симпозиуме.

Такие же книжные магазины, и те же в них новинки, что в Barns&Noble на Юнион-сквер. Разве что там не протолкнешься, а здесь можно, присев на диван, целый день провести — и магазин, и читальня.

И кинопремьеры те же, и проходят они одновременно или почти одновременно с теми, что проходят в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

И аэропорты имеются, пусть крошечные, Боинг не приземлится и не взлетит.

Ничего подобного Национальной консерватории или Метрополитен-музею, конечно, нет, Бродвея тоже (хотя улица с таким названием может и быть), но краеведческий музей чаще всего наличествует, и театральная антреприза тоже дает представления.

Так в чем же, за вычетом занимаемой площади, количества жителей, а также самого ритма жизни, различие, почему Топека или Оксфорд, штат Миссисипи (о котором дальше) — это Америка, а Нью-Йорк, если вопреки присказке, все-таки тоже Америка, но не совсем? Или хотя бы почему у него такая репутация, откуда присказка взялась?

Я люблю этот город, полюбил еще в первый приезд и не разлюбил поныне, хотя за почти полвека свежесть восприятия, естественно, утратилась. Говорят, он подавляет своей каменной мощью, говорят, заставляет ощущать свою малость — ничего подобного. Напротив, я впитываю источаемую всеми этими небоскребами энергетику, я ощущаю себя заодно с ними, вместе с текущей по улицам многоязыкой и многоголосой толпой мне хочется, даже если никуда не тороплюсь, ускорить шаг, а вечером, если удастся, присесть на той же Таймс-сквер и без боязни ослепнуть взглянуть в многоцветную завлекательную рекламу. Мне даже названия эти нравятся: Empire State Building, Chrysler Building, Met Life Tower и особенно Flatiron Building — действительно, плоскости этого треугольного здания на углу 5-й авеню и Бродвея гладки, как подошва утюга. Вообще же, если посмотреть на Манхэттен издали, допустим, с противоположного берега Гудзона, а еще лучше сверху, то он напомнит груды поставленных на короткую грань спичечных коробков, которые по мере приближения становятся все выше и выше. Словом, мне близки ощущения Маяковского: «Я в восторге от Нью-Йорка города». Непонятно, правда, откуда он смотрел на буржуев свысока — разве что с крыши того же Эмпайра. Близок мне также Скотт Фитцджералд и, напротив, бесконечно далек Генри Миллер, но это, конечно, сравнение некорректное, потому что со стороны Нью-Йорк никому не понять и не почувствовать так, как понимают и чувствуют его американцы, не обязательно даже обитатели этого улья из стали, бетона и стекла.

Поздней весной или ранним летом я люблю, стартовав примерно в районе 40-х улиц Манхэттена, двинуться на юг, добраться до Сохо, присесть в какой-нибудь кофейне, где на улицу вынесены всего три-четыре столика, и, выпив по настроению то ли кружку пива, то ли чашку кофе, повернуть на запад с тем, чтобы пройти через Китай-город с его скоплением магазинов и лавок, напоминающих то узкие шлюпки, уходящие в глубину помещения, на невидимую с носа корму, то кубики из детской игры, и сделать очередную остановку в Гринвич-виллидж. Раньше это был, как известно, район богемы, но я его уже не застал, и напоминает о том, что собирались

здесь поэты и художники, разве что дом под номером 44 на Мортон-стрит, в двух кварталах от Гудзона, где жил Иосиф Бродский. А впрочем, и в ту пору это была уже история — в лучшем случае отзвуки века джаза, как сказал бы Скотт Фицджералд. Но кафе, ресторанов, забегаловок, где они сживали, выпивали, закусывали, меньше не стало, скорее всего, наоборот — больше. Оттуда — еще дальше на юг, в Трайбеку — Triangle below Canal street, треугольник южнее Канал-стрит, замкнутый ею с севера, с юга — Чеймберс-стрит, с востока — Бродвеем. Здесь очень хорошо в апреле, когда долетающий с близлежащего океанского берега ветер уже не холоден, но еще свеж, лопаются почки деревьев, а воздух насыщается запахом жасмина. Одно только удивительно — как сочетается эта идиллия с чрезвычайной плотностью населения в этом вообще-то очень, кажется, даже самом дорогом районе Нью-Йорка: если верить статистике, то на одном квадратном километре здесь размещаются более 12 тысяч человек. Представьте себе: вы живете в 100-метровой квартире, а вместе с вами еще 120 насельников. Это даже больше, чем в среднем по Манхэттену, там в среднем пересчете — около 90.

Южная граница Трайбеки — она же северная граница Battery Park, узкой, длиной в несколько километров прибрежной полосы, где зелени, кажется, больше, чем во всех иных районах Манхэттена, где стаями летают чайки, нагло усаживаясь рядом с тобой на скамейку, и лишь с трудом можно найти укромный, похожий на шалаш уголок, чтобы посидеть в одиночку, почитать, раскинуть мозгами. Это мое любимое место в Нью-Йорке, и больно думать, что в каких-то двух-трех кварталах отсюда, на месте башен-близнецов, образовалась гигантская воронка, получившая наименование Ground Zero — Нулевой Точки Отсчета.

В Нью-Йорк я попал по делам месяца через три-четыре после 11 сентября 2001 года и сразу поехал к месту беды, и впрямь знаменующей, как всерьез считает множество американцев, новую точку отсчета истории страны. Ближайшая станция метро оказалась закрыта (и открылась только через несколько лет), сошел на следующей, и тут же меня засосало в толпу людей, медленно плывущую в сторону несуществующего более Всемирного торгового центра. Не знаю уж, сколько народа там было, но ощущение возникло, будто на какое-то время весь этот город — город-говорун, город-бегун и в общем-то город-эгоист — сделался единым целым: его сплотило общее несчастье. А ведь не вчера, напоминая, произошла трагедия. Люди молча и медленно шли на поминки по невинно убиенным, чтобы оставить на белых полотнищах, растянутых на стенах домов, бесхитростные письма сострадания и надежды. А когда не стало хватать места — хоть белели простыни на протяжении нескольких кварталов, — такие же развесили во внутренних помещениях вокзала Grand Central. И долго они там оставались — во всяком случае, и в 5-м, и в 6-м, и в 7-м году еще были. Потом на месте воронки соорудили два бассейна с прозрачной водой, падающей из строго оформленных фонтанов, а на высоких бортах, их огибающих, высечены имена всех тех — всех до единого, — кто погиб 11 сентября.

Но может быть, не столь уж удивительно, что на необъявленные поминки собрался, следуя внутреннему зову, весь гигантский Нью-Йорк? И может быть, не просто в том дело, что катастрофа случилась именно здесь, а есть еще и неоформленное, не вполне осознаваемое и не нуждающееся в подпитке свойство, которое и выделяет, более того, отчуждает Нью-Йорк на общем фоне Америки?

Здесь нет частной жизни или, по крайней мере, она лишь с гигантскими усилиями отстаивает свои суверенные права. Здесь, как тонко уловил Сергей Довлатов, трудно ощущать себя одновременно частью целого и самим этим целым. Уолл-стрит и Рокфеллер-плаза мешают наслаждаться собственным покоем и независимостью. Это менее всего «земное святилище для человека-одиночки», Нью-Йорк иначе задуман и

иначе осуществлен. Меня это, положим, не смущает, во-первых, потому что я человек заезжий, а во-вторых, я сам коренной горожанин — житель мегаполиса, пусть называется он иначе и жизнь в нем иначе устроена. Запах асфальта и оглушительный шум улицы мне ближе и понятнее ароматов леса и тишины полей. По-моему, повернись судьба по-другому — а это вполне могло быть, — и я бы здесь ужился, пожалуй, даже без особенных психологических усилий. Но каково коренному американцу, вне зависимости от места рождения и жительства?

Каково ему — генетически частному человеку?

В городишке под названием Оксфорд, штат Миссисипи, графство Лафайетт, я впервые очутился в середине 80-х годов, и уж, казалось бы, в таком захолустье все должно было показаться в новинку.

Ничуть не бывало, да честно говоря, ничего особенно нового, как и в Нью-Йорке, я увидеть не предполагал, то есть нового во внешнем облике.

Дело в том, что я пристально читал Уильяма Фолкнера и успел к тому времени написать о нем не только два-три десятка статей, но и книгу, а сюда меня привела конференция, посвященная его творчеству.

Все это я уже видел, слышал, обонял.

В центре городка, на южной стороне центральной площади, здание окружного суда, и выглядит оно точь-в-точь как в «Реквиеме по монахине».

На западной стороне той же площади — банк, очень похожий на тот, куда каждое утро приходил в свой кабинет старый Баярд Сарторис — за тем лишь, чтобы, сунув в зубы трубку, сохранившую на черенке следы зубов его давно почившего отца, предаться смутным воспоминаниям о былом.

Невдалеке — кладбище, где умирающая Эди Бандрен завещала своему мужу Энсу («Когда я умирала») похоронить себя и где теперь покоится прах того, в чьем мощном воображении возникли все эти фигуры и все эти сюжеты.

На месте гольф-клуб, которому семья Копмсонов продала за долги заливной луг, и даже краски, и ароматы, и звуковой фон здесь такие, какими их описал «единственный хозяин и повелитель» графства Йокнапатофа — «клочка земли величиной с почтовую марку» (площадь: 2400 кв. миль, население — 6298 белых, 9313 негров).

А уж о доме, в котором Уильям Фолкнер с семьей прожил вторую половину жизни и в котором написал большинство своих книг, даже не говорю — он описан и им самим, и его многочисленными биографами, и еще только подходя к нему, я знал, что увижу особняк в колониальном стиле, с колоннами и балкончиками, где на стенах рабочего кабинета хозяина графитом расписано по дням действие «Притчи», а снаружи, огороженные невысокими перилами, теснятся конюшни и хозяйственные постройки, сохранившиеся с тех пор, когда Фолкнер, в промежутках между писанием книг, занимался фермерским делом (сам-то он выстраивал иную иерархию и однажды даже отказался от поездки на церемонию вручения какой-то престижной литературной премии, мотивируя это тем, что в такую пору — сбора урожая — ни один фермер из Миссисипи не позволит себе отлучиться из дома). И происхождение названия — Rowan Oak — тоже, конечно, знал: Фолкнер вычитал в «Золотой ветви» Фрэзера, что шотландские фермеры — а по семейной легенде, давние его предки из этого сословия и этих мест как раз и происходили — развешивали над коровниками ветви этого похожего на рябину мифического дерева, чтобы отогнать злых духов и ведьм, ворующих молоко. Правда, ведет к дому дорожка, обсаженная не рябиной, а кедрами, но какое это имеет значение?

И магнолии цветут и источают те же ароматы, какими насыщена вымышленная Йокнапатофа.

Да, конечно, за те десятилетия, что пролегли между 1903 годом, когда сюда из Олбэни, совсем уж захолустного местечка, переехала семья Фолкнеров, и годом 1929-м, когда был написан «Сарторис» — первый роман многотомной саги, а уж тем более временами много более поздними, когда стали проводиться научные конференции и симпозиумы, посвященные ее создателю, много вод утекло под мостами, перекинутыми через Миссисипи — «Стариком», как здесь почтительно величают эту реку, — и много перемен произошло.

Рядом с банком Сарториса про всему периметру площади рассыпались другие банки, страховые конторы, ресторанчики, взамен газовых фонарей, столь поразивших в свое время братьев Фолкнеров, Билла и Джона, когда они впервые приехали сюда в совсем еще нежном возрасте, загорелись электрические, появилась кое-какая реклама, не слишком, впрочем, навязчивая, по гладким асфальтированным дорогам заскользили «форды» и «тойоты», построили стадион, куда на воскресные футбольные матчи съезжается не только вся округа, но и болельщики из соседних штатов, Теннесси и Арканзаса, население само собой увеличилось — было две тысячи, а сейчас — надо же — целых двадцать. Словом, сделался Оксфорд настоящим американским городком, отличающимся от городов-миллионников только... ну да об этом уже шла речь. Более того, он упорно не желает признавать себя провинцией, для чего, положим, у него имеются некоторые основания. Да, университеты рассыпаны по всей одноэтажной Америке, но такого, как здесь, пожалуй, не сыщешь: Ole Miss, как его принято называть, известен не только в США, но далеко за их пределами, и совсем не просто потому, что здесь учился, да так курса и не закончил Уильям Фолкнер, — это действительно *высшая*, в буквальном смысле, школа с традициями — основан университет в 1848 году.

Правда, подчеркивает город свою значимость и иными, несколько комическими способами. Помню, еще в тот же первый приезд меня сильно удивило, что здесь мало «streets» — улиц и «lanes» — переулков, зато огромное, по местным, разумеется, масштабам, количество «avenues», к тому же с названиями, какие не в любой столице встретишь: меньше чем на президента страны здесь не согласны, от Джефферсона до Рузвельта. Газета — «Оксфордский орел» (а не какая-нибудь там колибри, которых здесь порхает немерено, а вот орлов как раз не видно), и много уж лет назад редактор ее Фил Маллен, когда его попросили проконсультировать сценарий документального фильма, посвященного доброму его приятелю Биллу Фолкнеру, споткнулся на первой же строке: «Уильям Фолкнер — знаменитый писатель, который работает в захолустном американском городке...» Дальше читать Маллен не стал, консультировать такую галиматью не захотел и объяснил свой отказ следующим образом: наш город — вовсе не захолустье, у нас, между прочим, сам Улисс Грант ночевал. Чистая правда — действительно ночевал, направляясь, кажется, к близлежащему Шайло, где предстояло развернуться одному из самых кровопролитных сражений Гражданской войны. Впоследствии этот исторический факт был закреплен в названии одной из многочисленных, повторяю, авеню.

Все так, и тем не менее, тем не менее...

Уже тогда, при первом знакомстве, мне показалось — и продолжает казаться поныне, — что Оксфорд даже несколько тяготится произошедшими и продолжающимися происходить в нем переменами, и при всем своем забавном самодовольстве хочет походить на Джефферсон, под каковым именем его воплотил всемирно известный ныне земляк вчерашних, сегодняшних и завтрашних жителей этих мест. Литература делится с жизнью своими богатствами, и прав, наверное, блестящий остроумец и парадоксалист Оскар Уайлд: «Лондонские туманы не существовали, пока их не открыло искусство».

И прав Пабло Пикассо, примерно таким же парадоксом ответивший на укоры, будто написанный им портрет Гертруды Стайн слишком сильно отличается от оригинала: «Ничего, со временем она начнет походить на него».

Но я, в общем, не об этом.

Ничего меня, как уже сказано, в пейзажах Оксфорда не удивило ни при первом свидании, ни впоследствии, когда стал наведываться сюда довольно регулярно, а однажды почти год, будучи фулбрайтовским стипендиатом, безвылазно провел и поневоле втянулся в непривычно-медленный ритм провинциальной жизни. Ведь и он то ли воплощен, то ли навязан ритмом фолкнеровской прозы, в которой мгновение вмещает в себя вечность и потому не терпит суеты.

«Так шла она вот уже почти месяц. Четыре недели пути и в сознании отпечатавшееся далеко — как мирный коридор, вымощенный крепкой, спокойной верой, населенный добрыми безмянными лицами и голосами: *Лукас Берч? Не знаю. Чтоб где-нибудь поблизости такой жил — не слышал. Дорога эта? В Покахонтас. Может, он там. Может быть. Вон повозка в ту сторону. До места — не до места, а все подвезет* — и вот разматывается позади длинная однообразная череда мирных и неукоснительных смен дня и тьмы, тьмы и дня, сквозь которые она тащилась в одинаковых неведомо чьих повозках, словно сквозь череду скрипоколесных вялоухих аватар: вечное движение без продвижения на боку греческой вазы».

Вот так и в непридуманной жизни: неторопливо движутся по плавным перепадам авеню местные жители, присаживаются на просторной зеленой площадке (Grove) невдалеке от главного здания университета — здешнем Central Park, часто по старинке с книгой в руках, а не с предметом, именуемым «гаджет», посидев, перемещаются в кафе, заходят в парикмахерскую, где столько же стригутся, сколько переговариваются с парикмахером, едут за покупками, и в полупустом магазине тоже никуда не торопятся, опять-таки отвлекаясь на разговоры со знакомыми, по выходным, парами, взявшись за руки, идут в воскресную школу при епископальной церкви, а иногда в библиотеку — послушать заезжего профессора из далекой непонятной Москвы... И даже студенты, числом своим вдвое превышающие количество жителей Оксфорда, племя, в принципе беспокойное, вроде бы живут в том же ленивом темпе. И возбуждается городок лишь в дни спортивных состязаний, ну и по случаю событий совсем уж в здешнем рассуждении эпохальных: так, в 2008 году в Оксфорде состоялись дебаты конкурентов в тогдашних президентских выборах — сенаторов Барака Обамы и Джона Маккейна.

Но дело не в этом — не в ритме и не в стиле жизни. Здесь, в этом городке, я как раз и убедился в неопровержимости банальных истин: Америка — это американская провинция.

Любому, кто окажется тут или в ином подобном месте, наверное, бросится в глаза почти полное отсутствие заборов, даже если дома разве что не лепятся один к другому. Замки на дверях — от воришек и вообще всякого хулиганья — верно, имеются, а вот вместо заборов низкий, в полметра от земли, а то и меньше, штакетник — ребенок без труда перешагнет. С чего бы это, спрашивал я сам себя, и находил поначалу такой примерно ответ: забор — это рукотворный предел, забор — это смирение и отказ от выбора, то есть нечто такое, что Америке и метафизически, и исторически чуждо. Первые поселенцы основали колонию Плимут, через год собрали урожай (по легенде, случилось это 21 ноября 1621 года, в четверг, и впоследствии четвертый четверг ноября получил наименование Дня Благодарения — одного из главных государственных праздников США), но для новых пилигримов места здесь уже не было, и Плимут стал для них лишь перевалочным пунктом, откуда она двинулись

на запад, осваивая все новые земли. Сменялись поколения, а Америка все представлялась и старожилам — уже старожилам — и новоселам страной будущего, завтрашней страной. Нынешний день может казаться тусклым, может светлым и даже сияющим, но и в таком случае это лишь предвестие сияния еще более ослепительного. «Мы побежим еще быстрее...» (*Скотт Фицджеральд*).

«Америка, которую Вашингтон афористически назвал «городом великолепных расстояний»... — это страна, где все только начинается, где проекты, планы, надежды непрерывно меняли друг друга» (*Ральф Уолдо Эмерсон*).

Такой же виделась она и отцам-основателям. Джефферсон, например, считал, что Конституцию следует переписывать каждые девятнадцать — почему-то — лет. И он же, достигнув преклонных лет, призывал сверстников «сойти со сцены и уступить место новой поросли. Пережив свое поколение, не следует застить свет будущему». Неплохой завет, по-моему, стоило бы прислушаться.

Совпадает с самоощущением американцев и сторонний взгляд.

«Америка — земля будущего, где в предстоящие времена раскроется смысл истории старого мира... Это желанная земля для всех тех, кому надоел исторический чулан Европы» (*Гегель*).

Зачем же такой земле заборы?

Выстроив таким образом простую и, как мне казалось, убедительную версию, найдя ей авторитетные подтверждения (а умножить их труда не составляет), я решил поделиться ею с теми, кто, может быть, лучше самого Гегеля понимает, что такое Америка: просто потому, что не философствуют, а живут здесь.

И получил полный отлуп.

Вернее, меня просто не поняли: кому нужны какие-то там деревяшки, не говоря уж о железяках, когда и без того всем ясно: *privacy* — это святое, никому — ни соседу, ни, тем более, власти в любом ее обличье, не позволено ее нарушать. *No trespassing*¹ — щиты с такими надписями кое-где можно увидеть, но в общем-то в них нет решительно никакой нужды — никому и в голову не придет разгуливать где заблагорассудится, стучать ни с того ни с сего в чужую дверь, не говоря уж о том чтобы заходить без стука. Неписаное это правило распространяется даже на телефонные звонки. Утомишься от трудов праведных, либо просто заскучаешь, захочется поговорить с кем-нибудь из знакомых, хорошо знакомых людей, можно даже сказать, приятелей, наберешь номер — и услышишь в трубке:

— Yes, Nick, hi, what's up? (то есть, «привет, что случилось?»)

И совсем не в том дело, что к тебе неприязненно относятся — относятся, повторяю, хорошо, — и не в том, что позвонил не вовремя. Просто — так принято, я сам слышал, что точно так же откликнулся один мой добрый знакомый, профессор славистики Йельского университета, на звонок своего единственного и любимого сына.

— Да *nothing is up*², — хочется ответить, но опять-таки не положено, и начинаешь что-то бормотать, придумывая на ходу дело, заставившее нарушить частный покой добропорядочного американца.

Помню, возвращаясь из университета домой, я решил спрямить путь и пройти каким-то неогороженным участком, благо никого вокруг видно не было, а дом, который стоял на этом участке, терялся где-то в глубине деревьев. Стоило мне, однако, переступить некую невидимую линию, как на пороге появился моих примерно лет господин и не слишком приветливо, впрочем и не агрессивно, поинтересовался,

¹ Что-то вроде: «Вход воспрещен» (англ.).

² Ничего не случилось (англ.).

что мне надо — what's up? Извините, заблудился, мол, смущенно забормотал я, сразу сообразив, что сделал нечто непозволительное. Хозяин дома сдержанно кивнул, указал мне дорогу и прикрыл за собой дверь.

Больше таких faux pas я себе не позволял.

Что бы я, да любой другой загородный (в данном случае переделкинский, но это не имеет значения) житель сделал, выйдя за калитку и увидев проходящего мимо доброго знакомого? Естественно, заговорил бы, пригласил зайти в дом, выпить чашку чаю или чего-нибудь покрепче. Чего-то в том же роде я, оказавшись временным американским провинциалом, ожидал, столкнувшись с приятной во всех отношениях дамой — профессором Ole Miss, где мы нередко толковали о разных общих делах, а случалось, и обедали вместе. Она вроде бы подстригала низкую живую ограду, отделяющую жилище от бегущей вдоль домов тропинки, и, увидев меня, подняла голову. Но не больше — кивнула, улыбнулась и, даже не заговорив, вернулась к своему занятию. Отношений наших это ничуть не испортило, просто лишний мне урок: неписаных законов никому не должно нарушать — ни своим (им, впрочем, это и в голову не придет), ни, тем более, посторонним.

К слову сказать, эти самые неписанные законы — в данном случае назовем их «законами забора» — чудесным образом совмещаются с писаными. В двух шагах от дома, где я квартировал в Оксфорде, располагалась — располагается и сейчас — окружная тюрьма, то есть, как ее (прошу прощения за невольный каламбур) политкорректно именуют, Correctional House — Исправительный дом. Соседство вообще-то малоприятное, но, как выяснилось, не в данном случае. Потому что и это безликое, хотя и совсем не мрачное здание — вовсе не холодный, и тем более не мертвый, дом — не отделено от внешнего мира никакой оградой, а условную разграничительную линию никому не приходит в голову пересекать: одни — «исправляемые» — прогуливаются по одну сторону, другие — законопослушные граждане — идут своей дорогой по другую. Понятно, что искупают здесь свои грешки мелкие правонарушители, Алькатрас в Калифорнии или Ла Сабанета в Колорадо — дело иное.

...Но однажды — во всяком случае, на моей памяти — и ритм городской жизни изменился, и даже законы пошатнулись. Все стали останавливать друг друга на улице, перезваниваться и даже заходить без приглашения к соседям. Причина, следует признать, была веская.

На протяжении всей своей истории страна узнавала имя вновь избранного президента на следующий день после второго вторника ноября високосного года. Но в 2000 году это правило оказалось нарушенным. Вскоре после полуночи с 7-го на 8-е ноября Эл Гор — кандидат от демократов — позвонил, как того требует традиция, Джорджу Бушу-младшему, кандидату от республиканцев, и признал свое поражение, после чего отправился на встречу со своими сторонниками, чтобы сообщить им эту неприятную новость. Но не успел он доехать до места, как в машину ему позвонили из Флориды — ключевого, как стало ясно еще в середине дня, штата, по результатам голосования в котором и будет названо имя 43-го президента США. Из телефонного разговора выяснилось, что при подсчете около шести миллионов избирательных бюллетеней разница в пользу соперника Гора составила лишь чуть более полутора тысяч голосов, что создает предпосылки для пересчета. Он и продолжался месяц с лишним.

Разом накалившуюся атмосферу я ощутил, что называется, собственной шкурой, возможно, потому что основные события разыгрывались в относительной близости от Оксфорда — в столице Флориды Таллахасси. А также потому, что жители Оксфорда, как и подавляющее большинство избирателей штата Миссисипи, а равно и иных

штатов так называемого «черного пояса», отдающие по традиции свои голоса кандидату от демократической партии, страшно переживали его поражение, и теперь вот мелькнул луч надежды.

Взволнованно заговорили о безнадежно устаревшей системе президентских выборов, когда мнение так называемых выборщиков значит больше мнения самих избирателей. Это чистая правда, только вот когда побеждают «свои», о таких перекосах почему-то забывают.

Полетели стрелы в адрес Кэтрин Харрис, статс-секретаря штата Флорида, которая из скромной чиновницы превратилась в одночасье в публичную фигуру, известную всей стране: в подобного рода спорных случаях на авансцену, все по тем же правилам, выдвигается как раз статс-секретарь, а Кэтрин Харрис с самого начала явно демонстрировала свои симпатии, подсуживала, можно сказать, Бушу, что и не удивительно: ее непосредственный начальник, губернатор штата Джеб Буш, был младшим братом Джорджа.

Запорхали совершенно непонятные словосочетания: butterfly ballots (бюллетени с потрепанными краями, что не позволяет машине точно определить, кому отдан голос), pregnant ballots (бюллетени, в которых не до конца пробита перфорационная дырка), chad ballots (примерно то же самое, но с какими-то нюансами, сейчас мне трудно их восстановить, точно знаю только, что с республикой или озером Чад это наименование никак не связано).

— Bizzare! — «фантастика», стало быть, «неслыханное дело», — театрально закатывали глаза люди степенные, в возрасте.

— Just bloody mess! (перевод явно не требуется) — рубила бескомпромиссная молодежь.

Те и другие прилипали к экранам телевизоров, на которых мелькали картинки с заседаний судов — Верхового суда штата, Федерального апелляционного суда, Верховного суда страны, — а также длинные вереницы фургонов, везущих в Таллахасси под усиленной охраной ящики с бюллетенями из множества избирательных участков штата. Особенно бурный взрыв страстей, помню, вызвала действительно впечатляющая сценка: на глазах у изумленных телезрителей фургоны на полпути к месту назначения разворачиваются и едут назад — получено какое-то предписание то ли из Таллахасси, то ли из самого Вашингтона.

Потом, уже в январе следующего года, начался очередной акт — утверждение окончательных результатов на совместном заседании обеих палат конгресса; там двадцать членов палаты представителей отказались признать эти результаты, но поскольку их не поддержал никто из сенаторов, бунт успеха не имел.

Впрочем, это уже другой, столичный сюжет, а меня интересует драма в ее провинциальных декорациях.

С самого начала в ней и впрямь ощущался некий театральный или, скорее, спортивный дух. Ну да, оксфордцы, и особенно оксфордианки, очень волновались, так ведь и на трибуне стадиона народ сидит равнодушный, каждый желает победы своей команде или, если это, допустим, бокс или турнир по гольфу, своему фавориту. Но ведь тут-то не футбол, тут, можно сказать, гибель всерьез, на кону судьбы страны, ее путь как минимум на ближайшие четыре года определяется. Но оказывается все же — футбол, или гольф, или бокс, и недаром любая такого рода кампания в США, от выборов мэра городка с населением две тысячи жителей до выборов президента могучей супердержавы, называется гасе — гонкой. И в скобках замечу, имя и личность победителя гонки местного значения для обывателя — частного человека — гораздо важнее, чем имя и личность победителя гонки глобального масштаба. В Москве могут неумоимо дискутировать по поводу победы Доналда Трампа над Хилари Клинтон,

причем не только в официальных присутствиях вроде Госдумы или на телевидении, в программах, скажем, Владимира Соловьева — этих-то, вроде, положение обязывает, — но, во всяком случае поначалу, и в обстановке сугубо домашней. Помню, по ходу ежедневной утренней прогулки все в том же Переделкине меня остановили возбужденные голоса: несколько мужчин переваривали только что услышанную сенсационную новость: победил Трамп. Честно признаюсь, я остановился и принял самое живое участие в этой случайной сходке пикейных жилетов, тем более что среди них оказался один мой давний добрый знакомый. Ну, а дома, то есть дома в Америке, если это, конечно, не Вашингтон или Нью-Йорк, где установленное на Юнион-сквер огромное табло на протяжении всего дня выборов фиксировало ход гонки, дома, в провинции, люди выслушали утром в среду сообщение о ее результате, приняли к сведению, кто с радостью, кто без, съели на завтрак яичницу с беконом, выпили чашку кофе и отправились по своим делам.

Да, но откуда же тогда такое волнение в заштатном Оксфорде около двадцати лет назад? Ну как откуда, я же сказал: произошло невиданное в истории страны событие, как не заволноваться?

Долгое время не мог прийти в себя и один мой сверстник, профессор археологии в тамошнем университете. Нас с ним сблизило общее пристрастие к теннису, в который мы оба играли одинаково бездарно, но и одинаково бескорыстно, не особо заботясь о результате игры, что в немалой степени и способствовало, по ее окончании, разговорам на самые разные темы. В частности, на протяжении нескольких недель главным образом — о событиях в Таллахасси, а затем, когда дело дошло до Верховного суда, — и в Вашингтоне. То есть я-то в основном слушал, говорил он, говорил, говорил, а в какой-то момент, словно смутившись от неподобающей в его возрасте горячности, остановился на полуслове и махнул рукой:

— Ah, what do I care? After all I can live with either of them. — То есть, да какое мне, в конце концов, дело, проживу что с одним, что с другим.

И точно, частный человек самодостаточен, власть его интересует лишь постольку, поскольку она не мешает ему жить. Это еще Эмерсон, один из умнейших людей Америки за всю ее новейшую историю, понял: лучшее правительство — то, что правит как можно меньше. А его младший товарищ и в какой-то степени ученик Генри Дэвид Торо уточнил: а самое лучшее — то, что не правит вовсе.

Мне этого не понять. Приходит на память — просто по звучанию — название одной из новелл Хемингуэя: «Какими вы не будете». То есть каким я не буду. Вскоре после вышеприведенного разговора я зашел к провосту (проректору) Ole Miss и вежливо отклонил сделанное им некоторое время назад предложение поработать там. В городе Оксфорде, штат Миссисипи, мне не жить.

А жаль.

Развоплощенное слово и неубиваемые стихи

Литературные итоги 2018 года

В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Марины АНУФРИЕВОЙ, Ольги БАЛЛА, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Ольги БУГОСЛАВСКОЙ, Ильи ДАНИШЕВСКОГО, Елены ИВАНИЦКОЙ

Мы предложили участникам традиционного заочного «круглого стола» три вопроса для обсуждения:

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?
2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

Евгений Абдуллаев, поэт, позашик, литературный критик (г.Ташкент)

«Все написали ожидаемо хорошее...»

1. Тенденции? Юбилеем. В позапрошлом долго и старательно юбилеели Революцию. В прошлом отъюбилеели Солженицына. Кого будем в этот год? Придумают. Идет ползучая мемориализация литературы: все больше памятников, мемориальных досок, отцифрованных архивов... Дело само по себе хорошее. Плохо, когда в литературе начинает пахнуть, как в бабушкином гардеробе.

Ситуация чем-то напоминает начало прошлого века. «Мирикусничество», печаль по исчезающим усадьбам, вишневым садам и «домикам старой Москвы». Но тогда — для равновесия — были еще футуристы. Кто у нас сегодня в литературе за футуристов? Акционисты? Спасибо, не надо.

Еще тенденция: закрытие толстых журналов из плоскости печальных разговоров перешло в плоскость еще более печальной практики. Закрылся накануне своего 25-летия «Арион». Объявил о том, что не будет выходить полгода «Октябрь»... Да, накануне своего 95-летия. Нет, не черная юбилейная мистика, а банальное отсутствие средств — и сил эти средства постоянно добывать, выпрашивать, изыскивать... Уходят «бумажные» журналы, остается плескаться в сетевом бульоне.

И все же. Событием становится то, что идет перпендикуляром к тенденции. Встает поперек процесса, как кость. Художественного текста такого рода в этом году я не нашел. Все написали ожидаемо хорошее. Не заметил и литературного проекта, который бы как-то двинулся против течения.

Пожалуй, единственная микропопытка — пусть на уровне «заявления о намерениях» — статья Игоря Дуардовича «Под защитой медиахимеры» на «Текстуре». Резкая статья — о том, что происходит с толстыми журналами. Наговорил немало несправедливого; автора дружно обхмыкали. Но, по сути... Да, необходимо что-то менять — пока нас не поменяли. Либо разумно и осознанно «ложась» под рынок, либо столь же резко идя ему наперекор (вопрос только — куда).

2. Теперь меняю оптику с полемической — на более спокойную, взглядчивую. Не все удалось отследить-прочитать, но несколько пальцев все же загну.

Начну с Ташкента — вышла книга стихов Вики Осадченко «Другие звери». Самиздатом, с самопальными иллюстрациями и — хорошими, местами сильными стихами. Вспыхивающими. «Теперь сквозь все идет дыра сквозная. / В ней свет горит и вспыхивает стих». А в «НЛО» вышла книга бывшего узбекистанца Хамдама Закирова, живущего в Финляндии, — «Дословно».

Казахстанцы. «Выстрелила» тема сталинских депортаций. В «Дружбе народов» — повесть алмаатинца Юрия Серебрянского «Алтыншаш» о переселенных в Казахстан поляках; в «Волге» — «Плавильная лодочка» бывшей казахстанки Елены Зейферт о переселенных немцах. Повесть Зейферт ярче по стилю, у Серебрянского стиль «высушен» до скупого (но тем более убедительного) документализма, напоминающего «суровое письмо» Гранина, Адамовича, Алексиевич.

Из украинских новинок удалось прочесть только последнюю книгу Александра Кабанова, «Русский индеец», вышедшую в «Воймеге». Это скорее «избранное из избранного» — из последних книг, которые выходили у Кабанова в харьковском «Фолио», но до российского читателя не доходили. Вообще интерес русской и украинской литературы друг к другу сегодня огромный, постоянно что-то переводится: в основном поэзия, и в основном — в сети.

Ну и, наверное, Эстония. Таллинец Андрей Иванов, который давно уже перерос и Таллин, и тему русской диаспоры («Меня постоянно пытаются сделать голосом диаспоры, а я этим голосом быть не хочу», — как сказал в одном интервью). В этом году в «Эксмо» вышли его «Обитатели потешного кладбища» — о русской эмиграции во Францию (пока только начал читать, предвкушая нечто вроде продолжения его «Харбинских мотыльков»).

Но, вообще, с исчезновением «Русской премии» стало сложновато отслеживать то, что происходит с руслитом вне России. Эх.

3. По третьему вопросу — о литературе в контексте кино и телевидения — боюсь, ничего путного не скажу. «Ящика» у меня последние лет двадцать нет. Что касается кино — экранизаций и проч... Периодически заставляю себя знакомиться с новинками, причем из разряда «серьезных», «оцененных» и «отмеченных». Зрительского терпения хватает минут на двадцать. Потом ухожу или выключаю. Тексты — «деревянные».

«Очень большие трудности у киношников», — как говаривал Жванецкий.

Касаемо экранизаций — то и «добрая классика» уже в зубах навязла, и глядеть, как ее трактуют, тоже не всегда выдерживаешь. А что до современной прозы... Нет, что-то редко, но экранизируется. Пелевин. Улицкая. Иванов. Осокин... Что-то раз в два-три года выходит. Для сравнения — в одном 1988-м вышло десять экранизаций современных (того времени) авторов: Искандера, Маканина, Зверева, Стругацких...

Впрочем, мне уже приходилось недавно писать об этом — в отклике на слабого «Довлатов» («Новая Юность», № 4).

Кино и телевидение — с одной стороны, и серьезная литература — с другой, сегодня вообще живут в разных плоскостях. Первые более-менее успешно коммерциализовались — может, только какие-то анклавные чего-то артахусного и высоколобного остались (но в них режиссеры предпочитают сами «творить», не заморачиваясь добротным литературным сценарием). Вторая — современная литература — еще как-то сопротивляется коммерциализации...

Хотя — все может и измениться. Вплоть до начала нулевых серьезная проза и крупным издателям была не нужна — кроме, разве что, «Вагриуса». А потом все очень быстро поменялось.

Мария Ануфриева, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Другая реальность

1. Минувший год для меня был богат поездками по стране, поэтому так уж сложилось, что оценочное суждение года связано не с книгами, а скорее с их представленностью «от Москвы до самых до окраин» и с тем впечатлением о литературной жизни столиц — конечно же, субъективным — когда смотришь на нее издали, откуда-нибудь с просторов Хакасии или Хабаровского края, из поселков Саган-Нур или Чегдомын, где заканчивается железная дорога и начинается тайга, или даже из вполне крупных городов — Владивостока и Уссурийска, Читы и Абакана.

Главные тексты 2018 года, лауреаты премий, тенденции и тренды современной прозы — все это осталось в европейской части России, в «Буквоедах» и Домах книги, где осененные лаврами премий авторы проводят презентации для немногочисленной искусственной аудитории, часто состоящей из друзей и знакомых, сжалось до пространства новостной ленты фейсбука, в которой важно, что критик N сказал в адрес писателя M, кто кого «лайкнул» и что при этом имел в виду, и все знают, кто в прошлом сезоне получил «Большую книгу», а кто «Ясную Поляну». Но стоит выключить компьютер, и за окном — другая реальность. Кроме нескольких всем известных еще с 90-х имен на полках книжных магазинов не встретишь авторов из премиальных списков, а не вошедших в них — и подавно. В общем-то и книжные магазины не везде встретишь, в тех же, что попадались мне на пути, преобладали канцелярские товары, а книги продавались исключительно «разумные, добрые, вечные»: надо ли объяснять, что это была не интеллектуальная проза? Современная проза, если глядеть на нее из книжного магазина среднестатистического удаленного от столиц российского города, закончилась на Пастернаке, Солженицыне... и местами — не везде — имеет плодovitого наследника в лице Олега Роя, над книгами в мягких обложках которого парят патриархи продаж Акунин и Пелевин. Мужскую компанию разбавляют Маринина и Метлицкая. Собственно, все это факт общеизвестный, относящийся не только к отдаленным регионам, но там он проступает наиболее явственно: есть знакомая реальность литературного бытия Москвы и Санкт-Петербурга — с именами, событиями, мероприятиями, фестивалями — условно интересная для не такого уж большого числа

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?

авторов и читателей, а есть безусловно существующая реальность остального мира, в которой всего этого литературного процесса как бы и нет, а если и есть, то так он далек и непонятен, как звезды других галактик для смотрящего на них с Земли, со дна воздушного океана человека.

Если говорить об именах и текстах, то все же одно собственное читательское открытие я совершила, уже вернувшись в Петербург. Имя не громкое, не премиальное, не известное крупным издателям — Людмила Казакова. Ее романы «Стеколыщик», «Сугробы» и «Голова клоуна», выпущенные издательством Санкт-Петербургского Союза писателей, прочитала на одном дыхании. Для меня они стали неким литературным продолжением совершенной поездки: место действия в них — российская глубинка, знакомая автору не понаслышке. Ее описание так хорошо, ненавязчиво, не избыточно и одновременно исчерпывающе в деталях, что именно глубинка становится еще одним полноценным персонажем. Что касается тенденций, то, увы, мне кажется, они тоже общеизвестны — прекративший существование «Русский Букер», закрывшийся «Журнальный Зал», теперь вот пишут про журнал «Октябрь». Но заканчивать на печальной ноте не будем, ведь невзирая на все сказанное выше, новые имена появляются, новые тексты пишутся, новые книги издаются и даже находят читателей. Вопреки, наперекор и на энтузиазме — в 2018-м тренд не изменился и вряд ли изменится, чем и живы.

2. Ближнее зарубежье в связи с дальними поездками по своей стране осталось практически неосвоенным. Удалось прочитать роман автора из Азербайджана Ширин Шафиевой. Недавно с большим удовольствием перечитала детскую повесть туркменской писательницы Огульгэч Оразбердыевой «Утро моей жизни». Эта книга — моя ровесница, незамысловатая история о военном детстве маленькой девочки в туркменском ауле. Помню, в детстве она произвела на меня впечатление. Сейчас, познакомившись со сложностями перевода художественных произведений, написанных на национальных языках (около года я вела проект, включающий в себя публикацию якутских авторов — не только русскоязычных, но и пишущих на родном языке), подозреваю, что книга много потеряла в переводе... В наступившем году мне хотелось бы ближе познакомиться с современной узбекской литературой. Я вообще неровно дышу к Средней Азии. Думаю, я еще открою для себя новые страницы национальной литературы Узбекистана.

3. Отмечу театральную постановку независимого авторского театра Ad Liberum (Карелия) «Мой милый Дон-Жуан» по произведениям Марины Цветаевой с эксцентричным жанровым определением — хронометр отсутствия в одном действии, которую довелось посмотреть на сцене театра Дома Актера Союза театральных деятелей в Петрозаводске. Три актрисы в камерной атмосфере маленького зала — на расстоянии вытянутой руки от зрителей — буквально вытанцовывают строки Цветаевой:

Долго на заре туманной
Плакала метель.
Уложили Дон-Жуана
В снежную постель.

Отточенные движения, полная гармония музыки и слов, каждого жеста и взгляда. Режиссеру спектакля Снежане Савельевой удалось не только оживить строки Цветаевой, как сейчас модно говорить — визуализировать, она сумела создать из известного стихотворения нечто новое, еще одну историю — и не про лирического героя Дон-Жуана, а про саму Цветаеву.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

Ольга Балла, литературный критик (г. Москва)

«К числу важных книг, несомненно, должны быть отнесены...»

1. Если бы надо было назвать главную книгу 2018-го (которая, допустим, сфокусировала бы вокруг себя читательскую жизнь этого года, резко выделившись среди всех остальных), я бы такой, пожалуй, не назвала, но сильные впечатления были.

Если говорить о русской литературе, делающейся сейчас, прежде всего стоит назвать вышедшую в начале года небольшую, но очень плотную книжечку Александра Ярина «Жизнь Алексея: Диалоги» (С.-Пб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018). Автор, известный до сих пор как очень хороший переводчик драматургических, прозаических, философских, богословских текстов с английского и немецкого языков, занимаясь переводами, параллельно этим занятиям много лет не торопясь писал — и вот издал — текст поверх жанровых барьеров: житие Алексея, человека Божия, рассказанное в диалогической форме — как обмен репликами между персонажами (по существу же — трактат об устройстве мира, о его глубоких корнях). Словом, это была самая таинственная и сильно пережитая книга минувшего года.

К числу таинственных книг несомненно должен быть причтен и вышедший в первой половине года сборник прозы Игоря Вишневецкого «Неизбирательное сродство» (М.: Издательство «Э», 2018), включивший в себя «роман из 1935 года» с тем же названием и две повести — «венецианскую», «Острова в лагуне», и блокадную — «Ленинград». Объединяемые общим метасюжетом, общей темой отношений между человеком и его невозможностью, человеческим и нечеловеческим, жизнью и смертью — все эти тексты отличаются еще особенной работой с языком (кроме разве «Островов в лагуне» — повести, довольствующейся языком условно «нашего» времени) и с воплощенным в языке, растворенном в нем времени. «Неизбирательное сродство» целиком написано языком середины 1830-х (буквально: в нем нет ни единого слова, которое не вошло бы в словари того времени), «Ленинград» — языком начала 1940-х. Вишневецкий вплоть до мелочей — до интонаций, до психологических особенностей — воссоздает речь, свойственную другим историческим состояниям, а с ней — и отношение человека к миру, этим состояниям свойственное; но эта задача существенно шире стилизаторской, о чем мне уже случилось писать в другом месте. Скажу только, что, по моему разумению, он предпринял здесь — особенно в «Неизбирательном сродстве» — «альтернативно-историческую» попытку осуществить иной путь пост-пушкинского литературного развития (в 1835 году Пушкин еще жив, все может обернуться иначе, он еще может достичь глубокой, гармоничной, уравновешивающей и мудрой старости; Гоголь еще не обратился в проповедника; Толстой и Достоевский — еще дети и могут вырасти совсем другими...). Коротко говоря, это — русская литература до социальности и социального критицизма, до роли совести нации, не морализирующая, не проповедующая, не обвиняющая, не культивирующая вину перед народом, не зовущая к топору: чуткая к таинственности

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?

мира, занятая не переделкой его на более правильных основаниях, а изумлением перед ним. Литература, в которой мог бы возникнуть русский Борхес (один из образов которой нам тут же и представлен: это и есть «Острова в лагуне»).

Из других прозаических впечатлений года не могу не отметить вышедший ранней весной сборник Александра Чанцева, которого я про себя называю «русским Чораном», с (да, опять же таинственным) названием «Желтый Ангус» (М.: ArsisBooks), вобравший в себя двадцатилетний опыт работы автора в прозе и представивший его эволюцию от сюжетных текстов к тому, что хочется назвать микроэссеистикой, а его миропонимание — в разных стадиях созревания.

Должна быть названа и небольшая внешне, но со многими внутренними ветвлениями книжечка Павла Гельмана «Правила философа Якова» (М.: Новое литературное обозрение, 2018), соединившая в себе много, казалось бы, несоединимого, в том числе в смысле жанровой принадлежности: это — роман, написанный (точнее — пишущийся, просто прерванный в некоторой произвольной точке для издания) в притчах, родственных дзенским, притом представляющий собой принципиально разомкнутую структуру — текст, способный продолжаться хотя бы и до бесконечности.

Роман Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» (М: АСТ), сложный, тонкий, прекрасный, датирован 2019 годом, но вышел и был прочитан уже в этом, и не назвать его нельзя.

Из важных поэтических впечатлений года вспоминаются: сборник «Сон златоглазки» Елены Лапшиной (М.: Русский Гулливер), сборник очень интересного молодого поэта Карины Лукьяновой «Преломление света» (Нижний Новгород: Волго-Вятский филиал ГПСИ в составе РОСИЗО, Free poetry), «Четыре года времени» Марии Галиной (Ozolnieki: Literature Without Borders), «Дословно» Хамдама Закирова (М.: НЛО), «Плач по Блейку» Андрея Таврова (М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы), «Алеф Бет» Владимира Друка — поэтическая интерпретация еврейского алфавита (М.: НЛО); из написанного прежде и изданного только теперь — «Псалмы и фути» поэта и переводчика Сергея Петрова (1911—1988) (М.: РИПОЛ классик; Пальмира), а также сборничек юношеской лирики Ильи Семеновича-Басина «Ювенилия» (М.: Водолей), в связи с которым, ярким и самим по себе, интересно было продумать культурную судьбу нашего с автором общего поколения.

К числу важных книг 2018-го, несомненно, должны быть отнесены и вышедшие в этом году издания написанного существенно раньше — более полувека назад. Это, прежде всего, — самый полный из возможных поэтический сборник Павла Когана (1918—1942), подготовленный к столетию поэта его внучкой Любовью Сумм и вобравший в себя все, что удалось найти из поэтического наследия Когана, включая факсимильные воспроизведения рукописей (М.: Совпадение). Был наконец издан и второй из больших, писавшихся всю жизнь и так и не законченных романов современника и почти ровесника Когана — Павла Зальцмана (1912—1985) «Средняя Азия в Средние века, или Средние века в Средней Азии» (М.: Ad Marginem).

И тут мне приходит на ум, что могло бы быть названо тенденцией 2018 литературного года, — не знаю, насколько главной, но для меня ощутимой. Это — рефлексия о *другой* русской литературе, которая в силу разных обстоятельств не сбылась, но была возможной. Из этой другой русской литературы к нам заглянул и текст Ярина об Алексее, и проза Вишневецкого; изданные наконец полный корпус текстов Когана и пролежавший в неизвестности несколько исторических эпох роман

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

Зальцмана заставили задуматься о том, как развивалась бы русская словесность, если бы Коган выжил и продолжал писать (несомненно, это был бы один из самых сильных голосов в ней), если бы роман Зальцмана был дописан, опубликован и прочитан — и наверняка изменил бы если не весь ее состав, то уж точно некоторые ее интонации, расширил бы диапазон ее возможностей. Кстати, из этой неосуществившейся литературы кое-что все-таки осуществилось — свидетельство чему, например, написанный в семидесятые и изданный только теперь роман Аркадия Драгомощенко «Расположение в домах и деревьях» (М.: РИПОЛ классик). Основная рефлексия о нем будет в 2019 году, которым он и датирован, но читался он уже в этом.

Если к читательским событиям года могут быть отнесены перечитывания (а я думаю, что, конечно, могут, потому что всякое перечитывание — это новый акт чтения; в известном смысле ничто не повторяется), я бы отнесла к ним прочитанную заново, во втором издании (переработанную, под новым названием) книгу Михаила Эпштейна о любви — в этом году она (выходившая в 2011-м в «ЭКСМО» как «Sola amare: любовь в пяти измерениях») была выпущена под названием «Любовь» издательством «РИПОЛ-Классик», и впервые прочитанный в русском обличье, в переводе Майи Цесарской, роман одного из важнейших венгерских писателей, Антала Сэрба (1901—1945) «Путник и лунный свет» (М.: Водолей).

Я еще знаю, что в этом году готовились к изданию две книги, которые несомненно претендуют на статус если и не главных, то очень важных, — это большая книга интервью Ольги Седаковой за многие годы («Вещество человечности», М.: НЛО) и переписка ее с Владимиром Библихиным за 1992—2004 годы («И слово слову отвечает», СПб.: Издательство Ивана Лимбаха). Последняя в мои руки к моменту написания этих строк еще не попала, но я читала части этой переписки, которые публиковались раньше, а к первой я имею некоторое отношение и читала ее pdf-версию. Таким образом, у меня есть все основания включить эти книги в число важнейших читательских событий года.

Что касается исследовательской литературы и нон-фикшн, список и разговор вообще мог бы быть недопустимо длинным. Из соображений краткости ограничимся самым ярким — тут прежде всего вспоминаются две книги. Первая — интереснейшее исследование Ирины Каспэ «В союзе с утопией: смысловые рубежи позднесоветской культуры», вторая — «Прошлое как область творчества» Владислава Дегтярева (обе — М.: НЛО); последняя, собственно, — сборник эссе, движущихся прихотливыми путями мысли, интуиции и воображения одновременно, но тем интереснее. Кроме того, далеко от столиц вышла — и счастливым случаем попала в мои руки — монография Веры Котелевской «Томас Бернхард и модернистский метароман» (Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство Южного федерального университета), и не назвать ее недопустимо, так же как и вышедший в переводе автора и с ее же комментариями дневник Райнера Марии Рильке «Ворпсведе» (М.: libra) в двух томах.

Очень хороша книга Галины Юзефович «О чем говорят бестселлеры: Как все устроено в книжном мире» (М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной), позволяющая многое понять в видении автором своего предмета и своей работы в этой области.

Неизменно интересующий меня Кирилл Кобрин в этом году издал сразу три книги, объединяемые мыслью об историческом процессе и ситуации человека в нем: «Разговор в комнатах: Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России», «На руинах нового» (обе — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха) и «История: Work in Progress» (Рига: Орбита).

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?

На перекрестке исследований и публицистики, не покидая при том исследовательского поля, располагается «Словарь перемен 2015—2016 годов» — перемен в лексике, а следовательно и в умонастроениях, и в состоянии общества, продолжение такого же словаря 2013—2014 годов, — составлен Мариной Вишневецкой и вышел в издательстве «Три квадрата».

Большое читательское событие — «История страны Рембрандта» Ольги Тилкес (М.: НЛО): история Нидерландов, увиденная через живопись.

Яркую книгу о Балканах издал в «Азбуке-Аттикусе» под конец года Андрей Шарый («Балканы: окраины империй»), ее я еще не дочитала, но оставить ее неупомнутой не в силах. Не могу удержаться и от соблазна назвать «Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар»» Александра Долинина (М.: Новое издательство). Эта книга датирована 2019 годом, и ее я тоже пока не дочитала, но, выйдя к ярмарке «Non\fiction», она успела стать читательским событием этого года, а отрефлексирована будет в следующем.

Важное среди переводов: прежде всего, начиная с этого года, на русском языке существуют полные (!) корпуса текстов двух важнейших европейских авторов. Это датчанка Ингер Кристенсен (1935—2009), чей огромный том стихотворений и эссе вышел в переводах Алеши Прокопьева и Михаила Горбунова (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха; Кноппарп: Издательство Ариэль) и классик шведской поэзии XX века Гуннар Экелеф (1907—1968), в «Избранное» которого (СПб.: Порядок слов), в переводах Алеши Прокопьева, Елены Пестеревой, Надежды Воиновой, Наталии Пресс, Марата Исенова, Марии Готлиб и других авторов, вошли все его поэтические сборники, кроме издававшейся двумя годами ранее «Мельнской элегии».

Помимо этого, Александр Бараш, много лет работающий над переводами поэзии Йегуды Амихая (1924—2000), крупнейшего израильского поэта своего времени, «наиболее переводимого ивритского поэта после царя Давида», и время от времени выкладывающий переводы у себя на странице в ФБ, собрал некоторые тексты в книгу, снабдив ее предисловием и комментариями. (Книга опять-таки датирована 2019-м, но читалась все равно уже в декабре 2018-го.)

Русское поэтическое языковое пространство в этом году расширилось — по крайней мере, получило серьезный шанс расширяться — за счет переводов из авторов не только XX века. В минувшем году в русских переводах Шломо Крола впервые появились сонеты Иммануэля Римского (Иммануэль Римский. Избранное / Перевод, предисловие и комментарии Шломо Крола. Под общей редакцией и со вступительной статьей М.Ю.Лотмана. Послесловие С.М. Якерсона, приложение Дворы Брегман. — Таллинн: Издательство ТЛУ) — одного из величайших ивритских поэтов, современника и ровесника Данте, наследника одновременно еврейской, арабской и итальянской поэтических традиций (чьи сонеты, между прочим, — первые в мировой истории образцы этой литературной формы, написанные не по-итальянски).

Из переводных исследований приходит на ум «История эмоций» Яна Плампера (в переводе с английского К. Левинсона, М.: НЛО) и продолжение «цветной» серии Мишеля Пастуро «История цвета» — «Красный» — в переводе Нины Кулиш (то же «НЛО»). Опять 2019 год издания, ну что ты будешь делать. — Все равно событие 2018-го).

2. Что касается авторов ближнего зарубежья, то тут сразу, первым вспоминается латышский поэт Эдуардс Айварс, чья небольшая книжечка «Тут где-то рядом должна быть Европа» в переводах Александра Заполя вышла в серии «Дальним ветром» издательства «Книжное обозрение (АРГО-РИСК)» в конце ноября и была представлена в Тургеневской библиотеке, где сам автор читал стихи не только по-русски, но и по-

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

латышски, — и это было очень важно для понимания и чувства интонации, лежащей в основе этих текстов, породившей их звуковой стихии.

Непременно должен быть назван ноябрьский — литовский — номер «Иностранки», «Литва-100», посвященный столетию образования независимой Литовской республики, — я бы его назвала маленькой (и даже не такой уж маленькой) энциклопедией литовского века. В этом номере интересно вообще все подряд, весь он в целом, дающий объемное и подробное представление о литовской жизни минувшего столетия на разных ее уровнях. Некоторые тексты назову (но читать надо подряд). Прежде всего — написанный еще до войны роман Люне Янушите (1909—1965) «Ошибка наборщика» в переводе Томаса Чепайтиса (как пишет в предисловии Мария Чепайтите, «последний год спокойной Европы», увиденный тогдашними литовскими глазами, — думаю, очень мало, если вообще известный у нас пласт жизни) и читающийся как дополнение к нему — но написанный гораздо позже — «Иллюзион» Маркаса Зингериса в переводе Александры Васильковой — рассказ о жизни каунасского поклонника кинематографа («Виньетки времен одного кинолюбителя», как сказано в подзаголовке) в 1920—1930-х годах. Стихи одного из важнейших литовских поэтов Альфонсаса Ники-Нилюнаса (1919—2015) в переводах Анны Герасимовой и другие переводы из современной литовской поэзии — Виталия Асовского и Георгия Еремина. В документальном разделе, посвященном, как это называет Мария Чепайтите, «гражданам Первой республики», — воспоминания Пятраса Климаса (1891—1959) об Оскаре Милоше, дяде великого Чеслава, литовском дипломате и французском поэте, в переводе Марии Завьяловой, фрагменты переписки филолога Альгирдаса Юлюса Греймаса (1917—1992) со скульптором и архитектором Александрой Кашубене в переводе Анны Герасимовой и переведенные Александрой Васильковой отрывки из книги «Письма ниоткуда» Йонаса Мекаса, американского режиссера и писателя литовского происхождения — родившийся в 1922 году, он жив по сей день и ностальгически вспоминает быт литовского хутора, будучи уверен, что «крестьянская жизнь дает человеку куда больше, чем любая система йоги — и телу, и духу...»

И совершенно необходимо сказать о журнале «Контекст», задуманном как «журнал актуальных литературных практик» (что жадно-интересно само по себе) и издающемся как русско-украинский (его соредакторы Владимир Коркунов и Екатерина Деришева живут, соответственно, в Москве и Харькове) и двуязычный. В минувшем году вышел его первый номер. В нынешней окаянной исторической ситуации само это усилие русско-украинского взаимодействия видится мне исключительно важным — не говоря уж о том, что там интересные авторы.

Из книжных приложений к этому журналу, составляющих «Книжную серию журнала «Контекст»», надо в первую очередь назвать небольшой сборничек переводов из молодого украинского поэта Лесика Панасюка — по моему разумению, очень сильного: «Крики рук» (Перевод с украинского: Станислав Бельский, Екатерина Деришева, Ия Кива, Владимир Коркунов, Дмитрий Кузьмин. — Харьков: kntxt, 2018).

3. Увы: будучи совершенно невосприимчивой к кино и театру, я ничего такого не смотрю и не знаю. Звучащее (и тем более — разыгранное на сцене или в фильме) слово мне скорее мешает воспринимать его само и все, к чему оно отсылает.

Ольга Брейнингер, прозаик, литературовед (г. Бостон/Москва)

Блогеры и эдалты

1. На мой взгляд, две главные тенденции в литературном процессе 2018 года — это, во-первых, появление на литературной сцене блогеров; а во-вторых — рост сегмента YA (young adult) литературы в России.

По первому пункту сомнений нет: 2018 год — это год литературных блогеров. Они пришли в литературу, чтобы остаться, и традиционным литературным институциям — толстым журналам, издательствам, медиа — нужно учиться с ними работать. Судя по тому, что в этом году появились сразу две премии для литературных блогеров, — это понимают все.

Что касается второго пункта, то здесь можно отметить несколько интересных моментов. Во-первых, становится больше и больше YA на русском языке — в том числе достаточно качественного. Во-вторых, заметен интерес к самому феномену молодежной литературы — он выражается и в прошедших недавних public talks авторов серии АСТ Mainstream, и издательства Bookscriptor; и в премии, запущенной Bookscriptor (в номинации young adult ее в этом году вручили Екатерине Рубинской за роман «Псих»).

Самые значительные для меня тексты года:

Вячеслав Ставецкий. Жизнь А. Г. (журнал «Знамя», № 11—12)

Анна Немзер. Раунд: Оптический роман. (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»)

Алексей Поляринов. Центр тяжести («Эксмо»)

Мария Степанова. Памяти памяти: Романс (Новое издательство)

Ксения Букша. Открывается внутрь (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»)

Александр Ливергант. Вирджиния Вулф: Моменты бытия (АСТ, «Редакция Елены Шубиной»)

Виктор Вилисов. Нас всех тошнит: Как театр стал современным, а мы этого не заметили (АСТ)

2. Из писателей «почти ближнего зарубежья» прочитала в этом году книгу Дмитрия Вачедина «Engel Sprechen Russisch». Вачедин пишет на немецком языке и уже для немецкой аудитории, но в центре внимания его книги по-прежнему остается русская проблематика.

«Точь-в-точь как зубная паста из телевизионной рекламы, я состою из трех слоев: десять лет советского детства, десять лет дикого русского капитализма и десять лет уютной Западной Германии».

Немецкоязычным читателям искренне рекомендую.

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

Ольга Бугославская, литературный критик (г. Москва)

«Авторы готовы распахнуть двери ада...»

1. Литература продолжает заниматься осмыслением опыта XX века и изучением той стороны человеческой натуры и тех исторических закономерностей, которые не только допускают жестокие конфликты, но, как ни ужасно, определяют и требуют их. В истекшем году вышли несколько книг, которые серьезно углубили это общее исследование. Наиболее яркой и смелой среди них стал роман Эдуарда Веркина «Остров Сахалин» (издательство «Эксмо», 2018). В нем изображен постапокалиптический мир, вернее, тот клочок мира, который уцелел в ходе глобальной ядерной войны. Главные герои путешествуют по острову Сахалин — страшному гетто для каторжников и зараженных новым убийственным вирусом — мобильным бешенством, превращающим людей в свирепых зомби-убийц. В самом широком плане роман ведет диалог с «Островом Сахалин» Чехова, повестью Стругацких «Трудно быть богом» и «Адом» Данте, адресуя при этом отдельные реплики и «Запискам из мертвого дома», и «Обители», и фильму «Рассвет мертвецов», и много кому еще. Исторические параллели столь же многообразны и охватывают и мировые войны, и распад СССР, и даже смену периодов в истории Земли. Тончайшая многослойная игра на уровне языка, которая возводит смысл высказываний в n-ную степень, роднит роман Веркина с прозой Андрея Платонова. Особенно сильное впечатление производят черный юмор, мрачная сатира, деструктивный абсурд, задрапированные под норму. Ужас рукотворного апокалипсиса снимает с человека все защитные одежды. Первой слетает идея гуманизма, которая в общем контексте выглядит трагически смешной. Пресловутый гуманистический пафос уничтожается в романе на уровне еще более глубоком, чем в прозе Владимира Сорокина. Уничтожается, чтобы в заключительных главах прорваться чистой, новой и высокой нотой.

Не вполне однозначное, но сильное впечатление производит опубликованный в журнале «Новый мир» роман Федора Грота «Ромовая баба». Он обращен к «истокам и смыслу русской революции» и чрезвычайно интересен нестандартным подходом к проблеме. Революция и Гражданская война предстают как результат нашествия болезнетворных призраков, пожирающих плоть, но очищающих души. Идея очищения через пламя апокалипсиса отчасти роднит роман Федора Грота и произведение Эдуарда Веркина. Сюжет романа «Ромовая баба» строится на истории одинокой борьбы с источником болезней немецкого духовидца по имени Гартман Шоске. Один из ключевых конфликтов — противостояние науки и визионерства, предрассудков и поверий. К сожалению, первая часть романа заметно мощнее второй. В окончании чаша весов склоняется в сторону некоторых упрощений и морализаторства. Но сам замысел, завязка романа и его богатая образность продолжают жить вне зависимости от этих упрощений и назиданий, оставляя читателю возможность домыслить авторскую идею до конца.

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?

В разделе нон-фикшн нельзя не отметить книги и публикации, посвященные как раз тем историческим событиям, которые составляют основу таких художественных обобщений, как роман «Остров Сахалин».

Во-первых, это книга Льва Симкина «Его повесили на площади Свободы. Архивная драма» (АСТ: Corpus, 2018). Исследование посвящено биографии нацистского преступника Фридриха Еккельна, руководившего геноцидом еврейского населения в Прибалтике и на Украине. Но что особенно важно, в книге рассмотрены также способы манипуляции массовым сознанием, пропагандистские приемы, которые позволили превратить мирных местных обывателей в соучастников убийств.

Роману Эдуарда Веркина созвучна и работа Виктора Бердянских и Владимира Веремьева «Краткая история ГУЛАГа», опубликованная в 9–11 номерах журнала «Новый мир». Особенно в части, посвященной военному периоду, когда в ГУЛАГе был еще более ужесточен режим содержания.

А в 6-м номере «Нового мира» можно прочитать блестящую статью Ирины Сурат с коротким и красноречивым названием — «Расстрел». Она посвящена тому, как русская поэзия откликнулась на гибель Николая Гумилева. Работа Ирины Сурат имеет не только научное и публицистическое значение, но и художественную ценность, поскольку расстрел становится здесь, как и в самих рассмотренных поэтических текстах, очень емким символическим образом.

2. Резонансная книга «Свои. Путешествие с врагом» (АСТ: Corpus, 2018), написанная литовской журналисткой Рутой Ванагайте в соавторстве с израильским историком Эфраимом Зуроффом, рассказывает о коллективном преступлении — активном участии мирных литовских граждан в Холокосте. В этом отношении она перекликается с монографией Льва Симкина. Однако очень существенный момент состоит в том, что Рута Ванагайте пишет о злодеяниях, совершенных ее соотечественниками, среди которых были и ее родственники. Автор отвечает на вопрос о себе самой, о том, какой груз вины и ответственности лежит и лично на ней. Трезвый и ответственный взгляд на собственное прошлое, расследование преступлений, совершенных своими против своих, объединяют книгу Руты Ванагайте с работами Натальи Громовой, которые повествуют о судьбах людей, сломанных террором 30-х годов. Показательно также, что на уровне структуры — путешествие по местам массовых казней — книга совпадает опять-таки с романом Эдуарда Веркина.

3. Упомяну киносериал «Гоголь» режиссера Егора Баранова, снятый по мотивам гоголевских «Вечеров». Первая часть — «Гоголь. Начало» — вышла на экраны в 2017 году, две следующие — «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» — в 2018-м. Данный фильм ужасов интересен тем, что сочетает трудно сочетаемые элементы. Сначала может показаться, что это откровенный треш. Горы расчлененных трупов, толпы исчадий ада и потоки крови выдают стремление авторов сделать самый страшный фильм из всех самых страшных фильмов. Зловещая гоголевская мистика многократно усилена, число смертей умножено. С другой стороны, в фильме собран слишком сильный для трешевого продукта актерский состав, некоторые роли прописаны совсем неплохо, и актеры отлично их исполняют (Евгений Стычкин, Ян Цапник). В фильме даже заметны проблески некоторых идей. Отец Гоголя, который до рождения сына Николая потерял двоих детей, предстает сломленным Иовом, не вынесшим чрезмерных испытаний. Он заключает сделку с сатаной в обмен на жизнь третьего ребенка. Получается, что человек переходит на сторону зла не добровольно,

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

а пострадавших от воли Провидения. Вообще для фильма важен вопрос о свободном моральном выборе, провокации и принуждении. Главный злодей сам оказывается жертвой и орудием темных сил. Кроме того, авторы допускают, что всеобщий любимец Пушкин мог внушать молодому и еще никем не признанному Гоголю не только трепет, но и настоящий мистический ужас. А намеченное в фильме противостояние свободной России, воплотившейся в лице великих писателей, и всемогущего Третьего отделения по нынешним временам и вовсе может сойти за крамолу. Представитель политического сыска пытается овладеть великой магической тайной, то есть поставить себе на службу самого дьявола. Если продолжить эту мысль, можно предположить, что со временем это удалось. И все тонет в крови и языках адского огня. Таким образом, «в наш дремучий лес кривой тропой пришел прогресс»: комбинацию некоторой изысканности и усиленной визуальной жути авторы «Гоголя» позаимствовали у Фрэнсиса Копполы и Тима Бёртона. В фильмах «Дракула» и «Сонная лощина» был предложен именно этот вариант адаптации мистических историй с полки «Классика» к современным запросам. Правда, у Копполы и Бёртона пропорции соблюдены все-таки лучше, чем в отечественном аналоге, но суть та же: классические сюжеты дорабатываются и существенно дополняются, и параллельно нагнетается дьявольский кровавый морок. Но существует и другая параллель. В тех же романах «Остров Сахалин» и «Ромовая баба» используются ровно те же приемы суггестии и то же количество чудищ. В «Острове Сахалин» герои имеют дело с полчищами кроважанных голливудских зомби. «Ромовая баба» наполнена несметной армией бестелесных страшилищ — возбудителей смертоносных недугов. В этом отразилась особенность современного мироощущения — усталость от постоянного чувства нависшей над всеми угрозы. Не вполне определенной, но, как учит опыт, неизбежной. Поэтому во всех этих произведениях героев преследуют черти: они прячутся у них внутри, атакуют снаружи. Чтобы избавиться от этой изнурительной погони, нужен какой-то отчаянный шаг. Авторы готовы сами распахнуть двери ада, выпустить оттуда всю нечисть, и будь что будет.

Илья Данишевский, поэт, прозаик, издатель (г.Москва)

«В поиске соответствующего времени языка»

Главное — чувство инерции, глобального несоответствия актуального языка духу времени (даже в самом этом жанре «итогов» только лишь — заполнение ниши) и их воплощение в кризисе действующих институций. Старый порядок спотыкается о ревизию этических стандартов. Пауза в работе Нобелевского комитета выносит на поверхность важнейшее для «сегодня» напоминание, что «институция» — это не столько собственно «институция» (механизм включения), но конкретные люди, обозначающие как цену включения, так и субъективность/спорность/сомнительность невключения. Сюда же (очевидно, временное) закрытие «Журнального зала» и

1. Каковы для вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2018 года?

обсуждение, что формирует сегодня повестку с позиции толстых литературных журналов, в какой форме и для какой цели журналы вообще продолжают существовать.

На этом фоне (и в поиске соответствующего времени языка) — «Большая книга» с победой «Памяти памяти» Марии Степановой (что хорошо само по себе) как бы разворачивает себя в сторону принципиально другой практики и стратегии письма. Так же важны открытие феминистского издательства «No Kidding Press» и взятая им повестка на издание в России креативного нон-фикшна, написанного женщинами.

В зоне чтения:

«Мастерская подделок» Витткоп (изд-во «Kolonna») наиболее точно корреспондирует для меня с миром за окном — изменчивая, галлюциногенная политическая реальность, способная втягивать конечности в бесформенные очертания, лишние слова, притворяющиеся другими словами, и перманентное насилие (или вокруг него) из самых благостных мотиваций (но чаще, из заявления о).

«Раунд» Анны Немзер (Редакция Елены Шубиной) — роман, который не просто совмещает фикшн и нон-фикшн, но играет в нон-фикшн, хотя фикшн, и при этом — буквальный журналистский очерк о физиологической связи недавнего прошлого и до (уже тоже прошлого) протестного бума. Главное здесь — вот эта почти заикленность на поиске момента наследования прошлого, десятком оптик, голосов, посмотрев с помощью каждого из доступных (журналисту, человеку, писателю — по очереди) методов.

«Мертвые» Кристиана Крахта (изд-во «Ad Marginem») — состоящий как бы из всего того, что формулирует нашу ежедневную новостную и культурную повестку, и отзывающийся на главное пожелание к современному роману — чтобы он был размером, как твит, и его хотелось репостнуть.

Елена Иваницкая, литературный критик (г.Москва)

«Для кого сегодня пишет писатель?..»

1. Привычная, давняя тревога с периодическими обострениями — такое у меня восприятие литературной и не только литературной ситуации.

Закрытие, прекращение, остановка журналов, премий, интернет-изданий, сужение литературного пространства — отчетливая тенденция минувшего года.

Будем надеяться, что сможет восстановить работу «Журнальный зал». Но сейчас, когда я это пишу, положение остается неотчетливым, да и за полгода, прошедшие после его остановки, выяснилось, что немалая часть литературной и читательской общественности вовсе о нем не жалеет. Сама я отношусь к тем, кто воспринимает потерю этого ресурса как литературную катастрофу, но факт остается фактом: статистика «Журнального зала» показывала падающее количество посещений. Август 2016: по данным «Google Analytics» 295 915 посетителей. Март 2017: по данным «Google

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Контекст: кино-, теле- и театральные проекты, связанные с литературой.

Analytics» 207 010 посетителей. Март 2018: по данным «Google Analytics» 166 812 посетителей.

Что происходит сегодня с чтением, сколько у «серьезной» русской литературы читателей, неизвестно, а те институции, которые должны исследовать этот вопрос, объявляют нечто непонятное и невероятное. На пороге минувшего года ВЦИОМ в пресс-выпуске от 06.12.2017 объявил о стремительно возросшем интересе к чтению: в любви к чтению признаются 60% опрошенных (против 48% в 2014 году), а художественную литературу читают активно и много: за месяц в среднем 6,49 книг — в сравнении с данными 2011 года (3,94) эта цифра выросла более, чем в 1,5 раза. Там же сказано, что чаще других к литературным произведениям обращаются жители сел (6,78) и городов-миллионников (6,76) кроме Москвы и Питера — они, напротив, уступают (5,5). Но в пресс-выпуске от 18.09.2018 тот же ВЦИОМ обнародовал принципиально иные данные: художественную литературу читает примерно треть россиян (34%), а больше всех (49%) — жители Москвы и Петербурга. В декабре 2017 года ВЦИОМ рапортовал, что любят читать 69% женщин и 50% мужчин. В сентябре 2018 он же рапортует об ином: 38% женщин и 28% мужчин.

Как это понимать, я не знаю. То ли за девять месяцев интерес к чтению упал почти вдвое, то ли все эти цифры вообще ничему не соответствуют. По моим личным, неизбежно узким и частным наблюдениям, интерес к чтению продолжает падать, читателей все меньше, предложений «выучить на писателя» все больше. Вот, например: Школа писательского мастерства (научим вас писать нормальные романы), Литературные мастерские (скидка на все программы), Литературные курсы (теория и практика от профессиональных писателей), Школа «Хороший текст», Шесть школ, которые научат писать, 50 сайтов, которые помогут написать свою книгу (и т.д. и т.п.).

Очень странно. Я вижу тут парадокс. Он остается неисследованным. У меня нет ни сил, ни времени, ни денег, чтобы оплатить обучение в парочке таких «школ» и на собственном опыте проверить, что там происходит, чему и зачем учат «профессиональные писатели», зачем и чему хотят научиться непрофессиональные.

Сегодня вряд ли кто-то станет спорить, что у нас разлад и потеря взаимопонимания между писателем — читателем — издателем — критиком — редактором — премиями. У меня складывается впечатление, что все стороны этого многоугольника друг в друге не заинтересованы.

Сегодня вряд ли писатель рискнет сказать, что пишет для «миллионов». Но роковые слова «для немногих» — тоже не скажет. Для кого он пишет — этот вопрос вновь стал непонятным.

В современной литературе преобладает погружение в прошлое, прежде всего советское. Это сильно кренит всю литературную картину. Ведущий «метажанр», с разной степенью документальности, мемуарности и беллетризации, — жизнь и судьба семьи в катастрофические периоды советского двадцатого века, либо (реже) в его более вегетарианские годы.

«Генерал и его семья» Тимура Кибирова, «Сахарный ребенок» Ольги Громовой, «Лестница Якова» Людмилы Улицкой, «Мое частное бессмертие» Бориса Клетинича, «Жуки с надкрыльями цвета речного ила летят за глазом динозавра» Светланы Кузнецовой, «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова, «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина, «Правда и ложка» Сергея Шаргунова, «Памяти памяти» Марии Степановой, «Старый альбом. Хроники одной семьи» Анны Степанской, «Артистическая фотография» Анны Фуксон, «Дама у окна. Рукопись, найденная и потерянная в Интернете» Татьяны Михайловской, «Tuska» Яны Жемойтелите, «Буриданы» Калле Каспера, «Стеклянный павлин» Татьяны Вольтской, «Крио» Марины Москвиной... и другие, другие.

Обращение к этому материалу и этому «метажанру» мне кажется очень понятным. Поколение за поколением воспитывались в Советском Союзе, в условиях оборванной и подмененной памяти, когда «учителя лгали, родители молчали». Непонятно мне вот что: почему эта волна поднялась только сейчас? Почему не десятью, не двадцатью годами раньше? Могу предположить, что историческая травма была слишком сильна. Могу предположить, что обращение к прошлому — это и возможность ухода от сегодняшнего идеологического давления и возможность исследовать его истоки.

2. В 2018 году я читала сочинения супружеской четы Гоар Маркосян-Каспер и Калле Каспера, энтузиастов русско-эстонских литературных связей и русской литературы в Эстонии.

Хроника Калле Каспера «Буриданы» (Tallinn: Авенариус, 2017; журнал «Звезда», 2018, № 2. Предыдущие части — «Звезда», 2016, № 12. Звезда, 2015, №7) — повествование об истории XX века, увиденной через судьбу четырех поколений эстонской семьи. Всю многотомную хронику перевела Гоар Маркосян-Каспер. Это был ее последний труд перед безвременной кончиной. Ее дебютный роман «Пенелопа», сразу переведенный на многие европейские языки и сделавший молодую писательницу знаменитой, переиздан в Петербурге. Я прочитала также ее книги «Электра» (Tallinn, 2009), «Сон и другие мистические истории» (Tallinn, 2003), *Memento mori* (Tallinn, 2013).

В марте 2018 года в Таллине при поддержке Таллинского университета, Эстонского общества Давида Самойлова и Таллинского департамента культуры прошла международная научная конференция памяти Гоар Маркосян-Каспер.

Жизнь литературы в Эстонии сегодня так же трудна, как и в России. Но была ли когда-нибудь у литературы счастливая и гармоничная жизнь?..

Ксения Позднякова

Мастер Ревич

Я часто слышу, что незаменимых людей нет. На самом деле есть. Душа — как комната. На стуле сидел близкий человек. Вот он ушел, и кого ты на его место ни посади, стул останется пустым. Мастер нашего курса Александр Михайлович Ревич — один из таких незаменимых.

Фронтовик, прошедший штрафбат, поэт и профессиональный переводчик с французского, в 73 года Александр Михайлович решил заняться педагогикой. Что его на это сподвигло, я никогда не задумывалась. Денег Литинститут почти не платил, да и что за радость обучать бестолковых студентов. Для меня всегда оставалось загадкой, зачем мы ему сдались, почему он тратил на нас время и силы. Особенно если учесть, что преподавание в Лите, как и во всех других творческих вузах, ведется в мастерских. А руководитель курса не просто учитель, а мастер, доступный ученику 24 часа в сутки семь дней в неделю — и так целых пять лет.

Вдобавок даже внутри Лита к кафедре художественного перевода отношение неоднозначное. Ну кто такой переводчик? Все поэты, писатели, на край — критики. А эти кто?.. По общему мнению, в художественные переводчики идут те, кто не способен к самостоятельному творчеству...

Не будешь каждому объяснять, что передать чужой текст на родном языке — не меньшее, а порой и большее искусство, чем внятно изложить собственные мысли. К тому же переводчик всегда остается в тени автора. Люди мы в основном неизвестные или известные в узком кругу. Так что нет ничего удивительного, что когда я впервые увидела Александра Михайловича, то толком и не поняла, кто передо мной. Так, пожилой человек с лукавым взглядом и скрипучим голосом. Ни о каких «Трагических поэмах Агриппы д'Обинье» по-русски я ничего прежде не слышала, да и по-французски тоже.

Как поэт А.М. и вовсе был малоизвестен. Почему? Бог его знает. На первом занятии он решил представиться основательно и подарил нам свою книгу «Чаша». Правда, открыли мы ее не сразу. По крайней мере, я с творчеством Александра Михайловича познакомилась почти случайно: на телеканале «Культура» показывали выступление пародиста Александра Иванова, там-то я и услышала стихотворение Ревича. Желчный юморист высмеивал Александра Михайловича за цитату из Пушкина. Пародия «остроумно» называлась «Подражатель». Решив отыскать первоисточник, я и открыла томик, подаренный на занятиях. Отыскать кусочек текста — в итоге это оказалась «Поэма о ранней осени», ставшая одной из моих любимых, — удалось далеко не сразу. Сначала встретились «Папа, купи соловыху», «Немного о Данте», лучше запоминающееся по первой строчке «Что Беатриче? — вздорная девчонка», «Пигмалион», «Снегопад», «Видно, я умру в своей постели» и пронзительное «Ты по мне проходишь болью: словно пламя по войне», сравнимое по силе разве что с Пастернаком. И наконец «Поэма о ранней осени».

Я позвонил тебе, чтобы сказать,
что я тебя люблю... Какие шутки?..
Я позвонил тебе...
Не позвонил.

В рифмованный текст заключена история отношений со всеми их счастьями и несчастьями, недопониманиями и откровениями. Так просто и так сложно... Кстати, пушкинские слова там есть, но абсолютно на месте. Потому что вложены в уста героини.

Первый год Александр Михайлович вел занятия вместе с известной переводчицей Кириллой Романовной Фальк-Барановской, внучкой Станиславского. Вместе они производили довольно курьезное впечатление: постоянно пикировались, делились воспоминаниями, рассказывали истории, пытались втянуть и нас в свои беседы. Не знаю, как другие, я же наблюдала за ними, словно за дуэтом Мироновой—Менакера, не особо вдаваясь в суть рассказанного, о чем сегодня очень жалею. Однажды они о чем-то яростно спорили, никак не могли договориться, в каком году происходили события. А.М. тщетно пытался настоять на своей версии, но Кирилла Романовна безапелляционно заявила: «Что вы со мной спорите, я-то лучше знаю, у меня как раз появился розовый костюм от “Шанель”».

Смерть Кириллы Романовны стала для нас определенной вехой, так как после этого Александр Михайлович перестал ездить в институт, а занятия окончательно перенесли к нему домой. Думаю, с того момента и началось более или менее сознательное существование нашего курса.

Александр Михайлович с женой Марией Исааковной жили в двухкомнатной квартире недалеко от Рижского вокзала. Их дом стал для многих из нас родным. Порой казалось, что пришел не на урок, а к любимым бабушке с дедушкой попить чаю. Конечно, без Муры, как вслед за А.М. все ласково называли Марию Исааковну, без ее лучистых с золотом кошачьих глаз такого ощущения никогда не возникло бы. То тепло, которое мы получили, согревает нас до сих пор. Они подарили нам еще несколько лет счастливого детства.

Маленькая комната служила Ревичу кабинетом, большая — гостиной. Поскольку нас было десятеро, занятия проходили именно там. На стенах висели картины Чекрыгина, Жегина, Штейнберга, правда, тогда имена эти мне ничего не говорили. Во время занятий Александр Михайлович усаживался в кресло, перекидывал ногу на ногу, задира подбородок, становясь похожим на осунувшегося орла. И начинал выбирать, кто сегодня будет читать.

Сначала мы всем курсом работали над какой-то французской книжкой про птиц. Язык мы начали учить только в институте, потому переводили на уровне «подстрочник со словарем». Качество было то еще. К тому же переводить про мадам Фламинго никому не хотелось. Мало того, что эта мадам строила гнездо на болоте, так она еще и пыхтела, кряхтела и совершала массу других побочных действий, каждое из которых нужно было перепереть на русский, причем Александр Михайлович развлекался тем, что требовал несколько вариантов, громогласно заявляя, что птички — лучшая школа. Почему, не спрашивайте. Но чего еще ждать от любителя энциклопедии Брема?!

Потом был Мериме. «Хроника царствования Карла IX». За полгода осилили максимум три абзаца. Потому что каждый читал на занятиях свою версию, а Александр Михайлович объяснял, что в ней так, а что нет. Вообще А.М. занимался нашим развитием всеми доступными ему способами: читал вслух, делился книгами, готовил нас к зачетам и экзаменам. Ну а уж если ты говорил: «Не люблю я Гоголя, Горького...» (назвать можно имя любого классика), тебя ждал занимательный ликбез, целью

которого было непременно переубедить, склонить на сторону автора или хотя бы заставить недоросля проникнуться текстом. Меня он грузил Горьким, «Матерью», сидел над душой и читал вслух, добиваясь заветного: «Да дочитаю я, дочитаю!» Иногда рассказывал о тех, с кем общался лично: про уроки Антокольского и Луговского, отдых с Тарковским и его сыном Андрюшей. Когда речь зашла о «шестидесятниках», из женского любопытства я спросила про Ахмадулину: «Неужели она вам не нравилась? Какая она там поэтесса — дело десятое, зато красивая». А.М. ответил: «Сложно оценивать женщину, с которой водку пили...» Затем помолчал и добавил: «Да нет, красивой ее не назовешь... Как бы вам это объяснить... Она была дико сексуально привлекательна...» Все эти разговоры, вроде бы совершенно отвлеченные и необязательные, добавляли учебе радости и веселья, делая классиков близкими знакомыми.

Начались летние каникулы, а вместе с ними и мои личные отношения с А.М. Они с женой позвали меня в Переделкино, в дом творчества литераторов. Страшное место: вокруг одни писатели, а мне 19 лет. Александр Михайлович любил, когда к нему приезжала молодежь. Шутил, что иначе приходится обсуждать каждый вечер вчерашнюю программу «Время» и у кого что болит.

Приготовив пирог с клубникой, поехала в гости. А.М. читал мне свои стихи, рассказывал про то, как лежал в госпитале во время войны, про медсестру, что в мирное время была парикмахером. По словам Ревича, она ему так чуб накрутила, что волосы даже расти начали кудрявыми. Мне оставалось только гадать, что его так завело. Спросить я так и не решилась. Думаю, зря.

В Переделкине А.М. учил меня играть на бильярде. Учитывая, что одна нога Ревича подводила — сказывалось ранение и забытый в теле осколок — выглядело это феерично. Александр Михайлович утверждал, что для женщины главное правильно встать у стола, и любой сам сдастся.

Так все-таки, зачем я к нему ездила? И вообще, чему же нас учили пять лет? Нас учили тому, чего нет. И никогда не было. Но без чего невозможно жить. Подлинной радости бытия. Ведь мы, увешенные гаджетами, несомненно, обделены эмоциями и настоящими чувствами. Например, у Александра Михайловича была подруга-сверстница, выстукивавшая «Травиату» ладошками. Она не нуждалась ни в каком YouTube. Зачем, когда есть собственные руки? Ощущения, согласитесь, разные.

Бывали редкие моменты, когда А.М. все-таки приходилось приезжать в институт. Если знать, как выглядит историческое здание Лита на Тверском бульваре, становится понятно, почему он делал это редко. Чтобы попасть в любую из аудиторий, необходимо для начала подняться по широкой каменной лестнице. Для студентов 20 ступенек — пустяк, а для пожилого человека — целая история. Одной рукой А.М. брался за перила, второй сжимал палку и начинал восхождение. Попросить о помощи или хотя бы принять предложенную было выше его сил. Любая попытка его поддержать заканчивалась сварливым: «Мужчина здесь пока все-таки я». Приходилось уныло плестись позади, боясь, что в какой-то момент он все-таки не удержится, и что тогда мы костей не соберем. Когда наконец-то А.М. забирался наверх, то, указывая на трость, украшенную набалдашником в форме морды терьера, говорил: «Что вы переживаете, ничего со мной не случится, собака же при мне».

Позже я узнала историю этой палки. Когда-то, А.М. был еще совсем маленьким, точно такой же пользовался его дядя. Куда они делись (и трость, и дядя), не знаю. После ранения А.М. решил обзавестись палкой, но непременно как у дяди. Плюс, видимо, подобный аксессуар (не думаю, что это слово ему понравилось бы) вписывался в его шеголеватый поэтический образ. Однако найти такой раритет в СССР было практически невозможно. «Нашу собаку» привез кто-то из его друзей то ли из Франции,

то ли из Бельгии. Долгие годы она служила ему поддержкой и опорой. Но однажды пропала. Отмечая с однополчанином 9 мая, А.М. забыл ее в ресторане. А когда вспомнил, то «собачки», как он сам ее называл, и след простыл.

Потерю друга А.М. переживал трудно. Думаю, в этом он видел очередной намек на свой возраст и слабость. Тогда-то мы с сокурсниками и задумали найти копию. Обзванивали антикварные салоны, коллекционеров, мастерские краснодеревщиков. Тщетно. Предлагали кого угодно — от зайца до дракона — только не собаку. Не найдя ничего лучше, остановились на льве. Конечно, не терьер, но все-таки и не дракон. Хотя, думаю, замену мы выбрали не лучшую. Натуре А.М. мало соответствовал хищник с разъявленной пастью. Тем более медной. «Наша»-то трость была серебряной. Однако подарок приняли, и он поселился на Переяславской. К сожалению, столь же теплых отношений у А.М. со львом не сложилось, слишком мало им выпало времени. Через пару лет я увидела сестру «нашей собаки» в одном из антикварных магазинов Ниццы, но подарить ее уже было некому.

Надо сказать, Ревич мало подходил под классический образ поэта. Например, терпеть не мог так называемых «будуарных» стихотворцев. При любом упоминании Кокто или Элюара вспыхивал: «Да что вы нашли в этом салоне?!» «Салон» — вообще было любимым ругательством в адрес всего, что ему не нравилось. Правда, досконально понять, что именно имелось в виду под этим словом, невозможно. Официальная версия — собственное объяснение А.М. — звучала так: в жизни может быть как угодно, а литература на пустые красоты права не имеет. Я всегда с ним спорила, хотя понимала: каждый останется при своем. Хотя нет, не так. Из каждого подобного спора я узнавала много нового как по части литературы, стихов, книг, так и про жизнь в целом. В очередной раз сцепившись с А.М. по поводу Элюара и выслушав, что настоящий поэт всегда реалистичен, осмелилась заявить: «Конечно, Блок ваш реалист!» Тут необходимо пояснить, что из всего XX века А.М. больше всего ценил Блока, Есенина, Маяковского и Пастернака. «“Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола” — жесткий реализм», — продолжила я. Решив закрепить результат, добавила: «К тому же он, трус, звал звезду, звал в “Незнакомке”, а когда она пришла, испугался и сбежал». А.М. засмеялся и иронично ответил: «Аргумент женский, я заканчиваю с вами спорить». Как я ни пыталась его переубедить — все напрасно.

Возможность вернуть комплимент представилась далеко не сразу. Однажды во время сессии А.М. уговаривал меня помочь одной нашей однокурснице. На мое замечание, с чего бы кто-то должен за нее учиться, мэтр сказал: «Ну она такая хрупкая, маленькая, ее нужно пожалеть». Вот тут-то мне и пригодился его ответ: «Аргумент мужской, Александр Михайлович, я заканчиваю с вами спорить». Мастер весело рассмеялся: «Знал же, что рано или поздно вы щелкнете меня по носу».

Вообще несмотря на свой почтенный возраст А.М. обожал женское общество. Причем, видимо, так было всегда. Как-то раз Ревич давал интервью для канала «Культура». Нас привлекли в качестве статистов. Читал стихи, рассказывал о себе. Заслушавшись, режиссер спросил: «С таким красноречием вы небось очень нравились женщинам?» А.М., как обычно, отшутился и продолжил повествование. Комплимент главы съемочной группы услышала Мура. И когда я принесла на кухню поднос с чайными чашками (нас всегда после урока поили чаем с печеньем), то заметила, что Мура не в духе. Взяв у меня поднос, она так резко поставила его на стол, что чашки жалобно звякнули. Я спросила, что случилось. Она ответила: «Меня часто спрашивают, не ревную ли я его. Так вот, я свое отрешивала!»

Собственно, в мужской привлекательности Ревича никто и не сомневался. Даже в очень преклонном возрасте он оставался настоящим мужчиной и истинным джентльменом, способным наступить на горло собственной песне. Последний учебный

год мы готовились к диплому: институт требовал представить перевод рассказа или повести. Я от жадности схватила за роман, к тому же мне за него в издательстве еще и гонорар пообещали. Действие книги «В тот год я выучил английский» Жана-Франсуа Дюваля разворачивалось в 60-е годы в Кембридже. Так что, само собой, в повествование то и дело вплетались тексты и мелодии «Битлз», «Роллинг стоунз» и Элвиса Пресли. С них роман и начинался: «По радио играли “Битлз” “Lady Madonna”, и Элвис пел “Guitar Man”». А.М. упорно настаивал, что все названия нужно во что бы то ни стало перепереть на родной язык. Как я его ни убеждала — тщетно. Даже аргумент: «Что, будем писать: группа “Жуки”, песня “Надысь”?» — не дал нужного эффекта. «Переводите», — и все тут, мастер был непреклонен. Даже поняв, что не прав, отступить от своих слов он не мог. Продолжал спорить из чистого упрямства. Вообще он был фантастически упертым. Причем сам нередко страдал от собственной несговорчивости и ершистости. Однажды рассказал о том, как поссорился с Микаэлом Леоновичем Таривердиевым, с которым долгое время поддерживал близкие отношения. Прослушав очередную композицию, А.М. безапелляционно заявил: «Сколько можно растрачиваться на всякую ерунду и носиться с фильмами, пора уже взяться за что-то серьезное». Дружбе, разумеется, пришел кирдык.

Зная об этом его качестве, я собралась согласиться. Но тут Александр Михайлович сказал: «Отношения с вами мне дороже, делайте, как хотите». Умение красиво выйти из положения было его коньком: вроде бы и не признал, что ошибся, а вышло эффектно.

Его кабинет также был частью образа. Каждая вещь на своем месте, и у каждой своя история. Постепенно мы узнавали о людях, событиях, с ними связанных. Например, на стене висел подлинный Зверев. Знаменитый сегодня художник некогда страшно нуждался, к тому же страдал от пристрастия к выпивке. Однажды А.М. дал ему взаймы 10 рублей. Долг вернулся картиной. Или знаменитая коллекция трубок, от греха подальше спрятанная в прозрачный короб. Мы по наивности думали, что мэтру было сложно бросить дымить, потому он их и заковал. На деле проблема состояла совсем в другом. Завязав с табаком, А.М. начал раздаривать трубки: пара ушла к Михаилу Козакову, еще штук пять разошлись по друзьям-курильщикам. Так бы, наверное, коллекция и сгинула, если бы в один прекрасный день ее не запаляли в пластик. Конечно, сделал это кто-то из знакомых. Самому Ревичу это и в голову бы не пришло.

Было здесь и типичное писательское кресло со львами на подлокотниках. Каждый из нас рано или поздно удостоивался привилегии посидеть на месте мастера. Видимо, А.М. нравилось наблюдать, как мы ерзаем и отнекиваемся от предложенной чести. Ну и, конечно, книги. Все стены были увешаны полками, где хранилось множество сокровищ. Наверное, у каждого, кто знал Александра Михайловича, есть не один томик, подаренный им. Поверх книжных корешков стояли фотографии, среди них дореволюционный портрет отца с братьями, один из которых ушел с Врангелем... Еще на одной были запечатлены молодые А.М. и Мура. Он в шляпе и тренче, похожий на Хамфри Богарта, и она, в замысловатом наряде, вылитая Ава Гарднер. А.М. рассказывал, что перед съемкой они жутко поругались, и даже на фото видно было, какие меж ними кипели страсти.

Оба они, и А.М., и Мура, люди верующие, увлекались различной мистикой. Мария Исааковна умела гадать на кофейной гуще, причем порой изумляя точностью догадок. А.М. чувствовал настроение, знал, когда у нас что-то не ладилось. Собственно, он и до сих пор появляется в трудные моменты: то позвонит общий знакомый, то книгу его вернут... Как-то раз я надела зеленые линзы. Он попросил снять: «Я не могу заглянуть вам в душу...»

Как-то, уже закончив институт, я набирала ему на компьютере стихи для очередной книги. (Пожалуй, компьютер — единственный противник, который оказался А.М. не по плечу.) Когда принесла готовые странички, зашла речь о гонораре. Само собой, для меня плата исключалась. Александр Михайлович уговаривал всеми возможными способами, угрожал обидеться на всю жизнь и так далее. Понимая, что с ним спорить — себе дороже, я громко заявила: «За любовь денег не беру». Дорого бы я сейчас отдала, чтобы снова увидеть его растерянное лицо и услышать скрипучее: «Но от книги же вы не откажетесь?!» Конечно, нет.

Теперь, к сожалению, только книги и остались...

Мои слова, они найдут тебя,
придут к тебе куда-нибудь, когда-то
в июльский зной иль в стужу октября,
в рассветный час или в огне заката.
Они придут когда-нибудь, потом,
и пусть их очертанья время стёрло,
они войдут в твой незнакомый дом
сердцебиеньем, перехватом горла.
На большее им не даны права,
и сам я прав особых не взыскую,
но ведь не я приду — мои слова,
а мне не удержать их ни в какую.
Не отвергай их, не гони их прочь,
не отводи растерянного взгляда.
Незванные, но как их ни порочь,
они слова — им ничего не надо.
Они придут без зова, не спросясь,
из памятных садов, с давнишних улиц,
восстановив утраченную связь
времен, где мы однажды разминулись.

Евгений Абдуллаев

Безвременье цикад

На нас, похоже, опять надвинулась Япония.

Тенденция: как только ныряем в очередное безвременье — возникает Япония. Сначала на писательском горизонте, потом и на читательском. Так было в период первой — столетней давности — моды на Японию, в серые годы меж двух революций. Так было в семидесятые — начале восьмидесятых. Чем замороженной жизнь, тем плотнее становился ряд японских книг на полках...

И последняя по времени волна. На переходе от «бурных» девяностых к «управляемой демократии» и «вертикали власти»... Все зачитывались Мищимой и Мураками (Харуки, но и Рю тоже).

Было, правда, в «японской» волне начала нулевых одно отличие. Япония перестала быть далекой, таинственной и недоступной. В ней побывали русские писатели, некоторые даже пожил. Впервые — если не считать Пильняка — появилась *русская проза* о Японии, написанная на основе непосредственного знакомства. «Только моя Япония» Пригова. «Алмазная колесница» Акунина. Пара японских рассказов Сорокина. «Ностальгия по Японии» Владимира Рецептора. Сборник уморительных баек «Жапоналия», написанный группой японистов...

И второе. В русской прозе появляются японцы. Уже не в виде экзотической массовки, а на ролях первого плана.

Одно уточнение. Я пишу эту колонку не для «Иностранки», и меня занимает сейчас не образ Японии, а образ *другого*. Другой в современной русской прозе. Человек другой нации, культуры, ментальности. Японец, американец, литовец, грузин, татарин...

Об этом была моя первая «барометровская» колонка три года назад¹. Она касалась, правда, больше «внутренних» *других* — живущих в современной России. Но в русскую прозу стали все чаще заглядывать и более «дальние». Американцы — у Валерия Бочкова и Михаила Идова. Афроамериканцы и африканцы — в повестях Александра Стесина. Датчане — у Андрея Иванова...

И это интересно — не столько как импортозамещение (американская проза об американцах продолжает переводиться), сколько как диверсификация. Как освоение русской литературой новых областей, куда прежде, при всей «всемирной отзывчивости», она не ступала.

Но вернусь к Японии.

В какой-то момент вроде бы Япония отступила. Где-то в середине нулевых. Объелись суши, обчитались Мураками. Высокая мода, как это часто бывает, съехала в сферу масскульта.

¹ Требуется «негр» // Дружба народов, 2016, № 4.

Но недавно снова замаячила японская тема. Снова, видно, стусилилось у нас что-то тягучее, буддийское.

Я имею в виду не столько новый пелевинский роман, «Тайные виды на гору Фудзи» (Япония там только в заголовке, ну и местами — как незримый контекст), сколько антиутопию Эдуарда Веркина «Остров Сахалин». Где Япония — единственная уцелевшая после глобальной ядерной войны страна; главная героиня романа — полуяпонка Сирень... Что еще? Анна Старобинец пишет новый роман на японском материале, действие происходит в послевоенной Манчжурии¹. Еще несколько «японских» рассказов разных писателей².

И с книгой Александра Чанцева «Желтый Агнус» (М.: ArsisBooks, 2018) — это уже вполне тенденция.

Об этой книге и хотелось бы сказать подробнее. О Пелевине и Веркине только ленивый не написал. Впрочем, и книга Чанцева не прошла незамеченной³.

О Японии — первая ее часть, «Время цикад». Рассказы, собранные в ней, выходили уже два раза. В 2008-м, в издательстве Сергея Юрьенена «Franc-tireur USA», и в 2012-м, там же и под тем же названием, только с добавлением «Revisited». Нынешнее издание, стало быть, «Re-revisited».

Читал эту часть, признаюсь, не только с профессиональным (рецензентским) интересом, но и с личным, ностальгическим. В Японии я жил почти в те же годы, что и автор, в то самое начало нулевых. Нет, не пересеклись, хотя круг «русских» (постсоветских) студентов был довольно узок. Чанцев студентствовал в Киото, я — в Иокогаме. Но студенческий быт тех лет, тусовки и попойки, чувство свободы и одиночества переданы в книге удивительно точно. И сама Япония, разумеется. С духотой, потом, магазинчиками «Family Market» и оглушительным треском цикад, встречающим каждого, кто попадает в Японию летом.

«Повсюду орали цикады, на полупустом полустанке рядом с каналом их стрекот звучал не хуже, чем в актовом зале со специальной акустикой, где их оркестру предстояло скоро выступить».

Это из рассказа «Поющее дерево», написанного от имени Масако, студентки киотского университета Рюоку. Изучающей китайский, играющей в университетском оркестре на тромбоне. Написано убедительно, интересно — именно как опыт авторского перевоплощения. Опыт не то чтобы совершенно новый — можно вспомнить нашумевшие «Мемуары гейши» Голдена (1997). Но в русской прозе ничего похожего не припомню.

Масако стоит после репетиции студенческого оркестра на станции и ждет свою электричку. Об этом, собственно, весь рассказ. Ее печальные наблюдения за остальными людьми на станции. Ее воспоминания. Крик цикад. Рассказ заканчивается тем, что к Масако клеится какой-то подвыпивший клерк.

«Он хочет купить меня, как какую-нибудь когяру. Перед возвращением к жене, если он женат <...>», — подумала она. В это же время она услышала, как тем незнакомым, недавно только поселившимся в ней голосом, к которому она толком-то и не привыкла, она скромно произнесла:

— Меня зовут Масако. С удовольствием».

¹ Сычи и барсуки. Анна Старобинец о зверях, фильмах и рецептах русского хоррора. Интервью: Владимир Березин // Сайт «Год литературы», 24 июля 2018 г. (<https://godliterature.ru/public-post/sychi-i-barsuki>).

² «Ладушки» Ольги Батлер («Урал», 2017, № 2), «По клеткам сказочной страны» Вячеслава Казакевича («Знамя», 2017, № 12), «Кораблики рыбацкого флота» Олега Глушкина («Зинзивер», 2018, № 1)...

³ О ней уже написали Наталья Черных в «Знамени», Ольга Балла в «Октябре», Игорь Фунт на сайте «Частный корреспондент»; а рецензия Василия Геронимуса на сайте «Текстура» даже тянет на мини-диссертацию.

Да, почти по Маяковскому: «Она решила отчетливо: "No!" / и глухо сказала: "Yes!"». Банально, и от этого еще более печально.

Япония Чанцева — страна печали и банальности, какой-то непрерывной тавтологичности происходящего. Красоты, экзотика умышленно стерты. Ни горы Фуджи, ни любование цветением сакур, ничего. Ни следа восхищения — напротив, бездны неpolitкорректностей. «...Их бедные рисовые мозги закорачивает — японцы не умеют думать о двух вещах одновременно». И все в таком духе.

И это нормально, так и происходит освоение «чужого». Как у Тарковского в «Ностальгии»: «Надоели мне все эти ваши красоты хуже горькой редьки!» Туристическая оптика уходит, остается оптика жизни *per se*. Горькая редька, она же — японский дайкон, в книге, впрочем, тоже не присутствующий.

Достается не только японцам — не жалуется автор и соотечественников.

«Компанию русских под предводительством шуплого японца в до пят дутой белой куртке видим сразу. Не узнать — невозможно. Господи, как же нас такими делают наши милые добрые мамы и старые интеллигентные папы, что нашу рожу везде и всегда узнаешь?..»

Это из рассказа «Добро пожаловать в Фукуяму», о съемках исторического фильма, куда «в массовку со всей Японии свезли русских». Русские в Стране восходящего солнца тоже напоминают цикад — громкие, шумные, живущие одним днем.

«И через полчаса уже в нескольких номерах сдвинуты привинченные к полу кровати, натащены стулья, дым выползает из-под двери в коридор, а между кроватей стулья. С картами и водкой. И эти разговоры... Эти разговоры, как достала Япония. Как кто жил в России. И про Чечню. Боже, как я ненавижу эти разговоры, эту гитару, эти тосты желающих всего-всего друг другу только что знакомых людей...»

Цитировать Чанцева легко и приятно, проза его — проза эссеиста. Особенно во второй части, где нарратив не так важен, и остаются только «опавшие листья», лаконичные и парадоксальные. «Мужчины за смыслом ныряют в песок, женщина — уходит в свой живот». «Запах ее вчерашнего дезодоранта, как прошлогодней листвы». «Луна в туалетной бумаге».

«В горах я гулял после завтрака. Однажды встретил старика-японца. Молча и улыбаясь, он подарил мне отломанную ветку с мандаринами. <...> И она долго еще лежала на книжной полке, рядом с пультом, засохшая — мандариновые листочки стали похожи на лавровые, а ссохшиеся мандарины — на елочные украшения».

Можно вспомнить известную фразу Мандельштама, что «вся «Мадам Бовари» написана по системе танок». Чанцев создает особую — японскую — русскую литературу; за русскими фразами просвечивают иероглифы-канджи.

И еще, напоследок, — об образе *другого*.

Япония, собственно, наиболее близкий (территориально) и концентрированный *другой*. Этот *другой* не просто соседствует — он периодами накатывает на нас, как волна. Находимся ли мы сейчас в начале новой волны? Может быть. *Щиранай...*¹

¹ Не знаю (*яп.*).

Ольга Брейнингер

Стереотипы про блогеров везде одинаковые

Давайте поиграем в игру «Кто сказал это о блогерах».

Кто такие блогеры?

Это «ставящие слишком высоко свое мнение низкоквалифицированные дилетанты».

«Это паразиты, питающиеся мейнстримовыми медиа».

Блогерство — это какое-то «любительское занятие».

Большинство постов «не отредактированы или торопливо пишутся в последний момент, и это заметно».

«Даже в самых лучших литературных блогах встречаются опечатки или недоформулированные мысли».

«Пока литературные блоги продолжают придерживаться низких представлений о журналистской этике, вопросы об их легитимности будут оставаться на повестке дня».

Согласитесь, есть ощущение, что любой из нас мог прямо вчера прочитать — что там вчера, только что — читал что-то подобное в фейсбуке. На самом деле все это — стереотипы о литературных блогерах, собранные в статьях *The Rise of the Literary Blog* («Взлет литературных блогов») Эндрю Стивенса («The Guardian», октябрь 2007 года) и *Litblogs Provide a New Alternative for Readers* («Литблоги — новая альтернатива для читателей») Скотта Эспозито («Rain Taxi Review of Books», лето 2005).

Статьи Стивенса и Эспозито представляют две относительно ранние попытки не столько разобраться, сколько зафиксировать появление нового феномена — литературного блогинга (самой первой попыткой, по мнению Эндрю Стивенса, была статья Стива Олмонда «Блогер, который меня ненавидел», опубликованная на сайте *salon.com* в 2005 году). Впрочем, вряд ли можно найти тот самый единственный текст, благодаря которому мир узнал все о литературных блогерах. С книгами — немного проще. Предположительно, первой попыткой изучить становление книжной блогосферы (в основном, британской) была «*The Bookaholics' Guide to Book Blogs: The New Literary Force*» («Гид книгоголика по книжным блогам: Новая литературная вселенная») авторов Ребекки Гиллирон и Кэтрин Килгарифф (Rebecca Gillieron & Catheryn Kilgariff), выпущенная Marion Boyars Publishers в сентябре 2007 года. На немецком языке в феврале 2008 года появилась «*Literarische Weblogs*» Маркуса Хедигера, Беньямина Стайна и Хартмута Абендшайна (Markus A. Hediger, Benjamin Stein & Hartmut Abendschein). И заметьте — обе книги выпущены до считающейся классической «библии блогера» «*The Huffington Post Complete Guide to Blogging*» (первое издание — декабрь 2008 года).

Генеалогию литературного блога в его современном формате большинство авторов возводит к началу 2000-х. Скотт Эспозито в уже упоминавшейся статье 2005

года пишет, что «большинство популярных литературных блогов стали появляться 12-18 месяцев назад». С тех пор феномен книжного блогинга и критика книжного блогинга продолжают параллельное развитие.

Вот, например, простая иллюстрация. В 2012 году появляется литературная премия для блогеров от Goodreads и Ассоциации Американских Книгоиздателей. И в том же году Питер Стотхард, глава жюри премии Букера 2012 года следует уже ставшей традиционной риторике: «книжные блогеры наносят урон литературе» и «могут убить литературную критику», — говорит он в интервью «The Guardian» (25 сентября 2012).

К 2018 году в мире появилось огромное количество премий для книжных блогеров самого разного масштаба и формата — от независимой блогерской премии Write Through The Night до премии Лондонской книжной ярмарки (в 2019 году ее, кстати, вручат уже в четырех номинациях: «Книжный блогер года», «Букстаграмер года», «Буктьюбер года» и «Книжный подкаст года»). В 2018-ом к блогерской лихорадке впервые (если не считать премий Ozon и Livelib) подключается и русскоязычный книжный мир. 17 ноября премию «Русские рифмы» в номинации «Лучший литературный блогер» получает Полина Федерякина с проектом «Читалочка». А 4 декабря на сцене дома Пашкова одновременно с «Большой книгой» впервые вручается премия «Литблог», за которую боролись 15 финалистов-авторов литературных блогов:

Власенко Евгения, г. Москва. Блог «КНИГАГИД»

Высочанская Анастасия, Грешилова Анна, Жуйкова Елена, Сёмина Анна, Токарев Алексей, г. Москва и г. Реутов. Блог «Не выходя из комнаты»

Закрученко Мария, г. Москва. Блог «Опыты чтения»

Котенко Вера, г. Ивантеевка. Блог «Книгиня про книги»

Куплевацкая Кристина, г. Ноябрьск. Блог «Книжная среда»

Левченко Оксана, Ребрикова Оксана и Фролова Анна, г. Москва. Блог «Книжный шкаф детям»

Леонтьева Татьяна, г. Москва. Блог «Страница Татьяны Леонтьевой»

Лисицына Евгения, г. Нижний Новгород. Блог «greenlampbooks»

Манойло Екатерина, г. Москва. Блог «120 дней соломы»

Марков Александр, г. Москва. Блог «Страница Александра Маркова»

Наумова Татьяна, г. Москва. Блог «Knigochervivost»

Пучков Виктор, г. Москва. Блог «Солома»

Рудченко Юлия, г. Санкт-Петербург. Блог «Страница Юлии Рудченко»

Секретов Станислав, г. Москва. Блог «Хорошие книги»

Тулинова Ксения, г. Чита. Блог «sammy_chita»

Победителя «Литблога» выбирали в два этапа. На первом этапе Экспертный совет премии под руководством Майи Кучерской и Марины Степновой вместе со студентами магистерской программы «Литературное мастерство» Высшей школы экономики разработал критерии отбора и сформировал список из 15 финалистов. На втором этапе работало конкурсное жюри, которое составили Галина Юзефович, Сергей Беяков, Роман Лейбов, Константин Мильчин и Артем Фаустов.

Для первой попытки вручить блогерскую литературную премию список финалистов получился довольно неплохо укомплектованным — в нем присутствовали блоги с достаточно разными форматами и читательскими аудиториями. Были блоги с десятками тысяч читателей и блоги, у которых пара сотен подписчиков; телеграм-каналы, паблики «В Контакте», блоги в инстаграме. Среди финалистов оказались блоги очень разного фокуса (от современной литературы до литературы и вина) и разного уровня профессионализма.

С другой стороны — в список финалистов вошли только блогеры, пишущие о книгах в диапазоне от high-brow до middle-brow, — то есть, представлен был крайне

узкий сегмент существующей литературной блогосферы. Кроме того, и заявка на премию поступила всего 61. При наличии сотен и тысяч книжных блогов — это, конечно, крайне мало. Впрочем, если конкурсный отбор осуществлялся на основе представленных блогером полноценных «рецензий» (а не читательских «отзывов»), то и шансов пройти у тех самых сотен и тысяч книжных блогов практически не было.

В основной номинации премии «Литблог» победила Евгения Лисицына (г. Нижний Новгород), автор телеграм-канала greenlampbooks.

Канал Евгении Лисицыной (greenlampbooks) — очень харизматичный. В нем происходит много всего: Евгения рассказывает о книгах и о своей жизни, ищет работу, читает по рекомендациям подписчиков их любимые рассказы и старается читать все книги из шорт-листов литературных премий. Все это живо, смешно, интересно, неформатно. Пожалуй, главное в блоге greenlampbooks — это фирменные «пятюни» из прочитанных Лисицыной романов — 5 главных (и зачастую афористичных) тезисов о романе. Эти пятюни, собственно, и делают блог greenlampbooks.

Вот, например, пятюня имени «Выбора Софи» Уильяма Стайрона.

1. Писатель, у которого не хватает жизненного опыта, вряд ли сможет создать глубокое произведение даже будучи отлично образованным. Это не про Стайрона, а про его героя.

2. Если наблюдать за трагедиями издали, сидя в уютном кресле и попивая какао, то они ужасают только на миг, а потом кажутся ненастоящими, происходящими не с живыми людьми.

3. Психологические мучения страшнее многих физических, потому что шрамы от них будут болеть всю жизнь, как в первый день. Если не сильнее.

4. Казалось бы, американскому народу так просто провести параллель между чернокожим рабством и фашистским геноцидом. Ан нет. Очень редко проводят.

5. Девочки не будут любить тебя за то, что ради них ты в лепешку расшибаешься. Причины их любви глубоко индивидуальны и завязаны на личных тараканах, так что даже не ищи успешную формулу оболыщения и не трать на это время.

Концентрированное очарование литературы, мемов и тщательно отмеренной саркастичности тона.

В специальной номинации председателя жюри Галины Юзефович «Подпишитесь прямо сейчас» победил телеграм-канал Веры Котенко (г. Ивanteevka) «Книгиня про книги».

Канал «Книгиня про книги» Веры Котенко шире по охвату тем, больше тяготеет к лонгридам и острее на язык. У Книгини можно найти, помимо читательских отзывов, посты про литературные новости, книжные премии, кино и многое другое (особенно рекомендую рубрику #бескультурные_новости) — и все это довольно дерзко, без скидок на авторитеты; то есть, с той самой смелостью и бескомпромиссностью, которые периодически истончаются в профессионализированной литературной среде, но потом появляется очередное поколение готовых сбрасывать всех и вся с парохода современности, заново запуская историю о статусе-кво, отцах и детях и дерзких новичках.

Вот только на этот раз дерзкие новички — это не только новое поколение критиков, но и новое поколение «людей со стороны»: блогеров, которые вроде бы и работают на том же материале, что и критики, обозреватели и литературоведы — но живут в параллельной литературной вселенной. Впрочем, и блогерская вселенная — весьма неоднородна; в диапазоне от инстаграма до телеграма различия иной раз радикальны, отношения между автором и текстом сильно различаются, а между автором и читателем — вообще строятся на разных принципах. Настолько, что даже появляются теории заговора о «текстовой элите телеграма» против «визуального мейнстрима инстаграма». О них — в следующем выпуске.

Путь к родным истокам

В Международном детско-юношеском литературном конкурсе им. Ивана Шмелёва «Лето Господне», учрежденном в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, участвуют школьники 6—12 классов общеобразовательных и православных школ, гимназий и колледжей России, стран СНГ и Зарубежья, а также воспитанники воскресных школ и учреждений дополнительного образования.

Сегодня победители конкурса 2017—2018 годов — гости журнала «Дружба народов».

Ульяна Бойчевская (г.Тобольск, 9-й класс)

Невыносимый смертный час

Победи себя и станешь непобедим.

А.Суворов

Соня проснулась в камере предварительного заключения. Со стен стекала неприятно пахнущая вода. В ушах что-то звенело. Вспомнились курсы разведчиков, стрельба, взрывы, бег по окопам, которые не оставляли ничего живого. Вражеский тыл. Надпись на воротах концентрационного лагеря «Arbeit macht frei» («Труд делает свободным»).

Первая ночь в бараке на нарах. Соню бил сильный озноб. Помогала только лежащая рядом женщина, которая горела от высокой температуры, согревала, как печь. Сонечка провалилась в сон, но очнувшись от холода поняла, что ее спасительница отошла в мир иной.

Номер на руке, который так больно накалывали. Очереди из тощих, измученных людей якобы в баню, но ни для кого не было секретом, что это газовая камера. Фашисты издевались, выдавали мыло. Вспомнила, как спасали мальчика, которого вместе с матерью должны были отправить на страшную мойку. Они передавали его друг другу, запрещали плакать, когда он видел удаляющуюся мать с блестящими от слез глазами.

Удивлялась... Как в почти не имеющих человеческого облика заключенных, измученных работой, которая на самом деле не дает никакой свободы, остались все человеческие чувства. Память и тело не дают забыть тачку с камнями, напоминающими фашистское сердце, которую с каждым днем было все труднее поднимать. Угрожающий

лай собак, когда привозили новую партию заключенных. Противные возгласы: «Schneller! Schneller!» («Быстрее! Быстрее!»).

Были и те, кто не мог больше терпеть издевательств. Они бросались на колючую проволоку, по которой проходил электрический ток, пораженные падали на землю. Но не смотря на весь ужас происходящего, Соне хотелось жить. И даже ту капсулу ее крепкого разведческого прошлого, которая была вшита в белье, она не решилась проглотить. Хотя и знала, что сдаваться в плен было нельзя. Вспомнила, как их гнали в Германию. Советская армия наступала. Кто мог идти — шел, а кто не мог... того расстреливали в упор. Фашисты торопились, им не хотелось встречаться с нашими войсками. Ночью Соне удалось спрятаться в сене. Утром нацисты зашли в сарай, потыкали в сено прикладами и погнали заключенных дальше из Освенцима. Сонечке опять повезло, видно, сильно молилась о ней мать на далекой Родине.

Пожилая полька, вошедшая утром в сарай, оказалась доброй и верующей: «Matka Boza!» («Матерь Божья!»), — закричала она при виде скелетообразной Сони с налысо постриженной головой. Старушка накормила ее и напоила парным молоком. Так и дождались прихода советских войск. Услышав русскую речь солдат, Соня бежала, целовала их пыльные сапоги и плакала от счастья.

И вот теперь она здесь, в тесной камере. Снова капает вода, только уже не со стен, а бежит по щекам. Она — «враг народа», так сказал ей военный следователь. Теперь ей не хочется жить. Она закрыла уставшие глаза и погрузилась в мрачную пустоту. И вдруг в эту пустоту светлым лучом проникло давнее прошлое.

Строгая мама, отец с чувством мужского долга и достоинства. Старинный дом, напоминающий детскую сказку. Антикварный рояль. Когда мама играла, из-под ее пальцев выскакивали пестрые нотки мажорных мелодий, а порой наоборот — выплывали минорные тональности. Икона на стене, журналы с буквой «ять», потускневшие фотографии Царя и Царицы. Рассказы о Царской семье, которые записывались от руки маминым каллиграфическим почерком, передавались из рук в руки.

Прямо перед глазами появилась любимая из них — Ольга. Ее внимательный, умный взгляд. Ее добрые, чистые глаза. Прямая осанка и тонкая улыбка. Вспомнились ее любимые стихи «Молитва»:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину бурных мрачных дней
Сносить народное гонение
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

И в дни мятежного волнения
Когда ограбят нас враги,

Терпеть позор и оскорбление,
Христос Спаситель, помоги,

Владыка мира, Бог вселенной,
Благослови молитвой нас...
И дай покой душе смиренной
В невыносимый смертный час.

И у преддверия могилы
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы —
Молиться кротко за врагов...

Соня выжила. Все одиннадцать лет, проведенные в Казахстане, в Карагандинском женском лагере, несмотря на унылую степь, на унижения, на разлуку с родными, на то, что рядом были разные люди (но добрых и отзывчивых оказалось больше), образ Ольги незримо присутствовал с ней в самые трудные минуты жизни. А в сердце звучала «Молитва».

Эту историю рассказала мне бабушка, а храбрая девушка Соня — она сама. Конечно, не сразу прошли годы. Но молитвами своей небесной покровительницы и старенькой мамы, что ждала ее в родном городе под Москвой, Господь и Соне даровал силы «молиться кротко за врагов».

В начале было Слово...

Владыке Димитрию посвящается

Витька долго бежал по железнодорожной насыпи. Одни камни укатывались из-под ног, другие попадали в широкие ботинки. Он бежал, пока не услышал стук приближающихся колес, но хотя устал и дыхание было на исходе, не мог остановиться. Он услышал крик:

— Поезд! Прыгай!

Витька свалился вниз, ударился обо что-то твердое головой и уже не видел, как к нему подбежал мужчина в оранжевой безрукавке:

— Скорее! Скорее! — кричал рабочий. Это были последние слова, которые услышал Витя...

Очнулся он в чужой комнате. Диван был мягкий, подушка пахла чем-то свежим и приятным, в комнате было тепло, но не душно, в голове у него пронеслась вся его маленькая жизнь. Детский приют, шлепки за игры в догонялки, за просьбу положить добавки и даже за молчание. Вспомнились постоянное желание есть и добрые глаза старой нянечки, которая по вечерам, в свое дежурство, тайком приносила ему сахарное печенье.

Всем хотелось называть кого-то мамой. И обычно так ласково и просто называли воспитателей. А Витьке хотелось называть так нянечку, но он не посмел...

После был интернат. Серый, унылый, скучный, а порой и жестокий. Уже в нем Витя узнал о существовании отца, который отбывал срок в тюрьме, но это не произвело на него большого впечатления. Витька больше думал о матери. Она представлялась ему красивой, нежной, доброй. Но Серёга, который был старше его и прошел «школу жизни» на вокзалах, сказал:

— Хорошая мать дитя не бросит.

Витьке стало обидно, он проплакал всю ночь, понимая, что в словах друга есть часть правды, и больше уже ни с кем не делился своими мечтами о матери. Но и на Серёгу не обижался, ведь и не за что... Витька был «щенок», так назывались приютские, а Серёга — «батёк», но он не зазнавался и не давал Витю в обиду. Пока они жили в интернате и их койки стояли рядом, жизнь казалась вполне сносной.

Однажды Витьке сказали, что приехал его отец. Он обрадовался, но не отцу, а надежде узнать что-то о матери. Отец пришел худой, изможденный, с неряшливой щетиной и наколками, принес сок и печенье. Они вышли за ограду интерната и сели на скамью из хрустящего, ломкого дерева. Отец достал сигареты и спросил Витьку: «Будешь?». Сын покачал головой. Подумав, отец закурил.

Витя даже не помнит, что тот говорил ему. Вроде про то, что вот найдет работу, купит жилье и заберет его. А Витька все думал: «Как спросить про мать?» Но отец сам сказал:

— Мать-то совсем спилась...

— Где она?

— Да под горой живет.

— Отвези меня к ней, — с блеском в глазах попросил Витька.

— Зачем? — удивился отец. — Что тебе там делать? Бутылки считать?

Но все же согласился. Всю дорогу Витя представлял себе встречу с той самой, кого сможет назвать мамой.

Вот они вошли в дом. Бутылок и правда было много. Назвать домом то, куда его привел отец, было невозможно, только трущобой или развалюхой. Выбитые окна были заткнуты грязным тряпьем. Он приготовился увидеть ее пьяную, некрасивую, с

дурным запахом, но родную. Обнять ее, прижаться и почувствовать до боли знакомое тепло. Но матери дома не оказалось...

Витька заплакал...

— Чего ревешь? — спросил отец.

И рассказал, что мать родила Витьку после того, как его посадили, в пьяном угаре. И чтобы всякая мелочь не мешала ей жить — выбросила ребенка в окошко. Его подобрала соседка и отдала в детский приют.

Витя не обиделся, не ужаснулся, ему еще больше стало жаль мать. А потом отца снова посадили... Но бедный мальчик даже и не допускал в мыслях счастливой жизни рядом с таким отцом, ведь каждое его слово казалось ему пустотой.

Витя снова вернулся в интернат, и его безрадостное существование продолжалось, но недолго. За Серёгой приехал старший брат, и на тихого, немногословного Витьку обрушилась «батьковская» потеха. Ему лили воду в кровать, обзывали. А когда стали выбрасывать одежду, стало невыносимо тошно, и он решил сбежать....

Воспоминание прервала скрипнувшая дверь, вошедшая женщина увидела, что Витька открыл глаза, и обрадовалась. Потом его куда-то повезли, но он был так слаб, что даже от запаха еды тошнило и все время хотелось спать. Ему было все равно, куда ехать, только не в интернат. Хоть на свалку, хоть ту развалюху, где жила мать, только не обратно к шлепкам, холодной воде в кровати и голоду.

Его привели к большому зданию, похожему на старинный замок. Оно было светлое с огромными крестами на макушках золотых, сияющих куполов. Там был приятный полумрак, и пахло чем-то сладким, он сразу вспомнил нянькино печенье, звучало красивое и успокаивающее душу пение. Витьку куда-то посадили, и он провалился то ли в сон, то ли в беспамятство. Очнувшись он от яркого света. Чей-то громкий голос торжественно произнес:

— В начале было Слово!

Говорилось что-то еще, но Витька от слабости закрыл глаза. Он уже не спал, а думал: «Как это — слово?» И вдруг вспомнились глаза седой няни, нежные, добрые, полные любви. Он пытался вспомнить ее слова, но не мог... Да и были ли они? И вспоминая ее, думал: «Нужны ли вообще эти слова? Поучительные, строгие, ругательные, равнодушные, даже гадкие?». Ведь без всяких слов он мог чувствовать любовь к матери, которую никогда не видел. Даже к Серёге!

В начале у него была серая, голодная жизнь, слова звучащие, но ничего для него не значащие. Теперь началась другая жизнь. Его подвели к необыкновенно одетому человеку и велели поцеловать ему руку, но Вите не хотелось. И вдруг он ощутил на своей голове эту руку. Теплую, ласкающую, и... заплакал.

— Это Владыка, — сказали ему.

Витька поднял голову и увидел добрые глаза, нежно глядящие на него. И уже ничего не видя от слез, прижался к нему всем своим худым тельцем.

Потом была учеба в православной гимназии. Житье-бытие с такими же, как он, мальчишками. И был Храм. Весь в золоте и росписях, похожий на сказочный корабль. И Владыка с добрыми глазами. И много разных слов, но он вскоре понял, что не все они настоящие, потому что уже знал продолжение Евангелия:

«...И Слово было у Бога. И Слово было — Бог!»

Ксения Цыцына (г. Нижний Новгород, 9-й класс)

Путь к родным истокам

Русь Святая! Храни веру православную,
в ней же тебе утверждение.

*Стихира Недели Всех Святых,
в земле российской просиявших*

Лето! Я покидаю Нижний Новгород и отдыхаю на Рязанщине, в селе с необычным названием Мышца. Счастливейшие дни! У меня есть прекрасная лошадь, арабский скакун по кличке Гвадиана. Она изящная, темно-коричневого окраса, с длинным роскошным хвостом, быстрая, как стрела. Рано утром я люблю мчаться на ней галопом по росе ромашкового поля, вдыхать свежий воздух, запах трав, леса и теплой сырости. В эти моменты я лечу, как птица, и нет забот. Блаженство, восторг, свобода-а-а! Мне нравится просыпаться под звуки пения птиц, мычания коров, а засыпать, выпив кружку парного молока. Это закон для всех детей!

А как у нас весело, ни за что не соскучишься! Захожу на скотный двор. Свинья Матрёна, недавно лишившаяся всех своих поросят, долго не понимала, куда ей направить нерастрченную любовь. И надо же! Наконец нашла: объектом ее нежности явился наш теленок Моцарт. Ежедневно Матрёна, такая огромная, упитанная, стояла на задних копытах и тщательно вылизывала Моцарта. Этих «влюбленных» еще долго не могли потом разлучить. А старая коза Земфира родила своего последнего козленка мертвым и очень горевала, даже замкнулась как-то. В это же время одна из овец «невзлюбила» одного ягненка, била и толкала его. И — о, чудо! К этому подкидышу тихонько подошла коза Земфира и «усыновила» его, выкормила и «воспитала», как родного!

Мышца стала для меня родным местом. Вот уже десять лет, как мой папа Николай — фермер в этом селе. Он любит свое дело, папа в нашей семье — главный экспериментатор. Недавно даже брынзу с другими сырами стали производить. На ферме трудятся доярки, пастухи, трактористы, производственники молочной продукции. Каждый из них занят своим любимым делом. Недавно папа выкупил два поля с заливными лугами на берегу Оки. Теперь мы с братьями ждем-не дождемся, когда вместе поедем на сенокос.

Как-то вечером, уютно устроившись вдвоем с папой у камина в нашей деревенской усадьбе, я спросила, почему именно здесь, в рязанской глуши, открыл он свое хозяйство. В ответ папа привел мне слова Д.С.Лихачёва: «Запомни, дочка! Не здание даже нужно человеку, а здание в определенном месте. Я давно хотел рассказать тебе мою историю, вот и случай представился!» Я, затаив дыхание, приготовилась слушать. Рассказ свой папа начал неожиданно. Он дал мне в руки старинную фотографию и сказал, что именно с нее и начался его путь к родным истокам.

«Десять лет назад все в моей жизни, дочка, было по-другому, — сказал задумчиво папа. — Тогда я особенно и не задумывался о том деле, которым занимался в Нижнем. Бизнес, командировки, переговоры, совещания, высокий доход. По современным меркам, я был успешным человеком». — Папа подбросил дров в камин. От теплого света огня фотография в моих руках как будто ожила: на меня весело смотрели девушка и парень, молодые и красивые. По иконкам в их руках и церкви на заднем фоне можно было догадаться, что они молодожены, а фотография сделана в день их венчания. На обратной стороне была надпись: «Алёшины, Мышца, 1909 г.». Это были прадедушка и прабабушка моего папы, Дмитрий и Евдокия Алёшины, о которых он ничего не знал, и на Мышце прежде никогда не бывал.

Я продолжаю рассказ моего папы.

— Неужто я Иван, не помнящий родства? — с такой мыслью папа в ближайший погожий день, прихватив с собой старый семейный снимок, помчался на Рязанщину разыскивать село со странным названием Мышца. Когда-то, прочитав папа, в Мышце была церковь в честь Николы Чудотворца с пределом в честь святого Димитрия Солунского, в составе прихода числилось 2249 душ, мужских и женских. И папа отправился искать это село с этой церковью. Из окна автомобиля он с интересом оглядывал рязанские окрестности. С одной стороны ему открывалась красота и величие русской природы. С другой стороны бескрайние поля пахотной земли заросли березками, вокруг мелькали покосившиеся избы с разбитыми окнами. В разрушенных зданиях колхозных ферм не видно ни коров, ни лошадей — пустота... Все колодцы-«журавли» заросли, заилились.

Добравшись наконец до родного села, папа стал искать жителей, стучаться в старые дома. Никого... Он попытался найти большой красивый храм, что был на старой семейной фотографии, а нашел только остатки фундамента. Горько, нелепо, до слез обидно... С такими думами присел папа на большой валун, оставшийся от разрушенного храма. Рядом был старый погост. «Может, хоть могилы прабабушки и прадедушки смогу найти здесь и поклониться им?» — раздумывал он, глядя на старую венчальную фотографию.

«Ангел храма тоже плачет от этой разрухи», — сказал неожиданно вышедший на поляну из-за деревьев старик. «Ты, сынок, чей будешь? Местный аль заезжий?» — с интересом спросил дед, опираясь на палку. Встретить здесь живую душу было и радостно и неожиданно. Поздоровавшись со старичком, папа спросил, не слыхал ли он про Алёшиных, его родных, и фотокарточку показал. Долго старик рассматривал фотографию, но все же признал наших родных: «Хорошие они были люди, крепкие. Дед Дмитрий, тот конюхом в колхозе был, тракторов-то ведь до войны не было еще. Землю сами вот этими руками пахали. А тетка Евдокия на пекарне хлеб стряпала на всю деревню. Эх, и вкусный был хлеб, такого уж нам не попробовать!»

— Так, значит, и пекарня своя, и конюшня, и колхоз здесь был, и храм действовал? — задумчиво спросил папа.

— Что ты, сынок, а работали как все! Спозаранку все колхозное упрямишь, а уж потом у себя в избе. А тут у каждого по пять-десять ребятишек, хозяйство свое: корова, телка, овцы, козы, утки... Травы-то, бывало, нигде на полях не найдешь, в лесу все выкашивали на многие километры. А твои-то, Алёшины, я слыхал, и при царе еще крепкое хозяйство имели, батраков нанимали, недаром тетку Евдокию еще все барынькой у нас потом звали. Да раскулачили их, конечно. Трудились, как все, усердно, в почете даже были.

Колокольный звон на всю округу раздавался, мальчишкой я еще тогда был. Да... Разрушили храм, сожгли ... нашлись охальники! Но правильно в народе говорят: «Бог долго терпит, да больно бьет!» И года не прошло — все разрушители заживо сгорели в пьяном угаре. Пойдем, я покажу могилы ваши, ухаживаю потихоньку, одишечек остался я. Уныло доживаю свои деньки, — окончил свой рассказ старик.

Дедушка ушел, и папа остался один на старом погосте возле разрушенного храма, где когда-то венчались его предки. Удивительно, но в тот момент он почувствовал рядом с собой невыразимое тепло и благодать, как-будто ангел укрыл его своим крылом. Ведь православное предание гласит, что ангел-хранитель дается не только каждому человеку при крещении, но и каждому храму. Ангел, говорят, ликует, когда народ молится в храме, он же горько плачет, если храм разрушается. Считается, что даже на пепелище ангел храма не может покинуть свой дом и молит Бога о возрождении храма.

И папа признался мне, что у него есть мечта — восстановить наш храм! Даст Господь, и исполнится задуманное, ибо сказано в Евангелии: «Просите, и дастся вам, ищите и обрящете...» Но для этого надо усердно работать и молиться! Мне верится, что по милости Божией и по молитвам ангела-хранителя храма «прикосновение» к родным местам положило начало перерождению души дорогого мне человека и возрождению заброшенного уголка рязанской земли!

После той поездки папа выкупил родную землю, построил ферму, дал работу многим местным жителям. Приезжайте к нам в гости, и вы воочию все увидите! Сергей Есенин точно про наш рязанский уголок когда-то написал:

Гляну в поле, гляну в небо —
И в полях и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.
Снова в рощах непасёных
Неизбывные стада,
И струится с гор зелёных
Златоструйная вода.

Сейчас наша семья живет и в Нижнем Новгороде, и на Рязанщине. Тот «переворот» в жизни нашего папы — главы семьи — отразился и на всех нас. Мы с братом закончили воскресную школу и сейчас поем на клиросе в храме Владимирской иконы Божией Матери! Невозможно описать тех чувств, которые испытываешь, славя Господа на Воскресной Литургии!

Моя мама мечтает, чтобы я поступила в регентскую школу при Московской Духовной академии, «под Покров Преподобного Сергия Радонежского!» — говорит она. Я же пока не определилась в своем жизненном пути, но знаю точно, что на примере моих родителей своим трудом буду стараться приносить пользу людям. Есть у меня и увлечение — интерес к русской культуре, быту крестьянских людей. Настоящим открытием стала для меня книга Василия Белова «Лад»! Я узнала, что быт и труд крестьянина был налажен годовому богослужебному кругу. Говаривали, например, что «ежели Евдокия (14 марта) напоит курицу, то Никола (22 мая) накормит корову». Отдыхая, крестьянин всего лишь «переводил дыхание», менял тяжелый труд хлебопашца на более легкий, ремесленный: плотничал, копал колодцы, был печником, гончаром, каталем (изготавливал валенки)... словом, был «и швец, и жнец, и на дуде игрец»!

Прочитанную народную мудрость я стараюсь подсказать и папе. Например, по примете, сев надо успеть до момента, когда сквозь крону березы еще проходят лучи солнца. Если же, стоя под деревом, смотришь на небо, уже не щурясь, то продолжать сев бесполезно. Папа прислушивается, вот и ладно!

В своем сочинении я постаралась показать, как важно нам знать свои «истоки», русскую культуру, никогда не забывать, что Россия всегда была и должна оставаться аграрной страной! Любить землю русскую — это все равно, что любить свою маму! Без нее или вдали от нее человек не может быть по-настоящему счастлив! И я думаю, если бы в каждой нашей семье нашелся такой же добрый и трудолюбивый человек, как мой папа, то в скором времени мы бы не увидели наших заброшенных деревень и по-новому расцвела наша Россия!

Ульяна Фролова (г.Калуга, 9-й класс)

Богом данная

Есть на свете дивное место — Смоленщина. Тихое, проникнутое светлой печалью, видевшее войны и боль, слово, впитавшее в себя историю всей страны и каждого отдельного человека. Кажется, всего двести километров от Москвы — а жизнь совсем другая, люди другие.

Недалеко от Вязьмы расположена маленькая деревня Темкино. Именно здесь еще совсем недавно жила старица Макария. За свою жизнь она перенесла много ужасов и лишений, боли и предательства, страданий и несправедливости, но у нее была неиссякаемая вера, спасшая ее и спасающая теперь нас.

Старица родилась одиннадцатого июня тысяча девятьсот двадцать шестого года, в день Отдания Пасхи. Нарекли ее Феодосией — «Богом данной». В день крещения, крестной было видение, что крестить новорожденную нужно в церкви великомученика Георгия. Отец Василий, совершавший обряд, сказал, что девочка жить будет, а ходить — нет. Слова эти оказались пророческими.

Когда будущей старице было восемь лет, она заснула, а утром разбудить ее не смогли. Душа ее в это время пребывала в раю, и ангел-хранитель показывал ей райские цветы, сады и красные-красные яблоки. Ступив на райскую землю маленькой девочкой, она всю жизнь продолжала на ней незримо стоять. А не потому ли не могли ее ноги ходить по нашей грешной земле? Невозможно, коснувшись однажды трав в Царствии Божием, ступить на грязные и пыльные дороги мира сего.

Феодосии было пятнадцать, когда началась война. Какое же это страшное слово — война. Колкое, холодное, жесткое. Его произносят — и я словно наяву слышу плач, крики матерей, потерявших своих детей, вижу, как, прощаясь на вокзале, девушка сжимает руку своего любимого. Как же жутко провожать в никуда, не зная, увидишь ли ты еще когда-нибудь родное лицо. Война — это не политический ход, это сломанные судьбы, это энциклопедия мужества и настоящей любви. Миллионы людей. Миллионы разных трагедий. Одна из них — история Феодосии, которую бросили умирать в холодном доме самые близкие — мать и сестры. Вскоре она и вовсе оказалась на улице. Одна. Зимой, в одном только легком платьице. Так продолжалось два года.

Ей было пятнадцать лет, как мне сейчас. Я считаю себя сильной и стойко переносю жизненные трудности, но, случись со мной такое, я бы сдалась. У меня нет той огромной веры, которая помогала Феодосии непрестанно молиться и благодарить Бога. Есть снег, но верить, что благодать Божия не оставит ее. И ей явилась Дева Мария, пообещав, что не будет больше голодной и холодной жизни, а добрые люди заберут девочку в свой дом.

Спустя годы ее постригут в послушницы с именем Тихона, а еще позже она станет схимонахиней и примет имя Макария. И будут приезжать к ней многие и многие люди, прося помощи, совета и любви. Ведомо ли людям, какой ценой помогала им старица? А ведь все горести она забирали на себя.

Сильно болела матушка. Уже к двадцати годам у нее выпали все зубы, почки были простужены (это страшные военные зимы напоминали о себе). Как это странно — приходить со своими проблемами к человеку, которому в десять раз хуже, больнее и страшнее, чем тебе. Но люди шли. А она всех принимала, всем давала маслице и водичку с источника, которые исцеляли даже самых тяжелых больных. Матушка ведь не просто давала людям советы, она каждого сохраняла в своем сердце, за каждого переживала, как за самого родного человека. Она любила всех с невероятной самоотдачей, вся жизнь ее была в любви.

Юрий Гагарин часто приезжал к матушке. Как она говорила сама, приезжал не лечиться, не просить помощи, а помогать ей. Как же это просто, оказывается, как правильно, увидеть в Святой старенькую больную бабушку, которой очень надо помочь с пенсией и привезти врачей. Говорила матушка Юрию: «Не летай, нельзя тебе летать», — а он не послушал. Старица молилась о его душе всю оставшуюся жизнь.

Преставилась матушка двадцать четыре года назад, а люди к ней все идут и идут. Сядут на скамеечку у могилы и что-то шепчут. Часто — плачут. Мне всегда кажется, что матушка, вот она, рядом, стоит, по головке поглаживает и тихо говорит: «Не плачь, Господь поможет».

Семья моего отца родом из Темкино. Моя бабушка хорошо помнит матушку. Я, слушая ее рассказы, часто думаю о том, как же это удивительно — святой рядом. Когда я молюсь, мне кажется, что все Божие Угодники далеко, практически в другом мире, не могут они жить в одних городах, деревнях и селах с нами. А старицу вспоминаешь и думаешь — она рядом, совсем близко к моей семье, к папе, к бабушке, ко мне тоже, наверное. Словно этим сам Бог со мной говорит через нее. Я бываю в Темкино каждое лето. Прихожу на кладбище и долго сижу у могилки схимонахини, и смотрю на цветы

у ее могилки в лучах закатного солнца. Такая благодать накрывает, словно моя душа уходит в райские кущи и гуляет там вместе с матушкой. Пройдет совсем немного лет, и старицу причислят к лику Святых, еще больше паломников станет приезжать к ней, а в селе будет монастырь. Дай Бог.

Почему я пишу о ней, как о мученице? Была матушка ей в полной мере. В жизни своей она терпела горечи, но никогда не теряла веры, всегда зная, что Бог не оставит. И всю душу свою положила она на алтарь служения Господу и людям — всем и каждому. Всю жизнь ей было больно и тяжело, и это есть истинное мученичество, проявляющееся в каждой секунде жизни, в каждом вдохе.

Я католичка, никогда не чувствующая себя «своей» в православии, мне чужды византийская иконопись и церковнославянский язык, а Собор Святого Петра в Ватикане и Розарий — родны и понятны. Но навсегда в моем сердце останется трепетная любовь и нежность к этим смоленским краям, деревянному храму в нашем селе, к часовне у родника. И к матушке. А еще к людям, которые, живя рядом с ней, носят в своей душе частичку ее любви ко всему миру.

Святая Макария, моли Бога о нас!

Иветта Меликян (г.Кисловодск, 11-й класс)

Посвящается бабушкиной библиотеке

Вступление, где я объясняю фавбу происхождения

Мне было девять лет. Из окна бабушкиного деревянного дома, который сейчас в моих воспоминаниях похож на калейдоскоп морщинистых рук в серовой муке, неказистых кактусов, жуков, живущих под половицей, пузатых банок с булькающими помидорами, улыбок многочисленных родственников, чьи лица и имена я давно позабыла, был виден лес. Я очень любила этот дом, и он отвечал мне взаимностью, приоткрывая тайны домашней библиотеки, где было так много книг, и каждая была интересна мне, девятилетнему ребенку.

Тогда я жила в этом домике на окраине леса каждое лето, и каждое лето дарило мне что-то новое: будь то осознание, что ходить среди чащ и болот одной не совсем благоразумно, или же понимание того, как часто что-то важное человек узнает от случайной книги, странного происшествия, а порой того и другого вместе. Увы, но не существует на свете школьного предмета, который точно расскажет тебе, что на свете важно, а что не очень, почему в мире так много песен про любовь, но мало про серых влажноглазых лошадей, почему сегодня тебе грустно как никогда, а завтра ты будешь считать себя самым счастливым человеком на свете, отчего у тебя на завтрак есть каша и булка с чаем, а у других детей только вечное чувство голода. Все это можно лишь почувствовать, осознать благодаря хорошей книжке, помощи ближнему, мудрым словам учителя... Это все не входит в систему, не поддается чередованию и может настигнуть тебя даже на уроке алгебры. И все это кажется таким же сумбурным и интересным, как книжная полка в доме у моей бабушки. Поэтому все мои короткие истории, которые здесь описаны, совершенно не связаны друг с другом, но вместе они — синтез случая и прочитанной литературы. Вместе они что-то да значат, такой вот парадокс.

Христос Воскрес!

Я стояла на клиросе и слушала, как откуда-то из сердца хора доносятся чудные молитвы, сама же я пела плохо, но очень умело это скрывала. Для меня это была

особенная служба, ведь впервые за много лет мне удалось уговорить маму пойти на Всенощное Пасхальное Богослужение. И вот я стою в полумраке храма, смотрю на горящие свечи, прислушиваюсь к тишине и вспоминаю, как каждый год на Пасху лежала в своей кровати и плакала оттого, что, когда воскреснет Христос, я об этом не узнаю, а потом сама же себя упрекала, говоря, что в такой праздник плакать нельзя. Одним словом, мне было не до сна, а когда лежать становилось совсем невмоготу, я бежала к окну и распахивала его, как можно сильнее.

Каждая такая ночь была похожа на раннее утро, на небе неясными очертаниями горели белые звезды, а легкий ветерок шекотал мне нос. Было так беззвучно, что я слышала накаляющуюся в воздухе тишину, и когда она доходила до предела, то неизвестно откуда раздавался радостный колокольный звон, который своим «динь-ди-ри-дон» разгонял ночь, и я начинала очень неумело петь пасхальный тропарь. И этих глупых слез на моем лице уже не было видно, а вместо всепоглощающей жалости к себе я чувствовала небывалый покой.

Но вот я в храме, и из алтаря уже выносят хоругви. Все спешат к выходу, оставляя одиноко догорать свечи. После крестного хода, где даже я осмеливаюсь петь во все горло, люди снова возвращаются в храм и целуют друг друга, обнимают, и только и слышишь кругом, как эхо от эха: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». В это время я, от кончиков пальцев до самой макушки, — вся радость и счастье, и когда оглядываюсь по сторонам, то вижу многочисленные улыбки. Мне вдруг становится интересно, а улыбался ли Спаситель мира, радовался ли, был ли хоть раз весел? Ведь Священное Писание повествует нам, что Сыну Божьему было свойственно все людское, кроме греха. Как часто в молитвах звучит «Радуйся!». Если и улыбался Христос, то, пожалуй, это было похоже на саму Весну, на что-то очень светлое и искрящееся, на горную реку, которая переливается под лучами рыжего солнца, словно алмаз. Может, мы представляем Бога серьезным и хмурым только потому, что совершенно не даем Отцу Небесному повода для радости. Наверное, прав был Дмитрий Мережковский в своем стихотворении «Христос Воскрес — поют во храме..», когда писал:

Пусть на земле не будет, братья,
Ни властелинов, ни рабов,
Умолкнут стоны и проклятья,
И стук мечей, и звон оков, —
О лишь тогда, как гимн свободы,
Пусть загремит: «Христос Воскрес»,
И нам ответят все народы:
«Христос воистину Воскрес!»

Но Пасхальная Литургия почти подходит к концу, и на улице, как будто стесняясь, восходит солнце. Всю оставшуюся службу я только и молилась, неумело, по-детски, сбиваясь и путаясь, но стараясь изо всех сил, молилась о Божьей радости за нас, все повторяя эти последние строки стихотворения Дмитрия Мережковского.

Одинокий человек

— «Если нет на Земле надежды, то все прах...» — Зинаида Гиппиус написала, стихотворение «Христу» называется, прочти... Был урок английского, и прежде чем мой собеседник ответил на этот трагический полушепот, мы услышали следующее:

— Коля! Это не Past Simple! Ты ничего не учишь, Коля! Если ты не объяснишь следующее предложение, я влеплю тебе двойку!

По какому-то странному стечению обстоятельств уроки выучили только два человека — моя соседка по парте Соня и я. И теперь на другом конце класса сидел полуживой Коля, безрезультатно пытающийся различить времена в предложении. Я подумала, что если бы рисовала картину по мотивам этого урока, назвала бы ее «Апофеоз Лени», мне стало стыдно за Колю, и я отвернулась своим постным лицом к моей подруге и сказала первое, что пришло в голову — процитировала стихотворение.

Она оценивающе глянула на меня и с жутко умным видом, не предвещающим ничего хорошего, произнесла:

- У тебя экзистенциальный кризис.
- Все, Коля! Два!
- Глупости, мне всего шестнадцать...
- А можно исправить, Анна Владимировна?
- Ну так самое время...
- Поздно!

Ответ Сони мне пришлось переспрашивать. Когда «экзакуция» над Николаем прекратилась, мы все-таки пришли к выводу, что никакого кризиса у меня нет. Тем временем очередь отвечать дошла до следующего человека, а в это время мы с Соней единогласно решили, что в нашем мире Кого-то явно не хватает...

Но вот уроки закончились, и я пришла домой, но мысль о человеческой неполноценности не давала мне покоя. За ответом на мучавший меня вопрос я обратилась к Евангелию, а именно к самому напряженному моменту — Распятию Иисуса Христа. Читая, я обратила внимание на слова, которые произнес Сын Человеческий на кресте: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Святые отцы пишут, что в этот момент Господь говорил от лица всего человечества. Человечества покинутого, одинокого, беспомощного, похожего на ребенка, потерявшегося в супермаркете, которому все окружающее непонятно и все пугает и единственное, чего он хочет, — вернуться обратно к своему отцу. Но как только ребенок начнет свой путь, он обязательно станет отвлекаться на цветные витрины с игрушками и блестящими фантиками конфет, рискуя заблудиться еще больше. Думая об этом, мне на ум приходит поразившее меня когда-то произведение Константина Бальмонта «Звезда пустыни».

О, Господи, молю Тебя, приди!
Уж тридцать лет в пустыне я блуждаю,
Уж тридцать лет ношу огонь в груди,
Уж тридцать лет Тебя я ожидаю.
О, Господи, молю Тебя, приди!
Мне разум говорит, что нет Тебя,
Но слепо я безумным сердцем верю,
И падаю, и мучаюсь, любя.
Ты видишь, я душой не лицемерю,
Хоть разум мне кричит, что нет Тебя!..

Это чувство неясного одиночества, чувство, что все вокруг бессмысленно, хоть раз в жизни посещало каждого человека. Как бы наивно это ни звучало, но мне думается, что людям очень не хватает Бога. И если кто-то скажет, что Его нет, я не буду вдаваться в споры, а спрошу лишь: «Тогда откуда в нашем несовершенном мире мы узнали об Идеале и почему так отчаянно к нему стремимся?»

«Пусть берут меня злые руки, только научи, что будет после»

Люблю рисовать. Черточка неровная, можно стереть и нарисовать новую, прямее, если и она не получилась, постараться заново. А вдруг след останется? Не беда, нарисую что-то поверх. Учительница вообще говорит, что «стеркой можно рисовать».

— Рисование как наша жизнь, — думаю я, пока мои глаза и правая рука работают над натюрмортом. — А люди только и делают, что рисуют стеркой, подтирают свои ошибки и чертят свои новые поступки. В этом деле главное — не отчаиваться, ведь любую картину можно исправить, как и любую жизнь. Самым ярким примером надежды, причем надежды, по меркам современного человека, какой-то безумной, непонятной простым обывателям, может служить история о покаявшемся на кресте разбойнике. Когда, казалось бы, уже нет другого выхода, как, страдая, распрощаться со своей плохо прожитой жизнью.

Что касается меня, я стараюсь искренне верить, что любой конец — это новое

начало, а поэтому не стоит опускать руки даже в самых безвыходных ситуациях. Относительно недавно, в 2004 году, скончался поэт Сергей Аверинцев, чей «Стих о Благоразумном разбойнике» при каждом прочтении восхищает меня своей глубиной. Произведение написано белым стихом, и эта безрифменность удивительным образом приводит к простоте и возвышенности слов. При каждом прочтении меня будто бы переносит в те далекие времена, где разбойник, возможно, вспоминает «песнь песней соломоновых», и всеми силами, израненный, в крови и поту, в предсмертной агонии, стремится к покаянию, и для этого он пронзающим сердце голосом просит «вразумить, что будет после». Эти слова исходят из глубины души, которая только на кресте смогла взять вверх над грешной плотью:

ибо любовь крепче смерти —
пусть удары проникают в недра,
только вразуми, что будет после —
и ревность глубже преисподней,
пусть в муке мешается разум,
только не забыть, что будет после —
положи меня, как печать на сердце...

Эпиграмм, где я читаю стихи винограду

На часах почти полночь, и капилляры в моих глазах лопаются чуть ли не с треском. Мой стол заставлен разнообразными книжками, в основном маленькими библиотечными томками поэзии, не люблю отдавать книги обратно, всегда кажется, что я расстаюсь со своими друзьями. Еще я отчего-то улыбаюсь, и мой кот, сверкая глазами, смотрит с укоризной. Ну и пусть. Смотрю на написанное и думаю: «Кажется, что просто слова, а на самом деле — часть меня». Уж не знаю, что меня ждет в будущем, но мне приятно оглядываться назад и понимать, что за прожитое мной время, я успела многое узнать и многое почувствовать. Приятно смотреть назад и сравнивать мои старые работы и, улыбаясь, замечать, что в этот раз намного лучше. Люблю соревноваться с прошлой собой. Но одно из моих главных пониманий за мою короткую жизнь заключается в ценности книг и знаний, помогающих за отведенное на Земле время понять и осознать самое главное. И пусть будущее скрыто от меня занавесом, я надеюсь и верю, что в моей жизни всегда будет место Богу, хорошим книжкам и слушающим, как я читаю стихи, гроздьям винограда.

Дети гор

Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный.

Мф (5:48)

Раз уж автор я, и могу делать, что хочу, то давайте представим, что вы, мой дорогой читатель, пришли в совершенно пустой кинозал, и сейчас на экране вам покажут все, о чем я думаю. Пока идут скучные титры, которые, к сожалению, никто не смотрит, спешу поделиться, что писатель я никудышный, но по злему року судьбы не могу иначе. Пишу, и все тут. Обычно в моем тексте одна мысль дает пинок другой, та падает, но через некоторое время приходит в себя и бежит опередить другую мысль... О! Титры закончились. Но что ж, устраивайтесь поудобнее...

Родилась я в очень странном месте. Вот оно: маленький городишко, а вокруг горы. Так что свой рассказ я начну с гор. Во всем мире «все дороги ведут в Рим», а у нас к одетым в вязаные шапки горам, которые баюкали нас в детстве, укрывали от дождя и защищали от холодных ветров. У этих гигантов добродушная улыбка, но самое главное — они заставляют человека стремиться туда, где чище воздух и все видно ясно, заставляют стремиться к лучшему. Горы как будто говорят: «Эй, почему ты еще здесь, внизу? Иди ко мне, и я покажу тебе скрытое». В горах хорошо молиться, пока дойдешь

до вершины, твоя плоть прismsиреет и все мысли будут стремиться к Смыслу. Самое главное — дойти, преодолевая боль, усталость, жару или холод. Горы собирают вокруг себя множество разных людей. К примеру, если вдруг вы захотите прийти ко мне в гости, я первым делом приглашу вас на балкон (там круглый год стоит запах цветов и светит солнце). Из окна вы увидите большой золото-янтарный собор, а через пятьдесят метров такую же большую мечеть. Для кого-то это выглядит дико, кого-то возмущает. Далее я могла бы написать о том, какие мы у себя на Кавказе дружные и как сильно друг друга любим. Я бы с огромным удовольствием написала бы об этом. Но, увы, наши взаимоотношения можно назвать «терпение и уважение». Любовью тут и не пахнет. В детстве я очень хорошо дружила с девочкой-мусульманкой. Мы, как и все обыкновенные дети, играли в прятки, бегали друг за другом и пытались съесть землю. Однажды, уже не помню с чего, мы заговорили о Боге. Она спросила меня: «Как вы молитесь?», а я, почесав затылок, принялась долго и сбивчиво читать все известные мне молитвы, вскоре перейдя на тему «Кто такой Христос и почему Он Бог» (если бы нас услышал какой-нибудь богослов, он бы очень долго и мучительно смеялся). После моей тирады пришла ее очередь потрясать меня своей духовностью. Но это не произошло, она просто сказала мне: «Аллах говорит, что когда придет пророк Иса, он накажет вас за то, что вы носите на себе крест». Поначалу я очень обиделась, но уже через пару минут мы, как ни в чем не бывало, пошли собирать слизняков и рвать у пауков лапки. Но ее слова я не забыла, они не мучали меня, просто я их всегда помнила. Сейчас, когда кто-то в очередной раз говорит о жестокости мусульман, о всех терактах и ужасах нашего века, я говорю себе: «Их бог мне незнаком, поэтому я не могу их судить. Но я знаю Бога христиан. Он кроток, смиренен и не делит людей на самарян и иудеев. Буду поступать, как мой Бог».

Но наш городок не делится исключительно на мусульман и христиан. Сейчас я постараюсь собрать в одного человека всех, кого я видела, кто что-то во мне оставил. Все эти люди связаны лишь тем, что стремятся «быть совершенными, как совершенен Отец их Небесный». Итак, человек этот невысокого физического, но высокого морального роста. Доказать это легко: когда все хохочут над фильмом Чарли Чаплина, он плачет даже не лошадиными, а китовыми слезами. Объясняет это так: «Почему им смешно от того, что другой падает?» Он работает кондуктором в трамвае, щуплый, сухой. Лицо похоже на рекламный баннер на остановке, куда клеят объявления, потом сдирают, клеят новые, и так до бесконечности. Потрепанным такое лицо не назовешь, разве что таким лицом, которое знает все, что можно купить, продать, найти, потерять, написать черным маркером. Лицом, которое невозможно удивить, растрогать. Но в то же время, если в трамвай зайдет цыганский мальчик и начнет просить денег, он единственный не прогонит его, а отдаст все, что у него есть, внесет свою лепту. Этот человек дожил до седины, но это не мешает ему искренне радоваться и краснеть до бледности, если он вдруг незаслуженно кого-то обидел. Иногда этот человек пишет стихи, хотя совсем не умеет, но слова льются из него невысказанной, грустной песней. Он знает наизусть список своих недостатков и мучается оттого, что привык к ним. Последний стих этого человека вот такой:

Я не люблю себя за черно-графитное моё сердце,
Где Сыну Божию совсем мало места,
Где пыльно и душно, где заела дверца,
Там на коробке коробка, и даже мне тесно.
Моё сердце — сомнений энциклопедия,
Начиная с «А», затем по порядку.
Боже... Если б Ты знал, какая это трагедия,
Делиться этим с тетрадкой,
А не с Тобой.

Ну вот, фильм подошел к концу. Знаете, что было написано в титрах? Не знаете? Я вам перескажу. Там говорилось о том, что каждый человек стремится быть ближе к Богу, даже если он неверующий. Каждый из нас — потерянный ребенок Горного мира. И каждый из нас, даже если не знает об этом, хочет следовать словам: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».

Юрий Подпоренко

Оживающее прошлое

Художники Узбекистана

Неумолимое движение времени все дальше относит от нас события, связанные с недавней историей, в частности с Международной конфедерацией союзов художников, которая на протяжении четверти века объединяла художников всего постсоветского пространства.

На цветной вкладке этого номера журнала я хочу познакомить читателей с некоторыми работами современных узбекских художников, которые должны были быть представлены на последнем, увы, несостоявшемся Московском международном художественном салоне ЦДХ.

Признаюсь, чувство ностальгии по недавней истории резонирует с самочувствием восточного русского, волею судьбы ставшего обладателем исторической родины, России, где живу последние десять лет, и малой родины, Узбекистана, где родился и прожил большую часть жизни. Взгляд из Москвы изменил ракурс — искусство Узбекистана, которое воспринималось своим, домашним и окидывалось порой ревнивым пристрастным взглядом, предстает теперь более значительным, цельным, особенно в контексте общей картины современной художественной жизни.

Возрастание интереса к собственным истокам, к прошлому, к устройству народной жизни, присуще в настоящее время всем народам, которые обрели независимость. И в узбекском изобразительном искусстве чувство корней нашло свои неповторимые черты и особенности, отражающие национальный характер. Художникам разных поколений и художнических пристрастий присущи такие черты как склонность к обобщению, повествовательность художественного высказывания, медитативность, философичность.

Устойчивость народной жизни, бережно сохраняемая веками, обретает в их работах актуальность, поскольку воспроизводится современными средствами художественной выразительности. В разной степени в творчестве узбекских художников находят свое применение приемы народного декоративного искусства, отличающегося разнообразием колорита, причудливостью рисунка.

Одно из ведущих мест в современном искусстве Узбекистана занимает творчество Акмаля Нура (Акмаля Нуридинова) — художника, последовательно, на протяжении всей своей творческой жизни создававшего неповторимый и узнаваемый стиль. Его плотно, коврово записанные полотна прочитываются как переложенные в красочные образы творения великих поэтов Востока. Склонный к философским обобщениям художник верен вечным темам — любви, поэзии, странничеству как пути познания жизни, ее вечных и открываемых заново законов.

Углубленным интересом к прошлому, к духовной жизни предков, средневековых суфиев, стремлением воссоздать вечные образы проникнуто творчество Файзуллы Ахмадалиева — художника, прошедшего путь творческого преобразования от канонического реализма к реализму духа. Живописец пристально вглядывается в окружающий мир, подмечает те его приметы, которые хранят тайны веков, помогают то ли воссоздать, то ли вообразить, смоделировать мир минувшего. Художник тонко чувствует, что в орнаментальности народного искусства спрессованы символы, интуитивно дешифруемые многими поколениями живших на этой древней земле людей.

Чутко к отечественной истории и к ритуалам народной жизни Аслиддин Исаев — великолепный колорист, виртуозно владеющий разными живописными техниками, позволяющими достигать точного воплощения замысла. Нынешнее и прошлое сочетаются в его полотнах совершенно естественно, как парящие над Гималаями силуэт Рериха и образ Будды или оберегающий путников полумифический исламский праведник Хазрат Хизр в образе благообразного старца.

Синтезировав различные современные художественные техники и традиционную красочность народного творчества, создал свой уникальный стиль Хуршид Зияханов. Точный графический рисунок, геометрические плоскости, исключая полутона, парадоксально создают ощущение объема, побуждают зрителя совершать открытия в будничной повседневности. Работы художника, как правило, интонационно окрашены — добротой, сочувствием, улыбкой, легкой иронией.

Разнообразием художественных приемов отличается стилистика полотен Гафура Кадырова. Работая в основном маслом по холсту, живописец владеет широким диапазоном манер и техник — от имитации аппликации, символики примитива до импрессионистских пейзажей и лирических портретов. И в его работах неизменно ощущаются искренность выражения чувств, позитивное отношение к персонажам, порой приправленное добродушной улыбкой.

Представитель среднего поколения Шухрат Абдумаликов известен прежде всего как театральный художник, оформивший десятки спектаклей ведущих режиссеров Узбекистана. Драматической напряженностью жизненных ситуаций, внутренней конфликтностью художник насыщает и некоторые живописные работы. Обращаясь к вечным темам библейской истории, мифологии, художник предельно раскован в трактовках известных сюжетов, предлагает увидеть их остросовременным взглядом.

Творческую манеру Зебуннисо Шариповой отличает склонность к романтическому реализму. В ее портретах точно выражено психологическое состояние персонажей, нередко тревожность или сосредоточенность, а в натюрмортах, воспроизводящих предметы старинной утвари, — стремление опоэтизировать минувшее.

Живописный стиль Шахнозы Абдуллаевой отличается мягкой цветовой гаммой и изяществом рисунка. Ведущие темы ее творчества — любовь и поэзия жизни. Художником создана огромная галерея женских образов, изящных и грациозных. Обращаясь к темам мифологии, народных обрядов, классической восточной поэзии, живописец наделяет их своим поэтическим видением.

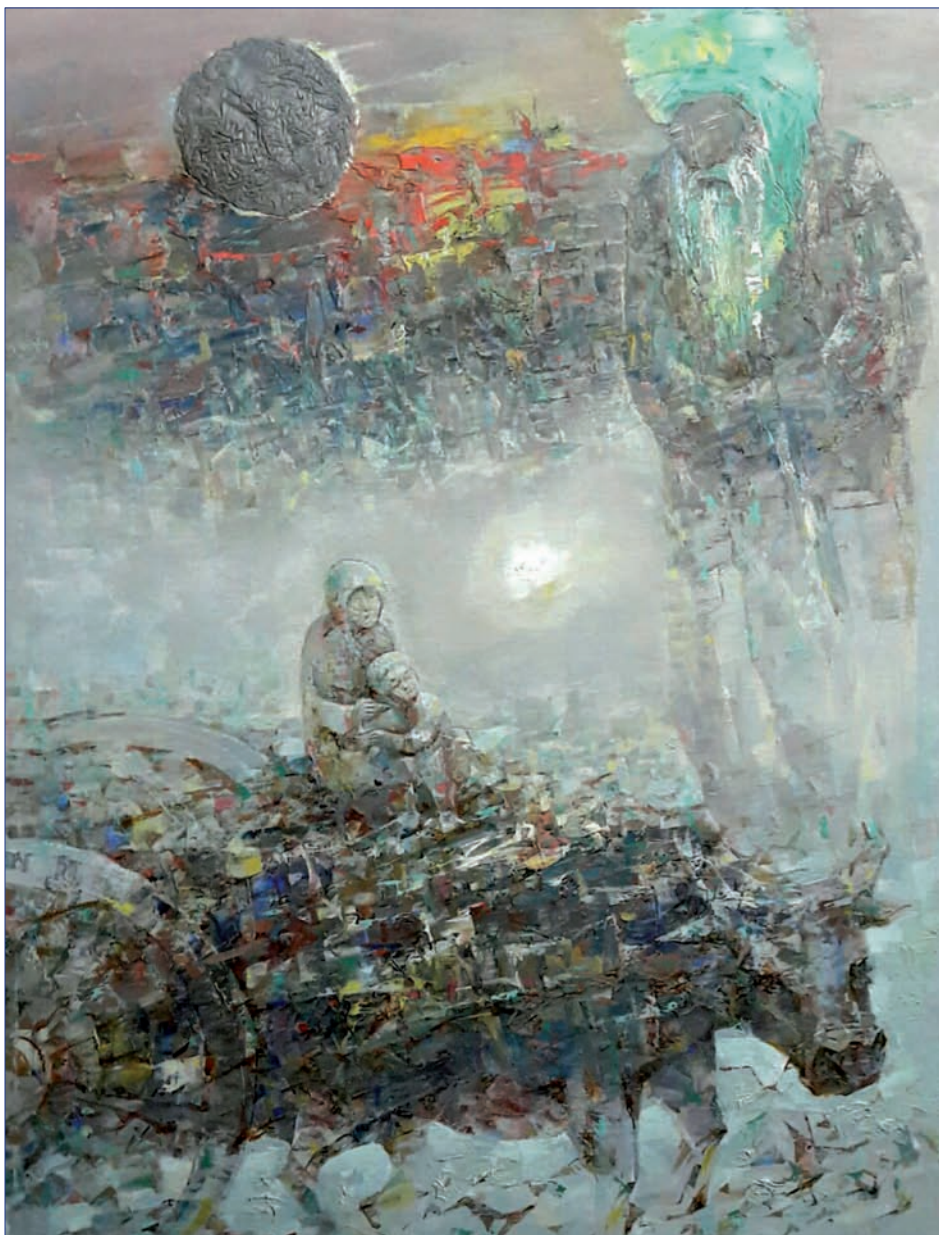
ХУДОЖНИКИ УЗБЕКИСТАНА



Акмаль Нур. Прошедшие дни. 2007.
Холст, масло



Файзулла Ахмадалиев. Орнаменты Хивы. 2010.
Холст, масло



Аслиддин Исаев. Хазрат Хизр. 2015.
Холст, масло



Хуршид Зияханов. Дочки-матери. 2014.
Аппликация из ткани, холст, масло



Гафур Кадыров. Девочка с игрушками. 2005.
Холст, масло



Шухрат Абдумаликов. Офати Жон (Юдифь). 2016.
Холст, масло



Зебуннисо Шарипова. Прошное. 2002.
Холст, масло



Шахноза Абдуллаева. Поцелуй. 2010.
Холст, масло

Нацеленность на Целое

Рубрику ведет Лев Аннинский

В тридцать восемь лет она издает (и не без издательских сложностей) свой первый роман. Сложности исчезают, как в сказке. Третий миллиона тиража — у читателей. У автора — двадцать переводов на разные языки мира. Коллекция премий. Репутация лучшей специалистки по многонациональному характеру русской культуры. Объяснить такой триумф особенностями ситуации? Не получится. Тут одно объяснение — природный литературный талант. И автор осознает это: пишет не так, как диктует воображаемая ситуация, а так, как видит и диктует талант.

Вот начало второго романа. Здесь разом охвачены два берега Волги: степи с левого и с правого ее горизонтов. Узоры башкирских одеял. Запахи туркменской пустыни и соленого Каспия. И на весь этот цветной вернисаж понадобилось... угадайте — сколько?.. Восемь с половиной строк! И все работают!

А теперь оглянемся. Нет, не на берега сегодняшней Волги. А на события, происходившие здесь во времена императрицы Екатерины, которая санкционировала переселение германских колонистов на русские берега и встречала их на пристани приветствием:

— Дети мои! Новообретенные сыны и дочери российские! Радужно принимаем вас под надежное крыло наше и обещаем защиту и родительское покровительство! (А своих родителей вспомнила? Именно то, что по национальности она, русская императрица, — германской крови. Но дальше в ее речи — все актуальное.) Взамен же ожидаем послушания и рвения, беспримерного усердного служения новому отечеству. А кто не согласен — пусть нынче же убегает обратно! Гнилые сердцем и слабые руками в российском государстве — без надобности.

Стиль великой русской императрицы.

Сердцами и руками новым россиянам предстоит доказать свою надобность. Императрице же предстоит доказать свою любовь к новоприбывшим. И она избирает для этого простую русскую формулу:

— Дети мои! (что воспринимается, как: я люблю вас!)

Это искреннейшее объяснение в любви вошло в историю. И ныне оно возрождено в заглавии второго романа Гузели Яхиной: «Дети мои».

Потрясающе. И не боится процитировать, опереться. И что уличат в плагиате — не боится.

Потому что верит сейчас, сегодня. В русскую Историю. В русскую судьбу. В русский народ.

Вся композиция нового романа Яхиной — такое объяснение.

О первой главе, в которой описывается, как учитель немецкого языка, любвеобильный колонист-немец, переспавший со счастливыми от такого контакта коллегами, потом сделал одну из них («вы добрая девушка, Клара...» постоянной спутницей (глава называется «Жена»), — об этой главе чуть позже. А пока о том, как

нежданно-негаданная девушка Клара разродилась доченькой, и новоявленный папаша стал гадать, чье же это дитя. Мужика с калмыцкими скулами? Вояки с наглыми глазками? Блеклого пацана с кадыкастой шеей? Впрочем, гадать было некогда: надо был доставать молоко. Доставали всем поселком, и из цепкой девчушки через несколько лет (уже после смерти матери, Клары) выросла дочь Анче, и глянуло на отца почти незнакомое лицо: за двенадцать проведенных на хуторе лет черты сделались жестче и суше, глаза — темнее и строже, крупные морщины легли вдоль щек и поперек лба... Эта глава романа называется «Дочь».

Дочь Баха и Клары. Сначала противозаконная, потом признанная общиной. Потом — на всю жизнь. И без всякой возни перед священником.

А сколько биографически выверенных эпизодов собрано в главе «Дети», безукоризненно финализирующей роман... Безукоризненность связана с тем, что финальное целое предчувствуется во всех начальных главах, нацеленных на Целое. Это Целое — страна.

Страна — Украина. Даже располосованная в войнах. В ней единство сохраняется на уровне изначальной, базисной ценности — сквозь межгосударственные и даже межнациональные границы...

Как? И межнациональные тоже?

Все остальное — «тоже». А это — изначальное и непреходящее.

«Высокий киргиз в меховой тужурке без рукавов на голое тело и треугольной войлочной шапке, из-под которой настороженно глядели узкие, подпернутые к вискам глаза... неотрывно глядели на Баха...»

«Плоское монгольское лицо» и глаза, неотрывно глядящие «немигающие глаза»...

Если вы не ощутили, откуда эта тревога, объясню: «Баху отчего-то вспомнилось, как мать пугала в детстве: “А вот киргиз придет — заберет!”»

Вот когда и смысл киргизской песенки открывается: детские страхи! И шрам на восточном лице, и рваная одежда — это живописные краски, которым, мы помним, Бах-художник привержен, сводя впечатления воедино... Киргизы ли, монголы перекликаются в его воображении — это краски и оттенки, а не гражданские элементы...

Что же до гражданских прав и счетов, то кто кому успел в раннем детстве дать по морде — как вышло, так и вышло. Немец ты или русский — неважно. Как императрица вела, так и легло: вовсе не как иммигранты немцы чувствуют себя в России. А как гости щедрой хозяйки. Никакого германства! И так вынашивается в душе не агрессивная воинственность вчерашних соседей, делящих куски, а уж скорее — доли участников праздника.

И национальная своеобычность окружена не оборонными тумками, как в драке, а знаками общения.

Замечательное качество, с которым выходцы из Германии нашли свое место в России: национальное сознание — это знак единства. И ни намек на счеты.

Люди знают, чем все это обернулось век спустя. Мировая война! А потом и Сталин с Гитлером: смертельная, полная крови... Великая Отечественная. Немец — враг: захватчик, палач, убийца.

После Сталинграда агрессор звереет. И геополитические планы гитлеровцев реализуются: цыган и евреев уничтожить поголовно (не надеялись поработить), непокорных славян сначала заставить поработать, а потом помочь подохнуть (газвагены, рвы лагерей — наши отцы узнали, что это такое). Мы не позволили: взяли Берлин штурмом. Скольких жизней это нам стоило — молчу. Подсчитано, но так и не утверждено официально. Боль не проходит.

Где оказались немцы в ходе и в результате войны — тоже вопрос открытый.

Сначала так: идут мирно недели и месяцы.

«В мае, когда вернувшиеся с пахоты гнадельтанцы (односельчане. — Л.А.) засаживали бахчи дынями, арбузами и тыквами, а огороды у дома картофелем, Бах с Кларой читали Гете.

В июне, когда стригли овец и косили сено (торопясь, пока не выжгло траву палящее степное солнце), перешли к Шиллеру.

В июле, когда убирали рожь (по ночам, чтобы на яростной дневной жаре из колосьев не выпали семена) и кололи молодых барашков, чья шерсть мягче ковыльного пуха, а мясо нежнее ягодной мякоти, закончили Шиллера и перешли к Новалису.

В августе, когда наполняли амбары обмолоченной пшеницей и овсом, и потом всей колонией варили арбузный мед (пить его будут круглый год)... обратились в Лессингу.

В сентябре, когда собрали картофель, репу и брюкву... опять вернулись к Гете...»

Прелесть этой программы в том, что в ней больше от русской огородной практики, чем от немецкой грамматики. Но ведь прелесть!

Прелесть эта отступила, когда в небе, привычно расчерченном родными авиарейсами, к которым уже привыкли, повисли заграничные самолеты.

И в отечественной практике стали зиять убытки и несчастья. Которым Ян, явно рассчитывая на остроумие привычных историков, присваивал имена в их стиле («Год Разоренных Домов», «Год голодных» и т. п.).

Бах с Кларой наблюдают такие картины с местного обрыва. Мало ли кто там с кем воюет! То Галиция в мобилизационных отчетах, то Польша... И вдруг обдает душу: так это Россия воюет! И не с кем-то фольклорно-выдуманным, а с Германией! Поразительно, что это уже не та Германия, которую объединяла в своих пригласительных речах позвавшая германцев на Волгу русская государыня. И государыни той уже нет ни в живой реальности, ни в идейной памяти. Все, что она породила и чему мечтала помочь, выброшено вон революцией!

Прошлое летит в небытие. Небытие становится реальностью.

Прибыл знакомый функционер. Из Москвы! Начали очередную социалистическую перестройку. К светлому будущему (другого знать не хотели, отвергнутые варианты валялись в исторических мусорниках). А новые... впрочем, я процитирую.

«О ком плакал Бах... он не мог бы сказать. О чуде ли Гофмане или о погибших детях — тоже не мог бы сказать. Возможно, плакал обо всех односельчанах... О тех, кто покинул колонию. О тех, кто остался. Об оскудевшей земле. О сгоревших карагачах. О счастливом Годе Небывалого Урожая, канувшем в Волгу безвозвратно. Как и последний ученик Баха...»

Ну, и что скажете?

Сидит группа хорошо знакомых людей и обсуждает хорошо знакомые проблемы во всех тонкостях хорошо знакомого материала.

И вдруг откуда-то врывается что-то совершенно немыслимое. Что-то всем ведомое и совершенно неведомое. Повисает. Грубое и неотменимое.

Что-то из материалов неназываемых и торчащих у всех в сознании. Которые и обсуждать незачем, и так все ясно. Ясно, что необсуждаемо. Грубость и изыск разом. Знают. И молчат.

Что знают? Что все зависит от буквы. А букву лучше не трогать. Что самоосознание нации зависит от того, оградит ли она свою *мову* от все сметающей русской речи. Я этих людей понимаю. Но понимаю и языковой монолит, всепоглощающий — поглощающий тут все.

Ну, и как быть? Трогать больное, доходя до отчаяния? Не трогать, доходя до отчаяния?

Так ответьте же, поможет ли очередное преобразование нации не развалиться.

Как бишь ее теперь? *Немецкая социалистическая республика*. Да тут каждое слово бывает оспорено. Что-то захватанное не римлянами, так марксистами. И зваться чьим-то довеском — не хотим! Хотим быть центром, а не чьей-то там окраиной!

Что в конце концов реализуется из этой круговерти? Что ожидает немцев? И какой ценой?

История продолжает двигаться. Куда? Доживем — увидим. Если доживем.

Summary

Poetry

We present restrained monologues and urban St. Petersburg style poetry by Ekaterina POLYANSKAYA, postmodernist sketches by the well-known Estonian poet Doris KAREVA translated into Russian by Natalia ELIZAROVA. The verses by Grigorij STARIKOVSKIY with their “Delicate dash air shot through by a casual bird” make a fusion of nostalgia and genuine irony.

Victor CHIGHIR. The Thirst Quenched. A novel

Late XVIII century. An alpine gorge in the heart of the Caucasus. There, in the Ossetian land, the perennial feud of two clans, the Tmainovs and the Tserebovs, begins and comes to the end. Which of these two is going to triumph in the novel by the young author Victor Chighir from Vladikavkaz is unpredictable for the mutual hatred is equally overwhelming.

An Orphan Soul Dreaming of Love

Vika CHEMBARTSEVA. When the Cypress Trees Begin to Rustle

This short story focuses on the girl named Asya, who is deprived of her home and finds herself in an alien and hostile world. Enduring her hard losses and conceiving the matters of her existence any adult reader will remember his or her childhood's doubts and feelings.

Alexander MELIKHOV. Love and Blood

“The urge for one's self-justification leads to the social irresponsibility”. The essay by Alexander Melikhov is a speculation on the phenomenon of the Narodnik terrorism with some new facets of the well-known issue revealed.

Evolution of Fish to Human

A new dialogue in letters from the cycle by the writer Gennadiy PRASHKEVICH and the physicist Alexey BUROV on some eternal questions.

2018: Literary Review

Contemplations by Evgeniy ABDULLAEV, Maria ANUFRIEVA, Olga BALLA, Olga BREININGER, Olga BUGOSLAVSKAYA, Ilya DANISHEVSKIY and Elena IVANITSKAYA.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«**Фаланстер**» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«**Русский путь**» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**
в любом городе страны

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



«Дружбе народов» — 80!

Нас поздравляют:

«Дружба народов» — понятие сугубо советское. Были политические слоганы, такие как НЕРУШИМАЯ ВЕЧНАЯ ДРУЖБА РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ. БРАТСТВО И ЕДИНСТВО С РОДНОЙ УКРАИНОЙ. А потом — раскололась дружба — и разлетелось вдребезги нерушимое единство — вот и пули свистят. Так где же дружба народов? А она у нас, дорогие, в наших сердцах, в нашей памяти. И в моем сердце горит благодарный огонь любви к родному журналу. Он столько мне дал — не счесть. Открыл понятие, что дружба народов — это дружба литератур. Журнал сдружил меня с благородными прибалтами Имантом Зиедонисом, Яном Кроссом, с кавказцами Грантом Матевосяном, Александром Эбаноидзе, могучими степняками Абдижамилем Нурпеисовым, Оралханом Бокеевым, Абишем Кекильбаевым...

Дорогой журнал! Поздравляю с юбилеем! Пусть всегда горит на твоей обложке факел:
ДРУЖБА НАРОДОВ.

Анатолий Ким